



Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

У Ч Р Е Д И Т Е Л И:

Союз писателей России
ООО "ИПО писателей"

Международный фонд
славянской письменности
и культуры

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

В. И. БЕЛОВ,
Ю. В. БОНДАРЕВ,
В. Г. БОНДАРЕНКО,
А. В. ВОРОНЦОВ,
В. Н. ГАНИЧЕВ,
Г. Я. ГОРБОВСКИЙ,
Г. М. ГУСЕВ,
Т. В. ДОРОНИНА,
С. Н. ЕСИН,
Д. А. ЖУКОВ,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
А. А. ЛИХАНОВ,
М. П. ЛОБАНОВ,
С. А. НЕБОЛЬСИН,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
В. Д. ПОПОВ
В. Г. РАСПУТИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
С. Н. СЕМАНОВ,
В. В. СОРОКИН,
С. А. СЫРНЕВА,
А. Ю. УБОГИЙ,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ

Проза

- Юрий УБОГИЙ
Молитва. Повесть 6
- Николай БЕСЕДИН
День Флота. Рассказ 51
- Альберт КАРЫШЕВ
Печники и кровельщики
Рассказ 67
- Николай ИВЕНШЕВ
Рубиновая прорубь
Рассказы 87

Поэзия

- Глеб ГОРБОВСКИЙ
Я в жизнь вошел,
как в лес дремучий... 3
- Илья НЕДОСЕКОВ
Ты стала мне сердцем,
Россия 44
- Марина ШАМСУТДИНОВА
Пора нам выходить
из резервации... 47
- Елизавета МАРТЫНОВА
Книга степи 61
- Любовь ЧИКАНОВА
Без боли прощая 64
- Олег МАЛИНИН
Страна революций 81
- Александр БОВДУНОВ
Нация, Родина,
девочка Русь 85
- Поэтическая мозаика 98

Очерк и публицистика

- Борис КЛЮЧНИКОВ
ООН — или мировое
правительство Фининтерна 134
- Станислав КУНЯЕВ
Жрецы и жертвы Холокоста 141
- Николай РЫЖКОВ
СССР и Германия:
битва экономик 158
- Александр МАЛИНОВСКИЙ
Дом над Волгой 191

Редакция

Приемная —
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —
зам. главного редактора —
(495) 625-01-81

Е. В. Шишкин —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47

С. С. Куняев —
зав. отделом критики,
отдел поэзии —
(495) 625-02-81

Отдел публицистики —
(495) 625-30-47

Н. С. Соколова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71,
факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —
зав. техническим центром —
(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Анатолий АРТАМОНОВ
“Всегда сверяю свои действия
с будущим”
Беседа Ст.Ю. Куняева с губернатором
Калужской области 217

Александр АРЦИБАШЕВ
Проблемы и суждения 186

Марина СТРУКОВА
“Великим нациям
не прощают” 228

Владимир КРУПИН
О назначении писателя
в России 232

Дневник современника

Александр КАЗИНЦЕВ
Поезд убирается в туник 121

Память

Сергей КУНЯЕВ
“Ты, жгучий отпрыск
Аввакума...” 109

о. Виктор (КУЗНЕЦОВ)
4 октября. Расстрел 173

Пётр ЧАЛЫЙ
Зимний листопад 236

Критика

Александра БАЖЕНОВА
Поиск единства славян,
единства русских корней 262

Пётр РАДЕЧКО
Не постигнет ли Есенина
участь Беранже? 271

Виктор ГУМИНСКИЙ
Непрерывность жизни духа 275

НАШИ ЮБИЛЯРЫ 287

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией при условии, что объем рукописи по прозе — не менее 10 а. л., поэзии — 5 а. л., публицистике — 3 а. л. Срок хранения рукописей прозы 2 года, поэзии и публицистики — 1,5 года. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов

Операторы: Ю. Г. Бобкова, Е. Я. Закирова, Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова

Зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.

Сдано в набор 10.09.10. Подписано в печать 30.09.10. Формат 70х108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,3. Уч.-изд. л. 23,7. Заказ № 3522. Тираж 9000 экз.

Адрес редакции: Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2.

Адрес журнала в интернете: www.nash-sovremennik.ru

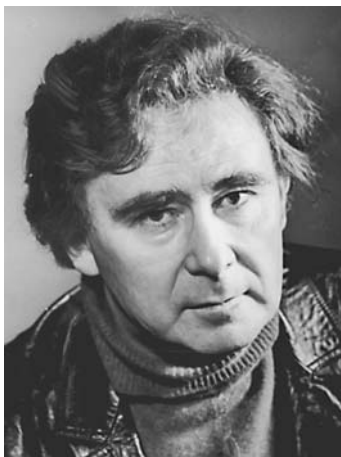
E-mail: n-sovrem@yandex.ru

(Рукописи по e-mail не принимаются)

Отпечатано в типографии ОАО “Издательский дом “Красная звезда”,

123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38. www.redstarph.ru

ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ



Я В ЖИЗНЬ ВОШЕЛ, КАК В ЛЕС ДРЕМУЧИЙ...

ПАМЯТЬ

На памяти моей — прострелы и ожоги,
на памяти моей — позор и клевета...
И все ж я об нее не вытираю ноги, —
как флаг ее несу, неведомо куда.

Еще не потерял чудесные обноски
того, что приобрел на жизненном пути.
На памяти моей... военные подростки,
на памяти моей — народы и вожди.

Земля вокруг меня вкушает смог и зелья,
я все еще по ней ступаю, а порой —
я в память ухожу, как будто в подземелье,
однако связь не рву с надземною игрой.

ГОРБОВСКИЙ Глеб Яковлевич родился в 1931 году. Окончил филологический факультет Ленинградского университета. Автор поэтических книг «Поиски тепла», «Косые сучья», «Тишина», «Новое лето», «Возвращение в дом», «Черты лица», «Однажды на земле», «Окаянная головушка» и др., а также нескольких книг прозы. Лауреат Государственной премии им. А. М. Горького. Живет в Санкт-Петербурге.

* * *

Николаю Астафьеву

Уходит лето... Тают мелочи,
тускнеет времени фасад.
Часов беспомощные стрелочки
перевести на час назад.

И в зиму бледную грядущую
взрастать и падать, как в сугроб.
Россию мыслящую, пьющую —
любить и пестовать по гроб.

Уходит лето... До свидания,
прости. А ежели прощай, —
перечеркни мои рыдания
грозой весенней... невзначай.

СОПЛИВАЯ ПОГОДА

Зима в роскошном Петербурге:
окурки, лужи, плач дождя...
А где же стужа? Вьюги, пурги,
портреты Горнего вождя?

Где треск морозной колотушки,
шагов нацелившихся хруст?
Где не живой, а мертвый Пушкин?
Ах, да — на площади Искусств.

Привет, сопливая погода!
Родимый город, скинь печаль.
Сбрось маску серого уroda
и в море синее отчаль!

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДОЖДИ

Сажусь в машину, как в карету, —
сто лошадиных сил в упряжке,
и на поминки к Блоку еду,
что проживал на речке Пяжке.

Затем — к рязанскому Сереже,
что снял покои в “Англетере”...
Хотя — зачем его тревожить?
Пусть отдохнет, по крайней мере.

Затем — к Владимирскому храму,
под Достоевского оконце...
Шел дождь. И вдруг из тучи драной
бесстрашно выглянуло солнце!

* * *

Я верю не в святую Русь,
не в нацию — всего лишь в Бога.

Не поучаю, а делюсь.
Господь един. Учений много.

Но и Расеюшка — одна.
Таких избушек и старушек,
хоть землю вычерпай до дна, —
не сыщешь. Хоть пали из пушек!

Лошадка. Сани. И снега —
сплошняк! Такие же, как небо.
И я, подавшийся в бега,
от самого себя — свирепо...

ОТЗОВИСЬ

Я в жизнь вошел, как в лес дремучий,
крича “ау!” в небесну высь,
зовя не Бога и не тучу, —
всего лишь маму: отзовись!

И отзывалась мама Галя,
и хлопотала над сынком...
Потом надолго мы расстались,
и каждый жил — особняком.

Теперь давно уж мамы нету,
и сам я у могилы близь...
Но, как и прежде, в час рассвета
я ей сигналю: отзовись!

ГОСПОДА

А в России опять завелись господа.
На обличьях у них — превосходства гримаски.
Почему они прячутся кто куда:
в лимузины, дворцы, под различные маски?

Потому что им страшно. Россия — вулкан.
Он молчит до поры. Но однажды проснется!
И осушит господ, как граненый стакан.
И в свою неподвижность вернется.

Не помогут охранники, доллары, спесь,
потому как марают завет “не укради”.
Потому что мы все равноправные здесь,
на земле и в земле — воли Господа ради!

ЮРИЙ УБОГИЙ



МОЛИТВА

ПОВЕСТЬ

1

Как всегда, вид из окна и успокоил Бунина, и утешил, и восхитил: какая дальняя даль, тонко-мглистая от зноя, в которой хребет Эстереля млеет дремотно; какой чашей огромной лежит внизу долина с Грассом под выгоревшим, полинявшим на солнце, серовато-голубым небом; какое облако величественное, каменно-белое стоит там, у горизонта, где небо сливается с морем! Райский край, который укрепляет, лечит душу и тело восемнадцать уже лет. Бог дал, да, но ведь и самому поискать, помыкаться пришлось. А как сюда попал, на гору над Грассом, до виллы “Бельведер” добрался, окрест посмотрел, сразу и почувствовал: здесь жить-быть, и нигде больше, а Париж лишь на зиму оставить. Так и было годы многие, пока недавно на “Жанетту” переселиться не пришлось. Впрочем, невелика разница — и вокруг все то же, примерно, и вилла такая же почти...

Потянуло горячим, сухим ветерком. Мягко прикрыв створку окна, Бунин оттолкнул ее, поймав взглядом несколько мелких коричневых точек на тыле кисти, и ощутил неприятный укол. “Гречка” возраста, очень уже почтенного, только не в нем суть, а в том, как чувствуешь себя. Он же порой, вот как сейчас, не только не стар, но, как ни странно, почти молод. Время его любимое, летнее, природа-погода волшебная облегчают бремя лет, оживляют, бодрят. Вот и пользуйся всем этим, пока Бог возможность дает, дни твои длит и сроки. Смотри, слушай, внемли прелести земной...

УБОГИЙ Юрий Васильевич родился в 1940 году в селе Красная Поляна Курской области. Окончил Воронежский медицинский институт и Высшие литературные курсы. Более 20 лет работал психиатром и психотерапевтом. В “Нашем современнике” публикуется с 1978 г. Автор 12 книг прозы. Член Союза писателей России. Живёт в Калуге.

Сколько впереди и вокруг вилл, садов с оливами, пальмами, кипарисами, агавами, лаврами, сколько роз, сколько цветов! Как волнисты склоны долины, покрытые сосновым южным лесом, как мягко синеют уходящие друг за другом хребты Эстереля и Мор, как похожи по цвету и все-таки различимы небо и море! Как воздух нежен и тонко пахуч, с каким упорством монотонно-дремотным сипят, куют кузнечики!

Счастье, что после бегства из Парижа, от немцев наступающих, в конце концов в Грассе своем любимом оказались. Хоть и голодно здесь целый уже год, а все дома. Дома... Бунин усмехнулся. Далек твой дом, милый, за семью горами, за семью морями. Да и там его нет давно. Пустыня Совдепии, в которой приютиться, приткнуться негде. Здесь теперь твой дом, вот он, хоть и наемный. А еще и Прованс, и Париж, и Франция, половина которой под немцами живет. С какой чудовищной быстротой все произошло! Дойти до Парижа за месяц и с ходу его взять — в страшном сне такое присниться не могло. Дьявол помог, иного нет объяснения, недаром у Гитлера и вид, и повадка бесовские, дьявольские. Нечисть, нечисть! Народ Гете и Шиллера заморочила, с ума свела. Да и французы хороши, нечего сказать! В Париже, по слухам, обыкновеннейшая жизнь идет, кафе, рестораны, театры, кабаре вовсю работают, да еще и бойчей, чем раньше. Клиентов прибавилось, господ офицеров немецких. Можно ли такое для России, для Москвы представить? Бунин напрягся, вообразил Арбат, жизнь его обыденную, немцев в форме военной, походкой хозяев ходящих по нему, и вздрогнул судорожно: нет и нет! Он бы, во всяком случае, не перенес такого, умер бы от оскорбления и ненависти! Или зубами бы впился в горло кому-нибудь из новых господ! А ведь будет с Россией война, не миновать, все клонится к тому. Пакт о ненападении? Им Гитлер задницу бы подтер, если б бумага была мягкой...

По террасе прошел Зуров с лопатой в руках, с грядок своих заветных возвращается. Подступиться к ним никому не дает, в потравах, хищениях всех обвиняет. Скобарем его прозвал, как псковичей и зовут-дразнят. А курян “соловьями”, воронежцев “водохлебами”, туляков “самоварниками”, орловцев “дубинниками”... Вот дубиной-то этого Скобаря не раз хотелось по голове хватить, отвести душу. В двадцать девятом году как пожаловал, так и живет до сих пор. Сам виноват, приглашать и приваживать не надо было. А теперь и не выгонишь, Вера привязалась, во всем и всегда за него горой. Выставил его как-то после ссоры жуткой, мордобитной почти, так умолила, выплакала разрешение вернуться. Хоть и гневлив порой бываешь до скрежета зубовного, но ведь и жалостлив. К тому же чувствуешь в глубине души, что Скобарь этот в наказание, может, тебе послан за то, что Галину в дом принял, жены не пощадив. Убеждал упорно, что она лишь ученица его литературная, и более ничего. Сделала вид, будто поверила, много лет все это терпела, терпи и ты ее питомца-воспитанника, как кару заслуженную...

А вот и парочка неразлучная с прогулки возвращается, Галина с Маргой. Дружно идут, тесно, только что не в обнимку... Он почувствовал, как судорога яростного возмущения пошла снизу, от живота. Горло сжала. И это наказание за тот же грех? Не много ли выходит? А не тебе считать-рядиться, тут единый Бог решает... Сколько лет уж прошло с тех пор, как они сошлись, а успокоения, смирения нет и нет. Вскоре после премии шведской догадываться стал, чуть с ума не сошел, сообразив, наконец, в чем дело. Так и осталось, так и сидит это в сердце, да не занозой — обломком стрелы... И ведь пришота, крова в начале войны попросить не постеснялись, и пришлось пожалеть да и принять обоих. А еще Бахрах с Роциным прибились, так что целых пятеро постояльцев тут у него живут-спасаются. И всех подкармливать надо, а то и просто кормить, при том, что сам скоро от жизни впроголодь ноги таскать не будешь...

Откуда-то снизу, из долины донесся далекий петушиный крик. Бунин вздрогнул удивленно: откуда, в суп ведь все они должны были попасть давно. Крик повторился, и так чудесно было его услышать, словно привет из Озерков, Глотова или Васильевского. Поразительный по сложности и противоречивости звук: и задор с удалью в нем, и печаль тайная, и надежда, и безнадежность. Петух — Франции символ. Да он и подходит для этого, ще-

гольской, надутый-гордый, красочный, только вот общипали его немцы в последний год до безобразности... Услышав третий крик, Бунин даже глаза прикрыл, чтобы не отвлекаться. Тут же и картина всплыла: избы с соломенными крышами, дворы, задворки, плетни похилившиеся. И запах: навоза, травы свеженакошенной, конопли, на солнце разогретой... И новый крик, и уже не понять — здешний он или оттуда, из Глотова? Четверть века назад там был, а порой кажется, что вчера...

— Иван Алексеевич, Германия объявила войну России!

Зурова крик, из столовой. Шутка, может, дурацкая? Нет, этим не шутят! Пошел, побежал, ног под собой не чуж...

Зуров сидел, прильнув к приемнику, за его спиной теснились Галина с Маргой, Бахрах и Вера. Бунин подошел к ним вплотную, замер, прислушиваясь. Диктор говорил по-французски, быстро и взволнованно. Половина слов оказывалась или неразборчива, или непонятна. Да уже и понимать нечего было — война!

Бунин присел в сторонке к столу, чувствуя озноб, несмотря на жаркую духоту в столовой. А голова и совсем была ледяной, пустой, гулкой, и кто-то словно проговаривал в этой пустоте: война, война! Подумал, вдруг, морщась — давно уже война идет, можно бы и привыкнуть. Да, только раньше-то война была с другими, а теперь с Россией, с тобой самим...

Подошла Вера, прижала ладони к обычно бледным, а теперь поалевшим щекам.

— Что же теперь будет, Ян?

В глазах и испуг, и надежда странная, просьба почти. Словно верит, что он что-то изменить, отменить может. Не в первый раз он такое за ней замечает в тяжкие минуты, испытывая смесь злости и сладковатой, противной польщенности.

— Откуда я знаю? Я не Господь Бог!

Он посмотрел на остальных. Зуров настройку приемника крутил, Марга выглядела спокойной, Галина стояла, опираясь рукой на столик и выставив крутое бедро. Никак не перестанешь замечать такое, старый хрыч, мелькнуло у Бунина. И на одре смертном небось заметишь... Галина, почувствовав его взгляд, обернулась, подошла. Вот они, твои бабы, сбежались к защитнику, а тот хорош, сел, ослабев в коленках...

— Иван Алексеевич, что ж теперь? — спросила Галина, лихорадочно блестя глазами.

— Да вы что, сговорились?! Дельфийского оракула нашли? Тогда давайте уж всех сюда заодно, пророчествовать начну. Что будет, что будет... Вот то и будет, что никого из нас не будет в конце концов. Этому и верьте, а остальное дела темные.

Появилась Марга, стала, как обычно, вплотную к Галине со своим крупным, мужского, твердого склада, лицом. Бунин отдернул взгляд — видеть их вот так, рядом, не мог, даже сейчас, когда не до личных, интимных дел и счетов...

— Иван Алексеевич, что это вы такой убитый? — спросил подошедший Зуров. — Как на похоронах?

— Они, похоже, и начались...

— Ну и что? Похоронит Гитлер Совдепию, сволоочь большевистскую, как вы же и говорите, что ж плохого?

— Россию похоронит!

— Ну почему же? Один гад съест другую гадину, только и всего.

— Съест, а сам обратно к себе в Германию уползет?! — Бунин вскочил и выгнул перед собой крюком правую руку. — Вот вам! Сожрет, да там и разляжется, переваривать будет, на говно переводить! А можно и по-другому все представить — на карачки Россию поставит да и...!

— Ян! — воскликнула Вера укоризненно.

— Что, словечко не салонное? Так мы и не в салоне, а в чужом доме, в чужой стране спасаемся, которая как раз на карачках уже и стоит!

— Но Россия же огромная какая, — сказала Галина робко. — Может, силы и найдет?

— Дай Бог, дай Бог, — пробормотал Бунин, чуть остывая. — Одна, по моему, надежда — на то, что упираться будут до последнего — и верхи, и низы. Победит Гитлер — всем конец. Большевикам петля, а народу рабство настоящее, по древним образцам, а то и похлеще.

— Народу освобождение от большевиков наверняка обещать будут, — сказала Марга.

— Вот именно — обещать! Как у нас в Ельце говорили — многим обещала, да никому не дала!

— Опять ты за свое, — пробормотала Вера.

— А ты что, как институтка? Пора и привыкнуть, четвертый десяток со мной живешь... — Бунин помолчал. — Посмотрим, что им дала ихняя коллективизация с индустриализацией, война быстро все покажет. А всего главней, каким боком армия повернется, примет войну за свою или нет.

— Заставят принять, — сказала Марга.

— Нет, милая, армию воевать не заставишь, если она не хочет того. Как в ту, первую, все посыпалось! Штыки в землю и домой.

— Большевики тогда армию разложили, — сказал Зуров.

— Большевики, да. Но чего у них никак не отнимешь — удержали-таки Россию в целости, не дали развалиться. Вот и на это теперь посмотрим — крепок ли обруч, ими набитый. А вы что отмалчиваетесь, Александр Васильевич? — покосился Бунин на сидевшего в сторонке Бахраха. — Ни слова от вас, ни звука.

— Смута полная, Иван Алексеевич. Не знаю, что и сказать.

— Смута смутой, но если я почувствую, что кто-то в душе поражения России желает — то вот Бог, а вот порог! Не только вам, всем говорю!

— А мне особенно? — усмехнулся Зуров. — Из-за рассуждения про двух гадов?

— Рассуждать по-всякому можно, я и сам мастак ляпнуть иной раз черт-те что. Я душу, суть самую имею в виду.

— Чужая душа потемки.

— Уж такое я и в потемках как-нибудь разгляжу, недаром в этой самой душе пятьдесят лет копаюсь.

— Не вольны мы в самих себе, по Пушкину, — сказала Марга.

— По Баратынскому!

— Вам лучше знать... Так вот, скажите, Иван Алексеевич, что, если желание это, червь такой, в вашей собственной душе заведется, как вам быть тогда? Руки на себя накладывать?

— И очень может быть! — Бунин засмеялся зло и едко. — Ладно, будем считать, что первое обсуждение великого дела состоялось. Глядишь, и продолжим вскоре...

Он встал, вышел из столовой, из дома и побрел в дальний, глухой конец террасы. Одному хотелось остаться, одному. Обдумать, осмыслить, понять... Он напрягся, но все та же, как после крика Зурова, пустота холодная была в голове, все та же в ней одна-единственная мысль: с Россией война! Уже и устал от тщетного усилия, и осознал вдруг, что оно и должно быть таким — тщетным. Слишком громадно, многозначно, тяжело было происшедшее — не поднять. Пусть сначала душа, сама по себе, без принуждения всякого, хоть как-то, хоть в чем-то разберется, вчувствуется, вникнет, а там уж и разум скажет свое. Да у него и всегда так бывало в самые тугие, крайние времена. Разве ум заставлял его после революции за Россию до последней возможности цепляться, до того момента, когда ясно стало — еще несколько дней, и ты в капкане? Ум давно и ясно говорил — подавай Бог ноги, а душа все не соглашалась на последний шаг. И как же корчилась в судорогах, когда Россия в море стала за кормой исчезать-пропадать...

Над лужком напротив порхала бабочка, и так прихотлив, извилисто-сложен выглядел ее полет, что Бунину вдруг почудилось, что бабочек две. Такая полнота, избыток даже свободы, воли был в ее полете, что хватило бы и на двух. А вот и на камень серый, лобастый присела она совсем рядом, крылья сложила, превратившись вдруг в черточку черную, а потом медленно, словно потягиваясь, расправила их, показала во всей красе со двоянны-

ми, спиральными, многоцветными завитками. Махаон? А вот и не знаешь толком, не чета Набокову. Тот помешан на бабочках, не понять только, как можно самое любимое ловить да морить, да на булавки какие-то накалывать, а потом еще и любоваться делом рук своих... Нет, не случайно, при всем порой восхищении, всегда чувствовал в его вещах что-то искусственное, засушенно-мертвое. Как будто он весь мир с его красками и формами божественными коллекционирует, укладывает в рядок, словно бабочек на булавках...

Поодаль, над склоном долины, стрижи носились, верезжа, и казалось, что есть у них лишь черный серп крыльев и ничего больше. И сам ведь иногда, в молодости особенно, хотел иметь только крылья, чтоб летать над прелестью земной, куда захочется, и глаза, чтобы ее видеть. В этом одном чудилось полное уже счастье... А вот, близко совсем, ласточки, где-то тут, в скалах, гнезда у них. И не верезжат, и щебечут мило, по-домашнему, по-деревенски, по-русски...

Среди зелени лужайки белели ромашки, желтели одуванчики, голубели незабудки. Странно, что и про цветы эти тоже иногда думаешь, что из России они сюда забрели...

*И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет — Господь сына блудного спросит:
“Был ли счастлив ты в жизни земной?”
И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав.*

Едва отзвучало в голове, в душе последнее слово, как что-то нужное мгновенно обозначилось и прояснилось. Молиться о России надо, вот что! А думание про войну, попытки понять происходящее, предположения, оценки — все это дело второе-третье. Этим России никак не поможешь, а вот молитвой — может быть! Каждый вечер перед сном молись, да и в другую, подходящую минуту. Боже, спаси Россию!

Бунин глубоко вздохнул, словно решил, стоя здесь в одиночестве, нечто важное, и тут же недоверчивость к простоте решения шевельнулась в нем. Так уж и дойдет твоя молитва до Бога, от такого праведника редкого, держи карман! Весь в грехах, как в репьях... Чего же и стараться тогда впустую? А не надо об этом думать, молись, вот и все. У Бога всего много. И надежда все-таки есть, любовь ее дает. Вот уж что живет в душе непоколебимо — любовь к России до муки, до боли. На это и уповай, а уж Господь как-нибудь разберется, принять твою молитву или нет...

Послышался скрип гравия под быстрыми шагами, и Бунин увидел идущую, бегущую почти, Галину. Как давно не бывало, чтобы она, вот так, вся вперед устремившись, спешила к нему.

Подойдя вплотную, выдохнула:

— Киев бомбили...

Потом уткнулась лицом ему в плечо и замерла. Он обнял ее, почувствовав, как отвык от этого, такого привычного когда-то, движения. И от запаха волос отвык, и от тела под ладонями...

— Иван Алексеевич, Киев бомбили, понимаете?! — Она отстранилась резко.

— Понимаю, чего ж тут не понять, — сказал он, трезвее. — На то и война.

— Да ведь только что началась!

— Откуда мы знаем, когда она началась в точности, а лететь до Киева недолго.

— Как же допустили долететь?

— Спроси что-нибудь попроще. — Бунин помолчал. — Таких сюрпризов впереди много будет, привыкай. Что ты так уж раскисла?

— Да ведь он кровный мой, Киев! Я всю жизнь свою российскую там прожила!

— Как же, помню, — пробормотал Бунин с усмешкой. — Могу напомнить и кое-что, тобой же забытое.

— Ах, да! — Она смутилась. — Что ж, при вашей памяти и сможете, конечно.

— Не твоей чета. Где я родился, помнишь хоть?

— Обижаете... На улице Дворянской, в Воронеже, на рассвете, двадцать второго октября.

— Что ж, и на том спасибо... А о Киеве не плачь, если даже займут его. Устоит Россия в конце концов, вот в это верить надо.

— А я и верю, — сказала она просто.

Он обнял ее, и они так постояли недолго, спокойно, как старые друзья.

Внизу, под террасой, по белой каменной дороге бежали дети, впереди девочка лет десяти, а за ней мальчик, совсем маленький, жалобно что-то кричащий. И Бунин со всегда свойственной ему мгновенной резкостью перехода ощутил себя этим мальчиком плачущим, только бежал он не по щелю, а по тропинке среди ржи...

* * *

Как затеряны были в полях, хлебах, травах их Бутырки, как ничтожно малы! И ведь сызмалу, ничего еще о большом мире не зная, он догадывался об этой затерянности, ощущал ее и как что-то сладостно-райское и, одновременно, грустное до слез. Вот он бежит и плачет от этой грусти или, может, оттого, что заблудился во ржи, и падает в конце концов на комковатую землю, затихает в истоме отдыха и даже утешается видом божьей коровки, которая, приятно щекоча, заползает ему на руку. Она так мила в своей красно-черной пестроты, округлой ладности, очерченности! Вот замерла на сгибе пальца, треснула посередине, показав что-то нежное, палевое — и улетела, исчезла. А он готов вновь заплакать, уже из-за этой разлуки...

Вот город впервые, камень его по сторонам и под колесами дрожек, многолюдье ошеломляющее, шум, гвалт, грохот. Вот базар страшный и прекрасный своей теснотой и пестротой, запахами резкими, перемешанными густо, покупка плеточки со свистком в рукоятке и плетеной из лыка коробочки с ваксой. Свисток свистит печально и нежно, вакса пахнет так остро, что хочется чихнуть. Полмира потом посмотрел, но ничто никогда так не восхитило, как та плеточка и та вакса...

Отец бодрый, горячий, радостный, мать нежная, печальная постоянно какой-то высокой, неземной словно бы, печалью. От них у него эта смесь радости-печали, которую приходится терпеть, выносить всю жизнь, из одной крайности резко переходя в другую. К матери любовь была до боли, и это тоже на всю жизнь осталось — где любовь, там и боль. Осчастливит Бог любовью, будь готов и боль ее претерпеть...

И каким одиноким было детство при отце-матери, брате, сестрах. Может, у всех это так, а может, у тех, кто даром художника бывает наделен. Вместе с этим даром одиночество дается, как с любовью боль. Были и друзья-приятели, сын кучера, сын скотника, дочь кухарки. Хорошо с ними игралось, но рано почувствовал, что он совсем особенное от них существо — барчук, из рода Буниных, которые в какую-то важную-важную книгу записаны. И представлялась эта книга огромной, и фамилия их в ней огромными буквами начертана. А жизнь в Ельце, учеба в гимназии по этому чувству особенности, избранности своей страшным оказалась ударом. Тут он в общий ряд стал, да еще и с бедного, захудалого конца. Нахлебником жил у чужих людей, в уголке ютился. До сих пор знобит, подташнивает, как вспомнишь тоску, униженность, подневольность тех бесконечных осенних и зимних вечеров...

Когда отец навестить приехал, бросился к нему с такой безумной радостью, так впился в него, так повис на шее, так надышаться не мог родным запахом табака, овчины, всего дома родного, что впервые сам вполне почувствовал, как же ему тут, в Ельце, приходилось плохо. Потом была гос-

тинаца, два дня счастья с отцом и прощание такое, что, казалось, не выдержит, умрет... А выдерживать жизнь елецкую пришлось долго-долго, и легче почти не становилось. К пятнадцати годам какой-то стержень самостоятельности начал в душе возникать, твердеть. Личность формировалась, так, конечно. Вот тогда и сказал вдруг сам себе — все, хватит! Сдаю экзамены — и домой с тем, чтобы в гимназию больше не возвращаться...

Отец был возмущен таким своеволием, но в глубине души, пожалуй, и доволен. Что-то свое в этом узнал, сам жизнь прожил, как хотелось, не считаясь почти ни с людьми, ни с обстоятельствами. Мать же плакала тихо, скорбно над судьбой сына любимого, но непутевого. Да и какой был впереди путь? Если здраво рассудить, то никакого. Но он-то чувствовал твердо — есть! По тем силам чувствовал, которые прямо-таки грудь разрывали. Жизнь и природу вокруг видеть и понимать, читать, думать, вникать во все глубже и глубже. Языки учить, переводить что-нибудь из самого лучшего, знаменитого, пусть уже и десяток раз переведенного. И самому писать... Это было самое главное, самое заветное, начавшееся еще в Ельце, незаметно как-то, исподволь, словно во сне.

А потом вдруг счастье — брат Юлий под надзор полиции домой вернулся и лучшим учителем ему стал. Такие разговоры между ними пошли, что, казалось, душа растет, ширится, силу набирает не по дням, а по часам. Чувствовал, что месяц общения с братом больше ему дает, дальше продвигает, чем год гимназической долбежки...

Внизу, под террасой, по тому же каменисто-белому изгибу дороги, где бежали дети, медленно бредет человек с котомкой, с палкой длинной в руке. Одет в рванину нищенскую, на голове шляпа, похожая издали на грачиное гнездо. Не часто здесь такого увидишь, а в России когда-то бродили во множестве, кто на богомолье, кто за подающим, а кто и просто куда глаза глядят. Вроде бы и нехорошо, тяжело бродягой быть, а и хорошо тоже. Странники, бродники, птицы небесные, ничем не дорожащие в жизни и не имеющие ничего, кроме посоха и сумы! Да и ты сам вроде бродника, всю жизнь по чужим, наемным домам обретаешься, ни двора своего не нажил, ни кола... Вспомнился странник, встретившийся под Полтавой полсотни лет назад: по белесой, пыльной дороге шел, по зною, сухой, высокий, легкий и, показалось почему-то, счастливый. И не понять было, то ли стар он, то ли молод? Бог бродягу не старит — так мелькнуло тогда. Написал об этом несколько строк, а еще и рассказ целый есть, как нищий бродяга в метель страшную из одной деревни в другую под вечер невесть зачем побрел. Ну, и замерз, конечно, с той покорностью воле Божьей, с которой воробьи и синицы замерзают. Да так он и называется, рассказ: “Птицы небесные”. То страшной такая смерть представляется, а то вдруг самой желанной, легкой...

Далеко тебя кинуло, однако. Уж если захотелось к детству-юности прильнуть в тяжкую минуту, то что-нибудь поприятнее еще вспомни. А вот как шел семнадцатилетним с почты в Озерки с журналом “Родина” в руках, как останавливался, перечитывал первое опубликованное свое стихотворение снова и снова. Ландыши рвал росистые, зарывался в них лицом, вдыхал влажно-свежий, водянистый, кисловатый их запах. Одни из самых счастливых часов в жизни тогда испытал, самых возвышенно-чистых. А стихотворение напечатанное называлось “Нищий”. Поразительно! И сейчас ведь, жизнь спустя, о нищих бродягах думал...

2

— Опять эта брюква гнусная, — пробурчал Бунин и ломтик хлеба приподнял перед собой. — Как в хорошем ресторане порезано — просвечивает!

— Ничего больше не могли достать, — сказала жена виновато. — Сегодня опять в город спустимся с Галей, может, добудем чего-нибудь. А брюква и маслом постным чуть полита, и укропом посыпана, ты же видишь.

— Вижу, да в глотку не идет. Как бы от беззубойного сплошь питания копыта на сторону не отбросить!

— Ну, до этого, положим, еще далеко, — усмехнулась Марга.

— Вам может быть, — церемонно обратился к ней Бунин. — По вашим летам молодым и силам не меряным. К тому же женщины, как известно, лучше мужчин голод переносят и вообще живучей гораздо.

— Вы о нас, как о кошках, говорите.

— А чем же кошки вам плохи? Одно из самых прелестных существ на свете. Только вот поедят их скоро, как и собак, чует мое сердце. Этой зимой и начнут.

— Ну, что ты, Ян, право! — возмутилась жена. — Мы что, в осажденной крепости, что ли? Слава Богу, в свободной зоне оказались, не под немцами сидим.

— Иван Алексеевич, а что это вы так уж забеспокоились? — спросил Зуров вкрадчиво. — Даже странно.

— Это еще почему? — вскинул голову Бунин.

— Уж если с таким проникновением голодную жизнь своих героев описывали, то можно и самому потерпеть, не тревожиться очень.

— И где же это я описывал?

— Ну, как же... Яков Демидыч ваш чудесный из “Божьего древа” говорит, что один только раз в жизни вполне сытый был — когда на бойне работал. Анисья из “Веселого двора” перед голодной смертью пшено из трещин в столешнице выковыривала и ела...

— Знаю, что это такое, потому и тревожусь.

— Может, не знаете, а лишь вообразить умеете?

Бунин помолчал и ответил сухо:

— Голодать не голодал, врать не буду. Только вообразить что-нибудь настоящему глубоко иногда значит больше, чем пережить.

— Возможно, хотя и сомнительно, — проговорил Зуров со смесью смирения и язвительности.

— А я согласна с Иваном Алексеевичем вполне, — сказала Галина. — Воображенное и ожидаемое страшней реального бывает. Это как с лошадью — когда над ней кнутом крутишь, она быстрее бежит, чем когда бьешь.

— Ай, молодец! — воскликнул Бунин, хлопнув по столу ладонью. — Именно так! Спасибо, защитила старика. А ведь городская, надо же было заметить...

— Я тоже с вами согласна, — сказала Марга, взглянув по-всегдашнему спокойно и твердо. — Только у Гали художественно вышло, вроде мазка кисти удачного, а я рассудила просто-напросто. Каждый знает, что ожидаемое, воображаемое счастье чаще всего сильнее, ярче бывает того, что сбывается потом. Вот и с несчастьем так же, пожалуй...

Бунин, невольно как-то, уже ее и не слушая, думал о ней. Что ж в ней такого особенного, чтоб Галину у него увести? Все боялся, что хлыщ какой-нибудь молодой да смазливый это сделает, а сделала баба! Мерцает в ней, правда, что-то мужицкое в повадке, в голосе, во всей натуре, но в целом-то, в общем баба же она! Тайна природы тут какая-то, странность, вывих... А человек неплохой, надо признаться, если от себя оскорбленность, обиду, возмущение отстранить. Не глупа, доброжелательна, уравновешена, литературу, вообще искусство, понимает. Да и сама в прошлом певица талантливая. И его писания любит взаправду, а не притворно, уж тут-то его не проведешь. С Верой они ладят, что, впрочем, вполне понятно. Та и сочувствовала, и жалела его даже, когда все постепенно открылось, но в самой глубине души наверняка довольна была. Две пары в доме теперь оказались — Галина с Маргой да Вера с Зуровым. Только ли материнское у нее к нему чувство? Думается — да, но изредка и сомнение найдет. Чужая душа тайна в самой ее глубине. Да что там чужая, если даже и своя собственная! Где-то у Толстого есть — кто может знать меня, если я сам себя не знаю, понятия не имею...

Бунин осмотрел сидящих за столом: да, две пары, а Бахрах, хоть человек и литературный, но чужой, словом лишь перемолвиться с ним можно. Так что оказался ты, дружок, один-одинешенек в компании этой. Главный, конечно, но один. Он и согласился с мыслью этой горькой, и тут же возмущение, протест почувствовал. Что ж, и Вера уже не твоя, и Галина на груди у тебя недавно не плакала?

В окно вылетел шмель, полетал, погудел басовито и внушительно. Все примолкли, слушая и пытаясь поймать его взглядом. А вот и сгинул, смолк, как струну тугую, ворсистую оборвал.

— Какое стихотворение у вас, Иван Алексеевич, есть удивительное — “Шмель”, — сказал Бахрах. — Чудо! Рассказ целый о судьбе человеческой. Хоть статью об этом пиши.

— Вот и напишите...

Все тут пишут, подумал Бунин с усмешкой. Академия изящной словесности на голодном пайке. И про него, небось, малюют, что позабористее. Знают же, что он-то с его книгами в литературе останется, а, значит, и малевание это не пропадет. И выскочит, глядишь, после его смерти книжка “Бунин в калсонах”, и спрос будет иметь. Впрочем, пусть пишут, лишь бы не ввали сильно.

— Как ваш “Зимний дворец” поживает? — спросил он Зурова. — Прилепили к нему новую пристроечку какую-нибудь?

— Я пристройки, многоуважаемый Иван Алексеевич, не леплю, я сам дворец выстраиваю, с вашего разрешения.

— Разрешаю! Дай вам Бог удачи...

Никогда он не кончит своего “Дворца”, подумал Бунин. Так оно и спокойнее, и приятней — делай вид, что эпохальный роман пишешь, и щеки надувай...

— А “Шмель”, вы правы, хорош, — обратился он к Бахраху. — Я его и сам люблю. Одно плохо — так и не поняли меня по-настоящему, как поэта, не оценили.

— Не все, Иван Алексеевич, не все...

— Вы, что ли, поняли-оценили?

— Думаю, да.

— Ну-ка, прочтите что-нибудь наизусть! Не кусочки-строчки, а все стихотворение целиком. Давайте, доказывайте!

— Да как-то так, сразу... — замялся Бахрах.

— Ну вот! Блок бы у вас, небось, так от зубов и отскакивал...

— Иван Алексеевич, а можно я? — спросила Марга.

— Вы? — Бунин поднял брови. — Что ж, валийте!

Марга начала негромко и просто, словно о житейском пустяке:

*У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать прости родному дому!
У зверя есть нора, у птицы есть гнездо,
Как бьется сердце горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой наемный дом
С своей уж ветхой котомкой!*

— Спасибо, не ожидал, — сказал Бунин, помолчав и покашляв. — Приятно удивили. И ведь к месту как — и дом наемный, и котомка ветхая в наличии. Лет двадцать назад писано, а так оно все и осталось.

— Я и еще могу, — сказала Марга.

— Нет, нет, благодарю покорно! Хорошенького понемножку. Еще собьетесь, все впечатление испортите.

— А я не понимаю, Ян, почему ты огорчаешься из-за стихов, — сказала жена. — Какой ты писатель, весь мир знает. Неужели этого мало?

— Писатель... — Бунин помолчал. — Поэтом быть — вот высший Божий дар.

— По-моему, ты в прозе более поэт, чем в стихах. Свободней, лиричней, откровеннее.

— Не впервой такое слышу, — вздохнул Бунин. — Может быть, может быть...

— Но почему?

— Потому, что в прозе о других чаще всего пишешь, а в стихах почти всегда о себе. Тут последнюю пуговицу расстегивать надо.

— А ты, выходит, не можешь?

— Ну, пристала, как банный лист! Сама знать должна, столько лет же-ною бывши.

— А Софья Андреевна писала, что сорок восемь лет прожила с Толстым, но так и не узнала, что он за человек.

— Посложнее, видать, был меня, грешного... Да, что-то я карты не вижу, где она?

— А мы ее в дальний угол решили перевесить, — показал Зуров. — Линию фронта по последним сводкам передвинули, ну, и решили.

— Почему решили? Да еще без меня!

— Посмотрите и догадаетесь...

Бунин тяжело встал и зашагал к карте. Он все уже понял, и все-таки увиденное его поразило — огромный кусок России был от нее отрезан черным, изломистым шнурком — от Балтики до Черного моря. Ему почудилось на миг, что его самого вдруг полоснули ледяной бритвой по спине. А вслед такой ком ярости и ужаса начал вспухать в душе, что он испугался. Дай себе волю, то упадешь и в судорогах будешь биться... И он, стиснув зубы и кулаки, медленно вернулся к столу.

— Что же вы молчите, Иван Алексеевич? — спросил Зуров. — Вы ведь несравненный России знаток.

— России, а не Совдепии! — крикнул Бунин. — А в ней я только цветочки увидеть успел, а это, — он ткнул пальцем в карту, — похоже, ягоды! Это сколько же немцы прошли за три недели?

— До шестисот километров, я посчитал примерно. Блицкриг, что вы хотите? План у них такой, а немцы свои планы обычно выполняют.

— Наполеон тоже свои выполнял, да в России промашка вышла!

— Вряд ли такое повторится, Иван Алексеевич.

Вряд ли, мелькнуло у Бунина. А все равно молиться и надеяться надо до самого конца. В самых страшных положениях рука Божия и является как раз...

— А я в совершенном отчаянии, — сказала Вера Николаевна тихо. — Чудится, что вся Россия под воду уходит, как град Китеж.

— Китеж — это красиво слишком, — усмехнулся Зуров. — Да и не по чину честь для Совдепии. Впрочем, кое-что затопить немцы и сами могут, про Ленинград такое говорилось, кажется...

— Да перестаньте вы! — крикнул Бунин. — То хоронили, а теперь топить принялись! Что вам Россия — котенок слепой?! Как бы ни было, а нам одно остается — ждать, терпеть и надежду не терять... Так, а чем же зашьем трапезу нашу роскошную, кипятком? Напиток войн и революций...

— Для меня в нем пустота какая-то есть, — сказала Галина.

— Пожалуй, — кивнул Бунин. — Что ж, дорогие сожители, посидели, поговорили, надо и меру знать...

На террасе, на дороге, на тропинках белесых, каменистых — везде было солнце, зной, небо бледно-голубое, даль мгlistая. Прелесть середины лета, когда все вокруг застыло в покое великом и, кажется, бесконечном. Бунин шел и шел, с трудом удерживая душевное равновесие и чувствуя, что вот-вот оно покачнется, рухнет. Оно и рухнуло, как только карта России вспомнилась. Он приостановился, а потом и присел на придорожный уступ в скале. Эстерель был виден отсюда, но как-то размазанно, с влажностью зыбкой. Бунин выругался и крепко вытер глаза ладонью. Да ведь не мать же она тебе, теперешняя Россия, а мачеха! Нет, милый, нет, мать на мачеху не переделается...

Как же они захватили так много за такой срок? Это ж не идти, это ж ехать вперед надо было! Ну, и ехали на танках... А армия Красная-прекрасная где же? А в глубокой, вот где! Вот тебе и пути твои полевые меж колосьев и трав... Танки теперь по ним идут, гусеницами кромсают, перетирают в прах. А деревни горят полымем со своим бревном, плетнем и соломой. Была кучка изб, хат, по какому-нибудь косорорчику над ручьем рассыпанная, и нет ее, одни печки с трубами торчат...

Нет, нельзя так сидеть, мыслям черным давать волю. Походить надо, да побыстрей, побольше, до усталости настоящей...

Бунин забрался так высоко, как давно не приходилось. Лег, упал почти под круто изогнутую ветрами с моря сосну. Ветви ее приятно и тепло желтели, хвоя зеленела плотно, в прогалах кроны голубело небо. Нет ничего для глаз милей и прекрасней, чем эта зелень и голубизна! Голубизна особенно, божественное что-то в ней есть, райское. Бог везде, конечно, но для души человеческой прежде всего там, в небесах, туда ей и уходить. А телу в землю, вот она, под спиной, под лопатками, надавливает камешками острыми, не то что в сосняке у Васильевского... Он повернулся натужно, лег ничком, лицом в ладони. Сердце билось с такой силой, словно стучалось куда-то упорно и настойчиво. Куда? В землю, только вот в чужую, а не свою...

Возвращаясь, увидел сначала крышу виллы, потом террасу и прямо под собой Галину у цветочной клумбы. Замер невольно, уперевшись рукой в ствол оливы. Оттого, что он смотрел сверху, Галина казалась одновременно и близко, и далеко. И виделась так ярко, выпукло, словно он не видел ее давным-давно и вдруг встретил.

Он все стоял, глядя, как она пропальывает ею же и устроенную клумбу с анютиными глазками, маргаритками, незабудками... Особенно незабудки в углу клумбы были хороши — словно голубого неба лоскуток, упавший на землю. Что-то пронзительно русское было в этой маленькой, жалкой, одичавшей почти клумбе.

Галина выпрямилась медленно, положила ладони на поясницу и по-крестьянски выпнулась вперед. Потом головой повела, разминая шею, и снова склонилась к клумбе — так же точно, как и четырнадцать лет назад...

* * *

Все тогда было горячее — и работа, и любовь. Работая, как всегда, с утра, после завтрака самого легкого, закрывался в кабинете часа на четыре. “Жизнь Арсеньева” писал, самую, пожалуй, лучшую, значительную свою вещь, самую, во всяком случае, свободную. Писал, как дышал, и не мог надыхаться, вторую половину дня порой прихватывал. А кто же такой этот Арсеньев? Он сам, конечно, но с добавкой некоторой идеальной. Свою собственную жизнь описывал — по фактам, событиям реально вполне, а по внутренней сути такой, какой хотел бы ее видеть, иметь, в прошлое глядя. И так это чудесно, волшебным было — вспоминать одну картину за другой и описывать их, от всего случайного, мусорного, суетного освобождая. Писал и чувствовал, что это не только его собственная жизнь, но и вообще жизнь человеческая со всеми ее радостями и печалью. С радостями прежде всего, их память выбирала жадно, искала, как сокровища, как оправдание жизни самой. Жизни гимн и получался, а значит, Творцу ее гимн. Может, именно в пору той работы ближе всего к вере, к Богу и был... Удивительно, что та жизнь, которую он за столом, над бумагой, с пером в руках проживал, представлялась интереснее, богаче, ярче и даже реальнее той давней, прошлой. Он не просто воскрешал в словах былое, но в иной, высший, нетленный ранг его производил. Творил именно. За семью замками была Россия, не войти, не въехать, а он входил, как и когда хотел, и брал, что нужно. Когда же кончал работу, опьяненный ею, сомнамбулически смотрел вокруг, словно припоминая, где он и что с ним, то иная, новая радость в душе вспыхивала вдруг — Галина! Рядом она, руку протянуть... Одно представление о ее молодой женской прелести вызывало озноб и нетерпение, а ведь еще и иное было. Никто и никогда его работу не знал, не понимал, не чувствовал, как она в ту пору. Каждый кусочек новый давал ей читать, а потом выслушивал робкие ее суждения и даже учитывал их порой. Девчонка была совсем, но и вкус истинный имела, и талант, и написала немало уже. Он-то пристрастен мог быть, но ведь и другие это признавали, печатать начинали все чаще...

Она тоже работала по утрам (сам следил, понуждал к этому) и выходила из своей комнаты в то же примерно время, что и он. И были разговоры долгие обо всем на свете, но чаще всего, конечно, о литературе. Поучал, на-

ставлял ее, как мастер, как старший товарищ, и какое наслаждение было видеть ее внимающее лицо, взгляд встречать пристально-серьезный и все-таки, в самой глубине, нежный, зовущий...

Сидели в шезлонгах на террасе, прогуливались по ней же, любуясь на даль необъятную с хребтом Эстереля и морем у горизонта, или поднимались вверх, в горы над домом. Вот тут можно было и обнять ее наконец, и сесть рядом на скользкую хвою под соснами, и лечь... Только в эти, самые интимные, минуты могла она ему “ты” сказать, по имени назвать — со смущением, с трудом. Это и умиляло, и забавляло, и обидало одновременно как-то. И каким же он чувствовал себя молодым тогда! В тридцать лет была у них разница, но исчезала вдруг совершенно. Вспомнил как-то французскую поговорку: любовь и старых ослов заставляет танцевать. Ну, какой же вы осел, да еще старый, воскликнула она тогда, смеясь. Сатир разве что, нимфу догнавший...

Счастлив был, да. Всю жизнь этого счастья ждал и дождался. Все сошлось, совпало, воплотилось в ней, Галине, о чем только мечтать мог. Его была женщина — и телом, и душой, и даже умом каким-то особенным, мягким, женственным. А если еще и работу горячую, наслаждение дающую, вспомнить, то вершина жизни тогда и была им, наконец, достигнута, и озноб страха порой охватывал — не может же такое длиться и длиться, вниз ведь должно все когда-нибудь пойти... Да это-то терпел, другое было тяжело — Вера. Мучительная, непроходящая саднила в душе вина: не просто любовницу молоденькую завел на стороне, а жить в дом ее привел. Смирилась в конце концов, а куда ей было деваться в сорок семь лет, двадцать из них с ним проживши? На папёрть с протянутой рукой идти, не говоря уже об ином-прочем? Теперь и вообразить трудно, как мог решиться на такое, а тогда некая не подвластная собственной воле сила им распоряжалась — послала судьба дар долгожданный, драгоценный, так и держи его при себе обеими руками... Наладилась понемногу жизнь втроем, уравнилась, а через три года Зуров, “Скобарь”, появился. Вера и взяла его под крыло по инстинкту материнскому да и ему в отместку, пожалуй. И не возразишь — у тебя “ученица”, а у нее “питомец”, вроде сына приемного.

В Париже особенно тяжело бывало — толклись четвером в квартирке маленькой. Ссоры по пустякам, раздражение взаимное. Галина время от времени уходить стала, то на неделю, а то и на месяц, в дешевых отельчиках одиноко жить. Хоть и навещал ее почти ежедневно, а все-таки ревновал. Как знать, с кем она в его отсутствие бывает...

Бедность тоже отношений не улучшала. Хоть и печатался немало, хоть и хвалили его на все корки, первым русским писателем объявляя, великий ряд классиков замыкающим, но денег это не очень-то прибавляло. Вечерами чтениями публичными приходилось прирабатывать, а хуже, унижительнее такого заработка ничего нет. Терпел, зубы стискивая.

Время перед получением Нобелевской премии было самым трудным. Ожидание, тревога с небывалым еще безденежьем совпали, туфли жене починить не на что было. Хорошо еще, что в Грассе эти месяцы сидели, природа тамошняя, как припарка целебная, действовала. Вечное его утешение, потому и рвался к ней всегда через все помехи.

Работал много, и чем ближе срок решения шведской академии подходил, тем больше. И на смирение христианское себя настраивал — будет неудача, третья уже, прими покорно. Может, это даже на пользу и душе, и работе, и жизни всей пойдет, как знать? Разве не бывает, что победа оборачивается поражением, а поражение победой? Да сплошь! Говорить такое себе легко было, а ждать и терпеть становилось не в состоянии. Деньги деньгами, но суть самая в ином была. Признания ждал-жаждал, да не в газетах, журналах эмигрантских, а всеобщего, мирового, которое только премия дать и могла. Жаждал и не стыдился, потому что уверенность была — достоин.

Галина держалась с ним в ту пору так заботливо, внимательно и нежно, что это и трогало его, и злило. Крикнул ей однажды: “Что ты со мной, как с больным! Неизвестно еще, чем эта премия для нас с тобой обернется, если и получу”. И ведь накаркал...

В решающий день пошли с Галиной в кино, чтобы отвлечься. На экране шла какая-то бестолковщина забавная, и вдруг сзади шорох и голос Зурова над ухом: “Звонок из Стокгольма... Нобелевская премия ваша”. Тут же вышли, он осматрелся и вдруг почувствовал, что в душе у него не ликование, а грусть...

В Париж поехал один, захотелось без помех погулять, отпустить душу на волю после мучительного ожидания. Встретили его истинно как героя, буквально носили на руках. Была и зависть, как не быть, особенно у Мережковских, скрывали ее под кривыми улыбками. В основном же литературная эмиграция приняла премию как общую победу. Наша взяла! Знай наших! Да, погулял так, что приехавшие жена с Галиной еле его отходили, в себя привели. Жена с Галиной... С ними и в Стокгольм поехал, Галину перед самой поездкой удочерил, чтобы имелась у нее законные основания быть с ним рядом. Вот уж когда почесали языки, позлословили, да и было над чем. Диковатая затея, не поспоришь. Галину уговорил с великим трудом, но уж очень хотел рядом ее иметь в минуты своего торжества, высшего триумфа. Убедил, что она имеет на это право, потому что без нее и “Арсеньева”, может, не написал бы. Она ведь и музой его в этой работе была, и помощницей вдобавок...

Запомнилось, как по пути в Стокгольм у вагонного окна в ранних сумерках вдвоем с Галиной стояли. Северная Германия плыла-тянулась, предвзвизгивая уже, с полями пустынными, припорошенными снегом, с перелесками голыми, черными. И ему чудилось, что никакая это не Германия, а Россия. Галина сказала вдруг об этом самом, и он в который раз поразился, как же они близки, как понимают друг друга. Долго стояли, переговариваясь изредка, и так это было хорошо и так почему-то прощально-грустно. Да она и об этом сказала в конце концов, прерывисто, по-детски вздохнув — о том, что лучшая, главная, может быть, часть их общей жизни позади. Он согласился с ней в душе невольно, но тут же испугался этого согласия и стал говорить поспешно — нет, нет, что за глупости, лучшее, главное впереди как раз! Говорил и чувствовал, что права-то она. Почему, Бог весть, но права...

Торжества прошли так, что лучшего и пожелать нельзя. Он, по общему мнению, был на той высоте, которая вообще возможна: благородно сдержан, аристократичен, остроумен, достоинство истинного полон... Так писали газеты, и в одной даже мелькнуло: изысканно-красив, и это понравилось ему едва ли не больше всего. Если же всерьез, то самым высшим для него моментом было окончание собственной речи, гром аплодисментов и мгновенное, как вспышка, представление о пройденном пути — от нищеты, одинокой юности в российском захолустье до этого рукоплещущего, блестящего зала...

Галина же во время торжеств была грустна, а если и улыбалась, то принужденно-грустной улыбкой. Как ни выхватит ее пронзительно-милое лицо из многих других — грустна... Он даже раз прикрикнул на нее: “Что ты как в воду опущенная?! Свадьбу с похоронами спутала, что ли?” На обратном пути она, простыв, заболела, и пришлось оставить ее в Германии на руки Степунам, старым добрым знакомцам, до выздоровления. Все и обошлось, а весной в Грасе Маргарита, сестра Степуна, приехала. Что ж, прекрасно, подумал он тогда, новый человек, новый интерес...

Поселили их вместе (так естественно это представлялось) и прозвали в шутку “барышни”. И все было хорошо, а потом, понемногу, стало казаться странноватым. Уж очень “барышни” неразлучны были и держались как-то на особицу. И с ним Галина другой стала, отчужденней и холодней. Наедине старалась не оставаться под разными предлогами, близости избегала всячески.

Понимание пришло, как вспышка, мгновенно все озарившая. Почудилось, что умрет вот прямо сейчас, в момент озарения этого страшного. Потом мелькнуло, что убить кого-нибудь надо — ее, Маргу, себя... Себя на трепье место все-таки поставил, усмехнулся он, вспоминая.

А дальше кошмар настоящий пошел, затмение, мрак, туман кроваво-красный. И в Грасе, и в Париже. Два года был совершенно безумный, спившийся человек. И разорился вдобавок — собрание сочинений за бесценок

отдал, нобелевские деньги жулики какие-то выманили. Ничего не мог сообразить толком, рассудок как отшибло. Тяжелей всего перепады душевные были — то задуть Галину хотелось, то все простить и возвращение вымолить. И еще сколько всего было в безумие это двухлетнее намешано — и гордость за признание мировое (оставалась же она все-таки), и чувство позора, стыда, и жажда мести, и боль душевная такой силы, что переходила прямо в физическую. Жена так за него тогда боялась, что, пожалуй, готова была просить Галину вернуться в “ученицы”. Вот не любит он Достоевского, а в ту пору достоевщина сплошная как раз и была...

Все-таки выжил, отрезвел, оклемался понемногу, а там и к столу присаживаться стал. И смирение Бог послал спасительное. Был тебе подарок щедрый? Был. Вот и будь благодарен, и не ропщи. Что было самого хорошего, истинно волшебного, то в душе и останется в конце концов...

А теперь что ж, теперь он порой и рад даже, что Галина рядом, укрылась под его кровом в трудную минуту. Сначала из Парижа вместе от немцев бежали, а потом в Грассе, в свободной зоне осели. А от того, прошлого, давнего осталось ли что? Да и осталось, брезжит, дотлевает, как поздняя заря...

3

Бунин сидел на террасе, смотрел на Грасс, на горы, на море. Одно из лучших, пожалуй, мест на свете! Недаром Мопассан считал вид на Антибский мыс с моря самым прекрасным из того, что он видел. А если глаза к небу поднять, то скоро чувствовать начинаешь, что вокруг никакой не Прованс, а Орловщина, Глотова, Огневка... Небо не то, что земля, везде одинаковое почти, разница лишь в оттенках. Васильковое оно какое-то сейчас, в середине октября, да такое же, может, не только здесь, а и над Огневкой, над полями ее осенними, скудными...

Послышался хруст гравия, и он увидел жену с Галиной. Шли они понуро, особенно жена, и он подумал, что опять какая-нибудь новость веселенькая из России.

— Было радио, взяты Калинин и Калуга, — сказала жена.

— Какой Калинин! — Бунин вскинулся так, что шезлонг под ним взвизнул. — Тверь!

— Пусть Тверь, — согласилась жена терпеливо. — Не в словах дело.

— И в словах тоже! Назвать Тверь именем какого-то слесаря...

— Он из типографских наборщиков, кажется, — сказала Галина.

— Что ж, хорошо свое имячко набрал, целую Тверь накрыть хватило!

— Ян, немцы ее заняли, возьми в толк, наконец!

— Да, да, понимаю... — Бунин помрачнел, помолчал, потер лоб ладонью. — И Калугу, говоришь? Бывал, сестры Маши город. Хорошо, что его не переименовали в какой-нибудь Васьюград... Господи, да это ж, считай, Подмосковье дальше! Как раз в “Войне и мире” про Бородино сейчас читаю, надо же совпасть...

Что-то прозвенело вдаль, остро и коротко. Удар по железу, колокольчик какой-то? Колокольчик, дар Валдая, мелькнуло у Бунина. И тут же Калуга в мае девятисотого года вспомнилась. Вот тогда ему был от Калуги дар, внезапный и щедрый... Значит, не просто в Калуге немцы теперь, но и в той гостинице губернской, в которой он провел одну из лучших ночей в своей жизни...

— Ох, мне же на кухню надо бежать, отбывать повинность, — сказала жена.

— Ты же позавчера, по-моему, отбывала? — вскинулся Бунин. — Не много ли на себя берешь?

— Так оно выходит...

— Выходит, что Зурова подменяешь, давно заметил! С чего этому бугаю здоровенному такая честь?

— У него работа над романом, наконец, пошла, отвлекать жалко.

— Прекрати! И себя не позорь, и меня!

— Так что же, я и в этом уже не вольна?

— Не вольна, да! Не может жена Бунина из-за какого-то остолопа на кухне маяться! Да я его сам в это носом ткну, как щенка в дерьмо!

— Ян, не смей! — воскликнула жена и с возмущением, и со слезой. — Хоть чем-то в самой себе я могу распорядиться, не полной же твоей рабыней быть?

— А о здоровье ты думаешь? Вон, желто-белая стала вся, как бумага третьего сорта!

— Здоровье-то мое собственное все-таки.

— И мое тоже! Как и мое для тебя! Основы жизни брачной, что ли, тебе объяснить прикажешь? Или, лучше того, мне на кухню пойти, за молодца этого поработать, время для творчества его великого ему освободить?!

— Ты как хочешь себе, а я обещаю и обещание сдержу...

— Ладно, беги, обслуживай своего питомца! До выноса горшков скоро дойдет! — крикнул Бунин вслед уходящей жене.

— Иван Алексеевич, что-то вы уж очень резко... — заметила Галина.

— Резко?! Да я его вчера чуть ножом кухонным не пырнул! Я за нож, а он за табуретку... Представь, заявил, что я луковицы с его грядки заповедной таскаю!

— Да, действительно... Ну, и что же?

— Бахрах вошел, растащил бойцов.

— Неужели вы могли бы?..

— Ножом-то? — Бунин усмехнулся. — Нет, конечно. Веру жалко, себя жалко, да и его, шельмеца, заодно. Хотя... Кровь-то бунинская, суходольская, в ярости страшная!

— Да уж знаю, — сказала Галина тихо.

— Кому и знать... Ладно, ну его в задницу, Скобаря этого. Ты-то как живешь?

— Как видите, — развела Галина руками. — На ваших глазах каждый день.

— А что я вижу? Грустна да уныла, вот и все. И работу забросила.

— Не до работы теперь.

— Теперь-то как раз и работать, когда ничего иного нет. Даже и проголодь наша в пользу, голова и душа проясняются.

— У вас, но не у меня. Я все вспоминаю, как вы “Арсеньева” писали, а я свои пустяки. Вот это была работа!

— И жизнь!

— И жизнь...

Ветерок в вайях шуршал, запоздалый кузнечик стрекотал где-то рядом, автомобильный гудок долетел из Грасса, долгий, странно нежный, как человеческий зов.

— Неопределенность положения мучает, — сказала Галина. — Долго-то здесь не прожить.

— Это почему?

— Тягостно вместе, тяжело, вы же видите...

— Вместе тяжело, а врозь будет еще тяжелее, — твердо сказал Бунин. — Вот, запомни, что я сказал.

— Запомню. Спасибо.

Он почувствовал на своей голове ее легкую, теплую руку. Замер, но рука тут же исчезла, и по гравии зашуршали удаляющиеся шаги. Он все сдерживался, не поворачивая вслед за ней голову, и повернул наконец. Она уходила медленно, задумчиво как-то и, казалось, была точно такой же, как в то лето давнее, первое здесь... Бунин напрягся, будто вскочить, догнать, вернуть ее хотел. Да и хотел, но зачем? Все не только с возу упало, а и быльем поросло. Вспомнилось вдруг, как на новогоднем эмигрантском балу, где были впервые вместе, к Одоевцевой его приревновала и убежала полураздетая, в одних туфельках, в свой отельчик. Вот тогда можно и нужно было догонять, утешать, разувирать. И гордость чувствовать — ревнует! Любила, конечно... Иначе разве смогла б все сплетни, насмешки, злословие годы и годы терпеть. Зинка Гиппиус и руку-то ей подавала, в сторону отвернувшись демонстративно. Уж чья бы корова мычала! Чучело бесполое, а тройственные

союзы устраивала-таки... Многое Галина вынесла такого, что лишь любя вынести можно. А теперь? Может, и у нее тлеет еще уголек какой-нибудь завалящий? Вряд ли... Сам же когда-то написал, что для женщины прошлого нет. Это мы, мужики, все с прошлым этим носимся, как с писаной торбой... Ладно, брось, не трави попусту душу. Другое для этого занятия есть, поважней — Россия...

Он встал и начал ходить по террасе из конца в конец. Движение переменило душевный настрой, и стало вдруг представляться Бородино толстовское, написанное с такой мощью, что казалось: и он там был — и в деревне, и в полях вокруг кочковатых, кустарником местами поросших, и в самой той битве. И Наполеона видел с его величием ничтожным, и Кутузова с величавой простотой, и батарею Раевского, стоявшую несокрушимо... Да, но это роман всего лишь, пусть и Толстого! Ну и что ж, что роман? Если так можно было об этом написать, значит, так оно, в сущности глубинной, и было. В этом связь высокой литературы с Провидением, с Богом самим... Вдруг устроят немцам с Божьей помощью новое Бородино? Как же, держи карман, будет Бог заклтым безбожникам помогать! Хотя безбожники-то наверху лишь, а внизу народ замороженный, Россия...

В дальнем конце террасы за низкорослыми, хилыми деревцами оливков были зуровские грядки, и Бунин заметил там какое-то движение. Подошел поближе и увидел девчущку, сидевшую на корточках и дергавшую лук. Небольшая кучка уже надерганного лежала рядом с ней. Он присмотрелся — девчущка была знакомой, не раз попадавшей ему на здешних дорогах и тропинках. Он даже называл ее про себя “Наташа Ростова”, так глазаста, большеерота, полна бьющей через край жизни она была.

Бунин стоял, не зная, как быть дальше. Скобарь мерзавец, конечно, но ведь с грядками своими с самой весны возился, в поте лица добывал лук свой. Вроде бы и нехорошо было плоды трудов этих не защитить. Да, но ведь и девчущка их ворует по причине вполне весомой — жизнь голодная. Не персики какие-нибудь ворует, а лук, пищу бедняков.

Он сделал неосторожное движение, и девчущка замерла, осматриваясь. Бунин готов был повернуться и уйти, но тут же встретился с ней взглядом. Ее глаза стали круглыми, и она выпрямилась медленно с луковицей в руке.

— Не бойся, — мягко сказал он по-французски. — Не бойся, все хорошо.

Он пошел к ней, улыбаясь, и она невольно, бессознательно начала улыбаться ему в ответ.

— Как тебя зовут?

— Жанетта, — прошептала она.

— О-о, тут рядом вилла есть с таким названием, знаешь?

— Знаю, конечно, — сказала она погромче.

— Совсем хорошо... — Он помолчал, глядя, как страх уходит из ее глаз, сменяясь любопытством.

— Забирай лук, — сказал он.

Недоумение мелькнуло в ее лице.

— Забирай, забирай, — показал он на кучку лука.

Она присела и быстро побросала луковицы в подол своего длинного, захлапанного платья, выпрямилась, взглянула вопросительно.

— Вот и все, — кивнул он. — Только больше так не делай!..

— Хорошо, мсье.

Уходила она медленно, а вот и обернулась с прощальной улыбкой...

Прямо хоть святочный рассказ пиши, подумал Бунин. У Чехова что-то похожее есть, “Устрицы”, кажется. Да и “Ванька” тоже. Пустяк вроде бы, но рассказ-то великий! Одна фраза “На деревню дедушке” чего стоит, навсегда в обиход вошла.

Он пошел к дому, а девчущка с ее последней улыбкой все вспоминалась ему. Ну, а с Зуровым как быть, рассказать, что ли? Нет и нет! Получится, что ты доказательство своей невиновности нашел. Унизительно и смешно! Девчущка больше не придет, конечно, а если и придет, не велика беда...

Около пяти, в самое любимое свое, самое спокойное, располагающее к созерцательности время, Бунин долго стоял у открытого окна кабинета, смотря на небо, горы, полоску моря у горизонта, подумал вдруг, что, если бы из всех чувств, всех способностей человеческих осталось у него одно лишь зрение, то и тогда бы он мог быть счастлив. А видеть достаточно было бы все то же небо, горы, море. Или поле, реку, сад, лес... Или даже одно дерево вот это с пестрым дятлом на стволе. И не просто этого хватило бы для счастья, но, возможно, в этом-то оно, в самой сути, для него и состоит? Видеть Божий мир, прелесть и гармонию его понимать — и ничего больше не надо. Самое это чистое, радостное, легкое, остальное в жизни лишь сутолока, морока, дым и чад... А любовь? Так вот и люби это небо, эти горы, эти деревья, уж они-то не подведут, не обманут, не обернутся болью и отчаянием, как женская любовь...

Неожиданно для себя он достал папку с рассказами, написанными осенью прошлого года за два примерно месяца. Пересмотрел и поразился — тринадцать! И маленькие совсем есть, и очень большие. Книга целая! Настоящий творческий запой случился, иначе и не назовешь. С утра до вечера работал, выходил из кабинета лишь размяться ненадолго и был совершенно хмельным, не понимая хорошенько, то ли он у себя дома, то ли там, в обстоятельствах очередного рассказа. Бывало даже, что, кончив один рассказ, сразу принимался за следующий. Да и всегда, всю жизнь так примерно происходило. Первую часть “Деревни” за две недели написал, “Суходол” за месяц с небольшим. Потом, разумеется, все вычитывал тщательно, что-то менял, правил. Но первый, основной текст получался, как горячий выброс, выплеск души. В лучших, само собой, вещах. Малоудачное трудно писалось или вообще оставалось недоделанным, брошенным.

Он перебирал рассказы и вдруг задержался на “Волках” и прочитал их, кое-что изредка поправляя, вычеркивая, в основном. Прочитал и сам удивился — совершенный пустяк, а ведь хорошо! Едут в тележке ночью гимназист с мелкопоместной барышней, он целует ее то в шею, то в щеку, вдруг волки на дороге, лошади в сторону дико рвутся, барышня рассекает при этом щеку о что-то железное, и остается шрам в уголке губ. Последняя фраза была хороша особенно: “Те, кого она еще не раз любила в жизни, говорили, что нет ничего милее этого шрама, похожего на тонкую, постоянную улыбку”. Потом прочитал “Визитные карточки”, также вскользь кое-что исправляя. И эти несколько страничек были очень неплохи. Близость плотская, случайная в паровой каюте — и тут же прощание. “Он поцеловал ее холодную ручку с той любовью, что остается где-то в сердце на всю жизнь, и она, не оглядываясь, побежала вниз по сходящим в грубую толпу на пристани”. Так откуда же любовь, да еще такая, спросил он себя, сам как бы удивляясь написанному. Не знаю, ответил, Бог весть... А лучше всего, что толпа на пристани именно грубая, и тоже толком не объяснишь, почему...

Набросок какой-то затесался в готовые уже рассказы, он прочитал и его. Да и не набросок это, рассказ, кое-что только добавить надо. И опять лучше всего конец: “Помню, как провожал ее на Курском вокзале, как мы спешили по платформе, заглядывая в переполненные народом зеленые вагоны... Помню, как она наконец взобралась в сенцы одного из них, и как мы говорили горячо, прощаясь, как я обещал ей приехать через две недели в Серпухов... Больше ничего не помню, ничего больше и не было”. Вот так это все и кончается — ничего, нигде, никогда...

Прочитав рассказ “В Париже”, он почувствовал себя уставшим. От чего, подумал и грустно, и раздраженно. От простого перечитывания с легкой правкой? А как же ты все это написал стремительно год всего назад? Ослабел, что ли, постарел всего за год? Вполне возможно, если вспомнить, каким тяжелым год оказался, но не в этом все-таки суть. Настрой рабочий дает силы, всегда его дожидался, готовился исподволь. Уединения искал, чтения особенного, серьезного, душу укрепляющего. Даже есть начинал по-иному, скудней и проще, спиртного чурался. И ведь ничего не решал заранее, само

собой это совершалось, по внутреннему, тайному какому-то приказу. Вот и древние русские иконописцы к работе готовились похожим образом. Что ж, в самой глубине истинное художество общий корень имеет, тут что иконы писать, что рассказы. И Чехов говорил, что в рабочую пору до обеда ничего, кроме бульона и кофе, в рот не берет, иначе дело идет плохо. Как часто он вспоминается, словно родной, самый близкий человек. Как брат старший, опытный и мудрый. Надо, надо книгу о нем написать, тут и желание, и долг тесно сходятся. О Толстом написал, сдюжил-таки, напишешь и о нем. Удивительно, как с Толстым название, в самом начале работы пришедшее, делу помогло! “Освобождение Толстого”. Едва мелькнуло, так все и озарилось сразу. В смерти в конце концов освобождение, к ней человек и идет всю жизнь, сбрасывая путы земные... Сказал как-то Антон Павлович: вот умрет Толстой, все пойдет к черту! И ведь угадал настолько, что и сам бы поражен был. Его-то герои, в пьесах особенно, все печалью, да тоской, да бессмыслицей жизни маялись, а такие вскоре пришли времена, что все это блажь стало выглядеть. Уцелеть бы только, в печь чертову, адову не попасть... А что было бы с Чеховым, если б прожил он еще двадцать, тридцать, сорок лет? Вот теперь бы ему восемьдесят один год и был, Толстой даже чуть подольше продержался. Эмиграция? Он попытался представить себе Чехова эмигрантом, но ни одной черты, детали не давало воображение. Это даже за дело его — сам-то уехал, хоть и держался за Россию до самой последней возможности. Так в чем разница, почему Чехов в эмиграции совершенно непредставим? Может, в корнях родовых все дело? Ты-то дворянин столбовой, чем и гордишься всю жизнь, а он внук крепостного, разница громадная. Да, но ведь бедны оба с юности были, а потом у него даже и благополучнее все пошло, университет закончил, доктором стал, а ты со своей голубой кровью так гимназистом-недоучкой и остался... И все-таки, похоже, дело в корнях. Ты, аристократ нищий, уехал, а он, простолюдин, остался бы с народом своим, пусть и обезумевшим... Ну, остался, а дальше что? Уж никак не запел бы он под большевистскую дудку. Скорей всего литературу бы оставил и работал бы себе врачом для бедных. Вернулся бы от любовницы-литературы к медицине-жене, как сам это и определял. Толстой, кстати, тоже мог бы и до четырнадцатого, и до семнадцатого года дожить, почему нет? Крепок был на редкость, две болезни страшные подряд в Крыму в старости перенес, на волоске висел и все-таки выдюжил. И работал потом много, и на коне верхом ездил до самого бегства из Ясной Поляны. А умер странником у дороги. И ужасное что-то в такой смерти есть, но и величественное тоже... Томас Манн, на Нобелевскую премию тебя выдвигавший, считал, что, будь Толстой жив, мировой войны могло бы и не случиться. Вот это оценка человека и писателя! С чеховской, кстати, совпадающая...

В последнюю встречу шел по Арбату в страшно морозный вечер и неожиданно столкнулся с ним, бегущим своей пружинистой походкой. Остановился, сдернул с себя шапку. Узнал сразу, заговорил старческой скороговоркой, шапку тут же заставил надеть. Лицо его так застыло, посинело, что имело совсем несчастный вид. Большая рука, которую он вынул из вязаной перчатки, была совершенно ледяная, а рукопожатие крепкое и ласковое. И слова последние, со взглядом горестным: “Ну, Христос с вами, Христос с вами...”

А Чехов чаще вспоминается в Ялте, в жару, на набережной.

— Вы любите море, Антон Павлович?

— Да, только очень уж оно пустынно.

— Это-то и хорошо.

— Хорошо быть молодым офицером или студентом, сидеть в людном месте, слушать веселую музыку...

Так просто, так обыденно сказал, и такая была в этих словах тайная печаль! О чем? Об ушедшей молодости, об уходящем здоровье?

4

Время от времени Бунин, измученный тревогой о России, запрещал себе думать о ней, положение на фронте узнавать. Удавалось это с трудом, а если удавалось, то тревога, загнанная глубоко внутрь, превращалась в злую,

ищущую выхода и разрядки тоску. И он становился совершенно несносен и для себя, и для других, начинал бояться какой-нибудь вспышки гневной, безобразной, сторонился домашних, ходил до усталости по горным тропинкам. Помогало это плохо, и тогда оставалось последнее средство — уехать в Канны или Ниццу и побыть там одному.

День выпал хорош — теплый не по времени, солнечный, с живым, бодрящим ветерком с гор. Пока ехал до Ниццы, в погоде что-то едва уловимо изменилось, и он не сразу сообразил, что. Пеллом словно бы все подернулось — и небо, и море, и горы, и солнце. Не раз он совершенно спокойно наблюдал нечто похожее, а тут вдруг почувствовал с недоумением, что ему от этой перемены тяжело, тошно. Почудилось, будто пепел пожаров из России донесло. И ветер как раз северо-восточный... Он стиснул зубы со злостью. Ну, сколько можно душу травить! Уймись, дурень! Далекое все это и давно чужое... Чужое! Да в том-то и беда, что третий уже месяц не только Россию терзают и душат, а и тебя самого в самом почти прямом, физическом смысле, до ощущения удушья, удавки, петли...

Пляж был почти пуст и казался гораздо больше, чем летом, в многолюдье. И особенная печаль, тоска даже в этой пустынности чудилась, словно люди не просто не пришли сюда, а вообще исчезли из мира, умерли, погибли. Бунин чертыхнулся: на что ни посмотришь, о чем ни подумаешь, за всем Россия с ее погибелью стоит. Взяв шезлонг, он устроил его так, чтобы было видно и море, и горы в стороне. Высокая, стройная женщина прошла мимо, остановилась неподалеку, постелила плед, положила на него книгу и сбросила халат. Какое тело удивительное — тонкое, но и сильное, бледнокожее с сиреневым оттенком. А лицо круглое, простенькое должно быть. И веснушчатое, пожалуй... Ну, точно, угадал! Северная дева, англичанка скорей всего. Молоденькая и какая милая! И совсем одинокая здесь, на чужой стороне. Заваруха военная ее сюда, скорей всего, занесла. Одиночество молодости, как оно знакомо! И не скажешь даже, когда его больше — на заре жизни или теперь, жизнь, в сущности, прожив...

Девушка неожиданно и резко встала и побежала к морю — легко, умело, быстро. Скорости не замедлив, ворвалась в воду в куче брызг, вперед упала и поплыла, попеременно и далеко выбрасывая руки. Вот остановилась, приподнялась, как бы осматриваясь, и так же быстро, бурно поплыла к берегу. А вот уже и к пледу бежит, крепко натирается полотенцем, так, что бледная ее кожа краснеет на глазах. Да с чего ты взял, что она северный тип? Да так и мы северный во многом народ. Вот и ей, лихой девице этой, почему бы русской не оказаться? Мысль странно обрадовала его. Может, заговорить, узнать? Он взглянул на нее с готовой уже на языке шутливой фразой, но она опередила его. Кивнула на прощанье приветливо, пожелала на чистейшем французском языке приятно провести время и пошла к кабинкам для переодевания.

Взглянув на море, он медленно погружался в любимое свое созерцание, когда весь целиком превращаешься в огромный, все видящий и все принимающий в себя глаз. Море чаще всего такое вызывает, да еще степь. А любимое самое — сочетание моря и степи ковыльно-полынной, как под Одессой. Сколько там часов и дней блаженных, истинно райских прошло! Там впервые и вполне понял, что человек он закваски южной, что жаждет кровь его солнца, зноя, простора бескрайнего вокруг. Горы хороши, конечно, но жизнь в них порой и тяжеловата, — душа от тесноты устает. Горы вдали — вот чудо истинное, и как это в толстовских “Казаках” волшебным образом показано. Едет Оленин, видит вершины гор дальние, белые и, о чем бы ни подумал, что бы ни почувствовал, все кончается у него одной и той же мыслью-фразой: “А горы!”

Так, словно он каждый раз к Богу обращается...

С внучкой Толстого Татьяной Михайловной недавно встретиться пришлось и даже в гости ее позвать. Больше того, “Балладу” свою ей прочитал. Читал и волновался невольно — внучка Толстого слушает, а значит, немного и он сам... И еще одну внучку Бог послал, Пушкина. Как узнал, что она в Ницце прозябает-бедствует, сразу искать ее кинулся. Разыскал, в Грасс по-

гостить привез, окружил всяческой заботой. Читать, правда, ничего не читал, видел, что не в коня будет корм. Бестолкова, да, пожалуй, и глуповата оказалась внучка, то ли по старости, то ли отроду. Природа, видать, не только на детях гениев отдыхает, но порой и на внуках. И все-таки, как ни жалка она была, нет-нет, а прорывалось и перед ней благоговение истинное. Пушкинская кровь, святыня! Да, у Толстого горы, а у Пушкина море как написано удивительно, с жизнью, с судьбой человеческой слито.

...Куда же // меня б ты вынес, океан, // где капля блага, там на страже // иль просвещение иль тиран... Ай да Александр Сергеевич, какую оплеуху просвещению казенному влепил! И ведь точно так оно в твоей собственной судьбе оказалось. Измучило так, что даже из гимназии сбежал, до конца не вытерпел. Эдакий житейский пример к пушкинским стихам получился. Ну, а академика звание? Это другое, это не просвещения, а самообразования плод и, главное, таланта. А всего поразительней, что в долгой уже жизни дня, пожалуй, не проходило, чтобы Пушкина или Толстого так или иначе не помянуть. Истинно, Боги его в литературе, поводыри души. И ангелы-хранители, конечно, иначе б не устоял под напором всяческой дури бесовской, новомодной, модернизмом именуемой...

В кафе на набережной, как и на пляже, было пусто. Хозяин, которого Бунин знал с первых лет жизни в Грассе, улыбнулся ему приветливо. Он помнил его еще официантом, стройным и кудрявым, а теперь видел грузного, лысого, пожилого человека. Но глаза были те же, давние — смесь лукавства, веселости и грусти. Французские глаза.

— Добрый день, Поль.

— Добры, добры, мсье Бунишь.

— Бунин.

— Да, да. — Поль хлопнул ладонью по лбу. — Бунин, да. Что дать приказать?

— Бордо бутылку и сыр. Сыр хорош ли?

— Не хорош, нет.

— Все равно, давайте.

Бунин неплохо говорил по-французски, но при любой возможности этого избегал, как вот теперь, с Полем. Казалось, что, перейдя вполне на французский язык в разговоре с французами, он бы некую унижительную измену совершил. Чуть, блажь, которая все не проходила и теперь уже, конечно, не пройдет.

Выбрав столик в тени огромного платана, откуда было видно море, Бунин попробовал вино, оказавшееся кислым, а сыр отдавал мылом. Что ж, надо мириться по нынешним временам. Он выпил стакан залпом и скоро почувствовал, как первый, легкий хмель согревает ему душу. Было и без него не худо, а с ним стало совсем хорошо. Много пришлось попить на веку, ничего не скажешь. Пить-то пил, но и дело разумел. Алешка Толстой был на такое мастер. Обвязывал утром, с похмелья, голову мокрым полотенцем — и за стол. И работник был первостатейный, и гуляка, и хитрец-мудрец. При всех властях устроиться умел. Теперь вот в Совдепии большим баринном живет, граф, видите ли, советский. Напоказ его держат: всех, мол, приветим, облагодетельствуем, только верно служите. Мерзавец он, конечно, а чем-то ведь и приятен был. Талантом, натуральностью, жизнелюбием, похабщинкой даже такой неприкрытой. Встретились не так и давно в парижском кафе случайно; домой, в Россию звал, золотые предрекал горы. Тиражи миллионные, деньги сумасшедшие, авто с шофером, дачу в Крыму наподобие дворца. И встретят, дескать, с колоколами... Заманчиво, что лукавить, даже и дернулся в эту сторону, да тут как раз война, не до того стало. Оно, пожалуй, и к лучшему. Душе там, в Совдепии, некуда бы приткнуться было, а богатством душу не насытишь. По слову Апостола: “Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит”. Да, а второй друг-приятель, Горький Максимович покойный, уж так в новой этой России вознесся, что страшно было. Нижний Новгород — Горький, Тверская в Москве — улица Горького. Тут не до гордости, тут ужас должен человека охватывать. Получается ведь, что с живым обходятся, как с мертвым. И как же он жил

там, Господи? По слухам, как в золотой тюрьме... Ну, а тебе самому какво было и есть, с твоей свободой? Письма о помощи пишешь то в Швецию, то в Америку, ходишь, в сущности, с протянутой рукой: подайте старику, Нобелевскому лауреату, на пропитание. А что делать — без стыда рожу не износишь, истинно так. И еще говорят — аки наг, аки благ... Есть у Толстого в дневниках, что если бы был свободен, то жил бы, как юридивый, и ничем бы не дорожил в жизни. Он-то, пожалуй, смог бы, а вот ты и нет. Не по Сеньке такая шапка...

За спиной у Бунина послышались громкие, распаленные голоса. Женский выделялся, мужской покрывал — низкий, напористо-злой. Он был даже красив, как ни странно. Контральто, определил Бунин, не кричит, а поет прямо-таки. Смысл улавливался с трудом, и вдруг из французских русское слово вырвалось и отпечаталось смачно: “Свинья!” Бунин усмехнулся, довольный, и, обернувшись, увидел крупную, грудастую женщину в красном платье и тощего, сутулого, невзрачного мужчину. “Иди, иди, нечего шпионить! — кричала женщина. — Я вольный человек!” Она теснила его высокой своей грудью, и он отступал шаг за шагом. Потом махнул рукой, повернулся и ушел быстро. Женщина стояла неподвижно, подбоченившись и словно бы решая, как ей быть дальше. Бунин все смотрел на нее.

— Что выставился, старый лягушатник? — сказала вдруг она по-русски своим приятным, негромким теперь, для самой себя, голосом.

— Рад соотечественницу встретить, — улыбнулся Бунин.

— Ой, как нехорошо! — смутилась женщина. — Простите, ради Бога!

— Пустяки, даже мило. Только с лягушками вы ошиблись, не ем. А вот что старый, это верно.

— Как сказать... — Женщина медленно шагнула к столику, посмотрела испытующе. Глаза у нее были яркие, василькового сильного цвета. — И старый, и нет.

Бунин рассмеялся.

— Вот, вот, в самую точку попали. Я ведь сам про себя именно так порой думаю: и старый, и нет. Что значит земляки! Вина, может быть? — Он повел рукой приглашающе.

— С удовольствием. Только я сама, уж извините...

Она подошла к стойке, поговорила с хозяином, и было видно, что они хорошо знакомы. Бунин наблюдал за ней с пристальным интересом.

Какая большая вся, но и какая ладная, легкая в движениях, в походке! Ноги полные без излишка, высокие, светловолосая голова на высокой шее гордо поставлена... А вот уже и идет к нему, да как величаво, и стакан с вином не мешает ей! Вот и замерла у столика, словно давая ему возможность рассмотреть себя. Бунин встал и выдвинул для нее стул.

— Ваше здоровье! — сказал он, когда она села, и приподнял стакан.

— И ваше!

— Берите сыр, плох он, правда, да что делать. Как вас величать прикажете?

— Мария Сергеевна. Или Маша, или Мари. Выбирайте, что хотите.

— Ну, а я вам выбора такого не предоставляю по сединам своим, уж извините. Иван Алексеевич.

— Какой уж там выбор! — воскликнула она. — Вы по виду то ли профессор, то ли генерал.

— Вроде того, — усмехнулся Бунин. — Ну, а вы в России ребенком всего-навсего были, конечно.

— Не скажите. Одесскую гимназию закончить успела.

— Вот так-так, — протянул Бунин удивленно. — И такая молодая до сих пор!

— Спасибо, — кивнула она. — У нас в роду все женщины долго молодыми выглядели.

— И когда же вы уехали?

— С отцом, в начале двадцатого, из Одессы.

— Уж не на “Патрасе” ли?

— Именно на нем.

Бунин рассмеялся, разведя руками.

— Ох, тесен мир! Мы же с вами вместе плыли! Помните, небось, раздачу вина бесплатную? Лиловое такое было вино, совершенно ужасное.

— Представьте, помню. Папа его пил.

— Может, позвольте все-таки? — Бунин приподнял бутылку. — Если уж у нас столько общего!

— Да, налейте, — кивнула она. — Я довольно много выпить могу, хоть особенного пристрастия к вину и не имею. Говорят, потому что кровь сильная.

— Кровь сильная, — повторил Бунин. — И, видно, не только кровь. Что ж, за наш “Патрас”, который тогда не утонул хотя бы.

Васильковые глаза ее, чуть повлажневшие от вина, были поразительно живыми и очень при этом спокойными. Редкое сочетание, подумал Бунин.

— И что же у вас было после “Патраса”?

— Спросите лучше, чего не было, — усмехнулась она. — Все было.

— Так-таки все?

— Так-таки. Горек хлеб чужбины...

— И круты ее лестницы.

— Да, Данте... До Парижа добирались чуть не год. Балканы, Прага, Берлин. А в Париже чердаки да подвалы. И полы мыла, и белье стирала, и на консервном заводе работала. И торговала с уличных лотков...

— А отец?

— Умер от сердечного приступа. В метро, рядом со мной сидя... Только-только таксистом работать стал.

Она покосилась на бутылку, и Бунин молча налил ей и себе. Молча и выпили.

— А кто он в России был, позвольте узнать?

— Полковник артиллерии. После его смерти совсем худо стало, хоть на панель иди. Уже и собралась, да не смогла, натуру не пересилила.

— Но мужчины-то были? — спросил Бунин осторожно.

— Как не быть. — Она усмехнулась, скривив губы. — Связи короткие, да все не то и не то...

— А сюда попали как?

— От немцев уехала, не могла на их морды толстые смотреть. Работу, правда, жаль было бросать, в последние годы в русском ресторане пела. Подруга, официантка-француженка, никак в толк взять не могла — куда, зачем? Офицеры у немцев вежливые, деньги платят исправно. Уж тебе-то, русской, что? Тошно, говорю, вот что.

— Причина не из самых важных, хотя я вас понимаю...

— Признаться, и еще была причина. Хороший человек как раз встретился вот из этих мест. С ним сюда и добралась.

— Уж не тот ли, которого вы свиной называли?

— Он самый.

Бунин расхохотался, а вслед и она.

— Прекрасный человек, представьте себе! Я, может, двадцать лет такого ждала.

— А как же “свиной”?

— Чего сторяча не скажешь, — махнула она рукой. — Ревнив ужасно, Отелло настоящий. Ну, да я его уйму понемногу. У него ферма крошечная тут, поблизости: козы, куры, земли клочок. Я, как туда попала, сразу почувствовала, вот оно, мое. Даже Россию причерноморскую напоминает чем-то.

— Он что же, одинокий, Отелло ваш?

— Вдовец. Жил с дочерью, а теперь вот еще и со мной. Девочка чудесная, я ее по-русски говорить учу и его тоже. Постигают понемногу, простое самое.

— А с работой сельской вам как?

— Представьте, словно всю жизнь этим занималась! Дивлюсь, надивиться не могу. Наследственное, наверное, что-то вдруг проснулось. У меня ведь дед по отцу при крепостном еще праве родился, в крестьянской семье, в Воронежской губернии.

— И я родом из Воронежа, кстати.

— Ну, вот видите! — воскликнула она, приподнимая стакан. — Совсем земляки.

— А матушка ваша?

— Матушка столбовая дворянка калужская, Смольный институт закончила. От тифа умерла в восемнадцатом году.

— Да, — сказал Бунин задумчиво. — И снизу, и сверху зачерпнуто. Оттого, может, и сильная кровь, как вы выразились. Вот за нее давайте, чтоб во французской не потерялась.

— Ребенка хочу, — вдруг проговорила она смущенно и тихо. — И стара уже, и не время теперь, а хочется...

— Вот и рожайте с Богом!

Помолчали. Бунину и жаль было с ней расставаться, и в то же время он чувствовал, что самая пора.

— Я пойду, пожалуй, — сказала она. — Спасибо вам.

— Вам спасибо.

Когда прощались, он неожиданно для себя обнял ее, поцеловал в щеку, а потом долго смотрел, как она идет по набережной, теряясь в толпе.

5

Бунин с трудом встал из-за стола, вышел на крыльцо, пошатываясь, подавляя приступ тошноты, и вдруг исчез. Очнулся уже в гостиной, на диване, лица жены и Галины над собой увидел и собственное бормотание уловил: что-то про фронт, Москву, про рукописи, которые остались в беспорядке... Когда уже вполне пришел в себя, то подумал — а о чем же еще беспокоиться перед смертью было? О близких людях? Так они — вот они, рядом стоят...

В постели с ознобом, головокружением и крайней слабостью пролежал три дня. И был не капризен, не раздражителен, как обычно во время болезни, а смиренен, кроток, добр и любовен ко всему и всем вокруг. Аверкия, героя своей “Худой травы”, сам себе напоминал. Это и умиляло, и чуть тревожило даже. Если уж болеть наподобие Аверкия, то надо в конце концов и помирать. “Умер он так тихо, что старуха и не заметила” — этим кончается рассказ. Да, но Аверкий-то мужик, батрак, святой жизни человек, так задумывался, так писался, а тебе до святости далековато. Вот и успокойся, усмехнулся он, глядишь, даст еще Бог пожить, хоть какие-то из грехов твоих многих попытаться отмолить...

Больше всего в эти дни думалось, конечно, о смерти. Вот так и исчезнешь из мира, как наемни исчез, но уже на веки вечные. Навсегда! И никогда уже не увидишь ни неба голубого, ни поля зеленого, ни лица человеческого милого... Душа сжимается от ужаса, хотя пора бы и попривыкнуть, всю жизнь ведь о смерти и пишешь, и думаешь, дня, наверное, без этого не проходило. Вот уж что Господь отмерил полной мерой — смертную память. А думаешь о смерти так много потому, что жизнь любишь безумно. Две стороны одной медали получают, и поворачивается она то одной своей стороной, то другой. И стоишь перед этой вертушкой то в восторге, то в ужасе, и ужаса с годами становится все больше... А как же вера твоя христианская, православная? Как же твои стихи любимые о том, что принадлешь к милосердным Божьим коленям в сладостных слезах? В это-то веришь? И да, и нет. Точно по молитве: верую, Господи, помоги моему неверию. И еще стихи, и тоже любимые: Есть ли тот, кто этой дачи спящей сторожит покой? Есть ли тот, кто должной мерой мерит наши знанья, судьбы и года? Если сердце хочет, если верит, значит — да. Что ж, вот так и верь. Верь сердцу, в нем едином Бог живет...

А тут вдобавок морока пристала пустая, но неотвязная — в землю лечь или сожженному быть? Захотелось вдруг почему-то огня всепожирающего и пепла чистого потом. Чтоб ни сырости, ни червей, ни тьмы могильной. Жене об этом сказал и в дневник записал даже. Несколько дней умоляла отменить, на коленях почти. Сжалился над ней, наконец, и согласился. Но уж

если в землю, то непременно в цинковом гробу из-за дикого, древнего какого-то страха, что змея может в череп заползти. И еще тому причина есть тайная — вдруг когда-нибудь в Россию повезут твои благородные кости? Сподручнее будет в цинковом гробу... Когда сюда, на этот гордый гроб придете кудри наклонять и плакать.

Все Пушкин, в любом почти размышлении важном... Ну, а на твой гроб кто придет всплакнуть? Жена с кудрями седыми, да, может, Галя еще. Что ж, что бросила, любила ведь... Сильна, как смерть, любовь, сказано, они часто и ходят парой. Даже и посильнее смерти бывает любовь, и так писывали, и сам тоже. Где-то есть, в "Иде", кажется, что она поцеловала его одним из тех поцелуев, что помнятся не только до гробовой доски, но и в могиле...

Ну, а твои, до Гали, любви главные? Жена тут не в счет, это статья особая, ангел-хранитель, от Бога данный. Так и другие две женами были, первая, правда, всего лишь гражданской, Варя с ужасной фамилией Пашенко. В Орле началось, когда мальчишкой был девятнадцатилетним, нищим, при "Орловском вестнике" подвизавшимся за гроши. А потом Полтава, жизнь совместная и, как всегда у тебя, то счастье безумное, то отчаяние смертное. Четыре года длилось и кончилось запиской, до единого слова памятной: "Уезжаю, Ваня, не поминай меня лихом". Как только выжил-уцелел тогда? Силы молодые помогли? Так ведь от избытка этих самых сил как раз и погибнуть можно... Ну, а вторая, Анечка Цакни, жена венчанная? С ней-то что было? Увлеченность юностью ее, красотой, чистотой, наивностью. Да еще и юг, море, жизни радость! Ну, и сделал предложение, сам себя этим удивив. И разочаровался жестоко — такой вдруг оказалась чужой, далекой, непонятной... И не то чтобы глупой, а тупой, хоть кол ей на голову теши. Не раз вспоминал Тютчева и тогда, и потом, о женщинах размышляя: "Природа — сфинкс, и тем она верней своим искусом губит человека, что, может статься, никакой от века загадки нет и не было у ней". Вот именно так и с ними, с женщинами, сфинксами нашими. Терзаемся, бьемся, руки на себя накладываем — перед пустотой. Ты и бился перед Анютой два года, пока не разошлись окончательно, сына едва успев завести. Ванечка, пяти лет всего умерший, всю жизнь фотография его с тобой, перед глазами. И не знал его почти, а боль утраты с годами не исчезала, а странно росла и растет. Твоя кровь, едва в мире мелькнувшая...

Что-то ты такое жестокое о женщинах подумал? Да, о тупости их, о пустоте. И так оно, и не так. Совсем не так. Ничего все-таки лучше в мире нет женской любви и женщины прекрасной. Сколько о них плохого ни вспоминай, ни думай, а все равно к этому придешь наконец. В "Жизни Арсеньева" Лица из всех женщин, которых любил в жизни, создана. И как же ты закончил роман, какой итог всем любовям своим подвел? Помнишь ведь дословно, как стихи, да это стихи и есть. Недавно я видел ее во сне — единственный раз за всю долгую жизнь без нее. Ей было столько же лет, как тогда, в пору нашей общей жизни и общей молодости, но в лице ее уже была прелесть увядшей красоты. Она была худа, на ней было что-то похожее на траур. Я видел ее смутно, но с такой силой любви, радости, с такой телесной и душевной близостью, которой не испытывал ни к кому никогда.

Плакал, пища конец, навсегда это отпечаталось. Да и теперь, по слову все вспомнив, почти плачешь. Что ж, ослабел душой, третий день в постели валяясь. Или все-таки потому, что хорошо? То и другое вместе, пожалуй. Да, жены, жены... Что-то твоя главная, истинная, последняя не идет, пора бы. Да и есть чуть захотелось впервые за эти дни... Ну, а кроме жен, сколько ж у тебя женщин прекрасных и не очень за всю жизнь было? Дон-Жуанский список если составить, Пушкину в подражание? У него что-то много набралось при жизни такой короткой, у тебя и при долгой столько не выйдет. Может, тут с силой, мощью творческой есть какая-то связь? Да и есть, пожалуй. Но были ведь большие писатели и не гулены отнюдь. Чехов тот

же. Да и Толстой погулял до женитьбы и покончил с этим, как обрубил. Увлекался, правда, лет в пятьдесят кухаркой своей Домной и уж так, бедный, мучился, сдерживая себя, что больно было про это читать. Хорошо, удержался, а если б нет? Автор “Войны и мира” — и кухарка домашняя, дико и представить... Страшная сила в голом влечении половом, темная, дьявольская. Недаром он повесть свою об этом “Дьявол” назвал и от жены рукопись под обивку дивана прятал... Вот этой-то силы и сам ты всю жизнь боялся, потому и список твой не столько Дон-Жуанским получится, сколько списком упущенных возможностей. Берегся, натуру свою судорожную, безудержную зная. И еще всегда знал, как легко это бывает вначале и как тяжело потом... Ну, а все-таки, сколько бы у тебя набралось, если б припомнить попробовать? Да и немало, для мужского петушиного гонора в самый раз. Удивительно, что, как ни вспомнишь ту или эту, не столько она сама представляется, сколько обстоятельства окружающие. Природа, погода, город, улицы, гостиницы, другие люди. Россия вспоминается, в сущности, быт ее, лад и строй, свет, цвет, звук, запах... И как-то странно и неразрывно перемешивается, сливается в воспоминаниях женщина конкретная и Россия. А может, главная-то твоя любовь именно она, Россия, была и есть? Ох, далеко же тебя бросило! Прямо к Блоку, которого терпеть не можешь. Он так прямо и написал: “О, Русь моя, жена моя...”

Вошла Вера.

— Была бы жена, да вот и она!

— Что это ты, Ян? — Вера улыбнулась удивленно. — Бодрый такой вдруг?

— Мысли бодрые. Это я из “Бориса Годунова” переделал. Там в корчме монах говорит: “Было бы вино, да вот и оно”. Помнишь сцену эту?

— Ну, так вспомнить сразу...

— И еще спрошу. О, Русь моя, жена моя — как тебе такое? Из Блока вашего строчка.

— Да не мой он совсем, что ты? А строчка мне не нравится. Нагло как-то, что ли...

— Вот-вот! В жены Русь берет, такую, видите ли, честь ей делает! Ну, да Бог ему судья. Умер, по слухам, в мучении и раскаянии... Так что тут у тебя? Кашка реденькая и чаек жиденский? Все в самый раз...

Вера смотрела, не отрываясь, как он ест. Бунин покосился на нее недоброльно:

— Что ты на меня, как на ребенка малого, уставилась?

— Ты ребенок и есть. Отчасти. Инфант террибл...

— Злой, жестокий? Нет и нет, матушка! Гневлив бываю, но это другое совсем. А сейчас как раз благодный по причине упадка сил.

— Но тебе и получше стало, я вижу...

— Что видишь, то, стало быть, и есть. Все знаешь лучше меня самого. Еще б писать за меня научилась, то в полную отставку мог бы подавать.

— Дело за малым...

— Вот-вот, и говоришь даже, как я бы сказал. За малым дело, да... Смотри, не пиши только в воспоминаниях, что злым был. За это, как на том свете встретимся, строго спрошу!

— Ну что ты, право, — сказала она с укором. — Таким нехорошо шутить. И почему ты думаешь, что непременно первым умрешь?

— А тебе что, этого вот случая мало? На волоске висел.

— Так обошлось же, слава Богу!

— Теперь обошлось, в другой раз не обойдется.

— А я что же, от смерти заговоренная?

— Нет, но после меня!

— Да почему, Господи?

— А потому, что ты без меня проживешь-обойдешься, а я без тебя пропаду пропадом!

— Вот, вот, вечный эгоизм твой...

Бунин рассмеялся:

— Да уж куда эгоистичнее — смерти первому желать!

— И ничего нет смешного. — Она посмотрела на него своими большими, светлыми, повлажневшими глазами. — Ты, как тебе удобнее, хочешь, вот и все.

— Да ты пойми, дурочка, что ты жить будешь, а я буду в земле в это время лежать! Кому будет лучше?

— Тебе, — ответила она тихо.

— Ладно, — махнул он рукой. — Прекратим спор этот идиотский. Одно только скажу — ценнее жизни ничего на свете нет.

— А по-моему, есть. Душа бессмертная.

— Я не о душе, я о жизни земной говорю!

Она молчала, сидя перед ним, такая изможденная, бледная, сложив на коленях свои крупные руки. А что, если и вправду она первая умрет? Язву подозревают и даже туберкулез... Холод прошел у него по спине. Останусь совсем один в мире, что тогда? Вслед за ней поторопиться, что ж еще...

Он дотянулся, взял ее тяжелую, прохладную руку и прижал к губам.

— Спасибо, Вера. Подремать теперь пора.

Когда жена ушла, он долго лежал неподвижно, глядя в серый сумрак за окном...

В шестом году познакомились, весной седьмого стали вместе жить, тридцать пять уже, выходит, лет. Бог тебе ее послал, не иначе. Говорят, браки совершаются на небесах. Так вот этот, третий твой, там как раз и совершился, вся жизнь это показала, теперь-то, в старости, можно уверенно сказать. Если бы не Вера, пропал бы, пожалуй, все шесть лет воли вольной, после разрыва с Аней, к этому вели. Бесприютность, бездомность, гульба, раздранность душевная... Работа единая выручала, за нее держался изо всех сил. Когда же Веру впервые увидел на вечеру у Бориса Зайцева, так сразу и подумал: вот тебе жена! Глаза ее больше всего поразили: чистые, ясные, правдивые. В лице бледном порода видна, профиль греческий, крупна телом, но и изящна, держится с достоинством сдержанным. Холодком, правда, от нее чуть веяло, но и это ему было по душе, как раз в противовес его собственной натуре — неумной, страстно-судорожной, горячей. И в разговоре она оказалась хороша — скромна, умна, спокойна, И остальное, житейское, что про нее вскоре узнал, подходило одно к одному: старинного рода дворянского, дочь члена Московской горуправы, племянница председателя Государственной Думы, слушательница Высших женских курсов. Химию там изучала, да так усердно, что пальцы кислотами были обожжены. А лучше всего, что и литературные интересы имела, три языка знала из главных европейских, и переводить пыталась с французского Мопассана, Флобера... Даже в возрасте разница у них была какая-то приятная, правильная — одиннадцать лет... Что ж, чего ждал, на что надеялся, то и получил в полной мере — спутницу жизни верную, понимающую, хозяйку заботливую, да еще и мамку-няньку, когда плохо бывало. Главное же, помощницу в работе великую. Сколько его страниц переписала, лишь Софья Андреевна Толстая ее в этом, пожалуй, превзошла. Так он таких громад, как “Война и мир”, и не создавал. А вот холодок телесно-душевный так в ней навсегда и остался. И к лучшему. Любовь страстная — тяжкое бремя, по жизни с Варей и Аней хорошо это узнал, а уж с Галиной и подавно.

Никогда и ни в чем Вера его не подвела, не обманула, не разочаровала даже. И душу ее чистую, истинно христианскую, которую угадал с самого начала, любил с годами все больше. До преклонения даже какого-то, в общем ему не свойственного. А ссоры, а крики твои безобразные? “Дура сущая!” — это еще не из самого грубого. Что ж, на тебе и грех, она-то все переносила с кротостью и смирением. По душе лучше не встречал, конечно, человека. А самому как благотельно было сознавать замаранность свою греховную рядом с ее чистотой! всегда знал, что, если б Веру в его присутствии кто-нибудь обидел, убить бы того мог! И не просто как оскорбителя, клеветника, но и как уroda, не способного понять, где добро, где зло. Она, Вера, была для него знаком этого. Где она, там и свет, и добро. Да, любил и любит ее той именно любовью, которая от Господа нашего нам заповедана...

После болезни все окружающее, как всегда, казалось Бунину чуть обновленным и потому особенно прелестным. Небо, горы, море, деревья, трава, цветы самые уже запоздалые... И как-то странно, ладно и сладко это перемешивалось — даль и близь. Дальнее приближалось, а ближнее становилось крупней, сложней и значительнее, так что облако вдруг напоминало человеческий профиль, а кусочек кварца в скале блестел и горел, как крохотное солнце. И хотелось все это как-то остановить, оставить, записать! Он и делал это в дневнике по вечерам, как делал почти всю жизнь. Цвет неба, оттенки листьев на кустах и деревьях, форму и освещенность облаков, блеск звезд, тени солнечные и лунные... Зачем все это записывать изо дня в день, из года в год, стараясь выразиться как можно точнее? Вспомнилось, в Васильевке как-то, лет тридцать назад, записал, что листва на груше в саду стала уже коричневой, а на другой день исправил — нет, бронзовой! Вот зачем, почему? Кому нужна поправка эта? А тебе самому. Бог-творец хотел ведь, чтоб все было хорошо в его творении, вот и ты тоже, как-никак, а творец, того же хочешь и удовлетворение испытываешь особенное, как стрелок, попавший в цель...

Чуть потянуло и к работе. Бунин с удивлением и надеждой наблюдал за этим как-то со стороны, словно робкий, хиленький огонек прикрывая ладонями, с волнением ожидая, что будет — разгорится ли, погаснет ли? Вообще говоря, ситуация была уж никак не рабочей и по здоровью, и по обстоятельствам внешним. Так-то так, но ведь решается такое не только внутри тебя, но словно бы и еще где-то. Там, наверху. Сойдутся звезды благоприятно для работы — она и пойдет, что и не остановишь...

Когда пришла жена с переписанным рассказом “Таня”, Бунин обрадовался. Самое время прочитать не так давно написанное, выправить тщательно, глядишь, все это и к новой работе подтолкнет. Забирая рукопись, он благодарно пожал жене запястье.

— Спасибо, дружок, в самый раз принесла.

— Спасибо-то спасибо, но я так больше не могу...

— А что случилось?

— Опять плакать пришлось. Что ни рассказ у тебя, то смерть в конце или разлука вечная. Галине с Маргой отдавай переписывать, у них нервы покрепче.

— Ну, поплакала, ну, так, что ж, — пробормотал Бунин. — Для того и пишем, чтоб побрало как следует.

— Но хоть где-то, когда-то и хороший конец в этих последних рассказах должен же быть. О любви ведь все...

— Если хороший, то это еще не конец. Настоящий конец всегда плохой. Да и не я концы выдумываю, в жизни оно так. В ней-то терпим, надо и в литературе терпеть. Кстати, тут, — он кивнул на рукопись, — ничего такого уж страшного и нет. Ну, соблазнил и бросил барчук девку дворовую, великое дело.

— У меня такое чувство было, что это не девку бросили, а Россию самому, — вздохнула Вера прерывисто.

— Это кто же бросил? Мы, что ли?

— И мы...

Бунин помолчал, перетерпывая раздражение.

— Послушай, оставь глупости эти! Рассказ-то как тебе показался?

— Совершенно чудесный!

— Ну вот, ну вот, — пробормотал Бунин удовлетворенно. — Вот это нам и подавай! Как бы издать эти рассказы последние, вот вопрос. Книжка ведь уже небольшая набралась. Может, в Америку послать, в издательство Чехова? От одного имени надежда шевелится. Должен Антон Павлович с того света старому своему приятелю и ученику помочь, как ты думаешь?

— Думаю, что шутишь ты как-то нехорошо. Да и не веришь во все такое...

— Поверишь, коли нужда за горло возьмет! Видишь же, жить совсем нечем.

— Я одним утешаюсь — Бог даст день, Бог даст и пищу...
— Разве что так, — усмехнулся Бунин. — У Бога всего много, авось и для нас, сирых и убогих, крошки какие-нибудь найдутся.
— Опять ты шутишь, а я вполне всерьез это понимаю, буквально. И верю.

— Вот и умница. Тебе за веру Бог даст, а ты со мной, маловером, поделишься.

— Ну вот, опять...

— Ладно, ладно! Что ж ты думаешь, Бог шуток не понимает, что ли? Ты вот скажи лучше, какое название для книги новой лучше: “Алый шиповник” или “Темные аллеи”? И учти, что вся книга, вся, только о любви.

— Ох, как хорошо! — воскликнула Вера.

— Что именно?

— А и то, и другое! — Она помолчала. — Представляешь, сравниваю и выбрать не могу. Одно другого лучше, вот мой ответ.

— Совпали мы тут с тобой... — Бунин пожевал губами задумчиво. — И я никак не выберу. А знаешь, откуда взялось? Перечитывал Огарева, да вдруг оба названия эти и увидел:

*Была чудесная весна,
Они на берегу сидели,
Во цвете лет была она,
Его усы едва чернели...
Кругом шиповник алый цвел,
Стояли темных лип аллеи...*

— Какая прелесть!

— Прелесть-то прелесть, а как быть? Варю бы спросить, с ней у нас бывало подобное... В лучшем мире, если встретимся, может, и спрошу. Да не кривись, я серьезно. Часто о разных людях такое думаю, а вспомню Лермонтова, да и рукой махну.

— Что именно?

— Ну, это-то всем известно. Но в мире ином друг друга они не узнали.

— А мы... — Вера загнулась. — Мы-то узнаем с тобой?

— Еще бы! Деваться друг от друга будет некуда. Ну, ну, прости... — Он положил ей на колени руку. — Как бес какой-то подзуживает.

— Вот именно, что бес! Кстати, ты сказал: в мире ином, а надо: в мире новом.

— Не может быть! — воскликнул Бунин. — Чтобы я в любимом своем так ошибся!?

— Представь себе. — Она посмотрела на него даже как-то сочувственно. — Могу книгу принести, посмотришь. Я потому уверена, что мне самой в мире ином как-то лучше кажется, но у Лермонтова в новом.

— Если даже и так, все равно буду в ином говорить! — сказал Бунин задиристо. — Пусть он трижды гений, но мы тоже не льком шиты...

— Ты имеешь право, а я, к сожалению, нет, — улыбнулась Вера. — А по поводу названия книги ты с Галиной посоветуйся. Она, когда вы познакомились, как раз во цвете лет и была. У тебя вот только усы не чернели, а сидели.

— Не было уже усов, — крикнул Бунин и расхохотался. — Права, права, не поспоришь. Щетина-то с сединой все равно росла, да...

Над рассказом Бунин проработал довольно долго, что-то вычеркивая, что-то чуть и добавляя. Удачный рассказ, особенно Таня получилась хорошо. Бедная Таня, хоть прямо так и называй, в память Карамзина, повести его знаменитой. И глазам не раз при чтении горячо становилось, можно жену понять. Разлука вечная — и о разлуке навсегда так говорят, и о смерти. То просто смерть, то убийство человека любимого, а то и самоубийство — обо всем этом писано и тобой, грешным, и другими многими. И вдвоем ведь с собой кончают, как в “Деле корнета Елагина” хотели. Не из-за обстоя-

тельств жизни, в сущности, а чтобы высоту чувства любовного не терять. Чтобы уйти на самой-самой вершине. И у самого ведь нечто подобное в жизни мелькало. Шли как-то с Галиной в первое лето здесь, в погоду чудесную, счастливы были, как никогда, а ты вдруг и подумал: лечь бы сейчас в тени оливы легкой, сквозной на шелковистую, подсохшую траву, обняться и умереть... Да почему?! А все потому же — чтобы охлаждения не переживать, от разочарований ускользнуть неизбежных... А что, если смерть уходом в монастырь заменить, вдруг подумал Бунин. Если девушку прекрасную, богатую, всячески благополучную взять, любовь ее с таким же редкостно облаканным природой и судьбой молодым человеком написать, ночь, близость их первую и единственную. А сразу после нее — монастырь. Получила лучшее, что на земле существует — и к Богу поближе навсегда ушла. Озноб пробежал у Бунина по коже, явный признак, что в мелькнувшем замысле скрыта глубина, закваска художественная... И у Пушкина нечто похожее есть: в ся жизнь одна ли, две ли ночи... Господи, да ведь и у тебя чем-то близкая этому ночь была сорок лет назад, в Калуге. С тех пор, вспоминая, так и называешь ее про себя: калужский дар...

6

В поезд Одесса—Москва он садился с ощущением счастья. Кончилась, наконец, эта двухлетняя, страшная морока: женитьба скоропалительная на Ане, жизнь с ней тяжелая, надрывная, всю душу ему истерзавшая, разрыв полный, с рождением сына Ивана странно совпавший. Вот его только было мучительно жаль оставлять, да что поделаешь? Одно утешало — есть же он теперь на свете, есть!

Впереди лежала неизменно любимая им дорога, потом Москва, встречи с людьми милыми, театры, рестораны, компании дружеские, а потом Огневка, брат Юлий, жизнь деревенская, тоже всегда любимая, природа, работа ежедневная, истовая... И самого себя сейчас было на редкость приятно ощущать — ловкого, сильного, оживленного, родственно внимательного ко всему вокруг. И костюм светлый, летний был хорош, и туфли светлые, и отражение лица, вдруг мелькнувшее в вагонном окне. И лет ему было всего-то двадцать девять! Пушкин, помнится, с молодостью в тридцать прошался, ну, а тебе до этого целых полгода еще. Как там у него в “Онегине?” Простимся дружно, о юность легкая моя... А твоя была ли легкой? Нет! Глушь, нищета, затрапезность, судорожные попытки приподняться, вырваться...

В дороге все было радостным и приятным. Чистота первоклассного вагона, качание его на ходу, какое-то колыбельное, уют купе, совсем домашний, с мягким, тусклым отсветом бронзы, с пружинной упругостью диванов. Даже в сортире пахло чудесно и неожиданно — морем. А за окном было и того лучше — майская зеленая степь шла, разворачивалась вблизи стремительно, а чем дальше, тем медлительнее, значительнее, мощнее. Полустанки южные, в степи затерянные, пронеслись мимо, и в каждом хотелось задержаться хоть ненадолго, узнать их жизнь, всегда казавшуюся таинственной, непоколебимо-спокойной и прелестной... А вот и первая остановка, и первая прогулка по перрону, и желтый вокзальчик уездного городка, и сирень в палисаднике, которая клубилась, кипела, грядками, волнами целыми прямо-таки вываливаясь поверх забора на перрон. Бунин подошел к ней и замер. Целый мир сиреневый лежал перед ним, волнисто-рассыпчатый, густой, но и воздушно-легкий, сладко дурманил голову, звал шагнуть в него, затеряться в нем, зажить совсем иной, особенной, сиреневой какой-то жизнью...

Раздался удар станционного колокола, Бунин вздрогнул, как разбуженный, повернулся и увидел прямо перед собой в дверях вагона женщину в лиловом платье. Ни лица, ни фигуры ее он толком не разглядел, одна лишь лиловость и бросилась в глаза, ладно так совместилась с тем сиреневым миром, на который он только что смотрел. Лиловое словно бы продолжало сиреневое, лежало в самой-самой сокровенной его глубине. Ищите женщину, подумал он, усмехнувшись. Ищите и найдете, даже сирень разглядывая всего-навсего...

Женщина в лиловом вспомнилась вдруг, когда стала уже чувствоваться Русь, Московия, когда потянулись за окном могучие, казавшиеся бесконечными брянские, брынские по-старинному, леса. Он все смотрел и смотрел в их нежно-зеленую, майскую даль, в плотную синеву неба, которая у горизонта становилась лиловой, как платье незнакомки на той, такой далекой уже уездной станции. И ему стало мимолетно жаль, что он так и не разглядел ее толком и не увидел больше. Дорога ведь еще и тем хороша, что постоянно чувствуется в ней возможность приключения, встречи случайной, счастливой...

За лесами на запад был Смоленск, родственный тем, что, по старинному преданию, сгорели в нем при страшном пожаре какие-то древние грамоты их рода, дававшие большие права и привилегии, а на севере, близко уже совсем, лежала Калуга, в которой бывал у сестры Маши. Калуга-то оказалась хороша, а вот жизнь сестры не очень. Быт скудный, мещанский, домишко жалкий, муж, паровозный машинист Ласкаржевский, из которого каждое слово впору было клещами вытаскивать...

Калуга выручала, одинокие прогулки по ней. Хоть и неловко было уходить из дома, приехав совсем ненадолго, а уходил-таки. Бродил с наслаждением по тихим улицам, по аллеям городского сада над Окой, на Оку подолгу смотрел с высоты, удивляясь нетронутой природе на противоположном берегу: и лесок там был, и поле желтое, ржаное, и поле розоватое, гречишное. Вспоминался Орел молодости, такие же одинокие по нему блуждания, и та же Ока, только поменьше... Уезжая на этот раз из Одессы, долго сомневался — навесить сестру или проехать мимо? И решил проехать, взять грех на душу, уж очень не хотелось настрой свой легкой, радостный портить...

Когда до Калуги оставалось часа два, он сидел в людном ресторане перед тарелкой с сочной семгой и графинчиком коньяка. За окном садилось солнце, огромное, красное, с размытостью по краям. Цвета всегда мучили Бунина какой-то необходимостью определять их как можно точнее и сравнивать между собой. Вот и сейчас, поглядывая на солнце, он чувствовал эту необходимость и никак не мог ее понять. Выпил рюмку, поднял вилкой кусок семги и рассмеялся. Цвета они были близкого, солнце и семга, вот что неосознанно мучило его. Хорош, нечего сказать, далеко хватил! С Чеховым бы поделиться, посмеялись бы вместе. Да и вообще, это скорее для него, для его рассказа, сравнение...

А солнце уходило. Он со всегдашним интересом и даже волнением смотрел, как промежуток между красно-розовым диском и чертой горизонта становится все меньше. Казалось, вот коснется солнце этой черты, и произойдет в мире что-то особенное. А начало конца произойдет, конца дня, конца заката... Вот и коснулось, вот уже и смялось снизу едва заметно. Он торопливо налил рюмку, выпил, не закусывая, посмотрел — вмятина стала гораздо заметнее. Волнение странно нарастало, и у него даже мелькнуло утешительно, что солнечный диск велик, надолго его еще хватит... Что-то вдруг из Достоевского представилось: кого-то на казнь везут, а он думает, что много еще ему жить осталось, пока эту вот улицу проедут, и другую потом... Да, да, именно тем закат и зачаровывает, что кажется жизнью самой, и долгой, и краткой до боли... Солнце в землю ушло уже по пояс, и он налил еще, решив выпить, когда от него останется последняя, ослепительная почти всегда капля, искра.

— Добрый вечер! — раздалось вдруг. — Можно к вам?

Он медленно поднял взгляд и увидел сначала лиловость платья, а потом, сразу, глаза — большие, широко открытые, цвета переспелой вишни. Он успел как-то войти в них, и побыть, и вернуться, и только тогда смог ответить, кивнуть с готовностью:

— Да, да, разумеется... Очень рад.

— Рады — не рады, а принимайте, — сказала женщина, усаживаясь напротив. — Единственное свободное место у вас.

Голос у нее был мягкий, теплый, с приятной, едва уловимой хрипотцой, а все лицо соответствовало и глазам, и голосу: небольшое, смуглое, крепкое. Что-то восточное было в нем — в высоких скулах, в разрезе глаз, в переносице...

сице плосковатой. Бунин всегда любил эту примесь и теперь странно обрадовался ей. И еще выражение лица показалось ему на редкость милым: не улыбка, а словно бы след ее, едва уловимый.

Они встретились взглядами еще и еще, и каждый раз он входил в ее темно-вишневые глаза и чувствовал с ознобом тревожным, но и радостным, что так просто встреча эта не кончится. Казалось, что все главное уже произошло между ними и теперь должно лишь продолжиться. Он видел, что и она испытывает нечто похожее, и робко радуется, и тревожится, как и он...

В разговоре, отрывистом и напряженно-путаном, он узнал, что она выйдет в Калуге, переночует в гостинице, а утром поедет в уезд, в какой-то Мосальск. Ничего не решая, не успев даже толком подумать об этом, он понял вдруг, что выйдет вместе с ней...

И была ночь в губернской гостинице, одна из тех, что с самой жизнью можно сравнить по-пушкински, а ранним утром она уехала, ни фамилии своей ему не сообщив, ни адреса. Сказала, смеясь, что, если очень уж захочет, то и по приметам ее найдет... И ведь не раз потом, особенно в трудные дни, минуты, мелькало у него — а не поехать ли в Мосальск? В шутку мелькало, но ведь и всерьез...

Бунин очнулся. Вместо России Франция, вместо Калуги Грасс, вместо гостиничного того номера спальня в “Жанетте”... Лунный свет на полу до самой постели, гул мистралья за окном.

Сколько раз за многие годы вспоминал он этот подарок судьбы, а вот теперь, впервые что-то в воспоминании неприятное было, тяжелое, душу гнетущее. Да что, Господи? А то, что немцы в Калуге... Выходит, что как ни вспомни прежнее, российское, во всем будет этот привкус отвратительный — немцы! А если победят-таки, останутся там до конца дней твоих? Одним сознанием этого жизнь будет отравлена, изгажена, потому что из воспоминаний она и состоит на добрую половину... Вот и Орел уже взяли, и Ефремов, по могилам отца и матери прошли. Чувство застарелой, глухой вины дрогнуло в нем. Не был он на этих могилах — ни у отца в Грунине, ни у матери в Ефремове. А ведь сколько ездил мимо кладбищенской рощи ефремовской, где мать лежит, которая так просила не забывать ее могилы. Сказать кому, сочтет мерзавцем последним, выродком. А причина проста — страх, ужас, предательство яркое, что, подойдя к могиле, тут же и упадет на нее, и умрет. Большой грех, а что поделаешь, если так и не смог себя пересилить? Матушка-то простит по доброте своей ангельской, а там, глядишь, и Господь смиростивится, ужас его непреодолимый поняв. Вот об этом и молись. Написал же в “Жизни Арсеньева”: В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире, и да будет во веки благословенно ее бесценное имя. Что это, как не мольба, не молитва?

7

Америка, земля обетованная, думал Бунин, расхаживая из конца в конец по террасе в ожидании скорого обеда. Кто мог, туда сбежал, а остальные сбежать мечтают. С раздражением думал, словно его тащили в эту Америку, а он упирался. Что ж, годом раньше, когда существовала для отъезда полная возможность, так оно и было. Особенно Алданов старался, со слезами почти умолял ехать вместе, страшные, апокалиптические прямо-таки картины будущего для Европы рисовал. Большое было колебание, что скрывать, но устоял, Россия удержала. Хоть и недоступна она, а все-таки рядом, рукой подать, а в Америку эту сказочную, за океан, уедешь, словно на луну попадешь. Франция с Россией связаны, как пальцы переплетенные, не растащить: тут и история, и литература с искусством, и, главное, люди. И речь русская кругом, и могилы русские рядом, а в Америке будет суцная пустыня...

Странное дело, пока на Россию Германия не напала, уехать, глядишь, и мог бы, а теперь, когда немцы под самой Москвой, пожалуй, что и нет. И не в сложности, трудности переезда дело, это уж как-нибудь бы преодолел, а в том, что с Россией дела так плохи. Дикое какое-то чувство, что,

в Америку уехав, он Россию бросит в беде. Бред, а ведь так и есть в самой-самой душевной глубине. Да, но подобные дела не душой, а разумом решать надо, на то он человеку и дан. А душа что ж, она в такие дебри может завести, из которых и не выдраться потом будет...

Алданова потерять больше всех было жаль. Друг старый, вернейший, почитатель неизменно восторженный. Порой уж так расхваливал, что неловко было, а все равно приятно. Чувствителен и к хвале, и к хуле до сих пор, есть такая слабость, с ней, видно, и помирать. Да, жаль Марка, доброты его, уравновешенности, спокойствия. При твоей натуре дерганой, заполошной одно его присутствие, как лекарство, влияло. А вот Набокова так не жаль, хотя писатель он покрупнее Алданова, конечно. Метафоричность, изобразительность удивительные, рекордные просто, и закваска метафизическая густая. Сказал как-то: этот мальчишка выхватил пистолет и уложил всех стариков, и меня в том числе. По всему русскому Парижу это разнеслось. Сказал, да и пожалел, что себя включил в число уложенных.

Неправда это, с языка вгорячах сорвалось. Ты как стоял, так стоять и будешь, никакому Набокову не дотянуться. Боли настоящей в его писаниях нет за людей, за жизнь, за Россию, а без нее ни высоты, ни глубины истинной не достичь. Но тоска-то по России есть, в “Машеньке”, к примеру, в рассказах некоторых? По детству райскому, по юности грусть-тоска, а России настоящей он не знает, не успел узнать. Да и жизнь богатая, барская, воспитание на английский манер тоже помешали. Тебя-то высоко ценит, особенно за стихи, а по-человечески с ним так и не сошлись, совершенно несовместимыми оказались. Уехал, ну и Бог с ним. Ему, похоже, что в Англии жить, что во Франции, что в Америке. Космополит, полная тебе в этом противоположность...

Уехать-то можно даже и сейчас из Марселя, есть кому помочь-похлопотать. И там можно было б устроиться, авось не дали бы пропасть Нобелевскому лауреату. Можно, да вот нельзя...

За обедом, поболтав ложкой в серой жижице с редкими капустными обрывками, Бунин бросил ее на стол и сказал:

— Послушай, женушка, может, смажем пятки да в Америку наладимся? Иначе вот-вот зубы на полку положим и голую воду начнем хлебать!

— Ну что ты, Ян? Какая Америка? Уж сколько об этом говорено-перговорено было! И решено...

— Решено! Договор кровью не подписывали, слава Богу, можно и перерешить. Россию немцы хапнут, так и половиной Франции не удовольствуются, сюда пожалуют. Будем под ними в рабском чине сидеть!

— Ты как хочешь думай и делай, а я не поеду, — сказала жена со слезами в голосе.

— Ну, а вы? — Бунин осмотрел по очереди Галину, Маргу, Зурова. — Того же мнения?

— Иван Алексеевич, — сказала Галина укоризненно, — ну, зачем вы дразните и Веру Николаевну и нас? Вы же первый противник отъезда были и есть. А мы что ж, мы бы пешком туда пошли, только кому там нужна такая сошка мелкая.

— Говорите за себя! — сказал Зуров. — Я и не подумаю никуда ехать.

— Значит, осталась бы? — резко повернулся к жене Бунин. — Что, Францию прекрасную покидать жалко или людей иных-некоторых?

— И Францию, и людей, — почти прошептала она, быстро встала и вышла.

— Ну вот, дорогой мэтр, — сказал Зуров, — чего добивались, то и получили.

— А вы что сидите? — процедил Бунин сквозь зубы. — Идите, успокаивайте покровительницу свою.

— Вы ее до слез довели, вы и успокаивайте.

— Прощу советов мне не давать! — крикнул Бунин, приподняв над столом кулак.

— Иван Алексеевич, ради Бога... — проговорила Галина умоляюще. — Успокойтесь, прошу вас!

— Вы меня насчет Америки вашей попросите! Помогу, чем могу! И ска-
тертью дорога!

Галина рассмеялась неожиданно весело.

— Совсем вы запутались! То на Веру Николаевну напустились, что не
хочет ехать, то на меня, что хочу. А злитесь-то, в сущности, на самого себя,
на сомнения свои.

— Да? — опешил Бунин. Помолчал, постучал пальцами о стол. — Что
ж, может быть... Только это ярость, а не злость, большая разница.

— Ярость и нежность.

— Что-что? Какая еще нежность?

— Да я подумала, что, если и в двух словах нрав ваш надо было опре-
делить, то эти два слова как раз и подходят: ярость и нежность.

Бунин смотрел на нее долго, испытующе.

— Глубоко взяла, нечего сказать. Только, может, слова переставить?

— То есть нежность и ярость? Пожалуй, да.

— Что ж, спасибо за понимание. Впрочем, о таких вещах наедине обыч-
но говорят.

— Может, нам уйти, чтобы вы этот свой разговор продолжили? — спро-
сил Зуров.

— Я никого не гоню, но никого и не удерживаю, — ответил Бунин сухо.

Зуров встал и вышел, хлопнув дверью.

— Придется и мне... — Марга приподнялась с улыбкой.

— Оставьте, Маргарита! — махнул Бунин рукой, — Не надо театр уст-
раивать, да бездарный к тому же. Если нам с Галиной Николаевной вдвоем
побить захочется, уж найдем случай, поверьте.

— И верю, и знаю, — усмехнулась она.

Они встретились взглядом, и Бунин разглядел в ее глазах самое для се-
бя тяжелое — сочувствие...

Не найдя жены ни в доме, ни на террасе, Бунин решил, что она, ско-
рей всего, спустилась в город, чтобы успокоиться да заодно чего-нибудь съе-
стного поискать. Как она слаба, худа, в чем только душа держится, а тут он
с разговором дурацким! Блажь, чужь собачья, должна же она это понять!..
Замучается, бедняжка, бродить по лавкам да еще и впустую скорей всего.
Встретить надо, только попозже, чтобы в городе не разминуться. Да, впрого-
лодь живем, а как представишь жизнь в Васильевском, в Огневке, в Ефре-
мове, так и стыдно за свои сетования на голод-холод становится — и устные,
и дневниковые. Уж если где воистину ужасно, так это там. Святым духом
кормятся, им же и греются...

Тугие, белые облака, плывущие в небесной синеве над Грассом, вдруг
напомнили ему Стамбул, где он бывал сначала один, а потом с женой. Три-
надцать раз, подумать только! Путешествия свои заграничные начал с Евро-
пы, но вскоре почувствовал, что по-настоящему тянет его на Юг, на Восток.
Не иначе это зов крови был, пращурь его самые далекие происходили, ви-
дать, оттуда. Так и пошло за годом год с жадностью неутолимой — Греция,
Египет, Палестина, Цейлон... И каким наслаждением было приобщаться к
древнему, дикому, первобытному, поистине райскому! А еще большим, мо-
жет быть, наслаждением оказывалось потом писать обо всем увиденном и пе-
режитом. И писания эти вошли в лучшее из того, что он за долгую жизнь
создал. Если без излишней скромности признать, то создал с редкой, тор-
жественной красотой и силой. И с проникновением в суть каждого народа,
в дух веры его. В язычество, в ислам, в буддизм, в раннее христианство. Ес-
ли даже названия этих вещей вспомнить, волнение охватывает невольное,
снова в дорогу тянет: “Воды многие”, “Тень Птицы”, “Море Богов”, “Храм
солнца”... А рассказ “Братья”? Перечитал недавно и сам не мог понять, как
ему удалось в юношу-рикшу цейлонского перевоплотиться, да и просто-на-
просто стать им? Вот потому и удалось, что всегда чувствовал остро в самой
глубине души, что все люди братья. А ведь пишут порой — холоден, отстра-
нен, равнодушен к изображаемому... Какая ерунда, какая грубая неправда!
Сказал Достоевский в речи своей пушкинской, знаменитой, что суть русско-
го человека во всемирной отзывчивости, что он в какой-то мере в с е ч е л о -

век. Вот к тебе как раз это и можно отнести вполне. Есть где-то в стихах: познать тоску всех стран и всех времен. Что ж, и познал по мере сил...

— Не помешаю, Иван Алексеевич?

Галина, взгляд странный, чуть виноватый как будто.

— Да уж нет. Ты мне и никогда не мешала, если работу исключить.

— И вы мне, даже и работу включая. Впрочем, какая уж там у меня работа, — усмехнулась она.

— А вот это ты зря, — поморщился Бунин. — Антон Павлович, помнится, говорил, что есть большие собаки и маленькие собачки, и каждая должна лаять тем голосом, который Бог дал.

— Вот я маленькой и выхожу.

— И по-другому иногда выходит — мал золотник да дорог. — Бунин помолчал. — Как ты хорошо про меня сказала, забыть не могу: нежность и ярость. Сам бы лучше самого себя не определил.

— Иван Алексеевич... — Она загнулась и вздохнула. — Мы ведь уезжаем с Маргаритой.

— Как, куда?

— В Канны.

— И когда же?

— Это неопределенно пока. Может, скоро совсем, а может, и подождать придется. Сначала в Канны, а потом, если получится, в Америку. Давно вам сказать хотела, да все случая не было. И не решалась, сегодняшний разговор за столом помог.

Бунин не ожидал, что услышанное так на него подействует. Сосущая пустота внутри возникла, будто воздух из него внезапно выкачали, да и вокруг все как-то съежилось и потускнело. А вслед за этим чувство протеста вспыхнуло: сколько можно, старый ты дурак! Уезжает, ну и... с ней. Баба с возу, кобыле легче!

Он стиснул зубы и посмотрел ей прямо в глаза. Виноватость и жалость были в них и еще что-то иное.

— Спасибо вам за все... И простите.

— Вздор! — сказал он резко. — Не за что благодарить, нечего прощать! Вольному, как говорится, воля. Счастливого пути тебе, вот и все.

— Все равно простите... — Она сделала шаг в сторону.

— Погоди! Вот что скажи напоследок... Хоть и говорено не раз о том было, а все равно толком не пойму, почему ты меня бросила, да еще дико так?

— Сначала вы от меня ушли, а я потом уж...

— Как это понять прикажешь? Куда я ушел?

— В высоту холодную. В какой-то памятник превратились самому себе, так я стала чувствовать. Иван Великий, знаете, наверное, что так за глаза вас называют... А с великим как жить, кем себя при нем видеть? Вера Николаевна могла и может, а я нет. Так ведь она ангельского чина, а мне до этого куда ж? Я баба слабая всего-навсего, в грехах вся...

— Про грехи-то оставь, я тебе не судья. Вот что скажи: любила ты меня? Не из-за писательства моего, а так, попросту?

— Любила. Да я и теперь... — Голос ее сорвался.

Бунин не мог понять, засмеялась она или заплакала. Почудилось, что и то, и другое вместе.

— Все, иди! — сказал, крикнул он резким, высоким, самому неприятным голосом. — Иди, тебе говорят!

Едва она скрылась в дверях дома, как он зашагал вниз, в город. Та пустота внутри и вокруг, внезапно возникшая, когда он услышал о ее отъезде, оставалась и напоминала ему что-то совсем иное... Да отход "Патраса" из Одессы! Но что ж тут общего — родину терять или женщину? А пустота, вот что... Как она сказала: я и теперь?... Может, и ты такое повторить способен? Он хмыкнул раздраженно, усмехнулся и вдруг почувствовал, что глаза его влажнеют. Вот-вот, оно самое — хоть смейся, хоть плачь... Все проходит, да, но ведь и остается. След, временем припорошенный... Вновь почему-то пред-

ставилась Одесса, “Патрас”, ледяной зимний день, серое море. Галину-то сейчас отпустил, прогнал даже, а за Россию тогда, в двадцатом, до крайнего предела держался, последним пароходом уплыл. Даже на палубе стоя, на чудо какое-то в глубине души еще надеялся. И лишь когда стали сливаться с серостью взъерошенного моря серые степные берега, понял — все, конец...

8

Для середины ноября день был, как подарок — солнце, теплынь, тишина. Ни единый лист не шевелился на деревьях, лишь изредка они покорно падали, капали вниз. Слезы прощальные, мелькнуло у Бунина. Не написал бы такое, пожалуй, а написавши, вычеркнул. Сентиментально как-то, но ведь и верно — слезы... Лес, точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный // веселой, пестрою стеной стоит над светлою поляной. Господи, как давно это было, да и было ли: поэма “Листопад”, книга стихов одноименная, восторг Горького и Блока...

Ах, хорошо! Так бы и жизнь досидел здесь, на террасе, при солнце низком, слабеньком и особенно поэтому нежном. Дышать, смотреть, думать о чем придется, а того лучше, ни о чем. Хотелось бы так, да жаль, не остановить эту мельницу, вечно мелющую — дум, мыслей, мыслишек, горьких чаще всего. Но сегодня, в день такой чудный, и думается в лад ему посветлей, повеселей, чем обычно. Все ропщешь на судьбу, столько тяжкого тебе зачерпнувшую, и вдруг неблагодарным себя почувствуешь. Какое счастье, что пустили все-таки в этот мир: жить-быть, любить, радоваться, работать истово, самозабвенно. И дар дали истинно редкий, и возможность воплотить его. И признали в конце концов как художника, по-настоящему, главной мировой премией наградив. А еще ведь и красотой телесной Бог не обделил, всегда этим гордился не меньше, пожалуй, чем талантом, недаром стены парижской квартиры собственными портретами увешаны. Он усмехнулся — и правильно! На красивого человека хоть кому посмотреть приятно, с самого себя начиная. Помнится, Галина сказала с восхищением на пляже, когда все только у них начиналось: какое тело у вас легкое! Легкое было, да, а теперь вот и того легче сделалось на вегетарианском питании... И Чехов, кстати, эту легкость заметил, только выразился иначе, по-чеховски: вы худы, как борзая, пейте аппетитные капли и проживете сто лет. Худ и остался и прожил уже немало, а ведь сказано: век человека до семидесяти. Дольше лишь люди высшей силы и крепости живут. Как Толстой, например. Поэтому не сетовать надо на судьбу, а благодарить за милости такие щедрые... Галина? И за нее благодарность великая. В рассказе “Холодная осень” героиня, помнится, спрашивает себя под конец, что же было все-таки в ее жизни? И отвечает: только тот холодный осенний вечер, все остальное ненужный сон. Вечер один, а у тебя с Галиной почти десять лет любви и счастья было...

Какая-то крошечная, серая с зеленой птичка прыгала бойко среди алой листвы бересклета напротив, песенку свою пела тихонько, нежно, радостно и вдруг упорхнула, растворившись в густой небесной голубизне. Вот так, так именно и надо, подумал Бунин. Живи, радуйся, песню свою пой-допевай, а потом вдруг исчезни...

Хорошо, умиротворенно ему было, и все-таки далеко-далеко, на самом краю души что-то побаливало, саднило. Что? Он напрягся, глаза невольно сузил, всматриваясь в дальнюю эту даль. Да Россия твоя, что ж еще?! Вчера не узнавал, как там, не мог, а она сама о себе напоминает даже в подобную минуту. Вот и тревога накатила волной, резкая, мучительная, словно в отместку за тот покой благодатный, которым он только что наслаждался.

Спросить было некого — все жильцы его с утра разошлись-разъехались кто куда, и даже жена была у врача в Грассе. Что ж, подождать придется, решил он и тут же почувствовал, что ждать не может, уж очень сильна была тревога, с предчувствием беды перемешанная. Такое бывало всего несколько раз в жизни, касалось самых близких людей и всегда оправдывалось.

Он встал с шаткого шезлонга и пошел в столовую, к радиоприемнику. Включил, услышал шум, треск, свист, вой и знобко передернул плечами. Мод-

но подумать, что из ада идет репортаж, от котлов кипящих, сковородок раскаленных. А вот и речь немецкая, напористая, ликующая, срывающаяся на лай. И вдруг в этом лае мелькнуло знакомое: Наро-Фоминск, Волоколамск...

Бунин выключил приемник. Нечего больше было слушать: ближе Подмоскovie немцы занимают, в бинокли уже, небось, разглядывают Москву с церковных колоколен...

Он вернулся на террасу и со странным удивлением увидел все ту же красоту вокруг, но и что-то иное, новое появилось в ней — отдаленность, ненужность и даже упрек ему какой-то, укор.

Он походил перед домом то спешно, то медленно, а то и останавливаясь совсем. В душе была смута мучительная, отчаянная, и никак ее не удавалось унять. И он все говорил сам с собой мысленно, уговаривая, заговаривал сам себя. Ну, возьмут Москву, ну и что же? Москва еще не Россия. Сколько раз ее и брали, и сжигали дотла, но Россия-то выживала, авось выживет и теперь. Много за Москвой еще земли лежит, аж до океана Тихого. Хотя что проку в этой земле бескрайней, пустынной, кто ее оборонять будет? Да и что ты знаешь о ней? Только то, что у Чехова в “Острове Сахалине” вычитал? Нет, ты уж о своей России думай, а она для тебя только до Волги...

Он попытался представить теперешнюю Россию и никак не мог. Васильевское, Бутырки, Елец, Орел, Москва... Тысячи раз вспоминалось все это с живостью и яркостью, доходящей до ощущения, что вот-вот картина воображения реальностью станет, а теперь вместо этого мелькали, перемешиваясь, какие-то черные, рваные фигуры-пятна. Это чем-то напоминало треск, свист и вой, которые услышал он, включив радиоприемник и про ад как раз и подумав. Вот все и сошлось — и звуки, и картинки дикие, жуткие. А потому что немцы там, они от него Россию дьявольщиной своей заслоняют...

Он сел в ядовито-мучительно заскрипевший шезлонг, надвинул кепку пониже, прикрыл глаза от солнца. И подумал вдруг, что есть ведь и другая Россия, та, прежняя, им же самим изображенная, самая суть ее, плоть и кровь. Вот она уже и проступает все живее и ярче, идет перед ним, плывет...

Начало “Жизни Арсеньева”, воспоминание самое первое: освещенная солнцем комната, блеск его над косогором, видным в окно... Только и всего, только одно мгновенье! А вот и второе, проплывая, приостановилось: бег по облитым водой бурьянам к огороду, к грядкам. Присел перед одной из них, выдернул редьку и жадно куснул ее хвост вместе с синей грязью, причастился к земле... Мужики на зное косят со свистом, размахисто, приседая и раскорячиваясь, валят густую стену желтой ржи... Анистья из “Веселого двора” вдруг наплыла, прояснилась: идет по полям, по тропинкам, межам среди трав, цветов и колосьев и жалеет, оголодавшая, что рожь не налилась еще, а то бы нашелушила зерна, поела... Из “Пыли” картинка: затрапезность, нищета, гниль и разруха пригородной слободы и мысль героя рассказа, его самого то есть: он радостно сознавал, что будет всю жизнь любить все это. Господи, да как же это любить? Ненавидеть лишь можно... Нет, любить! Сказано в Библии — и ненависть твоя от любви...

Он вздрогнул, очнувшись. Если вспоминать все, о России им написанное, остаток жизни на это уйдет. Мало ведь кому удалось с такой широтой и силой о ней написать, закрепить в слове. Пусть тогдашняя Россия и не существует больше, но в книгах-то его она есть! Спас-таки ее, сберег по мере сил от забвенья! Все годы эмиграции только этим и занят был...

Он почувствовал толчок гордости, выпрямился в шезлонге, а потом и встал. И тут же другая мысль осадил, оглушила его. Спас-то спас, но это если теперешняя, пусть и большевистская, Россия выживет. В ней, хоть и подпольно, подспудно, книги его живут и будут жить, а если немцы победят, то и книгам его конец! Да и ему самому заодно, пожалуй. Вот и молись сразу за все: Господи, спаси! Спаси меня, спаси нас, спаси Россию!

Поздравляем Юрия Васильевича УБОГОГО с 70-летием!

Дай Бог тебе здравия и творческой воли, дорогой друг, для вдохновенных бесед с великими русскими писателями минувших времен.

“ПРЕЗРЕНЬЕ СОЗРЕВАЕТ ГНЕВОМ...”

В четвертый раз, начиная с 2005 года, мы, не скупясь на журнальные страницы, публикуем в рубрике “Наши надежды” произведения молодых писателей России, для которых у нас утверждены ежегодные литературные премии.

Многие из наших авторов – Марина Струкова, Нина Карташева, Илья Недосеков, Анна Матасова, Марина Шамсутдинова, Мария Знобищева, Наталья Шухно благодаря нашим публикациям издали книги, вступили в Союз писателей России, стали известны широкому кругу читателей. Иные закончили Литературный институт или Высшие Литературные курсы.

В одном из писем, пришедших в журнал, молодая поэтесса Карина Сейдаметова из Набережных Челнов пишет:

Здравствуйте, уважаемый Станислав Юрьевич!

...”Во первых строках моего письма” хочу Вам сказать — спасибо! За публикацию в Вашем журнале, куда почитают за честь попасть даже весьма именитые писатели. Да и за самую благую идею сделать номер, акцентированный приоритетно на творчество молодых, за рубрику “Наши надежды”, входить в число которых весьма ответственно, благословенно и почетно!

Отрадно видеть и осознавать, как Вы по-отечески опекаете нас, молодых, проделывая колоссальную работу, подобно золотоискателю-старателю на приисках-рудниках. Когда порою приходится пересеять “горы” песка, чтобы получить золотые крупницы! Говоря же о самородках — можно и нужно отметить Вашу воспитанницу Марину Струкову, стихи которой, как Вы знаете, я очень люблю.

И тот подвижнический труд, ведь писательство в наши дни по большому счету — подвижничество, воспитание молодежи, которая, желая оправдать надежды, возложенные на нее, станет будущей опорой Отечеству — все это есть неоценимый вклад в осознание родного, общего, национального. Ведь русским мало родиться, им нужно стать!

С благодарностью и верой —

**Карина Сейдаметова,
Самарская область**

Особенно знаменательно то, как с каждым годом взрослеют молодые литераторы, как все глубже они начинают понимать нашу жизнь. Прочитав их произведения в этом номере, нетрудно убедиться, что новое творческое поколение обрело не только профессиональные достоинства, но и зрелое гражданское мировоззрение. Оно отвергает “демократию”, при которой правят политический бал мошенники и демагоги, участвовавшие в разрушении их исторического Отечества – Советского Союза. Оно проклинало гайдаровскую “невидимую руку рынка”, которая ежегодно душит и отправляет на тот свет сотни тысяч их соотечественников. Оно презирает продажных слуг золотого тельца, оглуляющих и зомбирующих наш доверчивый народ.

Оно преклоняется перед подвигом своих предков, победителей в величайшей в истории человечества войне, и негодует по поводу западных и своих доморощенных демагогов, приравнявших выстраданный Россией социализм общеевропейскому коричневому фашизму... И что удивительно, даже государственный атеизм советской эпохи представляется им куда более христианским, нежели нынешняя клерикально-государственная политика власти.

Когда мы с одним из наших молодых авторов недавно рассуждали о государственной политике, мой собеседник вспомнил, как летом 2008 года на совещании крупнейших чиновников и бизнесменов наш молодой президент с профессорским апломбом заявил, что “плановой экономикой мы наелись за 70 лет”, и что она не эффективна, что эффективна лишь частная инициатива и частный бизнес... А потом мой молодой собеседник добавил:

“А через месяц грянул всемирный экономический кризис, показавший нам, что рыночной экономикой мы наелись до блевотины всего лишь “за пятнадцать лет”, а какова эффективность частного бизнеса, показали катастрофы на Распадской шахте, на Саяно-Шушенской ГЭС и пожары на сотнях тысяч гектаров русского леса, отданного в аренду “эффективным собственникам”...

– Да что с него взять, – добавил молодой писатель, – у него ведь мышление тинейджера, он ведь все время хочет быть похожим на “нашу” молодежь.

Большое, как сказал великий поэт, видится на расстоянии. Большое преступление тоже.

Наши молодые авторы, которые были детьми в начале перестройки, по истечении двадцати минувших лет поняли, что в 1991–1993 годах было совершено всемирно-историческое преступление, названное Станиславом Говорухиным Великой Криминальной Революцией, и что деятели, ее совершавшие, имеют заслуженную репутацию “врагов народа”...

Проклиная советскую действительность, приватизаторы молчат о том, что в эпоху социализма Северный Кавказ был мирной благословенной процветающей землей, что с каждым годом население страны прирастало, что никто и представить себе не мог времена, когда на наших просторах будут править бал наркота, СПИД, бешеные деньги и заказные убийства, террор, подобный иракскому или афганскому... Вот в какой исторический тупик завели нашу страну реформы Горбачева и Ельцина, Гайдара и Чубайса, Березовского и Ходорковского.

Но, как сказал другой великий поэт, “презренье созревает гневом, а зрелость гнева есть мятеж”...

Читайте молодую литературу, ибо ей принадлежит будущее. И еще из того же Александра Блока: “Юность – это возмездие”.

Ст. Куняев

ИЛЬЯ НЕДОСЕКОВ



ТЫ СТАЛА МНЕ СЕРДЦЕМ, РОССИЯ

* * *

Все свелось до какого-то хлама,
До ненужных забот и потуг...
Уподобленный куполу храма,
Желтый лист задрожал — и потух.

Промелькнул — словно жизнь промелькнула,
И ее уже вроде бы нет...
Но я знаю, уставший от гула
И от звона разменных монет:

Пусть увязну в трясине, в грязи я,
От бессилия крылья сложив,
Но ты стала мне сердцем, Россия...
Ты болишь — значит, я еще жив.

НЕДОСЕКОВ Илья Александрович родился в 1984 году в Москве. В 2006 году с отличием окончил юридический факультет Российской таможенной академии. Автор двух стихотворных сборников: "Мечта бескрылых голубей" (2001 г.) и "Во Имя" (2004 г.). Член Союза писателей России с 2006 года. Живет в Подмосковье.

ВОЙНА

О том ли скорбь моя? На ту ли
Печаль в раздумьях я набрел?..
Рекламный ролик — вместо пули.
На смену бомбам — рок-н-ролл...

А ты все так же жаждешь шоу
И ешь заморский бутерброд
В своей потребности грошовой,
Мой одуроченный народ!

Такой ли ты судьбы достоин? —
Охапки мусора в душе.
В стране — война, где ты не воин,
А беззащитная мишень.

Кто поведет на баррикады?
Быть может, мальчик русский тот,
Что стал давно рабом эстрады
В концлагерях своих свобод?

И манят взгляд остекленелый
Аукционы, дележи,
Где больше чтут продажность тела,
А не бессмертие души.

Здесь все — на грязную изнанку:
Глумясь над верой, строят храм.
В стране — война, а вместо танков —
Веселье смехопанорам...

Но если плот надежд затоплен —
Построим мост, отыщем брод!
О том мечтаешь ли, о том ли,
Мой истребляемый народ?..

* * *

Как трудно вам, чей к правде путь тернист,
Не видя смысла в смысловой нагрузке,
Понять, что русский националист —
Лишь тот, кто жизнь свою живет по-русски:

Кто даже в час гонений или смут,
К чужим народам злобы не питая,
Хранит любовь к народу своему
И твердо верит, что она — святая.

СЫНУ

Ты улыбнись на одуванчик,
Любуясь желтой бахромой,
Мой Святослав, мой милый мальчик —
Святой и славный мальчик мой!

Давай с тобой, пока не нужен
Нам долгий выбор для причин,
Себя увидев в синей луже,
От удивленья — закричим!

Ведь до тебя мне было не с кем
Восторгом множить голос свой
И с удивлением вселенским
Следить за каплей дождевой —

Дрожащей, гаснувшей, как бронза,
В своем стремлении мерцать...
А ты глядишь на лучик солнца
И удивляешься опять —

Тому, как он и зрим, и светел,
Мгновенно пойманный тобой
На взгроможденном силуэте
Высокой липы вековой...

МАРИНА ШАМСУТДИНОВА



ПОРА НАМ ВЫХОДИТЬ ИЗ РЕЗЕРВАЦИИ...

ПОРА НАМ ВЫХОДИТЬ ИЗ РЕЗЕРВАЦИИ...

Я — Евразийка, всем гожусь в невесты,
В скелете тонком моим генам тесно,
Меня прабабки круто замесили
На пересылках кочевой России,
В народном поиске все той же лучшей доли,
В таежном прииске, на стройке и в забое...
С земных глубин вздымается порода,
В одно сливается вся уймаища народа.
Все вплавились в меня, сваялись и сплелись.
Такая глубь во мне, остановись, взглядишь!

ШАМСУТДИНОВА Марина Сагитовна родилась в 1975 году в Иркутске. В 2003 году окончила Литературный институт им. А. М. Горького (мастерскую С. Ю. Куняева). Автор двух книг стихов “Солнце веры” (2003 г.) и “Нарисованный голос” (2007 г.). Печаталась в журналах “Сибирь”, “Наш современник”, “Созвездие дружбы”, “Первоцвет”, в других периодических изданиях. Постоянный автор литературных интернет-порталов “Общелит.ру”, “Стихи.ру” и др. Член Союза писателей России. Живет в Москве.

УКОРОТ

Как Христос, умирал у нас каждый боец.
Виталий Григоров

Пусть мы не верили в Христа,
Мы жили по его законам,
Пусть строй не тот, но вера та,
Был наш Иисус краснознаменным!
Мы верили, что гнет падет,
И каждый от рожденья равен,
И Коммунизма рай придет,
Коль враг народа обезглавлен.
По совести вступали в бой,
По совести пахали землю,
Мы шли, как дети, за Тобой,
Молитве лозунговой внемля.

.....
Сейчас мы верим во Христа,
Так говорят с телеэкранов,
Но пашня прежняя пуста,
Все заповеди для баранов!
Ты говорил: “Не укради!” —
Они воруют, душу губят —
Ты повторял им: “Возлюби!”
Но выродки лишь деньги любят.
Христос, как бож, ушел в народ,
Как прежде, бос, и гол, и грязен,
Страдает с нами, водку пьет...
Поднимется ли новый Разин?
Услышит ли его народ,
Чтоб дать мерзавцам укорот?!

ОСТРОВИТЯНЕ

Как суша, окруженная водой,
Есть оппонент и вечный недруг мой:
Еврей, Американец, Англичанин —
Их нация одна — Островитянин...
До острова плыви, не доплывешь,
В любом бинокле человек — вошь,
Змеей в руках удавочка-петля,
Там в мареве ничейная земля.

Ничья земля? — Моя, Островитянин!
Ты на моей лишь инопланетянин.
Твой остров — межпланетная тарелка,
Тебе послышалось, что мы кричали “вэлком!”...

Что — нация, когда она без крови?
Бензином насосаться, как “лэндровер”,
Вампир киношный в кетчупе томатном
Пьет нашу кровь из ящиков квадратных,
А зомби и живые мертвецы —
То в стельку пьяные и братья, и отцы.
Мысль иностранца очень материальна:
Он любит, чтоб “орально и анально”,
Чтоб наших сыновей и дочерей
Иметь, как дрессированных зверей.

Кликухи вешают: Толстой, Тургенев, Пушкин,
Макаренко — убийца, гей — Слепушкин,
А Гоголь — злой маньяк боевика.
Была литература на века,
Туземец все забыл и рад стараться,
Инопланетным дивом нахлебаться...

Моя земля, песчинка в море лжи,
Стихами, книгами над бездною кружи,
Дай разглядеть народу моему
Среди тумана — лагерную тьму:
Островитяне — суррогаты наций
Готовят нам площадки резерваций,
Индусы, африканцы и индейцы
Для них всего лишь недоевропейцы...
Какой вокруг межзвездный перекоп,
Но уникален только Холокост!

Мы русские, в нас совесть через край,
Мы сделали победным месяц май,
В своей стране живем, как в оккупации,
Пора нам выходить из резервации.
Долой инопланетное вторжение!
Я первой выхожу из окружения.

* * *

Пескобетонная архитектура.
Глина раскрашенная, как металл.
В глиняной жиже торчит арматура.
Тот неудачник, кто не украл.

Небо подперли песчаные глыбы.
Палки и трубы торчат из щелей.
Вы еще выше построить могли бы,
Лозунгу вторя: “Жулье для людей!”

В городе только холодные мощи
Пыльных, захватанных серых дворов.
Пивом на розлив запружена площадь,
Нет ни травинки, ни птиц, ни садов.

Воздух фильтрует за деньги машина,
А за забором на вилле своей —
Спит с автоматом в обнимку детина,
Лозунг придумавший: “Все для людей!”

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

1

Как прекрасная земля без людей,
Как чиста, как по-детски невинна.
И не слышно нелепых вестей,
И любовь ее к небу взаимна.

Как причудливы склоны ветвей,
Как округлы и трепетны липы,
В стороне от кичливых идей,
Вдалеке от унылой молитвы,
Как прекрасна земля без людей!

2

Шел день шестой. Земля существовала.
Над полем, над изнеженной листвой
Сияло солнце, бережно сияло.
Душа к Земле просилась на постой.
Мол, ничего, что грубые одежды,
Что тело не пригодно для жилья,
На небе жить, на небе безмятежном,
Мол, это бытие без бытия.
Кричала, что молиться не устанет,
Текли с небес горячие ручьи.
Но голос был, что Род на Род восстанет.
Бог полем шел. Он полем шел ничьим...

НИКОЛАЙ БЕСЕДИН



ДЕНЬ ФЛОТА

РАССКАЗ

В тот год отмечалось 300-летие Российского флота. Я отправился в Севастополь, где когда-то три года работал механиком на судах Вспомогательного флота после окончания мореходного училища, надеясь, что, найду прежних знакомых, в том числе и по литературному объединению. Перед поездкой я попробовал связаться с Доком, дружба с которым началась именно там, в многославном городе, по-флотски опрятном и строгом, сияющем белозной инкерманского камня, но не смог его отыскать. Мы лет шесть не встречались, лишь изредка перезваниваясь по какому-либо поводу.

Но всё так изменчиво в нашей распрекрасной жизни — от цен до моральных ценностей, что о телефонах и говорить нечего. А мне хотелось поехать в рай, как назвал Бальзак воспоминания, вдвоём с другом и побродить вместе по улицам счастья и переулкам неудач и печали. Наверно, это звучит смешно, но признайся, читатель, что другого рая у тебя в жизни не было, если ты успел обзавестись прошлым. Воспоминания о нём имеют странную особенность хранить, в основном, лучшее из того, чем одарила тебя своя правная судьба.

Словом, поезд “Москва-Севастополь” в лице утрюмолицего проводника ранним июльским утром вежливо подтолкнул меня, полуспящего, на шаткий перрон морской твердыни. Я огляделся и понял, что радостных криков встре-

БЕСЕДИН Николай Васильевич родился в 1934 году в Кемеровской области. Четырнадцатилетним юношей ушёл юнгой на флот. В 1956 году окончил Ломоносовское мореходное училище ВМФ, в 1963 году — Литературный институт им. Горького в одном семинаре с Н. Рубцовым, О. Фокиной, Д. Ушаковым и др. Работал в Институте ядерной физики им. Курчатова, Госплане СССР. Автор 12 стихотворных сборников, лауреат премии им. Н. Заболоцкого (2002 г.). Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

чающих, духового оркестра и даже назойливых таксистов не будет, и побрёл на троллейбусную остановку. С этого момента начало твориться что-то потустороннее со мной, как будто кто-то незримый подшучивал то по-доброму, то с издевкой над моими поисками райских кущей.

В гостинице совершенно противостоительно нашёл для меня одностельный номер, хотя и по низшему разряду, а едва ступил я на лучший в мире Приморский бульвар, как столкнулся с каперангом, подозрительно напоминающим начинающего прозаика лейтенанта Гарбузова из тех давних лет.

Он покосился на меня, потом остановился и обернулся. Я проделал то же самое, и мы одновременно воскликнули:

— Неужели это ты?

Забросав друг друга вопросами и выслушав вопреки обычаю ответы, мы повернули на Большую Морскую и бросили якорь в ближайшем уличном кафе.

Гарбузов по-флотски скуп, но доходчиво рассказал, что первые три года служба не заладилась. Его ироничные литературные опусы о флотской жизни вызвали раздражение начальства (хватит с нас одного Пахомова), и он был переведён из плавсостава в какую-то береговую шарашку.

— Иногда и от хорошего пинка мы обретаем крылья, — философски изрёк он, ставя точку на первом этапе службы. — Я бросил писать прозу и стал писать отчёты и изредка рапорты о переводе меня на какую-нибудь посудину. То ли понравился стиль моих отчётов, то ли почерк, по просьбу мою, в конце концов, удовлетворили. Направили старпомом на тральщик, а ещё через два года на противолодочный корабль вторым штурманом. Прозу я бросил на жертвенник Нептуна и поклялся в верности перед Морским уставом. Блудный сын вернулся в объятия моря. Не обошлось, конечно, и без русалок и их подводных интрижек.

Пока Гарбузов рассказывал, мы распили бутылку муската в память о прежнем обычае принимать, сойдя на берег, по стакану вина за 20 коп. у винных ларьков, похожих на палехские шкатулки, что стояли на Приморском бульваре в те благословенные годы.

Как я ни просил официанта принести самое старое крымское вино, но мускат явно отдавал рыночными реформами. Мне не хватало неиссякаемой веры Дока в общепит, и я сказал официанту:

— Если мы пили тогда такое же вино, то непонятно почему мы до сих пор живы.

Официант саркастически улыбнулся:

— Прикажете принести ещё бутылку?

— Валий. Да не споткнись.

— А вы за меня не беспокойтесь.

— Не за тебя, дурачок, за бутылку.

Мы посидели ещё с полчаса, и Гарбузов заторопился.

— Ну, а сейчас где служишь? Все-таки каперанг не бывает вторым штурманом даже на крейсере.

— Опять вернулся к осёдлой жизни. Дали под начало Центр по подготовке моряков в борьбе за живучесть корабля. Недавно направили представление на присвоение звания контр-адмирала. Может, ещё успеем обмыть? Ты надолго в Севастополь? На День Флота, это уж святое дело, надо быть здесь. Кстати, я тебе доставлю в гостиницу пропуск на трибуну. Вместе быть не сможем. Приезжают Путин и Кучма. Велено быть при штабе.

Мы расстались, и я снова почувствовал сладковато-горький привкус райского воздуха. Горечь, видимо, рождало воспоминание о нечестном поступке моего сокурсника по училищу, обманом занявшего мое место, назначенное при распределении. Но тут же пришла спасительная мысль: в конце концов, это мой рай, я в нём хозяин, поэтому я вышвырнул непрошеного гостя за дверь и повесил табличку: вход по спецприглашениям.

Я медленно побрёл по Большой Морской к историческому бульвару. Впереди маячила тень Дока, того, давнего молодого офицера-подводника, и я, как замороженный, следовал за ней и постепенно растворялся в чужеродном настоящем и материализовался в родном прошлом.

...Мы встречались на выходе из плавдока, в котором стояли его подлодка и мой ЗМС-7, и шли в морскую библиотеку.

Я готовился к экзаменам в Литинститут, хотя и не знал, прошёл ли творческий конкурс, а Док изучал фламандскую школу живописи и третий иностранный язык — испанский, хорошо владея английским и немецким. В полной обособленности мы проводили в читальном зале два с половиной часа, а потом шли в молочное кафе на улицу Ленина и брали вареники со сметаной или запеканку.

Табу на молчание снималось, и мы болтали, а чаще всего спорили по всякому поводу — от свойств гречневой каши до значения абстракционизма в мировой живописи.

Много позже я понял, что тогда в нём формировался человек мира, в отличие от меня, полностью поглощённого (теперь сказали бы “заточенного”) проблемами и историей собственной страны.

Док хорошо знал мировую культуру и особенно современное изобразительное искусство. Коренной ленинградец, сын секретаря горкома и научной сотрудницы Русского музея, он на последних курсах мореходки подплава увлёкся реставрацией картин Куинджи.

— Знаешь ли, — говорил он мне, — картины Куинджи темнеют гораздо быстрее, чем полотна других мастеров, использующих традиционную технику письма. Его нашумевшая в своё время “Ночь на Днепре” уже не приводит нас в такой восторг, как современников художника. Картина потемнела, и чародейство “лунной” краски исчезло. На дальнем плане уже не видно, например, лошади. Легенда о таинственной краске не такая уж и легенда. Он действительно создал её, но как восстанавливать её свежесть, никто не знает. После обычной реставрации картины Куинджи прогрессируют в потемнении, и их оставили в покое. Мне казалось, я нашёл рецепт состава для обновления. Срок потемнения увеличивался вдвое, но мне сказали, что этого недостаточно. Нужна уверенность, что не возникнет разрушительный процесс, и тогда мы вообще потеряем этого самобытного мастера.

— Ага, — говорил я, — тебе не дали убить Куинджи, поэтому ты взялся возвеличивать абстракционизм, этот разлагающий декадентский стиль, чуждый здоровому вкусу восприятия искусства.

— Ник, не трагай искусство. У тебя гораздо лучше получается защита вкуса гречневой каши.

Мы купались до одиннадцати ночи, а потом шли спать в мою каюту на два члена команды и более комфортную, чем у него на лодке. Однако редко спор заканчивался раньше трех часов, когда уже начинал светлеть диск иллюминатора.

В то время Док добивался в штабе флота разрешения на приезд к нему невесты. Севастополь был закрытым городом, и вызывать можно было только близких родственников. Ему в конце концов отказали, и наверно, какую-то роль в этом сыграл отец, который был категорически против женитьбы сына на еврейке. Док порвал с родителями, но от невесты не отказался. Брак всё-таки так и не состоялся, но это уже не по его вине.

Интересно, что в начале девяностых, когда рухнул СССР и началась вакханалия вульгарной демократии, Док разительно переменялся, став истым патриотом России, остро переживая распад страны и девальвацию нравственных ценностей. Так иногда кажется, что близкий тебе человек равнодушен к твоим проблемам и заботам, но стоит придти большой беде, и он всё отдаёт ради твоего спасения. Док по-прежнему называл себя человеком мира, но я-то знал, что это была ирония над самим собой.

...Наступали конец субботы и воскресенье, и между нами воцарилось негласное перемирие.

С друзьями и знакомыми, группой человек из шести-восьми, мы отправлялись встречать рассвет на Байдарском перевале. Выйдя из автобуса Севастополь-Алушта, мы поднялись на лесистую гору около перевала, находили поляну и разводили костёр. Всегда находился играющий на гитаре, в крайнем случае брэнчал я, и мы пели песни, пили вино, читали стихи. В предутренье шли на перевал к старому храму и смотрели, как внезапно

начинал светлеть восточный окоем неба, и как наконец божественно величаво выплывал на посеребрённый горизонт моря помолодевший диск солнца. Опаловая дорожка света ширилась, излучая весь спектр цветовой гаммы, она властно подчиняла стихию пробуждающегося моря, и солнечный поток охватывал прибрежные скалы и весь берег, победно вскинув огненные блики на вершине Ай-Петри.

Мы трижды кричали “Ура!” и спускались к морю. Купались и почти там же, у изголовья волн, засыпали. Ну, а вечером возвращались в Севастополь — его подданные и его со-ратники.

...Тень Дока уселась на парапет сквера, парящего над Южной бухтой.

— Слушай, — сказал я ему, — я понимаю, что все эти миражи, видения и прочие потусторонние шалопаи — наши дети. Мы их рожаем, но мы и убиваем. Так что не надоедай мне молчаливыми поучениями. Валяй, отдохни где-нибудь.

Я спустился к причалам и тут же увидел сухогруз “Руза”. Мистика какая-то, подумалось мне. Она, эта самая “Руза”, и в моё флотское время была уже не молодой, а сейчас ей, наверно, больше лет, чем старухе Изергиль.

Однако вахтенный у трапа подтвердил, что это именно она, что капитан на борту, и сейчас меня проводят к нему.

Я ступил на отполированную швабрами палубу, вдохнул солоноватый, сдобренный запахами тавота и шаровой краски воздух, и меня качнула нежная волна флотской юности.

Капитан, слава Богу, оказался пожилым, грузным мореманом, и мы с ним быстро установили координаты пересечения с общими знакомыми, но особенно сблизила нас светлая память о моём первом капитане Покрышеве.

Я достал коньяк, рыбные деликатесы и огурцы, он пригласил помощника и стармеха, и мы с тихой радостью окунулись в прошлое.

— Ну а сейчас как живёте, куда ходите на своей старушке?

Капитан помрачнел.

— Стоим у стенки, пока не напихают полные трюмы городских отходов. Потом выходим за бонны, на внешний рейд и сбрасываем их в море. В месяц раз, иногда два, в зависимости от количества праздников. Зарплату, правда, выдают, но если нужно заменить какую-нибудь деталь, допустим, в дизеле, то покупаем новую на свои кровные. Денег на ремонт не дают. Принцип: “Хотите жить, умеете вертеться” соблюдается, как Моисеева заповедь.

...Когда я уходил, трап подо мной скрипнул как-то по-стариковски обречённо и одновременно сдержанно, пресекая всякую попытку проявления жалости к судну, которому он принадлежал.

По курсу возвышалось здание флотской газеты “Флаг Родины”, и я, перешагивая через ступень, поднялся на второй этаж и постучался в дверь кабинета главного редактора. Как-никак, а мой творческий путь начинался в этом сером особняке. Именно “Флаг Родины” благословил меня в литинститут, я был его лауреатом и постоянным автором.

Однако капитан второго ранга, из свеженькой поросли морских офицеров, сказал, что ему наплевать на прошлое с клотика, и если кому-то хочется шляться по трюмам, то пусть это делает в одиночку и не тащит с собой порядочных людей. Я хотел было сослаться на Бальзака, но не был уверен, что он ходил с компанией в свой рай воспоминаний.

Зато в комнате редакции по общим вопросам мы с двумя сотрудниками газеты оторвались по полной.

Выйдя от них, я неосознанно оказался в актовом зале редакции, откуда вышел когда-то окрылённым и самонадеянным.

На подоконнике сидел Док и насмешливо шурился. И все же я обрадовался, что есть хотя бы одна душа, которой я могу сказать, как прекрасно одиночество в раю воспоминаний.

— Ты помнишь, Док, тот вечер?

...В Севастополь на встречу с молодыми литераторами приехали столичные знаменитости — Михаил Светлов, Степан Щипачёв, Николай Флеров, Всеволод Азаров, Александр Жаров, Петро Загребальный, и нас приютил этот зал “Флага Родины”. Я, правда, опоздал часа на полтора по причине

болтания моего ЗМС-7 на рейде. Когда я втиснулся в зал, Щипачёв как раз облегчённо произнёс:

— Ну, поэты кончились. Сделаем перерыв, а потом послушаем прозаиков.

Я робко поднял руку. После тихих переговоров за столом президиума мне сказали:

— Только одно стихотворение.

Я прочитал и почувствовал, как на мне скрестились подозрительные взгляды со сцены и из зала. Понурился, я отправился было на галёрку, но Светлов остановил:

— Прочитайте ещё. Два, три.

Потом просьба повторилась, я читал ещё и ещё, с листков и по памяти, и наэлектризованность зала приподняла меня, и я ощутил легкие взмахи крылышек за спиной...

Док не удержался и фыркнул:

— Ты неизлечим. Клинический случай распространённой болезни у вашего брата — поэтов. Скорее бы ты перешёл на прозу. Может, поумнеешь.

Я решил обидеться:

— А что, не так было? Что, не окружили меня в перерыве корреспонденты местных газет, из крымского радио, из журнала “Советский моряк” и просто участники встречи? Не расхватали листки со стихами, а потом уже, в итоге, не предложили издать в Киеве сборник стихов? Что, не так? Ты же был на этой встрече!

Док печально молчал.

— Ладно, — сказал я примирительно, — пойдём в молочное кафе. Небось, жрать хочешь, потому и такой прищипленный.

— Видения бестелесны. Они не жрут, в отличие от вас, материализованных оболочек. Предложи что-нибудь духовное.

— Тогда пойдём выпьем.

— Вот это другое дело.

И Док неслышно переместился вслед за мной в обычное кафе.

Пока мы молча жевали нечто похожее на салат оливье и старались с оптимизмом неандертальцев осилить плоский, как попавший под трамвай пятак, кусок мяса, запивая кислым мерло, я вспомнил нашу давнюю встречу, когда впервые почувствовал, что с другом происходит что-то непонятное.

...Вскорости после прихода во власть М. Горбачева я приехал в гости к Доку в Ленинград, и он повёз меня на дачу к родителям. Они оба уже не работали. Отцу было немногим за семьдесят, матери на два года меньше. Мир между ними и сыном воцарился естественным образом после того, как невеста Дока навсегда уехала с родителями в Израиль.

Отец, Кирилл Афанасьевич, высокий, нескладный в движениях старик с близоруким взглядом и белесыми густыми бровями, стал секретарём горкома в 1950 году в процессе завершения “ленинградского дела”, переведённый на эту должность из политуправления флота.

Он так и остался человеком флотской закваски, прошедшим войну в Приполярье сперва в дивизионе СК, а после ранения на береговых батареях Мурманска.

Мать, Татьяна Сергеевна полтора года назад оставила работу в Русском музее и полностью отдала себя домашним заботам.

Мы приехали с Доком к ним в небольшой домик, утопающий в зелени Старого Петергофа, в конце августа в тихий сумеречный день, пахнущий яблоками и молодым сеном, сложенным в копёнку на соседней даче.

Татьяна Сергеевна принялась готовить застолье, а мы с Кириллом Афанасьевичем устроились за небольшим дощатым столиком во дворе дома, и Док, уже не морской офицер, а научный сотрудник одного из ленинградских НИИ, после нескольких дежурных вопросов о здоровье родителей спросил отца:

— Как ты относишься к новому генсеку и его программе перестройки?

Прошло уже много лет с того августовского дня на даче в Старом Петергофе, но до сих пор я отчётливо помню неторопливые слова Кирилла

Афанасьевича, его почти неподвижные глаза, глядящие на меня, как будто не сын, а я задал ему вопрос. Док отвлекался иногда на помощь матери, а я сидел и слушал, не желая верить неожиданно резкой и тревожной оценке происходящих в стране перемен, и не мог не верить убедительно выстроенным фактам и выводам. Исторические параллели, высказывания учёных и философов, вековой опыт народов и примеры судеб государств и режимов, наконец, своя жизнь — всё это выстраивалось в логически обоснованную критику перестройки и новой политики государства.

— Страну ждут тяжёлые времена, — говорил бывший секретарь горкома, — и, боюсь, что мы на пороге её развала. Началось это не сейчас, а в 56-м году, с XX съезда партии. Мы разрушили одну из главных опор — веру в личность, олицетворяющую идею справедливого мироустройства и неизбежность её воплощения в реальность. Развенчав личность, мы убили и саму идею, в неё перестали верить сначала так называемая интеллигенция, а потом и народ. С этой же целью вот уже двадцать веков пытаются разрушить Образ Христа, и если это удастся, христианство, как вера, умрёт в душах людей.

Эта параллель с Иисусом Христом мне показалась слишком натянутой, но я не стал возражать, понимая, что по сути она, видимо, правомерна, а всякое сравнение хромает, как сказал Гёте.

Кирилл Афанасьевич продолжал.

— Идея коммунизма, если брать её сущность, родилась вместе с первобытным обществом. Неважно, что она не имела научного обоснования и меняла век от века свои названия, но стремление человека построить справедливый мир, в котором люди не гипотетически, а реально жили бы достойной жизнью, пронизывает всю историю человечества. Но чем дальше, тем янее становилось, что это невыполнимо. Это утопия. Прекрасная, но утопия. Биологическая сущность человека, хищнические инстинкты наиболее сильных особей стоят неодолимым барьером на пути к воплощению идеи добра и справедливости. Любая религия и тот же коммунизм, как и демократия, — из числа этих утопий.

Кирилл Афанасьевич вдруг замолчал и как-то обмяк, словно в нём не стало стержня, который держал его грузное тело в состоянии праздничной приподнятости. Он потерянно смотрел на меня, даже скорее сквозь меня, в то невидимое, что было за мной, и оно пугало, веки его вздрагивали и, утяжелённые невидимым грузом, опускались, почти закрывая глаза. Наконец, он снова заговорил.

— Сейчас мы в идеологическом лабиринте, на распутье, по-русски говоря, и несть числа поводырей, предлагающих свои услуги по выходу на верную дорогу. Вот вы, я слышал от Олега, литератор. Вы можете назвать героя нашего времени в литературе последнего, скажем, тридцатилетия? Где тот, кто стал духовно-нравственным идеалом, образцом для подражания, в каком произведении?

Идея всегда требует создания образца, без него она мертва, и это понимали не только религиозные деятели, создавая образы святых, блаженных и мучеников, но и основатели государства рабочих и крестьян. Без таких, как Павка Корчагин, Павел Власов и Ниловна, Чапаев, Лазо, Давыдов и Размётнов, герои лучших советских фильмов и герои Великой Отечественной, идея социализма не смогла бы воодушевить народ на жертвенное служение во имя её Победы. В ещё большей степени образы героев и подвижников — вечный родник животворных сил — требует чувство патриотизма. Посмотрите, сколько в истории примеров воспитания народов на идеалах той или иной идеологии. Герои Древней Греции и Рима, немецкий Зигфрид, английские Робин Гуд и Ричард Львиное Сердце... Сколько их! Не потому ли мы сейчас на распутье, что разменяли Державную Правду на множество правд маленьких человечков?

Не это ли произошло в литературе шестидесятников и в той же деревенской прозе? Когда умирают герои, умирают и идеалы. Так, Руссо говорил: "Не увлекайтесь деталями, они заслоняют сущность". А мы погрязли в деталях и эпизодах, случаях и случайностях, выдавая их за сермяжную правду.

Как-то в конце пятидесятых всплыл такой факт: во время блокады Ленинграда, когда тысячи умирали от голода, одна семья, живущая в своём доме в пригороде, держала в погребе корову. Место было малолодное, и им удавалось незаметно приносить ей корм и убирать навоз. Молоко продавали за ценные вещи и драгоценности. Это был дикий, единственный случай, но можете представить, как бы его могли раскрутить любители деталей, как подорвать героизм блокадников?

Подошёл Док и пригласил к столу, однако присел рядом с отцом и снова повторил свой вопрос:

— Как тебе новый генсек? Наконец-то отыскали молодого, энергичного, напшигованного идеями, как жареный поросёнок капустой. Только как бы не прокисла она.

— Откуда в тебе, Олег, столько злой иронии? Как будто ты на весь мир обижен.

— Вот-вот, именно на весь мир. Это же по-нашему: бить — так оглоблей, красть — так миллион, злиться — так на весь мир. А Горбачев — это деталь, заслоняющая сущность. Только вот, кто знает эту сущность? Так что же нас ждёт, отец, под взмахами новой метлы?

Кирилл Афанасьевич чуть заметно улыбнулся:

— Ты хорошо сказал: метлы. Думаю, что много выметут хорошего, может быть, главного, что было добыто кровью и потом не одного поколения России. Осколки разбитого прошлого полетят в будущее, и раны от них могут оказаться смертельными. Но может статься, что опомнятся и пойдут рыться в том, что выбросили, чтобы вернуть к жизни зерна добра и любви.

Мир с каждым годом становится всё сложнее и всё беспощаднее к слабым. Не дай Бог нам оказаться слабыми, а ещё хуже — трусами, рабами чуждой морали. Прав русский философ И. Солоневич: “Сила — первая добродетель нации”. Сила не только воинская, но интеллектуальная и духовная.

Но я вижу, как усиливается процесс размягчения мозгов. Человек, создавая искусственный интеллект, постепенно переходит на его иждивение, становясь умственным инвалидом. Страшно за будущее, за вас, за внуков...

...Я вспоминаю ответ Кирилла Афанасьевича сейчас, через много лет, и поражаюсь его предвидению. Не пророчеству, не предсказанию, а именно предвидению, ибо он обосновывал своё понимание судьбы страны через факты и причинную связь событий, которую я не видел и, признаться, не верил в исход столкновения различных сил, какой он обозначил и какой таким и оказался. Но к этому удивлению примешивается тревога, даже страх за судьбу России и русского народа, ибо то, что сказал бывший секретарь горкома, не ограничивалось распадом СССР, торжеством дикого рынка, бездуховностью и вымиранием населения, а предполагало логический исход в тёмные времена хаоса и бед.

Я не всё запомнил, но суть была такова.

Док в тот далёкий вечер после ответа отца был молчалив и сосредоточен, и долго не гасил свет в своей комнате, по крайней мере до полуночи, пока я не уснул, а утром, когда я зашёл к нему, он ещё спал. На столе лежала открытая книга. Я заглянул в неё и прочёл:

“— Это безумие!

— Да! Но теперь только безумцы могут спасти мир от гибели. Умники за семь тысячелетий привели человечество к пропасти. Настала пора безумцев остановить это самоубийство”.

...В гостинице дежурная передала мне пригласительный на гостевую трибуну в день празднования Дня Флота.

— Просили передать, что нужно придти за час до начала. Позже можно не попасть. Президенты приехали, перекроют улицы, и вообще...

— Это “вообще” меня особенно убедило, и я был за час до начала праздника на трибуне. Кое-как нашёл место, где приткнуться, и оглядел гавань.

На рейде в парадном ордере стояли все могучие силы Черноморского Флота: три российских корабля и два украинских.

Гремела музыка, ветер забавлялся флагами расцветивания и вымпелами, орёл с памятника затопленным кораблям вот-вот, казалось, взлетит с венком славы в безоблачье небес, чтобы размять бронзовые крылья.

Минут за двадцать до начала праздника, до обхода строя кораблей штабным катером под флагами командующих флотами на рейде появился трехпалубный теплоход под французским флагом с туристами на борту.

Восхитительно выглядели женщины в пляжном одеянии, приплясывающие под марш “Прощание славянки”. Все-таки прав был Александр Дюма, сказавший, что самое прекрасное на свете — это фрегат под парусами, танцующая женщина и скачущая лошадь.

Для полноты впечатления не хватало, правда, скачущей лошади.

Появились Президенты Путин и Кучма. Французский теплоход с достоинством ушёл в сторону Инкермана, и праздник начался.

Мне стало почему-то грустно, и я вслед за некоторыми офицерами покинул трибуну.

Что-то не складывалось в душе моей, она не праздновала, она тихо скулила, как щенок, выброшенный на помойку.

Я бесцельно бродил по городу, излучающему каждым камнем июльскую жару, пока не натолкнулся на зазывал поехать в Симеиз на лучшие крымские пляжи. Вот и отлично, решил я, заодно и повидаюсь с Байдарским перевалом.

В микроавтобусе был полный набор желающих омыть свои потные тела в голубоглазой Симеизской бухте.

Звенел полдень, когда мы выбрались из Севастополя, и даже встречный ветерок и открытые окна не спасали от зноя. Вспомнились юношеские стихи:

...Смотрели пассажиры молча, хмуро

На степь, на пыль, на тусклый отблеск трав.

Однако двое все-таки не молчали.

Парень с какой-то железкой на груди, перстнем на пальце и татуировкой на крутых бицепсах рассказывал своей подруге, украшенной пирсингом на бровях и маленьком носике, о событиях, связанных с окрестными местами. Говорил он достаточно громко, с апломбом участника защиты Севастополя в 1855 году и, тем более, Великой Отечественной.

— Вот эта дорога, — говорил он, — уходит в Балаклаву. Там стояли войска англичан и французов, осаждающие Севастополь. Однажды им послали зарплату в золотых монетах на корабле, а он затонул во время шторма у Балаклавы. Уже после революции большевики его подняли, и этого золота хватило, чтобы выполнить их пятилетки.

Очкастый старик, сидящий сбоку от молодой парочки и, видимо, хорошо слышащий эти исторические байки, скривился в насмешливой улыбке, но промолчал.

Парень сказал ещё что-то по поводу многократного превосходства русской армии, обороняющей Севастополь, над армией союзников, и что англичане построили железную дорогу из Балаклавы в Севастополь, но Советы её разобрали, и перешёл к Великой Отечественной. Его взгляду как раз подвернулась Сапун-гора, и он, покосясь на старика, изрёк:

— Вот под этой горкой полегло около миллиона наших солдат по вине тупоголовых комиссаров. Вместо того, чтобы её просто обойти, полезли в лоб, на вершину с красным флагом, а то внизу его плохо видно.

Девушка засмеялась, и в её бусинках на бровях и на носу заиграли весёлые искорки.

Старик не выдержал. Он лихорадочно, почти с криком, одёрнул парня и стал говорить, что высоты потому и брали, что их нельзя обойти, дорожке обойдётся, что если бы под каждой горкой оставляли по миллиону погибших, то через месяц некому было бы воевать, что нельзя на зарплату 26 тыс. английских солдат построить заводы, электростанции, транспорт, больницы и школы, создать авиацию и флот, — всё то, что было сделано за первые пятилетки в СССР, что нельзя охаивать Родину, в которой он родился и вырос до возраста ничего не знающего балбеса.

Старик кипятился, путался в словах и поправлялся, доказывал свою правоту с помощью цифр и цитат, но парень вызывал, похоже, больше симпатий у разомлевших пассажиров, потому что был молод, красив и спокойно улыбался, снисходительно глядя на старика.

Сдобнотелая женщина лет пятидесяти с мобильным телефоном, который лежал у неё на груди, как на тумбочке, первой из нейтральных наблюдательниц бросилась на защиту парня:

— Что вы к нему привязались? Разве он не имеет право на своё мнение? Вы, наверно, из бывших партаппаратчиков, привыкли всех выстраивать.

Старик, наконец, взял себя в руки.

— Вы правы, мадам. Личное мнение, конечно, выше исторического факта. И никто не запретит вам считать, например, что Берлин в 45-м году взяли американцы, а не советская армия.

Это была роковая ошибка. Мадам обрушилась на него с такой яростью, что её хватило бы на взятие не одной Сапун-горы.

Мне было жалко старика, защитника исторической правды, и того времени, и той страны, которые были смыслом его жизни.

Я понимал всю его правоту, но в раю, даже личном, не должно быть никаких сражений, диспутов и вообще несогласия. Рай — это рай, а не круглый стол ТВ.

И я с облегчением вздохнул, когда наш лимузин остановился на Байдарском перевале, и внизу распахнулось море во всей своей могучей лени, едва пошевеливая сонными волнами приборя.

В Симеизе, прежде чем одарить вольной жизнью на пляже, нас повели на экскурсию в парк, знаменитый своими ботаническими причудами. По давней привычке я отстал от группы и бродил один наугад, пока не наткнулся на дерево с табличкой “ливанский кедр”. Во мне смутно забрезжила мысль, что я слышал об этом кедре, но вот что именно, вспомнить не мог. На всякий случай я решил сорвать с него шишку, зелёно-смолянистую, чтобы иметь доказательство общения со знаменитостью.

Однако шишка висела на недостижимой высоте. Припомнив свои спортивные способности, я перехватил в левую руку полиэтиленовый пакет с ручками, в котором лежала стеклянная бутылка Боржоми, и прыгнул с разбега, протянув правую руку к шишке. В ту же секунду я почувствовал страшный удар чем-то тяжёлым по голове чуть ниже глаза, и фейерверк искр рассыпался у подножья кедра. Из пакета, весело журча, лилась струйка Боржоми, и тихонько звенькали осколки бутылки. Не успел я сообразить что же произошло, как рядом возникла тихая старушка и укоризненно прошелестела:

— Это святое дерево. Нельзя рвать с него плоды. Попросите у него прощения и покайтесь молитвенно.

Старушка тут же растворилась во влажно-маревой парковой зелени.

“От этих привидений отбоя нет, — подумал я, — нужно что-нибудь поесть, а то на голодный желудок и не то привидится”.

Я пощупал ушибленное место, и оно отозвалось слабой болью. Исполнив наказ старушки, я побрёл на пляж, с содроганием думая, что скажет о моём моральном облике мадам.

Но на обратном пути никто не замечал моего “фонаря”. Зеркала нигде не было, и я тихо спросил старика, как выглядит моё лицо. Он, показалось, обрадовался, что к нему обратились.

— Вы немного переусердствовали с загаром, помажьте на ночь кремом или лучше сметаной, а завтра всё будет в порядке.

“Это вряд ли”, — вспомнил я слова красноармейца Сухова из “Белого солнца пустыни”, и когда зашел в гостиницу, сразу же подошёл к зеркалу. Синяка не было. В номере на единственном стуле сидел Док.

— Где ты весь день шлялся? — спросил он, плавно переместившись на кровать.

— Я думал, что потусторонние субстанции всё знают и без вопросов. Но если... И я рассказал ему о французском теплоходе, о поездке в Симеиз, о старике, молодом “эрудите” и мадам, о ливанском кедре и старушке.

— Кстати, не из твоей ли она коды? Тоже какая-то потусторонняя.

Док ответил загадочной фразой:

“И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни”.

— Разъясни. Не понял.

— Это из “Ветхого Завета”. Рай недостаточно создать. Его нужно уметь защищать от посягательств слугителей ада и прочей шпаны. Напряги клетку своей памяти и вспомни, сколько раз ты промолчал, когда унижали словом и делом твой рай, сколько раз прошёл мимо тех, кто обламывал райское древо жизни, и ты не остановил их. Ты не нашел мужества вступить за старика, за тех, кто штурмовал Сапун-гору, кто защищал Севастополь во все времена. И вообще, кого защитил ты в своём раю, тем более сам рай?

— Слушай, — сказал я Доку, — что-то я не замечал в тебе раньше интереса к религии. Было увлечение искусством, языками, историей, астрономией наконец, но ведь херувимы, как я понимаю, не посланцы Андромеды или Гончих Псов?

— Действительно, — согласился Док, — я как-то позабыл о твоей приземлённости. Тебе подавай что-нибудь вещественное, чтобы можно было пощупать.

Док на какое-то время замолчал, задумчиво глядя в окно, за которым вспыхивали гирлянды салюта и рассыпались в густо-сиреновом небе. Всполохи света вырывали из тьмы силуэт Тотлебена и шпиль бывшего матросского клуба.

Когда салют отгремел, Док повернулся ко мне.

— Хорошо, давай о приземлённом, о тех, кто защищал свой рай. В давние времена их было несть числа, и не было такой цены, которую они не заплатили бы за святость и бессмертие рая. Ты, кажется, был свидетелем одного такого поступка.

На одном из Пушкинских праздников поэзии в Михайловском, в доме директора заповедника Гейченко Семена Степановича знаменитый поэт Ярослав Смеляков униженно отозвался о жене Пушкина Наталье Николаевне, назвав её чуть ли не проституткой. Для Гейченко мир Пушкина был свят. Это был его рай, и он бросился на осквернителя, влепив пощёчину Смелякову. А ведь они были почти друзьями.

В те же годы поэт Михаил Луконин сказал, что не позволит при нём плохо отзываться о стране, за которую гибли его друзья.

Я почувствовал слабую горечь во рту — признак возбуждённого состояния.

— Уж не хочешь ли бы сказать этим, что и у тебя чешутся руки?

— Нематериальные тела не могут бить по морде. Для этого существует, например, бутылка Боржоми, — миролюбиво ответил Док и предложил пройти по ночному городу и поискать на небе Андромеду.

— Я расскажу тебе удивительную легенду об этом созвездии, в которой герой через покаяние приходит к несокрушимо стоянию за Истину. Кстати, после той пощёчины месяца через два Смеляков опубликовал стихи:

— ”Прости, Наталья Николаевна...”

...Мы шли с Доком по освещённым праздничными огнями улицам и вглядывались в их новое обличье, стараясь найти следы ушедших эпох, но безжалостное время переместило их куда-то в неподвластное нашему взгляду пространство.

Уже не было молочного кафе, “палехских” ларьков с винным избытком за 20 копеек стакан, почти не было флота, но был негибимый, непокорённый Севастополь, были русские моряки, и стояли вросшие в железную землю памятники героическим защитникам России.

...Ночью мне снилось Средиземное море. Мы с Доком лежим на пробковых матрацах на сигнальном мостике корабля, глядя в крупнозвёздное ночное небо, и он рассказывает мне легенды о созвездиях.

ЕЛИЗАВЕТА МАРТЫНОВА



КНИГА СТЕПИ

* * *

Путешествуй, душа, налегке,
Утварь дома оставь и пожитки,
Оживай — то в листве, то в строке,
В свежем ливне — промокни до нитки.

Пусть твердят, что так жили до нас,
Неумело, нелепо, нескладно —
Ничего не держи про запас,
Уходи, уезжай безоглядно.

Кто нам нужен — тот с нами всегда.
Кто оставлен — тот этого стоит.
Золотая слепая звезда
Небо зоркое взору откроет.

Но легко ли идти по лучу?
В поезд поздний в потемках садиться?

МАРТЫНОВА (ДАНИЛОВА) Elizaveta Sergeevna родилась в Саратове в 1978 году. Окончила Саратовский государственный университет. Кандидат филологических наук. Преподавала литературу в саратовских вузах. С 2008 года — главный редактор журнала "Волга. XXI век". Автор книги "Письмо другу" (2001), "На окраине века" (2006). Лауреат премии Ю. П. Кузнецова за лучшую поэтическую публикацию молодого автора в журнале "Наш современник" (2008). Слушательница семинара А. Казинцева и С. Куняева на Форуме молодых писателей в Липках. Живет в Саратове.

Подожди, я тебе посвечу,
Тайной жизни твоей проводница.

Всё как прежде: цветы пустыря,
Млечный путь и тропинка скупая,
Дом, в котором все окна горят,
Ночь горячая, золотая —

Не достаточно ли для пути
Твоего, чтоб счастливой остаться...
Путешествуй, душа, и свети
Всем привыкшим по свету скитаться.

ПЕРЕКРЕСТОК

И тяжело, и сладко понимать,
Что жизнь твоя — всего лишь перекресток:
Друзья, враги и снега благодать,
А после, глядь — стоят одни лишь звезды
Над пустырем, бездонные такие,
Что страшно даже голову поднять...
О смерти, о безумье, о России —
И тяжело, и сладко вспоминать.
Но сквозь тебя пройдут века иные,
Ковыльный свет, татарская стрела,
Святые, нищие, певцы слепые —
И музыка, что изгнана была.
Беззвучье, безответная зима.
Ты человеком быть переставала,
Не пела ты, а песнею была,
Ты как могла на свете выживала,
И выжила, и вскоре мною стала,
Моей душой из пепла и тепла.

* * *

Степь — это воздух, горький и густой,
Весенний, опаленный, неповинный
Ни в чем — и опьяненный высотой
И радугой крылатой и наивной.

Стань детством, степь, воспоминаньем будь —
О девочке, на станции живущей.
Здесь будет город. Здесь намечен путь
Для молодых, безудержных, поющих.

Не страшно им, что призрачен барак,
Сквозящий на ветру войны великой,
Что слишком много выпало утрат,
Что в скорбных лицах проступают лики.

Играет девочка на пристальном ветру,
Дивится травяному благолепию
И говорит, что “если я умру,
То ничего — я тоже стану степью”.

* * *

Книга степи открывается враз:
Шелестом трав и мерцанием звездным —
Словно бы радость какая сбылась,
Словно бы горе исчезло бесслезно.

Ржавую пижму погладь не спеша,
Думать забудь о безумии близком.
Видишь, стрижи обучают стрижат
Небом владеть безо всякого риска?

Так же и ты свое сердце заставь
В засуху все ж расцвести при дороге,
Птицей сорваться с обрыва — и вплавь
Преодолеть облака и тревоги.

Это еще пригодится тебе
После, в дыму городском и недужном.
Книгу степи, как оружие, нужно
Прятать у сердца — на радость судьбе.

ОКРАИНА

Окраина, старая рана,
Старухи и малые дети,
Звезда, что горит неустанно —
И память, которая светит.

Утрата, еще раз — утрата,
Разлука — и снова разлука.
Жизнь — вежа, горящая дата,
Луч света и горняя мука.

На фоне домов аварийных —
Израженный старостью тополь.
Здесь жили, стирали, варили
И жизнь не считали жестокой.

О чем сожалеть? Все сбывалось.
О чем говорить? Все известно.
Здесь детство похоже на старость
И старость похожа на детство.

Здесь звезды сияют упрямо,
А сердцу — светло и тревожно.
Окраина — старая рана,
Которой зажить невозможно.

ЛЮБОВЬ ЧИКАНОВА



БЕЗ БОЛИ ПРОЩАЯ

* * *

Мороз ударит, как кобыла ножкой цокнет,
Так звонко с искрою, от искры загораясь,
Сгорит вся жизнь моя, но музыка не смолкнет
Над равнодушной родиной, в которой маюсь.

Нестройный хор собак голодных, малых птах.
Нестройной музыки печальная основа.
Свистели вы, рычали, пели, разгоняли страх.
Не помня зла, вы начинали снова.

На что оставлю вас, кому оставлю вас?
Вы музыку нестройную играли.
Я тотчас же умру, без вас умру тотчас,
Ведь музыку души мы вместе составляли.

Но шлют они свое последнее танго
И плачут горестно в осеннем парке.
И кружит лист последний, наголо.
Прощай, прощай — и меркнет свет неяркий.

ЧИКАНОВА Любовь родилась в 1972 году в крестьянской семье в деревне Поспелиха Алтайского края, где прошло ее детство и отрочество. Именно там были написаны ее первые стихотворения. В настоящее время окончила Литинститут им. Горького (семинар Ст. Куняева). Живет в Москве.

Но занесет меня в гербарий тот страна.
Как я представлю это, так картина станет
Печальнее. Насыплет серебра
Холодный снег на головы. Убьет, обманет.

А я то лучшее, что есть в такой стране,
В Москве постнэповской, бандитской —
Я шеститомник красного Твардовского в руке
Несу, как памятник эпохе замполитов.

Сегодня кормчий твой — сухой барыш, страна.
Разводят старики, что были крепче раньше.
Лишь мир реклам цветет и пахнет, господа,
Но как же хочется вспороть всю эту фальшь мне.

* * *

В зеленые цветки твоих творений,
Вся окунаясь в медленную тьму,
Лишь написав чуток стихотворений,
Я упаду на землю и умру.

И все увижу в том неярком свете,
Но в свете из каких-то дивных грез.
Святые видят их и, верно, дети
И то лишь ненароком, не всерьез.

И я прощу, в то лучшее уверив.
Прошу друзей, прощу своих врагов.
Но все ж мои цветы, что срезал лемех,
Не зацветут на черноте лугов.

Но пусть споет на синей пелеринке
В воздушных зыбях, в реющем снегу
Стриж в небесах, расшитых по старинке,
С сигнальным колокольчиком в зубу.

Медведиха урчит под темным небом,
А медвежонок тянет молоко.
В глухом лесу святой накормит хлебом
Медведя, словно брата своего.

И с этой песней звонкой и прощальной,
Среди цветов незыблемых твоих
Пусть мой цветок, цветок простой печальный
Грустит среди цветов и трав тугих.

* * *

Еще тревожны желто-бурые поля и лес,
Белеют жидкие стволы берез во мраке елей,
Осталось времени до зимних холодов в обрез,
Последний слабый лист сорвется наконец,
И первый чистый снег закружит еле-еле.
Так тихо станет и светло, на всем смиренья знак.
Я еду в поезде, не говоря ни слова,

Смотрю в окно, там догорит закат.
Не страшно мне, что в жизни тоже так,
Но жизнь совсем не повторится снова.
И пусть мои глаза, как в столбняке,
Глядят во тьму, бинокль им не нужен,
Чтоб видеть жизнь. Сжимаю в кулаке
Всей жизни прошлой прах, печали те
И слезы для последней трудной службы,
Простой и русской. И березы все,
Весь русский лес в полях зашевелится
И по градам и весям, как в тоске
Разбойничьей: “Не плачь, красавица, по мне”,
Качаясь, запоет от речки Обь до Вислы...
Из тех далеких рощ, с блаженных берегов,
Что на земле лишь звук, лишь ласточка привета.
Там тень твоя, поговори со мной, я не боюсь ответа.
И первый снег, и грязь, и серебро снегов,
И русских не забыть полей, лесов...
Два дня проспав в постели, заболеть.
Приснится, что жалеют, да малина с чаем
И книги на столе. Что друга не встречаешь?
Онегин бодр, снег выпал в январе.
Пойдем посмотреть в который раз кино
И слушать шум и разговоры, в домино
И в карты баловать, а там за кружкой пива,
Глядишь, и жизнь пойдет, как девочка, красива.
Ты полюбуйся на нее, пока есть силы,
Пока ее не скушала могила. Помедли, время, счет!
Смотри во все глаза, смотри, она моя еще.

* * *

Было осеннее золото в листьях,
Были вверху небеса по-осеннему серы.
Что вы шумели, как эти печальные мысли,
Что вы шумели, последние листья, без меры?
Листья осенние, листья под небом осенним,
Что вы шумели и сыпали золотом в грязи
Черных размытых дорог, обжигая последней
Песней печальной, как русские князи?
Так обнимите меня, обнимите за плечи
И отпустите, прощаясь, без боли прощая.
Я хочу жить, хочу верить и если мне нечем
Жизнь обласкать, разве только любить обещаю.

АЛЬБЕРТ КАРЫШЕВ



ПЕЧНИКИ И КРОВЕЛЬЩИКИ

РАССКАЗ

В избе у нас стоит хорошая русская печка, с широкой лежанкой, просторной топкой, в которой можно париться, как это делалось в деревнях еще не очень и давно: в Великую Отечественную и позднее, — а дрова в ней занимают огнем живо, весело: поджег завиток бересты, кинул под поленья, сложенные клеткой, — и запылало, загудело, пошло варить щи, картошку и нагревать лежанку.

Требовалось нам с женой Верой Владимировной сложить печь во дворе, для скорой стряпни и заготовки на зиму варенья, маринованных грибов. Искали мы мастера, но, кажется, настоящие печники тут вывелись — не по дням, а по часам выводятся и сами деревни, как прекрасная заповедная дичь, на которую с боевым оружием охотятся с вертолетов браконьеры. Знакомые сообщили, что пара кустарей где-то здесь еще обитает, не особых умельцев, но таких, что некогда держали в руках кирпичи и мастерки, однако из-за полной своей ненадобности эти малоквалифицированные печники, скорее всего, напрочь разучились класть печи. Один из них, с бегающими глазами, средних лет, желтоусый, в резиновых сапогах, с холщовой сумкой на локтевом сгибе, сам возник однажды и предложил свои услуги, но опять вмешались знакомые, посоветовали не связываться. Уж мы с женой решили самостоятельно построить уличную печку. Нашли в земле хорошую

КАРЫШЕВ Альберт Иванович родился в 1936 году в Наро-Фоминске. Окончил мореходную школу в Архангельске и кораблестроительный институт в Ленинграде. Пять лет плавал матросом, потом работал инженером по ремонту атомных лодок. Автор книг прозы “В день Победы”, “Всю жизнь”, “Плач ребёнка”, “В лесу”, “Дурная кровь”, “Пленные немцы в Григорьевске” и других. Член Союза писателей России. Живет во Владимире.

коричневую глину и чистый песок, искали и конского навоза, чтобы укрепить строительный раствор (но какие там кони! Какие лошади! Корова, и та сохранилась в деревне в единственном числе!); предприниматель местных Саша Сергеев дал бесплатно черных жаростойких кирпичей, и вот в начале лета не сведущие в печном строительстве городские люди взялись было за дело, но тут к нам пришли двое небритых молодых мужчин. Они крикнули через изгородь во двор:

— Эй, хозяева! Вы дома?

Потом приблизились к избе и стукнули пальцами в окно.

Мы с женой вышли к ним за пределы усадьбы, на зеленую лужайку, и мужчины попросили у нас займы. Не много им надо, сказали.

— Как же мы вам дадим, — ответил я, — если совсем вас не знаем?

— Отец! Мы русские люди! — заорал, вытаращив глаза, явно младший возрастом, но, судя по его бойкости, главный зачинщик авантюрного похода к нам. — Мы пойдем друг друга! Что я, по-твоему, совесть за рубли продам? Ты меня даже как-то обижаешь!.. Спроси любого — я за речкой живу, — обманул хоть раз Юра кого-нибудь? Меня все знают и уважают! Я дачникам и местным дрова колю, крыши крою, заборы ставлю, траву в огороде могу выкосить! Только свистни, и Юра тут как тут! Валька такой же! Честня-ага! Честнее его не найти! Пусть сам скажет! Только он стесняется! Не стесняйся, Валька!..

Длинный чернявый приятель Юры, весь какой-то изнуренный, с продолжными морщинами на щеках, успел присесть на бревнышки, приготовленные мной для замены в ограде подгнивших опорных столбов. Он был не просто малообщителен, но, по-моему, совсем не умел говорить. Съездившись, запахнув полы мятого пиджака и схватив себя за плечи, Валентин мелко трясся и только мычал.

— Что он трясется? — спросил я.

— Озяб, — ответил Юра.

— Как же он мог озябнуть, если на улице жара, тридцать два градуса в тени? Ты вон весь потный. Рубаха нараспашку. Волосы ко лбу прилипли.

— У него организм такой. Валька мерзнет в жару, а может, чем-нибудь заболел... Ну, давай, отец, решим главный вопрос. Займи полсотни. Через неделю лично я тебе верну. Честное слово! Гадом буду!.. Как тебе еще покласться? Пусть язвами покроюсь или издохну!.. Никогда Юра совесть не продавал! Каждый подтвердит!..

— М-м-м... — произнес я.

— Ты что, отец, не веришь? — Он развел руками, а лицом выразил полную свою праведность и обиду за то, что я его праведности не замечаю. — Тогда я удивлен! Очень! Не знаю, что сказать! Деньги нужны до зарезу, крайний случай! Может, от полсотни рублей наша с Валькой жизнь зависит!.. Хозяйка твоя вон верит! Правда, хозяйка?

Валентин продолжал мычать и трястись. Вера Владимировна ехидно улыбнулась, а Юрию, наверно, чудилось, будто она смотрит приветливо. Я-то давно усвоил все разновидности улыбок своей жены.

— Ты красивая! — сказал он и подмигнул ей. — Старая, а еще ничего! Глазами-то голубыми так и зыришь, так и играешь! Как конфетки глаза!.. Что ты в нем нашла, в муже своем? Он уродливый по сравнению с тобой! Как это, интересно, у вас получилось, что ты за него вышла? Лучше, что ли, не было?

— Эй, придержи язык! — одернул я его. — Ишь разошелся, петух ободраный!

На петуха Юра похож не был. Невысокий, коренастый, с крепкой шеей, он скорее напоминал дубовый пенек.

— А заревновал, гляди-ка! Заревновал! Не обижайся, отец! Шучу ведь! — Я не успел увернуться, и он хлопнул меня ладонью по спине. — Ладно, не верь!.. Дело твое! Тогда купи у меня кровельные гвозди! Вот, ровно два кило! Отдам задешево!

Тугой мешочек висел у него на плече. Юра показал мне мешочек и пощупал гвозди.

— Гвозди нам не нужны, — ответил я. — У самих запас. Хотим крышу рубероидом перекрыть, а то кое-где протекает, старая. Вот и купили все заранее, и гвоздей достаточно, и рубероида десять штук.

— Крышу? Рубероидом? — Он даже припрыгнул немного. — Что же ты, отец, сразу не сказал? С этого надо было начинать! Это ж наш с Валькой хлеб! Основная работа! Так перекроем вам с хозяйкой крышу, что ахнете, закачаетесь! Других не зовите! Неизвестно, что будут за люди, может, жулики! А мы — вот они, перед вами! Душа нараспапку! Очень вам повезло!.. Ну, пошли, показывайте! Все сейчас обсудим, а завтра с утра начнем!..

— Чинить крышу — у нас пока на втором плане, — сказал я. — А в первую голову надо печку во дворе сложить. Уже земляники в лесу полно. Пока вот солнце жарит, а как зарядят дожди, грибы во множестве нарастут. Надо будет варить то и другое. В русской печке ягоды и грибы варить затруднительно. Нужна уличная. С ней вообще удобно.

— Уличная печка? — опять заорал Юра. — Ну, ты, отец, даешь! О самом главном молчишь! Печки складывать — для нас еще главное, чем крыши крыть! На крыше пару дней просидишь, а печку во дворе мы слепим за пять часов! Такую отгрохаем — залобуетесь! Друзей кликните смотреть! Глина нужна, песок, цемент!.. Нет, говоришь, цемента? Чего-нибудь такого добавим!.. Место, хозяева, заранее выберете! Потом за крышу возьмемся! По рукам? Ну, до завтра. Просим выдать небольшой аванс!

— С какой стати мы должны платить вам вперед? — произнесла Вера Владимировна хорошо поставленным учительским голосом. — Выполните работу и получите все сполна.

Уже расхвалив мою жену, Юра отступить от своих слов не мог. И вообще он заметно преклонялся перед такой величавой дамой, волевой, благородно поседелой, культурной. Неожиданно болтун сробел. Красноречие его побавилось. Со мной-то, человеком посредственных манер, чернорабочей внешности и дурного произношения (к старости пошли ломаться зубы), он говорил запросто, а перед хозяйкой стих, съезился.

— Уступил, господа! — заканючил он. — Выдай аванс! За нами дело не станет! Все выполним, как надо, не подведем! Не можешь дать полсотни, дай тридцать рублей!

— С какой стати? — повторила Вера Владимировна.

— Ну двадцать! Ну, хоть десять!

— Нет. До окончания работы — ни копейки.

— Строгая ты больно! Принципиальная!.. Надо нам, понимаешь?

— А мне-то какое дело? Были бы вы нищие, голодные, я бы вам подавала, обедом накормила. На вид вы вполне сытые, гораздо упитаннее моего мужа. Гвозди вот продаете. Есть, значит, на что жить.

— Подожди, — вмешался я. — Ведь неплохие ребята. Зачем обижать их недоверием? Жулики разве так себя ведут?.. А эти, сразу видно, искренние, простые. Посмотри, какие у Юрия честные глаза. Тут все дело в глазах, милая. С такими глазами человек не может обмануть. Давай уважим. Придут отработают.

— Я бы не уважила, — сказала Вера.

— По-моему, все-таки надо уважить. Душа у людей горит. Бывают такие обстоятельства...

— Ты хозяин, тебе решать.

Сдалась жена, я видел, лишь потому, что не захотела уронить честь мужа.

Я зашел в избу, вынес пятьдесят рублей и отдал Юре. Поблагодарив меня с непосредственной детской улыбкой и со смущением, которое особенно расположило меня к просителю, горячо пожав и встряхнув мою руку, он сказал Вере Владимировне:

— Вот твой муж — он понял! Нужно доверять людям! — И, уже пятаясь, позвал Валентина, а нам еще приветливо махнул издали рукой, крикнув: — Пока! Завтра будем ставить печку! Ждите!

Валентин встал с бревнышек и поплелся за товарищем. Он так и не вымолвил ни слова, но, определенно, согрелся, повеселел. Больше мы ни того,

ни другого не видели. Сколько лет минуло, а о Юрии и Валентине ни слуху, ни духу. Наверно, бегают от кредиторов.

* * *

Друзья-соседи, тоже городские люди, посмеялись над нами и сообщили, что Юрий с Валентином — известные в этих краях пройдохи. Они шлятся без дела по весям и облапошивают легковверных дачников. (Почему-то некоторые селяне считают, будто все дачники — богачи).

— Они сперва у нас побывали, да мы их выгнали, — сказали друзья. — Знаем, что за райские птицы, надули как-то раз.

— Сами-то что же следом за ними к нам не пришли, отвести еще одно надувательство? Не поняли, куда они направляются? — спросили мы с женой.

— Поняли. Видели, — последовал чудной ответ, веселый, разумеется. — Но захотелось услышать, что и вы потерпели убыток, а потом взглянуть на ваши физиономии. Почему одним нам должно быть плохо?..

Вознегодовали мы, конечно, помысли кости пройдохам; но нужно было выполнить задуманное, построить уличную печь.

Вера Владимировна по каким-то хлопотам уехала в город. Я захотел приготовить ей сюрприз и пошел по нашей большой деревне, спрашивая у всех подряд, не знает ли тут кто-нибудь хорошего печника. Встретилась мне крестьянка Портнова, старая, натруженная тяжелой работой и, как утица, переваливающаяся на ходу. Она вспомнила, что знает одного мастера. Он из соседней деревни, но здесь гостит часто, ездит или ходит пешком к родственникам и друзьям. Крестьянка сказала, что зовут печника Шестеркиным Николаем Ивановичем, и подробно обрисовала мне его.

— О-о-чень хороший специалист! — добавила она. — Многим тут печи клал, и председателю совхоза, бывало, и директору школы, всем, кто позовет, и мне вот тоже...

— Сильно пьющий?

— Господь с тобой! — Крестьянка махнула на меня тяжелой бурой рукой с узором из вспухших вен. — Совсем не пьет. Раньше, правда, пил за поями, а сейчас в рот не берет, язва у него.

— Прекрасно! — сказал я и, расставшись с Портновой, стал искать Шестеркина.

Дня через два я встретил его утром в магазине. Очередь тут к прилавку обычно невелика, но тянется долго: местные жители и дачники любят побеседовать о жизни с продавщицей Галей и друг с другом (старики вообще устраиваются по-домашнему, есть в магазинчике несколько стульев). Заговорил и я с соседом, стоявшим передо мной. Обратив внимание на тщедушного маленького старичка, подходящего под описание Шестеркина, я наклонился к его уху и тихо поинтересовался:

— Скажите, пожалуйста, вы печник?

— Печник, — ответил он через плечо. — А что?

— Николай Иванович Шестеркин?

— Он самый.

— Очень рад, — сказал я, — что вас встретил. Вы-то мне и нужны, просто необходимы.

— Ну, раз нужен, выкладывайте, зачем я понадобился.

Шестеркин повернулся в очереди, и я увидел сухое, морщинистое, хорошо выбритое личико, хитроватые глаза с жидкими ресницами. Одет печник был опрятно: в серый хлопчатобумажный костюм с полосками, вытершийся, правда, и потускнелый. Такие дешевые костюмы, носимые, главным образом, деревенскими интеллигентами, раньше продавались в сельпо — сельских кооперативных магазинах. Под пиджаком у Шестеркина поверх чистой рубашки висел узкий черный галстучек, на голове глубоко сидела тонкая летняя шляпа с дырочками.

— Да печку мне надо поставить во дворе, — объяснил я. — Говорят, вы очень хороший специалист. Не возьметесь ли?

— А кто говорит, что я хороший?

— Многие. Портнова Варвара Алексеевна... И другие.

— Так оно и есть, — согласился Шестеркин. — Кроме меня-то кто у нас в округе еще печники? Климов с Александровым, что ли? Это не работники, а так себе, шалопуты. Плиту кухонную и то сложить как следует не могут, а уж голландки ихние, тем паче русские печки только дрова жрут и дым в избу пускают... Значит, вам во дворе надо?.. А вы, уважаемый, кто?

Я назвался, рассказал, где живу, и попросил его, если можно, начать строить печь сегодня. К возвращению жены хочется успеть, говорю, сюрприз приятный ей готовлю.

— Там поглядим, подумаем, — сказал Шестеркин. — Прикинем свои возможности. Сегодня у меня все одно не получится, другие есть дела. А завтра, может, зайду. Вы на всякий случай подготовьтесь.

— Стало быть, можно надеяться, Николай Иванович?

— Ладно, надейтесь. Я поднимаюсь рано. Будильник заводите на шесть часов...

Ровно в семь он явился ко мне и на высоком пристрое крыльца выложил из облезлого чемоданчика синюю робу, железный складной метр, ватерпас, мастерок, ручник и гирику на шнурке — отвес. Войдя в сени, печник снял с себя дырчатую шляпу, парадный костюм, у которого лацканы пиджака завернулись, как сухие листья, а брюки давно утратили складки, снял галстук, рубашку и все развесил на настенных крючках рядом с нашими плащами и телогрейками. Надев рабочие штаны и куртку с хлястиком, испачканные известью и краской разных цветов, натянув на лысую голову старую кепку, он глянул на меня с прищуром, как портретный Ленин, и сказал:

— Ну-с, приступим.

— Может, сперва чайку? — спросил я. — У меня все готово.

— Нет, допрежь поглядим, покумекаем. Торопись, как говорится, не спеша, тогда дело лучше идет...

Мы пошли во двор. Место для печки я наметил за пределами огорода: ровный участок между сиреневыми и терновыми кустами, недалеко от бокового прохода в заваливающемся частоколе (тоже надо было поправлять). Я даже заранее обозначил штыком лопаты прямоугольник небольших свободных размеров — проекцию плиты, — а потом сершиком срезал на нем вихры перистой травы, оболванил строительный участок “под Котовского”. Посмотрев на мои труды, печник одобрительно хмыкнул.

— Годится. Тут и сложим печурку.

— Давайте схожу за инструментом.

Я уже чувствовал себя подсобным рабочим, готовым прислуживать мастеру, быть у него на побегушках.

Шестеркин отмахнулся.

— Успеем за дела взяться. Пошли в избу. Посидим, сосредоточимся.

В избе я сказал:

— Чудесно. Чаю поьем. Я ведь еще и не завтракал.

Он ответил:

— Нет — чай после. Для начала грамм по сто неплохо было бы опрокинуть, промочить горло. У меня такое правило. Ставьте, Вениамин, на стол бутылку, а чайник и чашки пока убирайте. Выьем по пять капель, покурим и засучим рукава. Редиска, я видел, у вас на грядках хорошая растет, дайте ее на закуску, с маслом. Лучку еще зеленого нарвите. Можно и чесноку по перышку.

Конечно, я оторопел, вспомнив решительное заявление крестьянки Портновой о великой, святой трезвости Николая Ивановича, о его язве. Хотел спросить Шестеркина про язву, но подумал, что разговор у нас с ним заведется бесполезный и бессмысленный. Разозлился я на печника и сгоряча едва его не прогнал, однако взял себя в руки и лишь затаил ответ. “Может, шутит старичок? — подумалось мне. — Испытывает на прочность?” А он глянул притодушно и смягчил свое условие:

— Ну, ежели нет бутылки, то ладно, ничего. Можно и так. После кушим. Работа, конечно, толком не пойдет, но уж не обессудьте...

— Почему? — Я вроде даже обиделся на Шестеркина за уступку с его стороны, как бы скидку на бедность. — Водка у меня есть. Купил для лечебных целей. Если хотите выпить, извольте. Посидим вместе. Только как это отразится на работе? Не заперем мы печку?

— Никогда! — сказал он. — У меня, как выпью, глаз становится острее и рука тверже. Не сомневайтесь, Вениамин.

— Добро, — сказал я суховаго. — Пейте, раз у вас потребность и правило. Почему только вы зовете меня Вениамином? Кажется, я представлялся Альбертом.

— А! Прошу извинения, вылетело из головы! Буду называть Альбертом! У меня на имена память плохая...

Я наскоро приготовил холодную закуску: салат с картошкой, зеленым луком, чесноком и укропом, а отдельно порезал редиску. Молча выпили по стопке, крикнули, заели и остановились. Шестеркин повел себя достойно. Когда я собрался налить ему вторую стопку, он прикрыл ее ладонью.

— Все, Альберт. Баста. Пей, а дело разумею. Это у меня тоже правило.

Отказался он пока и от чая, попил ключевой воды из ведра в сених и сел на дощатую ступеньку крыльца, а я примостился рядом. Неторопливо выкурил пачку сигареты, почему-то внимательно поглядывая сбоку на меня, некурящего, встал и опять натянул на голову кепку. Захватив инструмент, мы пошли работать, и кладка уличной печки запомнилась мне на всю жизнь.

По указанию Шестеркина я взял лопату и часть заготовленной подсохшей глины переложил из помятого стирального бака в поржавевшую бадью. Залив глину водой и засыпав песком, я палкой замесил раствор, разбил в нем все комки и удостоился похвалы мастера.

— Эх, жаль, цемента нет! — сокрушался печник. — Или хотя бы навоза!

Он велел подать ему несколько плоских белых камней. Эти камни, известняк, ежегодной слой за слоем поднимаются у нас в огороде из глубины земли к поверхности, и, перекапывая грядки, я усердно работаю не только лопатой, но и ломиком. Я притащил несколько разновеликих плит, сложенных на всякий случай у сарая (грядки обнести для удержания влаги, или вот — для строительных целей); Шестеркин положил известняк в основание печки и постучал по плитам ручником, выверяя “горизонт” с помощью ватерпаса. Потом я подавал ему кирпичи, а он обмазывал их раствором и пригонял один к другому по намеченному прямоугольнику. Солнце, поднявшееся из-за леса, выплывало на простор чистого неба. День разгорался жаркий. Нынче в начале лета (еще сирень и терновник у нас в усадьбе не совсем отцвели) была засуха, и расплодились комары с мошками, черными тучами витали над нашими головами и все сильнее кусались. Шестеркин мало обращал внимания на кровососов, работал спокойно, добросовестно, и я любовался тем, как он шустро действовал маленькими руками в защитных рукавицах, иногда тихонько напевая озорные частушки.

С час потрудившись, он убил комара на лбу, положил на возводимую кирпичную стену мастерок, рукавицы и объявил:

— Перекур! Хлопнем еще по черёпке, а тогда и продолжим с новыми силами!

Мог ли я, когда дело всю развернулось, сказать ему: “Не надо бы “хлопать”-то, ни к чему. Пользы все равно не будет, только вред”? Я ведь и сам уже прошттрафился: вместе с Шестеркиным почал бутылку и тем поспособствовал коллективному пьянству на работе.

Мы с ним опять выпили, и теперь Николай Иванович спросил крепкого чаю. Посмаковав его с конфеткой, он закурил в избе при закрытых дверях, так как снаружи все настырнее досаждали комары и мошки. Немало их залетело и в комнату.

— Вы, Альберт, из каких слоев будете? — спросил он сквозь воткнутую в рот сигарету, которую придерживал между вытянутыми пальцами. — Из буржуазных? Небось, начальником работали?

Я ответил, что начальником никогда не был и не собирался быть — это не мое. Хороших начальников люблю, среди них есть у меня друзья, но сам не тратил жизнь на то, чтобы выбиться в начальники.

— На что же вы ее тратили, жизнь свою?

— На то, что интересно было мне. По морям плавал, корабли строил. В качестве не начальника, а рядового.

— А! Но все же вы человек простой, сразу видно. Слышал, будто книжки пишете. Правда ли?

— Ну... кое-что пишу. Пописываю.

— Вот видите. А говорите — из рядовых. Лукавите, значит.

В его представлении, я понял, писатель был сродни директору завода, губернатору, депутату Госдумы. Я не стал разубеждать его в этом и убеждать в том, что я — самый что ни на есть простой человек. Решил, что не смогу толком объяснить.

— И о чем же таким вы пишете? — спросил Шестеркин, скосив на меня хитрый зеленоватый глаз, притуманенный дымком от сигареты. — Выдумываете или из гущи жизни?

— Из гущи, — ответил я. — Из недр. Из бездны.

— Салтыкова-Щедрина все одно не переплюнете, — сказал он. — Михаила-то Евграфовича.

Мне хотелось узнать, почему не переплону именно Салтыкова-Щедрина, а, к примеру, не Достоевского, но печник заговорил уже о другом, в застолье — о главном. Он взял бутылку со стола и, взболтнув остатки содержимого на фоне солнечного окна, произнес:

— Осталось там еще. Не высохло.

— Может, картошки сварить? — спросил я.

— Обойдемся. Лучок, чесночок, хлебушек есть, ну, и ладно.

Вернулись во двор. Печник помахивал мастерком, пристукивал деревянной рукояткой по кирпичам, и они послушно ложились один на другой, а лишнюю кашку глинистого раствора, выступавшую меж кирпичами, Шестеркин экономно соскребал и стряхивал в ведро. Кирпичей оказалось недостаточно. Я спускался под гору к дому Сергеевых и по договоренности с другом-предпринимателем брал его кирпичи, вынесенные за изгородь. Черные жаростойкие, они были крупнее и тяжелее обыкновенных красных, не встречавшихся в штабеле. Одежда моя и рукавицы трескали от кирпичей. Старые кости и мускулы болели. С парой штук в руках, на плечах или под мышками я едва входил в крутую гору, принятое внутрь спиртное вытекало через поры моего тела, разогретого солнцем и трудовым напряжением. Снял с себя мокрую от пота рубаху, остался по пояс голый. Боялся, замучит гнус, но, видно, опьянение действительно обезболивает, и от укусов комарья и мошкары я не очень чесался. Волосы мои слиплись под дырявым беретом, проеденным молью еще в городе; испарина капала на глаза, они разъедались солью и ослеплялись мельтешением в них радужных пятнышек...

На новый передых я двинулся мелкими зигзагами, рывками. А Николай Иванович — ничего, каким был, таким, кажется, и остался, загорел только до глянца, закоптился на неистовом солнце, как окорок. Он умылся в сумеречных прохладных сенях из рукомойника и, не теряя минуты, пошел к столу. Мы с ним выпили по третьему разу и, закусив, по четвертому, прикончили бутылку. Куря, Шестеркин кивком указал на мое обнаженное тело.

— Колдун вы, что ли, какой-нибудь, что комары и мошки вас не заедают? Я вот вроде терпеливый, а и то почесываюсь иногда сильно.

— Гнус не выносит алкогольного духа и вкуса разбавленной спиртом крови, — ответил я припухшим языком. — В вашем организме водка из желудка поступает в мочевой пузырь, а в моем перемешивается с кровью и частично выходит с потом. Одни комары и мошки, усевшись на меня, засыпают, другие окоचуриваются. Пол вокруг моей табуретки замусорен кровососами.

Шестеркин засмеялся и сказал:

— А вы веселый. Это хорошо. Я тоже не унываю. Плакать хочется, а все одно смеюсь. В детстве я очень шавутной был, первый озорник в деревне, коноводил мальчишками, любил подрасться. Как вырос, дрался часто, даже в тюрьме за драку сидел. Не гляди, что ростом мал, а если заеду в ухо, на ногах не устоишь! Приварю так приварю! Не обрадуешься!..

Глянув на его жидкую комплекцию, тощую грудь, на пусть трудовые, но тонкие руки с небольшими кулачками (печник показал мне крепко сжатый кулачок), я все же усомнился в способности Шестеркина к рукопашному бою. Однако кто его знает, подумал. Бывает, говоришь о задиристом мужичке: сморчок, доходяга, соплей перешибешь, — а он вдруг, как схватишься с ним для умирения, сделает тебя одной левой, и нос в кровь расшибет, и на землю свалит.

— А поди ж ты, — заключил Николай Иванович свои воспоминания и приосанился, — вырос неплохим человеком, стал известным печником... Вы вот что, друг любезный, пока я тут курю, сбегали бы в магазин, взяли еще бутылку.

— Ни за что! — крикнул я и шлепнул ладонью по столу.

Он глянул в мои окосевшие глаза с некоторым недоумением, но настаивать не стал...

Туловище печки увеличивалось, оформлялось, и скоро Шестеркин перекрыл топку чугунной плитой с конфорками, заваливавшейся в нашем с женой сарае, а потом взялся возводить трубу. Мне казалось, будто два печника-близнеца одновременно и согласованно кладут две одинаковые печи, и по паре кирпичей я видел в каждой своей руке, хотя, как прежде, брал в руку из штабеля по одному, и различал я две тропинки вместо одной, пока корячился с грузом в гору. И щурился, и глаз замуривал, чтобы восстановить фокус зрения, но все двоилось передо мной, и меня покачивало из стороны в сторону.

Теперь Николай Иванович со мной не заговаривал. Печники-близнецы сурово молчали. Я видел, что Шестеркин обиделся на меня. Строя дымоход, он старательно мерил веревкой с гирькой отвесность трубы и через плечо жестами показывал: “Кирпич! Раствор!” Он то отходил от трубы и рассматривал ее издали, то вставал на сосновую колоду ногами в маломерных стоптанных полуботинках, вытягивался на цыпочках и снова использовал отвес. При этом что-то бормотал недовольно, не обращая на меня внимания.

— По-моему, высоковата, — сказал я, закрыв один глаз пальцем и утаиваясь на трубу.

И тут он заговорил с достоинством, но миролюбиво, даже с едва уловимым юмором:

— Не суетитесь. Все будет путем. Еще вспомните Шестеркина, как затопите мою печку. И пожалеете, что не выпили со мной посошок...

Заканчивали мы работу к вечеру, сумерки уже спускались. Над белым цветником терновника и фиолетовым букетом разросшейся вдоль плетня сирени, на фоне темнеющего неба кружили майские жуки. Все вокруг застыло в безветрии. Комары с мошками кусались совсем беспощадно, и Шестеркин чаще хлопал себя по лбу, щеке, шее. Он уже навесил на печку железную дверцу с накидной запировкой и сейчас подкреплял трубу тонкой стальной проволокой, примазывая ее раствором к кирпичам по высоте дымохода (все нашлось в нашем сарае, захламленном разными деревяшками и железками). Наконец печник снял рукавицы и протянул мне руку для пожатия.

— Ну вот, Василий, — произнес он. — Шабаш. Пользуйтесь, топите, жарьте, варите, а за работу денежки гоните.

Я поскорее с ним расплатился договорной суммой, проводил Шестеркина до тропинки, сбегającej с косогора, и, зайдя в избу, тут же лег спать — очень уж устал за день, еле ноги держали.

Но на следующий день Николай Иванович пришел снова, в том же парадном виде: в костюме, шляпе и при галстукe. Он помялся передо мной на крыльце и заговорил, глядя в пол, морщась от стеснения:

— Я извиняюсь... Работа, сами видели, какая. С раннего утра до позднего вечера вкалывал; и солнце жарило, и мошкара кусала. И кирпичи эти огнеупорные... Руки и ноги до сих пор от них гудят. Жена опять же заболела, лежит, я за ней ухаживаю... Может, прибавите?

— Что? — спросил я, туговато соображая после выпитого вчера.

— Ну, за работу. На лекарства для жены. Я с вас взял недорого.

— Сколько еще надо?

— Неплохо бы прибавить столько же, уважаемый. Извините, конечно.

— Ладно.

Я позвал его за собой, но он остался на крыльце покурить. Взяв дополнительную плату и спрятав в кошелек, Шестеркин посветлел, разулыбался. Он вынул из кармана спираль для электроплитки и предложил мне:

— Может, купите? Вольфрамовая, сто лет не перегорит.

— Спираль мне вроде ни к чему. У меня есть.

— Да берите. Что раздумываете? Все равно нигде такую больше не купите.

— Один мастеровой заходил — гвозди старался нам с женой всучить, вы вот — спираль, — произнес я уже откровенно кисло. — Хорошо, давайте...

И, не торгуясь, купил, чтобы поскорее отделаться от печника.

— У меня еще одна к вам просьба, — сказал он.

— Ну?

— Подарили бы мне свою книжку на память, а? Сделайте одолжение. И что-нибудь хорошее на книжке напишите.

Эту его просьбу я тоже удовлетворил, оставив на титульном листе моей книги такие душевные слова: “Николаю Ивановичу Шестеркину, замечательному человеку, мастеру с золотыми руками”. Печник прослезился, обнял меня и трижды поцеловал. Насвистывая, он пошел вдаль, а я к новой печке — оглядеть ее при свете утра. Да и прибраться следовало, унести от печки все лишнее, вымести мусор.

Она еще не просохла, наша мечта, всюду на кирпичах видны были влажные глинистые разводы, вихребразные, как грозовые облака. Но сегодня изделие Шестеркина выглядело каким-то не очень lepым, даже пожалуй, нелепым вовсе: плита просторная и приземистая, словно старинный сундук, а труба несоразмерно узкая и длинная — все вместе это напоминало гуся, вытянувшего шею, задравшего голову, разглядывающего небо. “Такой подарок жене может не понравиться, — подумал я. — К тому же переплачено за него вдвое, а до пенсии еще долго, денег кот наплакал. Но главное, я сам виноват: оказался не к месту покладист. Хоть бы не узнала хозяйка моя, что клали мы печку выпивши”.

Еще через день Вера Владимировна вернулась. Увидев печку, она восхищенно ойкнула и всплеснула руками, горячо меня поблагодарила и похвалила. Ничего, кроме выражения удовольствия, я в ее поведении не заметил; но позже выяснилось, что печка хозяйке сразу не пришлась по душе, просто деликатная женщина скрыла разочарование. Когда же я впервые затопил печь, то языки пламени направились не под конфорки, а в трубу, навывлет. Исходя дымом, труба по ветру сыпала искрами, а значит, с одной стороны, кпд печки равнялся нулю, с другой же стороны, печка была пожароопасна. Чтобы скрыть от жены полную несостоятельность уличного очага (потом-то, и довольно скоро, Вера Владимировна сама все поняла), я стал топить печку фигурным способом. В конце топки, ближе к дымоходу я укладывал сырые дровишки, и лишь только они кое-как принимались чадить и дым от них улетал в трубу, я топил переднюю часть печки сухими поленьями. Огню тут ничего не оставалось, как только греть днища кастрюль, поставленных на конфорки. Дров требовалось вдвое больше, зато выход был найден. Из мелких изъянов печки упомяну дефект запорного устройства дверцы. Его железная накидная полоса не дотягивалась до гнезда. А вчера, казалось, дотягивалась. Делать нечего, стали закрывать дверцу подпирать палкой.

Первый же обильный дождь облагородил нашу печку, смахнул с кирпичей глинистые разводы. А заодно напористый дождик проник в щели между кирпичами и на глубину проникновения вымыл соединительный раствор. Тут, конечно, вины Шестеркина не было — какой дали ему материал, таким и пользовался. Чтобы печка не разрушилась, пришлось нам с Верой Владимировной срочно замешивать новый раствор, более вязкий, с соломой, и вмазывать его в щели. Потом я взял в своем хозяйстве четыре высоких столбика, врыл их в землю около печки и построил над очагом покатый навес, пропустив сквозь крышу дымовую трубу. Вид у печки стал совсем пристойный.

Постепенно мы привыкли к ее капризам, научились на ней варить. Но вот в гости к нам приехала сестра моей жены Нина. Она родилась на Полтавщине и долгие годы прожила в большом украинском селе, где в каждом дворе стояла выбеленная известью печка. Нина знала в печках толк и сама умела их класть. Она решила побаловать нас украинским борщом, кинулась к уличной печке и встала перед ней, разинув рот.

— Який дурень зробив ее? — воскликнула темноокая красавица запенсионного возраста. — Зроду не бачила такую уродину!

И закатилась смехом, хватаясь за живот.

Пока Нина смеялась, мне почему-то пришла на ум моя надпись на собственной книге, которую я вручил Шестеркину.

Все-таки гостя взялась топить печку, но вскоре на нее разозлилась и выгребла жар на землю. Подобрав несколько кирпичей, Нина уложила их на дно топки каким-то особым образом. Печка заработала лучше и сносно варит до сих пор.

Спираль для электроплитки, проданная мне Шестеркиным, была, конечно, не из вольфрама. Вольфрам стоит дорого, из него делают волоски для ламп накаливания, и я сразу смекнул, что спираль — обыкновенная, стальная, однако вот купил. Ее сплав вообще оказался невысокой марки, и спираль быстро перегорела. Хотел я при случае заговорить с Николаем Ивановичем про спираль и печку — выразить протест, — но передумал. Да и видел я его потом всего лишь раз, мельком. Я выходил из магазина, а печник заходил в магазин, и я было устремился к старому знакомому, но он глянул на меня отчужденно, холодно и произнес:

— Уважаемый, не подскажите, сколько времени?

Тогда я ответил ему тоже как чужому и расстался с Шестеркиным навсегда.

* * *

Дошла очередь и до починки крыши. Все у нас, значит, было наготове: рубероид, стальная лента, гвозди и две самодельные лестницы: обыкновенная — чтобы подниматься с земли, — и с загибом, при помощи которого кровельная лесенка цепляется за конек и удерживает работника на скате. Снова безуспешно искали мастеров, а потом к нам самолично явились двое, не те, прежние, умыкнувшие у нас полсотни, а другие: один рыжеватый, долговязый, жилистый, второй тоже жилистый, но худее и ростом поменьше. У того, что ростом меньше, была продолговатая голова, а уши стояли торчком. Первого звали Павлом, второго Анатолием, но Павел, старшой, часто именовал Анатолия Чебурашкой — из-за торчащих ушей, надо полагать. Представились они так, эти молодые бойкие мужчины: Пашка и Чебурашка. Узнали, что нам надо перекрыть крышу, и, не спрашивая авансов, соглашаясь на все наши условия, стали готовиться к работе.

Я вынес из сарая рулон кровельного материала, коробку с гвоздями и стальную ленту, свернутую спиралью, а Павел с Чебурашкой достали из своей походной сумки острый нож, молотки и большие ножницы. Старшой с земли посмотрел на крышу и, посчитав на ней полоски рубероида, прикинул, сколько штук его понадобится. Я сказал, что всякого материала для починки кровли у нас куплено достаточно, пусть работники не беспокоятся. Павел взобрался на верхнюю лестницу и сел у конька крыши, Анатолий же встал на нижнюю, возвысившись над стрехой. Один подал рулон наверх, другой распустил его, подтянул и выровнял концы по обеим скатам. И пошла работа: где требовалось, подрезали рубероид ножом или ножницами, перекрывали швы стальной лентой и стучали молотками, вколачивая гвозди. Радостно было на душе от этого деловитого перестука, разносившегося окрест. Стлали новый рубероид поверх старого — так лучше закроются щели и крыша не будет протекать. Я тоже с большой охотой что-то делал: подносил рулоны, придерживал наземную лестницу и по краям стальной ленты заранее пробивал дырки под гвозди, укладывая ленту на деревянную плаш-

ку — Павел мне объяснил, на каком расстоянии друг от друга нужно пробивать.

Погода опять стояла солнечная. Птички, полетав над нашим двором, прятались от зноя и яркого света в кустах, окружающих усадьбу, покачивая ветки, чирикали. Дело спорилось. Полуголые загорелые кровельщики весело глядели из-под козырьков кепок, пошучивали меж собой на крыше. Мы с женой были довольны ими; но хозяйка иногда строго отчитывала Павла и Анатолия за крепкий мат. Особенно громко и образно выражался старшой, который, разоидясь, стал гонять помощника, как раба: “Чебурашка, подай! Чебурашка, принеси! Чебурашка, что ты там копаешься?” Чебурашка-Анатолий оказался человеком покорным. Суетливо выполнял команды старшого, он, правда, обижался в ответ, но из уст его ясно слышалась одна ненормативная лексика. Вера Владимировна обоим грозила пальчиком, но вот за полдень она всех позвала обедать.

Сели за стол в избе. Обнаженные плечи кровельщики прикрыли рубахами. Обед состоял из трех блюд: помидорно-огуречного салата, украинского борща и картошки, поджаренной на свином сале (уличная печка обед готовила, хозяйка старалась хорошенько накормить работников). Предполагался еще чай с вареньем и сушками. Павел и Анатолий втянули носами съестные запахи, отбили пальцами на груди какие-то ритмы, облизнулись на салат, сдобренный луком, чесноком, сметаной, и старшой заговорил с просительной улыбкой:

— Налила бы, хозяйюшка, по стопке, а? Больно закуска хороша. Под такую грех не выпить. Зря пропадет, когда просто так съедим. А если нет у тебя, давай мы в магазин сбегает.

— Ага, налей, — подкакнул Анатолий, заглядывая моей жене в глаза и ослабляясь угодливо. — Сухая-то ложка, сама знаешь, рот дерет. Мы только по одной и — шабаш.

— Нет, ешьте без выпивки, — сказала Вера Владимировна. — Вы на работе, а не на отдыхе.

— Без выпивки у нас не пойдет. Лучше мы совсем есть не будем.

— Хорошо, давайте налью компота из сухофруктов.

— Компот — не то. Это для детей и женщин.

— Ну что за чепуха?.. Очень уж вы, мужчины, набаловались. Кое-что у меня, конечно, имеется, — честно призналась Вера. — Запаслась на случай, если будете хорошо себя вести и достойно окончите работу. Сейчас мне не хотелось бы угощать вас спиртным. Неизвестно, что из этого выйдет. А нам надо, чтобы сегодня же крыша была перекрыта. Без нее дел полно. Вот закончите — тогда...

— Сегодня же и перекроем! Все выйдет, как надо! — живее заговорил Павел, торопясь поймать жар-птицу за крыло, склонить хозяйку к согласию. — Не сомневайся! Считай, половину сделали. Хорошо мы себя, скажи, ведем?

— Пока хорошо. — Жена старалась подпустить строгости в голос и выражение лица.

— Вот! Так и дальше будем! Ничего от стопки с нами не произойдет! У нас иммунитет! Наливай, не бойся!

— Нам ведро надо выпить, чтобы офонареть, — сказал Чебурашка. — После одной-то стопки поедим как следует да лучше заработаем — и все. Проверено.

— Напрасно, мальчики, хвастаете, что способны много выпить. Ничего хорошего в этом нет. Нашли чем хвастать!

— Это к слову так говорится, — опять сказал Чебурашка и тревожно хихикнул, поймав свирепый взгляд старшого. Во взгляде Павла, направленном на Анатолия, я прочел: “Что же ты, гад, коммерцию мне портишь? Я тут из кожи лезу, выпивку тебе и себе пробиваю, а ты хозяйку злишь!”

— Не знаю, право... Вы оба такие славные. Я вам поверила...

— И ты нам очень нравишься, — сказал Чебурашка и тем оправдался перед своим командиром.

— Но все же я боюсь, ребята. Ведь на крыше работаете. А если свалитесь?..

Я видел, что Вера Владимировна колеблется, смягчается по доброте душевной. Жена молча посоветовалась со мной, и я кивнул.

— Налей, — говорю. — Что уж там. Но не больше чем по стопке. Я тоже выпью с ребятами за компанью. В самом деле, стопка водки здоровому мужчине не повредит. Это и врачи утверждают.

Веселый у нас получился обед, оживленный. После выпивки говорливости у всех прибавилось. Шутили, рассказывали анекдоты, смеялись. Кровельщики с юмором вспоминали, как некогда служили в армии: Анатолий на Чукотке в погранвойсках, а Павел на ракетном полигоне под Архангельском. Тот и другой были сержантами, отличниками боевой и политической подготовки. Я очень зауважал их за послужной список.

Из-за стола все вышли друзьями, поговорили даже о том, чтобы дальше встречаться. Покурив, кровельщики снова забрались на крышу. Они трудились усерднее прежнего, только чаще отдыхали — с утра, конечно, поднакопили усталости. Перешли на противоположный скат, не видимый со двора. С этой стороны избы, в полдень затененной, густо разрослась крапива, к стене вплотную подступили кусты терновника, и я думал, что колючие упругие ветки и крапива помешают работникам переносить с места на место наземную лестницу, надежно устанавливать ее и согласовывать действия. Но Чебурашка — в рубахе теперь, чтобы не обжечься и не поцарапаться, — расчищая место, придавливал крапиву сапогами, отводил ветки за лестницу, цеплял одну за другую, и я убеждался, что все у кровельщиков хорошо ладилось. Делать мне возле них стало нечего, и я ушел во двор окучивать картошку, а когда спустя час вернулся посмотреть, то увидел, что Павел с Анатолием стоят возле лестницы, курят.

— Покури, хозяин, с нами, — позвал старшой.

— Да ведь я не курю. Долго курил, лет двадцать пять, но однажды набрался смелости и бросил.

— Молоток, — похвалил меня Чебурашка, и мне показалось, что он держится развязно, и голос его, взгляд, улыбка “плавают”.

Старшой тоже показался преображенным: лицо красное, глаза вытаращенные, беспокойная стойка, неестественные движения руки, подносящей сигарету ко рту. Я хотел подойти к работникам и убедиться в том, что они перегрелись на солнце — об этой беде мне сразу подумалось, — но тут Павел бросил окурок на землю, подмигнул, заржал и полез на крышу избы, как на стену неприятельской крепости, быстро, отважно, с воинственным кличем:

— Не бойсь! Прорвемся!

Я сообщил Вере, что работники выглядят какими-то чудноватыми, иными, чем прежде.

— Наверно, перегрелись, — говорю. — Со стопки, что ли, их так на солнце развезло?

— Бедные, — сказала Вера. — Говорила, не надо выпивать... А может, еще добавили?

— Где ж они могли добавить в густом кустарнике? И не отходили далеко, и с собой у них вроде ничего нет.

— Ну! — ответила жена насмешливо. — Это чтобы любители захотели выпить, да не нашли? Давай-ка понаблюдаем. Неловко, но что делать?

Когда в очередной раз смолк перестук молотков, мы пошли и осторожно выглянули из-за угла. Работники снова курили, но озирались по сторонам и о чем-то тихо разговаривали. Потом они радостно глянули в заросли терновника, рванулись с места и, пригнувшись, шмыгнули в кусты. А с противоположного края терновника, со стороны магазина, скрытого под горой, навстречу Павлу и Анатолию попластунски выполз лохматый мужик с бутылкой в руке. Он присел на земле, зубами сорвал с горлышка цинковую крышку, и вся тройка, сплоченная питейным вождельением, стала дуть водку из горла, передавая бутылку друг другу, спеша, проливая себе на подбородки. Вера Владимировна не удержалась и вышла из-за дома. Я за ней.

— И не стыдно? — звонко крикнула хозяйка.

Мужики, словно воры от милицейского свистка или рыбки, напуганные тенью рыболова, кинулись врассыпную. Лохматый снова упал на землю и пополз задним ходом.

— Ну-ка, братцы, идите сюда! — позвал я работников.

Павел с Анатолием медленно приблизились и встали перед нами с малиновыми лицами, покачиваясь и конфузливо улыбаясь.

— Какую уже по счету бутылку распиваете? — спросил я.

— Чай, вторую, — ответил Чебурашка.

— Не стыдно? — повторила моя жена. — Я-то думала, вы порядочные люди! Отнеслась к вам с уважением, постаралась и обед для вас приготовить, и хмельного к окончанию работы припасти. А вы мало того, что до времени вытянули из меня по стопке водки, так еще пошли втихомолку пьянствовать! Фу, смотреть на вас противно! Бессовестные! Убирайтесь!

— Извини, хозяйка, — сказал Павел, наклоня голову, пряча глаза. — Как говорится, бес попутал. Вообще-то мы — в порядке. Сейчас доделаем и уйдем.

— Да ты на ногах едва стоишь! Язык заплетается! А собираешься лезть на крышу! Я, конечно, во многом виновата! Поддалась на ваши уговоры! Не знала, что вы горькие пьяницы и не можете удержаться, когда чуть за воротник попадет!

— В порядке мы! — упрямо и враждебно повторил за товарищем Анатолий, во хмелю ставший вдруг неменяемым. — Доделаем, гад буду! Ты, Пашка, теперь внизу работай, а я полезу наверх, как монтажник-высотник!

С сигаретой в зубах он поспешил к лестнице, но с разгона запутался ногой в траве, подвернул ступню и взвыл от боли.

Я кинулся к Чебурашке и поддержал его со словами:

— Ну вот! Достукался! Очень больно, да? Только членовредительства нам не хватало! Пошли в избу, перетянем ногу бинтом. Помогает при ушибах.

— Хрен с ней, с ногой, — сказал он, отталкивая меня. — Не в ноге счастье. Хочу работать на высоте.

И опять, сильно хромя, охая, нацелился к лестнице. Чебурашка полез по ступенькам, так сильно раскачивая лестницу, что она далеко отходила от края крыши, с размаху шлепала по нему и едва не опрокинулась на кусты вместе с работником. Я за штаны стащил его на землю и прогнал, а следом выпроводил Павла. Наутро они вернулись, опухшие, хмурые и молчаливые, быстро приколотили весь рубероид и, получив расчет, ушли.

* * *

Тут, кажется, можно было бы и посмеяться, и есть над чем: в каждой из трех частей моего очерка встречаются забавные положения. Но — не смешно мне, не весело. Конечно, я невольно улыбаюсь, вспоминая этих интересных людей, но скоро печаль и тревога ложатся мне на сердце. Чебурашка-то зимой замерз. К ночи много выпил, побрел куда-то в потемках задворками и увяз в сугробе. А другой местный, тут не названный, во хмелю насмерть подавился закуской. Третий, мне рассказывали, умер от остановки сердца, сидя возле дома на лавке и потягивая из бутылки какой-то вредный напиток. Четвертый утонул. Пятого убили в драке... Гибнут не от старости, а от пьяного самоуничтожения. Ни себя, ни других не жалеют. А ведь какие удивительные характеры! Какие своеобразные личности! И умные все, и способные, хитрые, лукавые, смелые, веселые и забавные. Мастера на все руки, только руки сильнее трясутся, иссыкает в печниках и кровельщиках, встретившихся мне на пути, запас умения и самолюбия, копяты навыки халтуры, жульничества и нахальства... А поля вокруг заросли чертополохом и кустарниками, березками, елочками, сосенками. Уже больше десятка лет не вижу я ни одной пашни в окрестностях деревни, где давно обитае весной, летом и осенью. Местное камнедробильное производство зачахло, скот вырезан. Умирают старики, гниют избы, деревня пустеет и немного оживляется к лету за счет дачников. По мертвеющей веси, по пепелищам бродят ма-

лочисленные сельские мужчины, из тех, что не смогли или не захотели бежать в город. Не знают они, к чему приложить силы, облениваются, дичают. И кажется, что с утра до вечера думают лишь о том, где достать денег на бутылку...

“Постой-ка, — скажет кто-нибудь из вьедливых читателей, — а про себя-то что не говоришь? Судишь людей, но, как сам тут написал, водку им покупаешь и пьешь вместе с ними”. Правильно, я чем лучше? Я тоже подавленный русский человек, и мне не всегда хватает сил сопротивляться уродствам существования и иногда хочется, махнув на все рукой, не просто выпить рюмку с приятелем, а пуститься во все тяжкие. И не сужу я никого, а люблю и жалею, себя же ругаю за слабость духа.

ОЛЕГ МАЛИНИН



СТРАНА РЕВОЛЮЦИЙ

КРЕЙСЕР “ВАРЯГ”

Григорию Гукасову

Мы, последние дети советской державы,
Поднимаем над пропастью флаг.
На осколках прошедшей свободы и славы
Отоснился бесстрашный “Варяг”.

Ледяные моря и умы ледяные,
Безотчетная вера в успех —
Вот что силу ковало, кует и поныне,
Прихлебателей мучая всех.

Прозревать и трудиться упорно желаю,
Хоть родитель мой бодр и не сед.
Навсегда предпочли подзаборному лаю
Лебединые песни побед.

Поднимается ветер грудной и суровый,
И над знаменем горько звеня,
Молодая листва золоченого слова
Отрывается вдаль от меня.

МАЛИНИН Олег Игоревич родился в 1983 году в Костромской области. Окончил социологический факультет МГУ и Литинститут им. А. М. Горького. Печатался в журнале “Аврора” и коллективных сборниках. Живет в Подмосковье.

На тяжелых камнях древнерусских поверий
(Где монголы и гунны прошли,
Где разбились могучие волны о берег),
Лишь назвав поименно лихие потери,
Мы построим еще корабли.

И родятся тогда благодарные дети,
Полетит над зеваками флаг,
Прославляя величие прошлых столетий,
И “Аврору”, и крейсер “Варяг”!

ДЕДУШКА И ПРАВНУК

Парад Седьмого ноября
Ты видел,
Брат мой?
Текла червленая заря
Над полем ратным.

Наполнив рвы на полковша
Замахом ярым —
Она стекала
Не спеша
По крутоярам,

По тихим волчьим закуткам
Широких улиц,
Сгоняла темь
По берегам,
Где стяги гнулись,

Где чахла, скалясь, темнота
В попытках слабых
Уйти с горбатого моста
На твердых лапах.

Там, в 41-м,
Дедка твоей
На русском “Яке”
Развеял флаг
Над мостовой,
Готовясь к драке.

Его горящая звезда
В грудном подклете
Стучала-билась,
Как тогда,
В июньском лете.

Когда зардела
Над холмом
Ватага сучья,
И русский дом
Горел огнем,
Врастая в тучи, —

Мечась
И гневно грохоча,

С парада
Танки
По рваным кошмам кирпича
Шли спозаранку.

Я видел всё:
Плыла в пургу,
Рыдая, площадь.
Подковой, выгнутой в дугу,
Ступала лошадь.

Так мы пошли
Сплошной дугой
На фронт с парада.
И я, наследник дорогой,
Коснулся ада.

И я узнал,
Что значит смерть
Во имя жизни,
Что значит сгинуть
И не сметь
Предать Отчизны.

Моей родной
Угры волна —
В рассветных пулях.
Ты крикнул:
“Возвращу сполна!”
И ты вернул их...

Теперь вот спишь
В глухом селе,
Погибший в тридцать.
А мне,
Как листьям на земле —
Давно не спится.

Я думаю:
Земля стара,
А крови льются,
Что осень
Худшая пора
Для революций.

Не только мы
С тобой одни
Глотаем холод,
Что поравнялись
В эти дни
И стар и молод.

Октябрь по нам,
По ноябрю
Бил не от скуки.
И вот
Он тянет на зарю
Сухие руки...

Когда червленая заря
Встает над лесом,

Мне верится —
Погиб не зря
И ты
В начале ноября
Под Гудермесом.

ПАРАД ПОБЕДЫ

Теплеющий ветер, лети и зови
Меня за собой, где на площади Красной
(Настоянной на неостывшей крови)
Сейчас в этот миг, не ведя и брови,
Солдаты российские выкриком празднуют,
Волнами шеренги качая: — Ур-ра-а! —
Я слышу, я вижу над Афганистаном,
Над Чкаловским, росчерком злого пера,
Орлиная стая клинок ятагана
Вонзает в широкое небо, и пьяно
Шевелятся листья лесные с утра!
Я слышу глухой нарастающий гул.
Мы верим в победу над вскормленным игом,
И в слове “победа”, промчавшемся мигом,
Из нас бы любой, как в траве, утонул!
Для нас не пусты костяные созвучья
“За нами победа, Советский Народ!..”
...И вдруг мы узнали, терзаясь и мучась, —
По праздничной площади НАТО пройдет.

.....
Показывались. Не спеша, нарастая,
Над краем прекрасным, вдоль русской земли,
Несметная гордая шумная стая
Под возгласы “наши!” возникла вдали!
Летите за ней, эти мысли, вдогонку,
Могучие перья свои опалив,
Огромные крылья расправлены, тонко
О воздух оттачивай лезвие, гриф.
Нам сердце, похоже, пронзили солдаты
От натовских стран, маршируя сейчас...
А мы не могли оторвать синих глаз,
Восторженных глаз от героев когда-то.
Но что ж... Ничего, что прицелы подсобиты,
Но нам приручать пулемет не впервой.
И если потребуется — головой
Мы жертвовать будем и рушить граниты,
И падать, и снова вставать над землей!
Стучи ж, мое сердце! И бейся о кости
Случайных преград. Поднимайся, расти,
Страна революций, и песен, и гроздьев
Багряных салютов на вечном пути!
Да здравствуют взрывы гремящих салютов
И крики “ура!” басовитых. В пальбе,
В раскатах прибойных и прениях лютых
Мы выдюжим и перейдем на разбег...
И каждую пулю назад возвращая,
Мы цинику злему накажем, — поверь,
Мы, разинцы, мининцы, потчуем чаем
Свинцовым и горьким кнутом привечаем —
Так было и будет вовеки теперь.

АЛЕКСАНДР БОВДУНОВ

НАЦИЯ, РОДИНА,
ДЕВОЧКА РУСЬ...

* * *

Смерть — закона глухой оскал,
Приговора слепой курок.
Ты одну лишь ее искал
В беспокойстве людских дорог.

Выбирает ее любой,
Обреченный, чтоб выбирать.
Она станет твоей судьбой
И заменит родную мать,

Затаится средь пыльных книг
И в веселье людских домов.
Пять секунд — ты уже старик,
Пять секунд — ты уже готов.

На миру ли та, что красна,
Одиночества ли плевков,
Ты застынешь в объятьях сна
У ее обнаженных ног.

Бытие, а потом исход...
Ты уснешь, навсегда уснешь...
Запах темных подземных вод,
Яма, пуля, веревка, нож...

Миром правит лукавый смех,
В нем рождается, в нем уснем.
Лишь один умирал за всех,
Только мир позабыл о нем.

КЛЯТВА

На ветру развеваются стяги,
Наступает торжественный час,
Их приводят к священной присяге,
Как до них приводили не раз.

Отголоском последней победы,
Вновь проносится слово “клянусь”.
Так клялись их отцы и деды,
Защитавшие светлую Русь,

Что молитвой в снегах и просторах
Вновь несется над краем небес,
Что в глазах всех, кто светел и дорог,
Наша Родина — холод и крест.

Что в огне, как в крещенской купели,
Воскресает и вечно жива.
Слышишь, ангелы к небу взлетели?
Это клятвы живые слова...

Нам открыты небесные двери,
Наша совесть — железный закон,
В нашу Родину следует верить,
Наша Родина — вечность икон.

Наша клятва — в крови, и несется
Слово предков, как вечный приказ.
Свет Руси — восходящее солнце,
Что рождается в каждом из нас.

НАЦИЯ

Нация — это Божьи слова,
Что кровью по венам змеятся.
Бог всегда прав, а значит, права
Всегда и русская нация.

Нация — это восторг вековой
Стали, кромсающей тело.
Нация — волчий прерывистый вой,
Тот, что отчаянно смело

Рвется наружу, ведет за собой,
Рвется до одури биться.
Нация с честной и ясной судьбой,
Нация — хищная птица.

Нация — в холоде вечного льда,
В снеге и мороке где-то,
Где только вечно живая вода,
В брызгах нетварного света.

Нация — вечности крепкая нить,
Той, что застыла у двери.
Ради нее можно даже убить,
В нацию следует верить.

В каждом внутри уничтожить раба.
Вся земля наша по праву!
Воля и верность — вот наша судьба.
Нации — вечная слава!

Буду я верен тебе и клянусь,
Твой я, пока не истлею,
Нация, Родина, девочка Русь,
Правнучка Гипербореи.

Тюмень

НИКОЛАЙ ИВЕНШЕВ



РУБИНОВАЯ ПРОРУБЬ

РАССКАЗ

Если бы все это буйное разнотравье, да и камни, и вязкий чернозем могли помнить и говорить?! Как хорошо, что они безмолвны, иначе бы сошли с ума. И камни, и чернозем, и травы.

Сейчас, чтобы пробраться к памятнику одной из первых коммун на Кубани, нужно всего ничего: свернуть с дороги, ведущей на дачи.

Свернул и — вниз, мимо громадного особняка с тяжелой бронёй, воротами, кирпичной сторожевой башней. Вот-вот послышится металлический скрип подъемного моста. В приоткрытый створ ворот виден широченный бассейн. А в окнах первого этажа теснится еще не расставленная мебель и утварь, необходимая в богатом доме. Всякие там джакузи, биде.

И сам особняк, “дачный домик”, расположился разлаписто, но сурово. Лев на покое, и все тут...

Спустившись ниже, увидишь нищий, без призора камень в грязно-зеленой то ли краске, то ли известке. Камень имеет форму двух пирамид, поставленных одну на другую и вросших друг в друга. Что символизирует многогранник? Неизвестно.

Фотография в овале. Четкие, я бы сказал, аскетические черты лица, рубаха-косоворотка. И стальные в фанатическом муаре глаза. Такие только

ИВЕНШЕВ Николай Алексеевич родился в 1949 году в селе Верхняя Маза Ульяновской области. Окончил Волгоградский пединститут им. А. С. Серафимовича. Автор книг “За Кудыкины горы”, “Портрет незнакомки”, “Казачий декамерон” и других. Член Союза писателей России. Живет в ст. Полтавской Краснодарского края.

у боярыни Морозовой я видел, на картине. И, наверное, были такие глаза у ссыльного за идею протопопа Аввакума.

Здесь в начале двадцатого века на берегу реки Кубани начинали жить по-новому. Так, как учили французский граф Сен-Симон и русский князь Петр Кропоткин. Жили общиной. Ели из одного котла, спали под навесом, плуги да бороны тягали от зари до зари, громко разговаривали на людях, искренне верили в революцию, в ее справедливую, шершавую, пахнущую порохом ладонь.

Отстаньте, писарчуки-щелкоперы нового века! Нет, не имели, не имели общих жен. Это чересчур претило казачьему домострою. Это не могли пере-силить в себе. Красные косынки, буденновки-шеломы, как у Николая Островского. А, наверное, любили. Конечно, любили. Тайком. И как-то молодые люди проявляли свои чувства. Где они их проявляли? На воле, в “куширах”, на бережку. Наскоро. Но ведь рождались же дети. И эти дети не хотели быть общими, хоть и приглядывала за ними стряпуха.

Задюр! Это фамилия главного коммунара, одного из “протопопов” нового, прекрасного мира. Русский? Прибалт? Еврей? Немец? Хохол? “Биг знае!” — балакают здесь.

Исчез даже Китеж-град. А уж коммуна!

Утопия на то она и утопия. Все пропало. Речной волной смыло. Надфилем зачистило, наждачкой-нулевкой. И революционное буйство. И порыв. И “варянички” на Первое мая. Кумачовые косынки, уха из закопченного медного котла — церковного колокола, гармошка, пот, грязь, лирика и трагедия общинной жизни.

Дети, родившиеся здесь, уже дорастали в станице Марьянской. И они, существа одушевленные, не грязь, не камень, не резеда и фиолетово-красный татарник, видели еще одну новую жизнь. А именно — стреляющие выхлопными трубами мотоциклы, слышали немецкую отрывистую речь. Во все глаза глядели они на чужих людей, на этих юрких и сноровистых, аккуратно причесанных-прилизанных солдат, на офицеров, кивающих друг другу и выбрасывающих вперед руку при встрече. “Цвай унд цванциг”, “драй унд зишциг”. Это было жутко интересно. И можно было, если чуток мозгой пошевелить, стибрить что-нибудь из оружия, гранату, “шмайссер”. И тогда Сталин бы узнал, что вот — у немца стащили. И дал бы орден. Рубиновый, как звезды на Кремле.

Немцы — чистюли. Они холодным своим, рациональным умом придумали автомобили для очистки от грубого человеческого материала. Машины они сделали исключительно добротнo. Крепко!

Помощники бездушных немцев, слабые духом русские внесли в эту выкройку художественные детали. На кибитках-кузовах они писали “Баня”, “Клуб”, “Столовая”.

Чем-то эти агрегаты напоминали машины-походки. Только что из выхлопной трубы дизельные отработанные газы подавались в “салон”, в набитый “русишшвайнами” герметичный кузов.

Но уничтожали по спискам и традиционно. По первому и по второму списку, составленному полицией же, истребили всех, в том числе и коммунаров Задюра.

Вот согнали в комендатуру и, чтобы сильно не волновались, гав-гав, “цвай унд цванциг”, в тюрьму, в Краснодар. Будет вам там и “буттер” и “брод”. Хлеб с маслом. Колонну провожали и наши-полицай, и немцы. Уже холодно, декабрь. Кубань уже тонким льдом схватило.

Списочному составу не холодно. Конвоиры-немцы в воротники шинелей жались. Полиция пританцовывала. Откуда-то у них старые казацкие шапки появились на боках. И новое начальство разрешило носить эти тесаки.

Раз-два, айн-цвай, быстро, шнель, твою мать. За бутербродами!

А полицаям — какао. Теперь они всегда будут пить какао с молоком.

Шли-шли. И вдруг “правое плечо — вперед”, свернули к реке. К Кубани родной, где еще летом туго рыба плескалась.

Вот она, тюрьма, вечная.

Честные германцы обманули. Неохотно они это делали, лениво как-то, сонно, с прищуром. И целились не особенно точно. Все вверх да вбок. Толь-

ко пули зря пускали. Но кто-то все же свалился. И лед внизу, под крутым берегом, серый лед ударил снизу кровавой слезой.

Плохой стрелок немец. Тогда их главный моргнул и рыжей бровью повел, и стал опять шинельку свою на голову натягивать.

Взяли в руки сабли, старые, каленые, еще с первой мировой запряжанные. И тесаками. Да хлысть, да еще хлысть. Напополам, как яблоко наливное. И пока валится — плечом к берегу, вниз.

Опять балакают, помнят же нынешние марьянцы: “У одной женщины вначале руки отсекли, а потом на ее же глазах и девочку-дочку”. Тонкий лед не выдержал горячей крови и тяжести. Прорубь образовывалась. Рубиновая, как крой кумача. И стали в нее дергающиеся, агонизирующие трупы скатываться, как на салазках.

После дрожали все. И немцы. И эти вот... Без имени, без нации.

На “третий список” немцев не хватило. Их вытурили чумазы танкисты. Потомки скифов и сарматов. Но скифы сдирали с врагов шкуру для переметных сум. Эти, покругившись на гусеницах, укатили дальше.

И сколько времени прошло? Мало... И много...

И отомстилось рубакам-полицаям.

Их тоже ликвидировали “механизовано”. С чистотой и точностью. “Орднунг” — “порядок”. Но как-то напоминает “орду”.

Казнили “зондеркоманду” и усердных приспешников ее с убудочными лицами. Вейх, Псарёв, Жирухин.

Зондеркоманда СС 10 А. Вот как она называлась.

Что-то похожее на “Зонд”, солнце то-есть. У немцев “Зонга” — воскресенье.

Неужели “солнечная команда”?

И привезли свежешкурные сосновые столбы, скобы, провода. Сначала думали: радио проводить, а потом оказалось — для виселиц.

Что народ? Одобрял и глаза прятал... Не любят этого русские.

Полторки с деревянными кузовами чуток поддавали газу. Отъезжали от столбов. И уходила из-под ног земля, на которой они услужливо и удало “раскалывали” саблями земляков — коммуны.

Сколько бы ни писали о поисках Китеж-града: а тут и оперы, романы — все мимо. Не находится русская утопия. Будь хоть трижды Римским-Корсаковым.

А наша утопия? Вот она. И приметы ее налицо. Течет Кубань. Тяжело и серо, волны цинковые. На высоком новом бережку сохнут травы. Весной они зеленые, а осенью рыжие до кровавости. Оторопь берет.

И ничего.

Тут бы Спас-на-Крови построить. Церквушку хоть какую, часовенку...

Но...

Не “нокай” на душу свою!

Из нового “супер-пупербогатого” дома, из широких ворот выскакивает девчонка. Чья она — не наследница же этой роскошной недвижимости. Узкая талия, тонкие брови, голый пупок на плоском, модном животе. Не девочка, не девушка. Аэлита, марсианка. Элита? И какая-то она вся воздушная, прыгучая. А может, и наследница?! Биг знае...

За что судить беззаботную юность? Этого лягушонка, приобретающего облик царевны? Не судьи мы. “Не судите и не судимы будите”. Это Божий Завет.

И ведь не знает “племя младое, незнакомое” про коммуны Задиора, про вечное наше “ледовое побоище”. Сотовый телефон в бирюзовой сумочке на шее. Из него вырывается бесхитростная песенка “Какао-какао”. А потом о том, что погоду в доме легко уладить “с помощью зонта”. И коленки у этой тростинки ритмично дергаются.

Пусть она потанцует.

Я же помолчу. И тусклое небо стряхивает с себя холодные, мелкие слезы.

ВИДЕНЬЕ ОТРОКА

РАССКАЗ

Косову надо было попасть в город.

Но дорогу передудло. Зима, как всегда, издевалась над южанами. И каждый год южане разводили руками: “Синоптики накликали!”

Но в этот раз на Рождество установилась действительно суровая погода. Минус тридцать и ветруган. По остекленевшим, почти пустым дорогам скользили, как гигантские хоккейные шайбы, только черные “джипы” с тонированными стеклами.

Позвонив знакомым, Косов все же нашел “лайбу”. Везли из реабилитационного центра мальчишку для консультации с краевыми врачами-специалистами.

Что такое “реабилитационный центр”, Петр Иванович Косов не знал, за какую такую провинность пацанчик был наказан, да так, что его необходимо было реабилитировать в центре. И кто такие “врачи-специалисты”? Разве есть врачи-неспециалисты?

Дополнительную, ненужную информацию он все же проглотил из телефонной трубки. От Геннадия Николаевича Птушко, товарища по преферансу и станичного всезнайки. “Реабилитационный центр” — это центр временного содержания детей, у которых никудышные родители, пьяницы. А “врачи-специалисты” — просто те врачи, которые конкретно занимаются легкими, нервами, сердцем и ни в какие другие участки организма не лезут.

“Лайба” оказалась тем самым транспортом, у которого название четко соответствует содержанию. Это был темно-зеленый “уазик” с выступившей над колесами, как подмышками, солью. Щели в двери с палец толщиной. Но вот мотор “уазика” находился в кабине и салоне одновременно. Он тонко дребезжал прикрытой овчиной крышкой, но все же струил тепло.

Водителя “лайбы” звали Алексеем Ивановичем. Его стариком не назовешь. Он — мужчина в солидном возрасте с длинными узловатыми кистями рук, круглой, розовой плешью и седой куделью волос. Всё — руки, плешь, седина казались новыми или хорошо отмытыми.

Алексея Ивановича все звали именно “Алексей Иванович”. И когда что-нибудь надо было сказать ему, вначале прокашливались. Это был явный знак уважения.

Пассажиры микроавтобуса тоже достойны описания.

Медсестра Валя. Крашеная блондинка. Розовощекая, с крупными кольцами волос, пружинисто выпрыгивающими из берета. Валя брезгливо совала соломенные волосы в свой головной убор. Но они вырывались из плена. Её яркий, в красной помаде, рот иногда дергался. И лишь только когда медсестра оборачивалась назад, приглядеть за мальчиком, на лице её выступала озабоченность.

У мальчика, ему лет двенадцать, было лицо отрока Варфоломея. Петр Иванович хорошо помнил спокойную картину художника Нестерова. Ему нравилось то, что у светлого мальчика-отрока во всем его облике просвечивало тайное и грустное знание. И еще кротость.

На пластиковом столике у барьера, частично разделяющего водителя с пассажирами, стояла банка с кабачковой икрой, блеклая тарелка с двумя кусочками хлеба и маленьким, бурым яблоком. Для мальчика. Для Варфоломея.

Спутниками Косова были и другие, совершенно незнакомые ему люди.

Парень с мокрыми волосами. Эдик. Мокрые, в крупную полоску, волосы сделали ему в парикмахерской. Они были фальшиво мокрыми, то есть создавалась видимость влаги. На самом деле шевелюра у Эдика была суше пороха в пороховницах Тараса Бульбы.

Эдик все время подкачивал скачущей, белокурой красоте в джинсах, Лене. Голубые эти брюки туго обтягивали ноги фигуристой девушки и чуть

повыше колена были порваны. Порваны тоже специально, потому как беленькая полоса в джинсе наводила на мысль о чем-то смутно-греховном, порочно-притягательном. Разрыв этот и “влажные” волосы Эдика были родственниками. Последним пискom дошедшей до станицы моды.

Лена оказалась разговорчивой, но обращалась она чаще всего не к Эдику, а к сидящей в заднем углу салона (гмм...у “лайбы”-то — салон?) женщине. Эта особа показалась Косову совершенно удовлетворенной жизнью, своей сытостью, своей дубленкой с косичками из песцового меха, даже такой вот уникальной поездкой под завывание пурги.

Ее звали Надеждой Петровной. И, что удивительно, лицо у Надежды Петровны было вполне заурядное, на нем виделись даже остатки угревой сыпи. Но лицо это, из-за крепкой уверенности в свою успешность и исключительность, можно было бы назвать красивым.

Косов по жизни погряз в парадоксах. Он почему-то решил, что она еще мертвее, чем губастая медсестра Валя, что она вся пустая и искусственная. На жидких кристаллах.

Надежда Петровна постоянно вынимала из своей кожаной, морщинистой сумки кiset, в который был помещена неестественно широкая телефонная трубка. Она перебирала розовые угольки своими перламутровыми ногтями. И Косов в порядке бреда допетрил: перезагрузка. Не перебирай Надежда Петровна пальчиками, перламутром своим, и утхнет она, как фантом. Не особа — Цифра.

Он поежился.

Микроавтобус еле полз. Катились на нейтралке. Косов поскоблил заиндевевое стекло. Тормознули возле бензоколонки. В открытую Алексеем Ивановичем дверь ворвались клубы снежного пара, и это еще раз заставило Косова ощутить озноб.

Заправлялись недолго.

Водитель легко запрыгнул на сиденье, стряхнул снег со своей кудели. Игруще-глянцевый лоб Алексея Ивановича заиграл, как меха у тульской гармошки:

— Говорила мне маманя, не ходи на шофера учиться. Холодно. Руки мерзнут, ноги зябнут. Ха-ха-ха!

Он потер эти руки, прежде чем ухватиться за рычаг передачи. И потянулась к пассажирам всем своим длинным лицом:

— Уговаривала ведь: “Поступай в гинекологи. Всегда, Лексей, в тепле будешь!”

Немая сцена. Как у Гоголя.

Предпочтительнее матерщина, чем такие шутки.

Стало неловко даже Цифре, Надежде Петровне. Она среагировала голосом автоответчика: “Ну и шутник вы, Алексей Иванович...” — и потянулась опять за своей мощной с телефоном.

Поехали. По ледяным кочкам, виляя задом, тычась в снежные заносы и выползая из них.

Косов подумал, что Алексей Иванович, конечно, не эстет. Но где ему вкусу учиться? Надо быть милостивым. Водитель он был хороший, чуткий, понимал и машину, и дорогу.

До города нужно было добираться два часа.

Чего только не наслушаешься за это время!

В драмом металлическом чулке кузова две дамы, Лена и Цифра, не переставая, тараторили. Им поддакивал Эдик. Медсестра Валя окидывала всех, и Косова тоже, презрительным оком. Водитель был занят дорогой. Мальчик, которого Косов окрестил Варфоломеем, мерцал из своего дальнего угла чистыми, живыми глазами. И в этом взгляде было больше слов, чем на языках у Надежды Петровны и красавицы Лены. Он успевал глядеть наружу, слушал женский щебет, изучал лицо Косова, обхватившего свой старый, поцарапанный “дипломат”. Глаза отрока всему, происходящему на воле и внутри, давали оценку. Они то задорно воспалялись, то печально гасли, то рассыпались добродушными огоньками. И прощали. Всё прощали. У этого сиротки было еще все впереди. Большая, преогромная жизнь. И тысячи та-

ких же Алексей Ивановичей, Надежд Петровн, Косовых, с которыми он будет соглашаться, спорить и мириться.

Нет, Цифра все же органическое существо. Живая. Вот она рассказывает о том, что муж принес домой три компьютерных диска “дивиди”. И эти диски были населены двадцатью фильмами. Их надо было за сутки пересмотреть, чтобы вернуть хозяину.

Надежда Петровна мужественно поглядела все фильмы. Не спала, “только кофе и фрукты”. И кино. Они вышли из спальни с дочкой Кристиной, покачиваясь. Цифру сразу вырвало. И рвало весь день, хотя и съела три пачки активированного угля. И вот достижение — все же одолела все фильмы, которые к концу перемешались в голове и стали абсолютно похожими... “Ф-ф-ф-ф, вот так!”.

Еще Цифра сообщила всем, специально громко, что она ходит учиться на водителя, потому что они с мужем решили “выкинуть на помойку” свой старый “жигуль” и купить новую иномарку с передним приводом и без всякой там “муфты сцепления”, “передач разных”.

— Одна педаль да руль. Красота! Сплошное у — ё! Гламур.

Тотчас же Цифра пояснила, что слово “гламур” на современном языке означает изысканную роскошь.

Косов подумал, что такой автомобиль стоит полтонны деньжищ. Он поймал себя на том, что стесняется своей бедности, поцарапанного “дипломата” (царапины залеплены темной изолентой), вытертой куртки из толстой и дешевой чертовой ткани. Да, стесняется! И это разозлило его. Он ненавидел уже Надежду Петровну. Кукла. Дура! Шофер — пошляк, павиан. Даже отрок Варфоломей подозрителен. Чего это он так все изучает? Но более всего Петр Иванович ненавидел себя, свою сверхковую никчемность.

И в очередной раз, когда Надежда Петровна сказала свое часто повторяемое словосочетание “у — ё! В у — ё” (это означало “условных денежных единиц, долларов”, но с нашей иронией, которое вносила русская буква “ё” вместо “е”), Косов не выдержал.

Он разбил лбом невидимый стеклянный пузырь молчания, под которым обитал все время. И торопливо, ощущая себя почти помешанным, с горячностью стал доказывать очевидный вред богатства. Слова обжигали язык, как угли ступни ног у болгарского огнепроходца, но Косов все равно нетерпеливо диктовал:

— Вы думаете, Останкино, башня эта, сгорела зря? Дудки! Не зря она сгорела! Все — деньги! Все — мамона. Знаете, на чем основан принцип ядерного взрыва?

В микроавтобусе установилась тишина. Глаза слушателей ускользали от его взгляда:

— Ах, не знаете! Так вот. Уран сам по себе не страшен. Он как песок. Носишь горсть урана, и носи. Как песок. Но вот лишь только будет превышена критическая масса, соединилась одна горсть с другой, так сразу шархнет взрыв чудовищной силы!

Он повторил: “Чу!.. Чудовищной силы!”

— Даже если одна песчинка выше нормы, то произойдет взрыв. Ядерная катастрофа. Вот и там, в Останкино, произошел взрыв. Только там вместо урана — деньги, у — ё, как вы говорите. Лишний доллар — и пыхнуло, и все в золе. Навешали на эту сатану лишней арматуры, радиостанций, телецентров за деньги, вот и вспыхнуло. Потом “Комсомольская правда” занялась. Лишнее количество у — ё! Проще простого! Дальше, как пить дать, полыхнет “Московский комсомолец”.

Он оглядел всех твердым взглядом победителя.

Надежда Петровна дробно засмеялась, так, будто шарики в ней рассыпались. Медсестра Валя взглянула на Косова с любопытством, словно его надо было показать узкому специалисту — психиатру. Умный отрок Варфоломей обвел Петра Ивановича печальными грустными глазами.

Всю остальную дорогу Косов молчал, ругая себя за “атомный взрыв”, за ту самую критическую массу, которая понесла язык по кочкам. Зачем он нес свой правильный бред?

Хорошо, что вскоре приехали в город. Договорились о встрече вечером, чтобы всем опять, всем гамузом вернуться в станицу. Главное, конечно, мальчик, и то, как его примут в клинике, и долго ли будут крутить в своих руках врачи-специалисты. От мальчика, от врачей зависело время возвращения домой.

На улице заполошно то сыпал, то падал снег. То колючий, то пушистый. “Плюс” и “минус” спорили.

Удивительно быстро Косов управился с делами. Все нужные служащие в этот день оказались в офисе, в котором он числился агентом. И с удовольствием они листали его бумажки, подписывали их. И глядели на Косова, как на героя, отважившегося “в такую пургу, в такую даль!”.

Даже замзав Семёнцев, живо потрясая руки, спросил: “Ну, как там у вас дела... С этим самым... С погодой?”

— Мороз, ветер, снег! — отрапортовал Косов.

— Да, — обрадовался всему этому безобразию Семёнцев. — Молодец! Значит, жмет. Надо бы тебе того-этого приплатить!

“У — ё”, — скользнуло в скособоченном мозгу Косова. И Петр Иванович, с устойчивой мыслью “Все люди-братья”, потянулся за крепкой ладонью начальника. Сжал её.

Замзав Семёнцев вынул свою руку, тряхнул кистью и тут же исчез из коридора. Думать о странностях бытия.

На городских улицах уже сифонило жестче. Победил “минус”. Благо, магазины работали. И исправно. В магазине компьютерной техники сами собой перед любым посетителем распахивались двери. У Косова в натуре еще оставалось немного ребячливости, и он попытался было объегорить фотоэлемент, запрятанный то ли в потолке, то ли в дверном косяке. Дудки, не тут-то было. Фотодвери распахивались и звали Косова в теплое иноземное нутро с тихо, задумчиво мерцающими мониторами. Мониторы казались живыми существами. То, что к ним были подведены белые и черные кабели, не имело значения, а наоборот, создавало впечатление живых водорослей.

“Со временем из них родятся люди, — решил Петр Иванович, — из этих вот мониторов, “железа” и клавиш. Из мышек, сканеров и модемов”.

К Косову подскочил коротко стриженный, в белой рубашке и черном жилете юноша, спросил, что ему нужно и не показать ли чего. Этих адептов маркетинга Косов боялся. Он буркнул: “Я сам”. И отвернулся. Юноша упорхнул, опять чистить улыбку. Косов заметил, что в прихожей (вестибюлем назвать никак нельзя) этого компьютерного магазина находился пустой, бордового цвета диван с кинутым на него блестящим журналом и свободное же кресло.

Кресло и диван. Шик. Гламур! А тут он, в своей задрипанной куртке. Но Косов все же тихонько подсеменил к дивану и опустился на него. Он заметил, что юноши в жилетках не обращают внимания, и расслабился. Чего же он их так побаивается, робеет? Косов в тепле и с компьютерным журналом просидел полчаса, пока не подскочил к нему знакомый малый со знакомым же вопросом. Однако в этом вопросе уже чувствовалась неприязнь. Вместо ответа Косов решительно встал с бордового дивана и шагнул в радушно раскрывающееся стекло.

Побывал Косов и в книжном магазине. Книжный червь с детства, он в который раз убедился, что книги теперь стали тоже пластмассовыми, целлюлозой. Товаром со штрих-кодом. Вот — фантастика под соусом бесовщины. Вот — эмигранты. Вот Павич, Хулио Кортасар! Анатолий Иванов для деревни, для села — “Тени исчезают...”.

Книги и вид приобрели такой, что ими надо было просто любоваться. Как куколками. Книги — мыльницы. Неподъемные тома с закладками, цветным срезом. Иллюстрации прикрыты девственной плевой папиросной бумаги. Всё для богатеньких. Ваши деньги — наши услуги. Да, им-то и читать — зря глаза портить. Для интеллигента. Что хотите? Сорок килограмм? Пжалте!

Кажется, у него началась простуда. Даже здесь, в тепле, Петра Ивановича знобило. По старой “Нокии” Косов связался с водителем Алексеем Ивановичем.

Тот ответил, что с мальчиком, “главным заданием” — загвоздка. Из села, станицы то бишь, принимали во вторую очередь.

Вторая очередь для мальчика наступила тогда, когда на улицах города стало темнеть. Снег, сволочь этакая, проникал в рукава, а вместе с этими зимними “чудесами” в него лезла тоска. Черная, злая. Тоска, доска, таскать.

“Уазик” все еще стоял у ограды горбольницы, а Косов вымерял шагами трамвайную остановку, уже устеленную снежными гробиками. Боже мой! Он находился в слепом оцепенении. И настойка марьяна корня не помогала.

Наконец, добрый человек Алексей Иванович откликнулся на повторный звонок. Все хорошо, но в городе ужасные пробки.

Алексей Иванович предложил Косову подождать еще полчаса. Таска тоски. Тиски тоски. И когда тот намеревался было улечься на косу, чтобы, как ямщик, уснуть навсегда, перед ним очутился темно-зеленый, с белыми подпалинами “уазик”.

“Псих! — сам себе сказал Косов, выпрыгивая в тепло машины. Дальше от снеговых пирамид. — Шизоид!”

Все обрадовались Петру Ивановичу, как старому знакомому. Словно этот чудила с сумасшедшими теориями был самым близким человеком. Вот-вот все кинутся целоваться, обниматься.

Не целовались. Но, как ни странно, Косов и сам почувствовал тепло к этим случайным людям, у которых свои радости и печали, свои заблуждения.

Банки с икрой на столике уже не было. От яблока осталась половина, с ржавым укушенным боком. Милая Надежда Петровна, как ни в чем не бывало, рассказывала о чудесной кухне, которую они вчера только установили в своем новом “штучном” доме. Три тысячи у — ё. А что? Имеет право. Она ведь работает юристом в соцзащите. Красавица Лена не завидовала Надежде Петровне, а умно улыбалась. Мол, какие ее, Ленины, лета, и у нее будет машина с передним приводом и такой же телефон с дозвоном, видеокamerой, папками, как в компьютерном “виндовсе”. Все это не за горами. Рукой подать.

Даже медсестра Валя уголком своего ярко и четко напозаженного рта улыбнулась Косову. Молодец, дождался.

Из-под лысины Алексея Ивановича торчал батон. Шофер откусывал от длинного рыжего батона и вел свою “лайбу” с тем же утренним мастерством олимпийского фигуриста.

Стекла у микроавтобуса потемнели. Они отталкивали белые полосы летящего в том, чужом пространстве снега.

Из города еще не выбрались. И еще не была съедена длинная булка. Спина у водителя наклонилась, плечи дернулись. И повернутый к пассажирам гуттаперчевый лоб растянулся, как меха тульской хромки.

На этот раз откашлялся Алексей Иванович: “Кажется, того... Кажется, полетел ремень генератора... Такие дела”.

— У — ё-о-о! Чем это грозит? — привстала практичная Надежда Петровна.

— Грозит полной остановкой транспортного средства. И ночевкой на улице! — тут же отпасовал Алексей Иванович и, скинув овчину с мотора, задрал жестянку капота.

— У знакомых!

Странно.

Косов почему-то взглянул в дальний правый угол. Отрок Варфоломей кротко сидел там. И в сумерках его лицо казалось еще тоньше, прозрачнее, печальнее.

Косов подумал, что в городе этом хоть кто-то знакомый у него есть, но беспокоить их он не будет.

— Но в автобусе ночевать никто не останется, — влез в его мысли шофер и тряхнул витой своей паклей. — Н-да, н-да... Так и есть... Ррр... ремень генератора.... Ну, прохлады мотору хватит на полчаса... Дальше мотор перегреется. И аккумулятор сядет.

“Критическая масса!” — пролетело в мозгу у Косова.

— У — ё! — выругалась Надежда Петровна. — Но есть ведь магазины. Алексей Иванович обернулся.

— Нам запрещено покупать в магазинах! — У шофера лицо сделалось, как у иезуита, какими их показывали в старых фильмах. — Ну, да. Только на электронных торгах. Ррр-ремень того... Порр-рвался!

“Что за чушь! — удивился Петр Иванович. — Какие еще торга, торги среди ночи, в пустом городе?! На Луне”. Он не совсем осознавал ситуацию. Но вот ломило колени, ныл затылок. Грипп, гриб.

“Торги, торгами, о торгах!”

Город, однако, не был пустынным. Вдалеке, за темной стекольной перегородкой, то зеленым, то синим, то красным плясала косматая реклама.

Шофер-иезуит пояснил:

— Магазины с этими ремнями есть, и ремень этот стоит недорого, полтинник, но я не хочу каждый раз платить из своего кармана. Потом хоть какой чек бери, Любовь Степановна не оплатит. Мне надоело все из своего кармана платить.

— А мальчик как?.. — не выдержал Косов. — Замерзнет.

Он вздохнул.

Невозмутимый бюст медсестры повернулся к нему. Она, кажется, человек.

— Об этом должна думать Любовь Степановна. А я всех до единого возму и высажу.

— Ну и шутник вы, Алексей Иванович, — воркнула красавица Лена.

Она не верила в высадку на Луне.

Рваную шелку на ее джинсах закрывал ладонью Эдик. От него шел крепкий пивной дух.

Эдик поддержал подругу: “Шутит!”

Но Петр Иванович уже ясно понимал, что разыграшем здесь и не пахло. “Но это же пустяки, — решил Косов, — Сбросятся по десятке. И ремень новенький натянута. Что за ерунда!”.

Он высунулся с предложением:

— Давайте по десятке... На ремень этот... Того-этого.

— Принципиально не буду! — зло выдавила из себя Цифра. — Пусть правительство думает. И Любовь Степановна.

Алексей Иванович обрадовался словам социальной юристки:

— Вот-вот. Поняли, Надежд Петровна! Сколько можно меня тыкать туда-сюда, сколько можно помыкать мной?!

Он покраснел.

Медсестра вынула было свой червонец, но опять сунула его в опушенный мехом карман.

Щека Лены припала к хмельной щеке Эдика. У Эдика лицо сделалось ангельским. Но с кривым вывертом.

— Выпущу всех на Красных Партизан или на Северной. Где скажете, где удобно, — Алексей Иванович включил желтый свет в салоне и обвел всех своим действительно фанатическим взглядом. Шофер оказался натурой меняющейся. Цифра спокойно вытащила свой телефон, отвернулась к окошку и зачастила в трубку на непонятном и, кажется, нечеловеческом языке. “Бам беус бу, бука, бека”. Точно, инопланетянка.

Косов подумал: “Ах, черт с ними, всеми вместе! С их принципами, с южной этой куркулистостью. Маскировка всё, камуфляж. Сейчас он оддерет из своего дырявого кошелька этот полтинник на дурацкий ррр-ремень”.

Шанс, его шанс.

— Я и есть электронные торги! — дурашливо воскликнул Петр Иванович и, встав, протянул свою денежную бумажку сидящему к ним лицом шоферу. Дурашливость была одобрена маслом.

Косов опять ощутил в душе едкую хлорку: “Ты, Косов, есть трус и негодяй”.

Шофер по-лошадиному замотал головой:

— Не возьму. Принцип! Ссажу всех на Красных Партизан.

— Что за шутки! — ровным голосом проговорил Косов. “Ты, Косов, есть молодчага”.

— Никакие не шутки. Надо с этим бардаком кончать.

— А мальчик?! Вы за него ответите. В тюрьму угодите!..

— Пускай хоть расстреляют, а без нового ремня я не поеду. — Он четко, по слогам повторил: — Не-по-е-ду!

Телефонные переговоры Цифре не удались. Она надула губы. В сумраке губы казались аспидно-черными. И тут — метаморфоза. С Цифры-гламурки слетела прежняя автоматичность. Она оказалась простой, как точильный брусок, злой русской дурой с передним и задним приводом.

Цифра, обозлившись, тоже закричала. Но опять это была тарабарщина из русских слов.

На пивной ингредиент в “лайбе” действовать было бесполезно. Лена энд Эдик срослись. И им было все равно, где находиться: на Северной, на Красных Партизан или на ночном светиле. “Селена-эна-а” — была такая песня в его молодости. Селена — Луна.

Но что же делать?

В конце концов, можно было позвонить домой. Увы, на старой “Нокии” сел аккумулятор. Зло — тоже на пивных дрожжах. Одно лепится к другому.

— Ну, возьми-те! — еще раз он потянулся к Алексею Ивановичу, понимая бессмысленность жеста. Он явно клячил.

Алексей Иванович извлек из кармана дверцы связку ключей и стал молча копать в моторе. Обдывать свечи.

Лысина побагровела, стала как диван в компьютерном магазине. Ныр — туда, ныр — обратно. Поплавок.

— Вы ведь знали о своем ремне генератора? — громко окликнул лысину Косов. — Почему же выехали на неисправной машине? Эй! Вы ведь знали?

Сам Петр Иванович может, когда захочет, быть иезуитом и методичным мучителем.

Шофер взглянул на него с любопытством. Лоб эластичный. Морщины исчезли.

— Да, я читал книжку, вот. Вот читал, детектив. И ждал четыре часа мальчишку. Ждал! И знал о ремне! Ну?.. Ну?.. Знал! Скажи, мил человек, за что я должен отвечать, за утиль, старье, за рухлядь?..

— Ну? Гну! Вы знали о ремне генератора? — голос у Косова чужой, как сверло.

— Знал! Знал!!! — неожиданно на весь автобус вскричал Алексей Иванович. — Но ведь меня никто никогда не спрашивает. За воду — дерут, за газ, за туалет в городе — пятерку выложит. Что за жизнь? Все оно, оно виновато!

Анатолий Иванович воткнул в потолок своей “лайбы” указательный палец! У — ё, у — ё-о-о! Одно у-ё-о кругом, сволота! Вот и у — ё из машины! Все у — ё-ооо!

Он откинулся назад, к ветровому стеклу. Чуть не выбил его своей कुдельной, растрепанной головой.

— У — ё-о-о!

Шофер сбесился.

Иезуитский голос Косова перервал вопль:

— А вы ведь и бензин воруете. С “узлика” бензин. Тащите, продаете. Левака подкидываете?

Шофер тряхнул лицом, словно сгоняя морок:

— Ворую! Подкидываю! Граблю! Ножом пыряю. Бандога я! А как жить прикажешь? Гражданин... Господин... Гражданин...

— Петр Иваныч.

— Петр Иваныч. Как кормиться-то картохой одной в мундире? Как после войны, жалко живем! Картоха, и та кусается. Пятнадцать рубликов за килограммчик. Возьмешь на базаре у бабок, а в картошке полкило земляной моли! И жуешь вместе с молью. На гарнир.

Он махнул тяжелой, в темных венах рукой. Этой же рукой Алексей Иванович нащупал ключ и опять стал ковыряться в моторе.

— Эх, эх! Уф-уф! — только и слышалось.

Наконец, он вытащил и лысину, и торцевой ключ. Выпрямил спину.

И с лица слезли все морщины: “Закрепил! Поедем, значитесь! До станции хватит!... Запевай, чего приуныли. Говорила мне мама...”

Вот так фрукт!

Продолжение монолога все уже знали.

— Говорила мне мама: шуруй в гинекологи. Это я вас всех испытывал, — вытер руки ветошью шофер. — Государство куркуль, и вы поголовно — куркули.

Чуден человеце! И прекрасен.

“Бандюга” улыбался молодым, чистым лицом.

Сказано это было не обидно. Значит, поедем.

Надежда Петровна опять стала Цифрой, сунула руку в мощну.

Лена с Эдиком оторвались друг от друга и закачались отдельно в движущемся, трясом сумраке. Медсестра Валя вздохнула, словно давно что-то держала в душе и наконец освободилась. Почему она так безвкусно разрисовывает свои толстые губы? Как бы ей подсказать...

А мальчик?.. Уже так темно в этом нутре “уазика”, так темно. И лишь в уголке теплится, как язычок свечки, его лицо. Кротость. Такого теперь мало. И слово забыли. Отрок Варфоломей, наверное, все понял. Сейчас детям дается другое зрение. Они не будут, не будут такие истасканные жизнью клячи. Детям дается тоже испытание. Только они, новые, чистые, выдержат грязь и несусветную пургу, небывалые для юга холода, всякие у-е-у-ё. Они выдержат и эти экзамены мамоной, бесовщиной разной. Вы-дер-жат!

Косов за долгий путь отсидел ногу. И когда спрыгивал с “уазика” в станции, не почувствовал эту ногу. И чуть было не шлепнулся в сугроб. Он долго стоял, ожидая, когда нога “придет в себя”. Косов заметил, что снегопада уже и нет. Тишина, легкий мороз. Казачий край, юг все-таки. Каприз природы. И на небо выкатилась луна, круглая и белая, как таблетка шипучего аспирина. “Лайба” давно ускользнула, а луна — та стояла. Селена на приколе у Геи, матушки-Земли. “Селена-эна-а”? И кто был тот мальчик с тонким лицом? Неужто сын ханыжки? Вряд ли. А может, это был его ангел? Говорят, ангелы в исключительных случаях являют свое лицо. Да, вот еще факт. Косов вдруг в порядке бреда решил: мальчик этот, Варфоломей, поразительно похож на него, Косова, в детстве. Сейчас он придет домой, достанет старую фотографию: там он с чубчиком и голым затылком. С собакой. Удостоверится, “сличит”, как говорили в его селе, давно пересаженном на Селену.

“Схож, схож, схож!” — скрипел под ногами рассыпчатый, подбитый морозцем снег.

ПОЭТИЧЕСКАЯ МОЗАИКА

МАРИЯ ЗНОБИЩЕВА

* * *

Пахнет лесом и рельсами. Скоро зима,
А зимою любые дома — терема.
Все Петровны — Моревны, царевны с лица.
Белоснежному свету не видно конца.

Перепутай страницу, эпоху, страну,
Полюби в этой осени нашу весну.
Перепутай маршруты, возьми меня в глушь
Не изглоданных голодом солнечных душ.

Кто-то спутал и так наши тени и дни,
Острова наших странствий и станций огни,
Да прогулки: на лодках, на лыжах, пешком —
Через мир, что и раньше нам не был знаком...

Кто-то спутал следы на вчерашнем снегу.
Я тебя от себя отличить не могу.
Упаду — и восьмеркой сойдется лыжня.
Ты смеешься, ты рядом — ты любишь меня!

* * *

В недостроенный дом приходили прекрасные жены,
Ни одну не любил. И не выбрал по сердцу одну.
“Да и как, — думал он, красотой наконец-то сраженный, —
В недостроенный дом привести молодую жену?”

Если б рядом был сад — весь в слезах, белый-белый от вишен...
Посажу деревцо, чтоб росло на забаву судьбе!”
Так сказал в тишине, но едва только из дому вышел,
Как другие занятия нашел среди прочих себе.

А невеста ждала. Три весны, три зимы и три лета:
Скоро ль вишне цвести? Закурится ль над крышею дым?
Но четвертая осень растаяла ржавым рассветом
И ушла, дорогая, гореть по дорогам с другим.

Мир не временем мерят одним. Есть приметы весомей.
Вот и снится ему на заре, по весне, каждый год,
Будто сын нерожденный растет в непостроенном доме,
С непосаженной вишни румяные ягоды рвет.

г. Москва

ИРИНА СУРНИНА

* * *

Эх, пропадом всё!
Чернеет компьютер пустой,
Слизало дотла: ни жила тебе, ни ночлега.
Вот так же, наверно, стоял горемыка простой
Один на снегу после злого, с пожаром, набега.

Что толку лепить
И любовно лелеять жильё,
Детей поднимать и, потея, выхаживать поле,
Коль с криком гортанным влетит вороное ворье
И выметет всё, и останется вольное горе?

Не плачут старухи,
Молчат глубоко старики.
Свалили страну и оставили просто времянку.
И хочется мне убежать от звериной тоски
И вырыть в лесу между трав и корней землянку.

И в небо кричать
Или в землю — уже все равно,
Слова позабыть и замолкнуть, чтоб слух истончился.
А после и домик сложить — золотое бревно,
Чтоб свет из окошка на снег затаенно сочился.

* * *

Отец потянется за мною
И только выдохнет:
— Уже?..
А я привыкла и не ною
На тридевятиом этаже.

Помыла полки, пол, посуду
И занавески завела.
Когда еще я с вами буду?..
Не зря приехала-была.

— Осталась бы, помылась в бане,
Я баню быстро истоплю..
А я давно привыкла к ванне,
Но что ж застыла и стою?
И никакой-то здесь природы:
Дорога, вышка, облака
И огороды, огороды,
Болотце в грусти ивняка.

И листья тихие не летни,
Я ж на год-два, не навсегда.
И этих яблок вкус последний,
И в бочке черная вода.

МАКСИМ ЕРШОВ

* * *

...Это когда с неба давит просинь.
Это когда я от правды пьян.
Это когда моя мать выносит
в улицу душеньку, взяв баян.
Это когда мне люди — братья.
Это когда я слезы не скрыл.
Это когда мои объяття
шире, чем взмах журавлиных крыл.
Это когда мне в рубашке тесно
и кафедральны кругом поля.
Это когда для протяжной песни
тысячу лет цвела земля.
Это когда я на метр выше.
Это когда я себя сильней.
Это когда в песнопеньях слышу
посвист, набат и храп коней.
Это когда Челубей хохочет,
а за спиной — отец-старик.
Это когда любовь клокочет,
как у немого гортанный крик.
Это когда, нахлебавшись грусти,
нечем спасаться и незачем...
Это когда я настолько русский,
что уважает меня чечен...

Это когда, в грязи по пояс,
тонут упреки могильных плит.
Это когда мужичья совесть —
Сколько б ни гасла — свечой горит...

Это во мне говорит Россия.
“Эй, — говорит, — мужик! Прием!”
Есть ли в тебе такие силы,
чтоб устоять на краю времен?”

РЯБИНА

Рябину рубили. Порезали грозди,
привили оливы, а выросли гвозди.
Крутили-вертели... Не могут понять:
рябина кривою осталась стоять!

Рубили по новой. Привили к ней грушу.
Вводили волшебную формулу в душу.
И крутят, и вертят... Пора бы понять —
рябине недолго осталось стоять!

Мерцая веками в порезе глубоком,
с чужими цветами, плодами и соком,
вцепилась рябина остатком корней,
и только дыханье осталось у ней...

Рубили. Рубили.
Рябина! Рябина!..
Пустите, пустите родимого сына!

Он враз отрезвевает и может успеть
дыханием корни ее отогреть.

ДМИТРИЮ ПАНИНУ

...Уже кто-то дышит на ладан, а кто-то в затылок.
Играем всухую — мы лишние люди по сумме.
Мой Гамлет — Шекспир нам в подъезде оставил бутылок.
Поедем — сдадим на очки Государственной Думе!

Враги обступают, как в прошлом, загадочный Кремль...
Есть выбор фамилии нового якобы солнца.
Отчизна смеется с экранов, улыбочка — кремень.
Поедем, мой Гамлет, поедем, — а вдруг нам зачтется?

Ты скажешь — все то же: сквозь богоискательство денег
доносится слух летописный о свежей измене.
Но стекла Шекспира! Мы сядем в вагоны раздельно.
Крамольные тени, мы в поезде будем — как тени...

Не хочешь ты слышать об этой смертельной нагрузке.
Не хочешь, чтоб ноги по собственной крови скользили.
Но я не пойму уже, кто я — еврей или русский,
намыливший правдой дрянное белишко России.

Но Гамлет! Мой поезд уйдет, и тогда без возврата
не стой на перроне сутуло, при шпаге и шпорах.
Не надо терзаться... Конечно, ты был бы мне братом,
когда б не вот это меж нами — под скрежет повторов:
когда б не зверели со школы, не рушились хаты,
когда б каждый третий не канул, бессильный от горя...

Оставь себе книжку — я в ней молодой и крылатый,
и бьюсь в тот же берег, что это российское море...

г. Сызрань

АЛЕКСАНДРА КАШИНА

* * *

Знаешь, а я смотрю на тебя
И вижу небо,
Я вижу город, растасканный на кусочки
Минутных улиц, а где-то идет троллейбус
До чьей-то ручки, а может быть, и до строчки.
И город спит, ему снится веселый ветер,
И провода разорваны, словно связи,
А в нем так много тепла и так много грязи —
На лавках бабки, в подъездах воры, а в школах дети.
И город полон дорог и рекламного бреда,
То строит замки, то гарью заводов дышит,
Знаешь, а я смотрю на тебя и вижу небо,
Чистое небо с какой-то заброшенной крыши.

* * *

Крышами, телефонами, проводами, подъездами, звездами
Я лечу на встречу тебя во мне, мы с тобою вновь стали взрослыми.
Лето манит к себе качелями и песками горячими пляжными,
А я вновь пишу неумелые и корявые строки, важные
Для меня, забравшейся в комнату, по теплу и уюту скучающей,
Телефон разразился стонами приглушенными, настоящими,
Разорился гудками короткими... я рисую в клеточках крестики...
Прирожденными идиотками быть приятнее все же, чем бестиями,
Пригвожденными по-цветаевски... нолик вычеркнул все ненужное...
Умирай от стыда и зависти — я любовью к тебе простужена.

г. Казань

ГАЛИНА МАЛЬЦЕВА

ПОД КОЛЫБЕЛЬНУЮ

Как благостно все начинается...
Сквозь занавесочку кисейную
Луна над люлькой качается
Под колыбельную, под колыбельную.

Полны заботы и сердечности
Слова спокойные, напевные.
В молочной звездности — с беспечностью —
Глядят в окошко ветки вербные.

На стенах тени отражаются.
Давно утихла ночь метельная.
Размеренно весь мир качается
Под колыбельную, под колыбельную...

ВСТРЕЧА

Встреча, что бывают на Руси, —
Дорогая ветреная радость
Или грусть, укрытая в груди,
В этих встречах. Сколько их осталось?

Тихий вечер, васильковый склон,
Долог путь до веры, до посада.
Звон кузнечный, колокольный звон,
Сладкая садовая прохлада...

Мимо этих встреч нам не пройти!
Мимо вечных образов и звуков.
Будут еще встречи на Руси!
Хватит нам, останется для внуков.

* * *

Вздохнуть нет сил. — Июньский полдень жжется.
И тягостны заботы у гряды,
И нет ведра у старого колодца,
И клонятся в безветрии сады.

Но в ранних сорняках и поздних всходах
Горячим продолжением зацвели
Бессмертный дар изменчивой природы
И каждый пуд натруженный земли.

Бог в помощь нам возьмет и приживется
Под ветхой кровлей, в поле, у реки
И будет так же вглядываться в солнце,
Высматривая дождь, из-под руки.

г. Москва

АЛЕКСЕЙ РЯСКИН

ЛУГ

Луг — словно маленькая Вселенная,
Сжимается, расширяется и снова сжимается.
Луг — это что-то меняющееся и в то же время неизменное.
Он гнется под тяжестью неба, но не ломается.

Он купается в солнечном свете, всплывает и тонет.
Он машет пролетающим птицам травой и горькой и сладкой.
У него нет секретов, он весь как на ладони.
Но, несмотря на все это, луг все равно остается загадкой.

Разбрелись по траве и замерли молча грибы опята.
Лениво машет листьями старый угрюмый лопух.
Черная коза лежит со старым лопухом рядом
И считает от одного до ста и от ста до одного вслух.

Словно кресты, стоят одуванчики, сбросив свои белые рубашки.
Стоят, будто окаменев, и уже не интересуются ни пчелой, ни осой,
А рядом о чем-то спорят цветы клевера и ромашки
И кидают друг в друга то лепестками, то пылью.

Муравьи строят империи, стрекозы пытаются отыскать щавель,
Гусеницы запевают песню ночью, бабочки продолжают петь ее днем.
У луга нет ни минуты для тоски или печали,
Луг поглощен жизнью, кипящей в нем.

Не так-то просто заставить его размышлять о счастье,
Он и так всем доволен: и цветом неба и своей судьбой,
В спорах и рассуждениях он никогда не принимает участия,
Луг живет в гармонии с миром и с самим собой.

ДОРОГА

Солнце вышло, не надев своей светлой облачной короны.
Оно смотрит вниз, сидя на своем небесном престоле,
А там, внизу, овраг, мельница и глупые коровы,
И старая дорога от стога сена до пшеничного поля.

Дорога знает и смысл жизни, и тайну смерти.
Она помнит все и о том, что уже было, и о том, что еще только будет.

И следы, которые на ней оставляли и ангелы, и черти,
Дорога умело смешивает со следами, которые оставляли на ней люди.

Дорога равнодушно отпускает бегущие в прошлое дни,
Ведь ей известно, что жизнь обречена на бесконечное кружение.
Дорога просто лежит и смотрит в небо, распахнувшееся над ней,
Она знает, что где-то там спрятано ее звездное отражение.

И если радугу можно сравнить с песней тихой,
Которая неспешно течет из небесных краев в края эти,
То дорогу можно сравнить с огромной книгой,
В которой можно прочесть обо всем, что есть на свете.

Ей кажется глупым людское желание уснуть и забыться.
Она смеется над человеком, бегущим то к веселью, то к боли,
Ведь дорога знает, какая бездна тайн может вдруг открыться,
Пока ты идешь по ней от стога сена до пшеничного поля.

г. Воронеж

АЛЕКСАНДР ДЬЯЧКОВ

* * *

Поначалу, когда я крестился
и ни слова о вере не знал,
я все время креста тяготился
и как будто случайно снимал.

Я не ведал ни Крови, ни Тела
Иисуса Христа, ни того,
что иные под страхом расстрела
не снимали креста своего.

* * *

Когда чудит погода,
А ты не пьешь вина,
и не нужна свобода,
и вечность не нужна,

похоронили деда,
но, главное, хоть плачь,
безбожно врет газета
с программой передач

в деревне беспробудной,
в нетопленной избе, —
становится доступной
вся правда о себе.

* * *

Посиди со мною, стул,
посиди со мной.
Ты от свитера сутул,
брошенного мной.

Или это Вовка-друг
прямиком с небес
заглянул проведать вдруг,
а потом исчез.

Посиди... и посетит
Бывшая жена,
чуть сутулясь, посидит
и уйдет она.

А тоскливо станет мне,
так, что хоть реви —
ты мне в полной тишине
тихо поскрипи.

* * *

Меня учили думать о карьере,
учили равнодушнию, но вот
я открываю в православной вере,
что в жизни все не так, наоборот.

Начало добродетели — смирение.
Смирение — родословная любви.
Мои друзья глядят в недоуменьи
и выдвигают версии свои.

Но не понять им, хоть они и правы,
но не поймут они, ведь я не прав, —
не правы те, которые не правы,
прав только Тот, Который вправду прав.

ИВАН КОЛОКОЛЬНИКОВ

* * *

Мой дед был истинно героем,
Хоть он Америк не открыл,
Стены Китайской не построил,
И в бочке по морю не плыл.

Но без бахвальства, без бравады,
По зову совести своей
Он делал все, как было надо,
И этим покорял людей.

От стен московских до Берлина
Дорогой боя шел мой дед.
Подобных ветеранов ныне
В краях у нас почти что нет...

Дед был заботливым и строгим,
Во всем порядок он любил,

Всю жизнь он шел прямой дорогой,
А мне наставник главный был.

Я огорчал его порою
Тем, что совет не принимал...
А сколько он тревог со мною
(Господь свидетель) испытал!

Он был огромным альтруистом,
И сложный, и такой простой...
И вроде скромный, не речистый.
Но разве все ж он не герой?

г. Иркутск

ВАСИЛИЙ ПОПОВ

* * *

Отцу

Вот мой дом: изба, да прясло,
Да рябина под окном.
Там, где землю дождь, как масло,
Месит мокрым языком.

Вот мой дом, и мне не надо
Светлых окон, ярких крыш.
Для меня одна награда —
Слушать, как скребется мышь.

Слушать песню под березой,
Что поет кузнец-солдат.
Видеть солнце, красной розой
Уходящее в закат.

И еще мой дом — дорога
Между сосен и берез.
Там, где люди верят в Бога,
Не роняя наземь слёз.

* * *

Давай с тобою посидим
Еще немного у костра.
Пускай обнимет синий дым,
А рядом греются ветра.

Пускай осенняя листва
Закружит голову мою.
Я так от города устал,
Держи ровнее — разолью.

Не торопись, еще не ночь,
Еще заря целует день.
Приятно голосом помочь
И тишине отбросить тень.

Какое счастье болью петь,
Глядеть на небо и луну,
И нам придется улететь,
Как песня эта в тишину.

Но ты не думай ни о чем,
Не размышляй и не грусти.
Смотри, как время за плечом
Несет тяжелое “прости”...

И вот костер уже погас,
Но ясно нам и горячо,
Что в этот миг, мой друг,
для нас,
Нет ничего...
нет ничего.

* * *

Когда в ночь уходила заря,
Просыпались ленивые совы.
И о чем-то своем втихара
Скрежетали дверные засовы.

“Ты почто еще здесь, котофей?
Ну-ка дуй на охоту к амбарам”. —
Пнул под зад его дед у дверей.
“Это что же, кормить его даром”.

И старуха в постели под нос
Неразборчиво так причитала:
“Стороною бы ветер пронес,
Непогоды еще не хватало”.

Под навесом у новой дуги
Мыши грызли древесные сушки,
А далече один за другим
Потухали огни деревушки.

г. Москва

ОЛЬГА ШЕМЕТОВА

ИНТЕРНЕТ

Ветер пронзает сильно, падая в ноги вдруг,
Резко звонит мобильник, и не отдернуть рук
Ни от больших перчаток, ни от рабочих дней.
Прошлого отпечаток стал вдруг еще больней.

Взгляды, почти без грусти, вновь в интернет войдя,
Знают, что он искусственен: ни одного гвоздя...
Истина иллюзорна, ложь — только лишь логин.
В Брно или в Канем-Борно виза — билет один.

А за окном бушует ночь в беловатой мгле.
В сердце любовь ношу я не по Святой земле...
Вот и тревожит сильно выброшенная стезя:
Как в темноте могильной без одного гвоздя?

И потому однажды, выйдя под ветра шум,
Стану почти бумажной, курящей анашу,
Женщиной без ребенка, что теребит пакет.
Жизнь ее — упрощенка, Бог ее — интернет.

г. Оренбург

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

“ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

Глава 18. “По мне Пролеткульт не заплачет...”

В конце августа 1918-го Клюев познакомился с Владимиром Кирилловым. Крестьянин по происхождению, бывший эсер-максималист, позже меньшевик, судимый в 1906-м за участие в террористических актах и прошедший каторгу и ссылку, Кириллов с максималистской безоглядностью ринулся в революционное половодье. Естественным было его появление в рядах Пролеткульта — Организации Пролетарской Культуры, созданной за месяц до Октябрьской революции и ставшей самой массовой общественной организацией в Советской России. Идеология сей организации зиждилась на “примате классовых интересов” и “культурной гегемонии пролетариата”. Обращает на себя внимание один из основополагающих тезисов сей организации: “Пролетариат должен постичь все достижения предыдущей культуры, усвоить из нее все то, что носит на себе печать общечеловеческого”. Сия декларация, практически совпадающая с тогдашними взглядами и словами Ленина, словно нарочно перечила одному из самых печально знаменитых стихотворений Кириллова, тут же приобретшему широчайшую известность.

*Мы во власти мятежного страстного хмеля.
Пусть кричат нам: “Вы палачи красоты!”
Во имя нашего Завтра — сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы.
.....
Слезы иссякли в очах наших, нежность убита,
Позабыли мы запахи трав и весенних цветов,
Полюбили мы силу паров и мощь динамита,
Пень сирен и движенье колес и валов.*

Эта декларация, дословно перекликающаяся с “маяковской” (“Белогвардейца найдете — и к стенке. А Рафаэля забыли? Забыли Расстрелли вы? Время пулям по стенкам музеев тенькать, стодюймовками глоток старье расстреливай!”), вызвала резкую реакцию у идеологов Пролеткульта, как совпадающая по смыслу с проповедями ненавистных “пролетариям” футуристов.

Продолжение. Начало в № 1–11 за 2009 год, № 1–3, 6, 7, 9 за 2010 год.

“Великий Художник – Пролетариат творит новую культуру. Отвлеченную грезу всей вселенной, красоту человеческой жизни, он воплощает в реальную форму. С любовью и верой мы смотрим в грядущее – оно несет нам освобождение тела, души и мысли; оно несет нам неисчерпаемое творчество народных масс. И пусть основанная на рабстве, собственности и грабеже буржуазная культура озлобленно, исступленными криками и клеветой встречает приход Великого Художника. Мы теснее и крепче сплотим свои ряды, мы восторженно взлелеем и соберем все цветы пролетарского творчества. В этом – основная задача нашего журнала”.

Этой декларацией открывался журнал Пролеткульты “Грядущее”, в котором появятся два ключевых ключевых текста – “Красный конь” и “Огненное восхождение”. Кириллов, Всеволод Князев с не менее популярным, чем кирилловское “Мы”, “Красным евангелием”, Маширов-Самобытник, Яков Бердников и многие куда менее известные и совершенно забытые прозаики и стихотворцы из рабочей и крестьянской среды печатались на тех же страницах, что и торжественные “Своевременные мысли” некоего Аксен-Ачкасова, написанные “в пику” “Несвоевременным мыслям” Горького и выдержанные, насколько это было возможно, в памятной стилистике “пролетарского классика”.

“... Странно слышать и видеть, как некоторые бывшие идейные и духовные вожди пролетариата, долгие годы служившие великой цели освобождения рабочего класса, теперь, когда этот класс, сбросив с себя оковы векового рабства, неопытными, но могучими и непреклонными руками берется за строительство новой жизни, эти бывшие вожди, вместо того, чтобы слиться с ним в этой великой работе, став в позу безучастных наблюдателей, занялись неблагодарной работой – отыскиванием на теле освободившегося исполина язв и рубцов – следов прошлого насилия и рабства.

Прикинувшись наивными простаками, они с ужасом кричат о мнимых преступлениях и жестокостях рабочего класса, о зоологических инстинктах толпы, об отсутствии идеализма и т. д., как будто не ведая о том, что ни одна революция в мире не была так гуманна и милосердна к побежденному врагу...”

(До боли знакомые сентенции! Нечто подобное мы слышали и читали в изобилии после “революции” 1991 года. Разница лишь в том, что “пролетарии” 1918-го были натуральными идеалистами и верили в каждое произносимое ими слово, тогда как “буржуа” 1991-го лицемерили и лгали с самого начала. – С. К.)

“Перепуганные вспыхнувшим во мраке ночи ярким светом пучеглазые совы и лживые жалкие мещанишки “окуровцы” вопят о зверствах, чинимых пролетариатом, вопят о дикости и хулиганстве рабочих на окраинах. Я считаю излишним с ними полемизировать по поводу “зверств”, ибо всякий здравомыслящий и честный человек знает, что Российские государственные и политические перевороты были не революционными восстаниями, а крупными демонстрациями, торжественными празднествами. Российский пролетариат, солдат и крестьянин явили Миру неслыханное великодушие к своим классовым врагам и беспримерную гуманность... Вопль о хулиганстве рабочих – или бесчестная клевета, или болезненная галлюцинация... Работы впереди пролетариату очень и очень много, но и сделано им уже немало. И когда оглядываешься назад, смотришь на пройденный путь, на достигнутое и сделанное – хочется радоваться радостью ребенка, а в груди растет и крепнет неизбывная Вера в Будущее”.

Пролетариат, по словам авторов журнала, “сохранил Огонь, украденный у властителя миров титаном Прометеем”. И конечная цель, и средства ее достижения были обозначены со всей ясностью: “... Лучшим и самым могучим фактором в созидательном процессе пролетариата и могучим двигателем по пути прогресса, новых завоеваний к конечной цели – Социализму – являются два всеобъемлющих огненных слова – Культура и Просвещение. Сферы их влияний и действий – безграничны... Горизонты – необозримы... Значение и могущество – огромны...”

Создается впечатление, что авторы журнала продолжают жить в состоянии вечного “торжественного празднества”, невзирая ни на гражданскую войну, ни на смертельное противостояние большевиков и левых эсеров, ни на объявленный “красный террор”... Что, впрочем, не мешает им тут же ставить на надлежащее место своих “культурных противников”.

Из статьи еще одного “пролетария” Павла Безсалько “Футуризм и пролетарская культура”:

“Мы сами охотно исключаем пролетарскую культуру из футуристического кольца, ибо никогда мы не были поклонниками блока левых, тем более, союза с теми, которые, по нашему мнению, идут левее здравого смысла”.

“Грошковые” истины рабочих в этом “коммунисте” (Маяковском. — С. К.) вызывают тошноту. И для него дороже всех этих грошовых истин необыкновенное рифмование слов с окончанием на эр, ша, ща! И вытаскивание роялей через окно на улицу багром барабанов и роялей, “чтоб грохот был, чтоб гром”.

Необыкновенное пристрастие у футуристов к бутафорскому грому”.

Далее Безсалько цитировал стихотворение Маяковского “Радоваться рано!” (о белогвардейце, Рафаэле, Расстрелли и Пушкине) и соответственно комментировал:

“Этот бутафорский гром необходим футуристам, как капиталистам благородные слова о защите родины от вражеского нашествия, потому что за словами и за шумом можно потихоньку делать свои делишки. А делишки эти у футуризма дискредитирование рабочей революции. Если же такой усердный шум производится по глупости, то тем хуже — услужливый дурак опаснее врага.

Пролетарские поэты тоже писали:

“Во имя нашего завтра сожжем Рафаэля”.

Но это писалось в свое время (в том же году! И нескольких месяцев не прошло — а уже словно все в иной эпохе! — С. К.), чтобы устыдить тех, кто во время московского боя бежал из наших рядов. Мы прокричали им, что наше Завтра лучезарней золотых макушек Чудовых и иных монастырей. Что же вы, гражданин Маяковский, дадите нам взамен Пушкина, которого вы еще не осилили, которого вы читаете по ночам (Маяковский в Петроградском Пролеткульте при всех наших товарищах сознался, что он Пушкина читает по ночам и оттого его ругает, что, быть может, сильно любит), а по утрам называете “негодяем” и “сволочью”? Со своим “бунтом” вы напоминаете нам недоразвившего атеиста, который не отрицает существования Бога, а лишь борется с ним... Прежде всего свою голову нужно обделать или снести ее в психиатрическую Бехтерева, а потом уже писать приказы по искусству”.

Любопытно, что в том же номере журнала “Грядущее”, где появились “Мы” Кириллова, другими “пролетариями” утверждалось прямо противоположное кирилловским сентенциям:

“Индивидуалистическое искусство буржуазного общества, выросшее на всевластии капиталистической личности, ведущей отчаянную борьбу за господство на мировом рынке и покоряющей себе целые армии тружеников, должно стать достоянием исторических музеев. Мы говорим: “музеев”, а не “архивов”, дабы у читателя не составилось представления, будто предлагается игнорировать то громадное наследство, которое нам оставило прошлое. Наоборот. Его следует серьезно и внимательно изучать; и только таким путем можно будет правильно наметить вехи будущего искусства. Сколько умных голов и теперь сидит над изучением великих памятников искусства Ренессанса...

Общество свободного Труда, организованное, стройное и гармоническое целое, во всеоружии знания и искусства, готовится стать единственным творцом и повелителем как самого себя, так и внешнего мира”.

...Нельзя, впрочем, не сказать, что молодежь, охваченная стихией всеразрушения (свойство абсолютно всех революций), всего лишь прилежно следовала своим именитым предшественникам — “культурным” варварам, еще в годы первой русской революции вещавшим: “Сложите книги кострами, пляшите в их яростном свете, творите мерзость во храме! Вы во всем неповинны, как дети!” П. Безсалько, впрочем, вспомнив этот брюсовский “призыв по армии искусств”, уже в другой статье прокомментировал его с достаточной пролетарской “аккуратностью”: “Да, кое-что мы разрушим, если это “кое-что” царские монументы на площадях. Развалятся, верно, и церкви, которые мы перестанем посещать. Наверное, и многие дворцы, которые устроены так, что и одному в нем неудобно жить, а присматривать за ними нужно сотне! Мы не будем тратить огромные средства на поддержание такого архитектурного идиотства. Да, мы не будем зажигать костры из буржуазной литературы, но, наверное, знаменитые теперь романы нами никогда не переиздадутся. И многое буржуазное и интеллигентское настолько обесценится, что

его уже никто не будет ни хранить, ни ценить...” Это вариант, так сказать, “мягкого” обращения с прошлой “враждебной” культурой.

Обращение Брюсова к “грядущим гуннам” еще можно было бы счесть ризкованной поэтической гиперболой, но после Февраля тогдашние демократы-интеллектуалы уже переходили в своем дикарстве на язык “презренной прозы”: “Возникла в Петрограде комиссия по охране памятников. А не нужна ли для равновесия комиссия для разрушения памятников?” (А. Амфитеатров). “И я бы на месте народа стал портить и уничтожать предметы искусства, потому что их захватили богатые люди. Единственная защита искусства состоит в том, чтобы отдать его народу, толпе” (Федор Сологуб).

* * *

Самым известным, самым популярным стихотворением Кириллова стало стихотворение под кричащим названием — “Железный мессия”.

*Вот он — Спаситель, земли властелин,
Владыка сил титанических,
В шуме приводов, в блеске машин,
В сиянии солнц электрических.*

*Думали — явится в звездных ризах,
В ореоле божественной тайны,
А он пришел к нам в дымах сизых,
С фабрик, заводов окраины.*

.....
*Вот он шагает чрез бездны морей,
Непобедимый, стремительный,
Искры бросает мятежных идей,
Пламень струи очистительной.*

.....
*Знак его алый — символ борьбы, —
Угнетенных маяк спасительный,
С ним победим мы иго судьбы,
Мир завоюем пленительный.*

Это еще звучало сравнительно членораздельно и гармонично, хотя сама по себе перспектива подобного “явления” у многих могла вызвать лишь приступ ужаса — при всей привычке уже к повседневному ужасу в реальной жизни... Ближайший друг Кириллова Михаил Герасимов вообще перечислял в стихах такие свойства железа, как “чистость... лучистость... нежность... снежность”, и декларировал “без страха и сомнения”: “Вздудал я горн рабочим гневом коммунистической мечты и, опьянен его напевом, ковал железные цветы...”

Но самую “радужную” картину грядущего “пришествия” на пролетарский лад писал бывший революционный боевик и один из создателей Пролеткульта Алексей Гастев.

*Выходи железный.
Выходи же бетонный.
Высотой в версту.
Нога его — броненосец.
Ступня его — как Везувий.
Глаза его — домны.
Руки его — виадукы.*

Этому “железному” и “бетонному” было предназначено брать “безвольную” землю и “месить ее, как тесто”...

Года не пройдет, как все эти “железные” видения “железного” преобразования земли и человечества зло и беспощадно спародирует Евгений Замятин в романе “Мы”.

... А рядом с кирилловским “Железным мессией” на страницах “Грядущего” располагалась еще одна “теоретическая статья” еще одного “идеолога” – Федора Калинина: “По поводу литературной формы”.

“... Очень странно бывает, когда “старшие братья” в литературе советуют писателям из народа: учитесь, учитесь писать. И предлагают готовые трафареты: Чехова, Лескова, Короленко.

Почему “старшие” предлагают учиться у этих писателей, а не у других, я думаю, что это и для них самих загадка. Не зная того, о чем будет писать писатель-рабочий, разве можно предлагать ему: форма Чехова будет тебе подходяща, а Толстого неподходяща...

Нет, старшие братья, рабочий-писатель должен не учиться, а творить. То есть выявлять себя, свою оригинальность и свою классовую сущность.

Не говорите ему о форме, а требуйте от него содержание.

Его классовое содержание, а не позаимствованное у Лескова или Чехова”.

Понятное дело: если классики не годились в учителя, то что уж говорить о современниках! Естественно, отодвигается в сторону мощным движением пролетарской ладони Горький, у которого “связь со старым нарушена надрывом расширившегося кругозора понятий, а овладеть новым нет достаточного сознательного желания” (вообще, по мысли, стилю и методу изложения – все это сочинение очень напоминает появившиеся 70 с лишним лет спустя “Поминки по советской литературе”). Так же поступлено и с “крестьянскими” поэтами, чье творчество не может не влечь к себе нынешних пролетариев – в большинстве своем бывших крестьян.

“Та же сказка про белого бычка повторяется с крестьянскими поэтами Клюевым и Есениным. Несмотря на примитивность, первый период их творчества выше их теперешнего пошлого оригинальничанья деклассированных интеллигентов. Вместо того, чтобы осилить понятие задач интересов крестьянского аморфного коллектива, каким путем должно идти его развитие, Клюев и Есенин предпочли этому пути пошлое жонглерство перед нарождающейся буржуазной интеллигенцией, стали выделывать с ужимками и подмигиваниями словесные па”.

Ту же арию, только с куда более живописными руладами, исполнял П. Беззалько в статье “О поэзии крестьянской и пролетарской”.

“Крестьянские поэты не любят города. Город с его заводскими трубами, автомобилями, кинематографами, лихорадочной поспешностью, куда-то, зачем-то спешащими людьми, не выносят... Мы полюбили город за то, что он объединил нас, за то, что научил протесту, за то, что убил в нас предрасудки крестьян... Город, а не деревня открыли России новую эру... Мы любим электрические провода, железную дорогу, аэропланы – ведь это наши мышцы, наши руки, наши нервы: – мы любим заводы – это узлы нашей мысли, наших чувств. Это железная голова коллектива, это голова нового Спаса... Христос родился в яслях, но он не спас рабов от рабства, не сделал свободными их рожденный на сене, возле кротких скотов... Чтобы разбить цепь, нужен Спас, вышедший из огня доменных печей, чтобы мышцы его рук были стальные, и чтобы сердце его не стало на путь любви, жалости и всепрощения”.

Диллема, которую с поистине первобытным молодым задором живописал Беззалько, насчитывала уже как минимум полтора столетия. Английская промышленная революция породила во второй половине XVIII века не только аэроплан, ткацкий станок, паровой двигатель, паровоз и пароход – но и соответствующую “промышленную” литературу, воплощавшую фабричную жизнь в романах ныне совершенно забытых и никем, кроме узких специалистов, не перечисляемых Роберта Бейджа, Хэлливела Сатклиффа, Уильяма Годвина. В то же время, как реакция на происходящее, явилась на свет и стала сначала народным, а потом и всемирным достоянием “природно-историческая” поэзия “озерной школы” – Уильяма Вордсворта, Сэмюэла Колриджа, Роберта Саути... И вершиной английского XVIII и начала XIX века стало творчество Роберта Бернса и Вальтера Скотта.

Можно и нужно понять людей, вышедших на свет Божий из рабочих барачков, жизнь в которых назвать жизнью нельзя в принципе. Можно и нужно понять их тягу к знаниям и извинить их невежественное неразличение культуры и цивилизации. Но невозможно ни извинить, ни оправдать “теоретиков”, внушающих рабочим поэтам, что именно они теперь – “соль земли”, не нуждаю-

щиеся ни в какой учебе и ни в какой исторической памяти. “Горе тому, кто со-
блазнит малых сих”.

Таково было “журнальное собрание” новых близких знакомых Николая.

* * *

Казалось бы, какое-либо содружество между Клюевым и Кирилловым было полностью исключено по определению... Но — завязалась у них своеобразная “дружба-вражда” при явной взаимной человеческой симпатии.

“Я познакомилась с Николаем Алексеевичем Клюевым летом 1918 года в Петрограде, — вспоминала жена “пролетария” Анна (ей тогда было 16 лет, она только-только вышла за Владимира замуж, и сняли они комнатку на окраине Петрограда в Новой деревне). — ...Как-то вскоре зашла к нам квартирная хозяйка Ульяна Сергеевна и сказала, что какой-то нищий спрашивает поэта Владимира Кириллова. Этим “нищим” оказался известный поэт Николай Клюев. Хозяюку смутил его необычный старинный наряд — поддевка и войлочная шляпа.

Николай Алексеевич Клюев приходил к нам несколько раз, они сильно спорили с Кирилловым о путях революции и крестьянстве...”

Первое, что здесь обращает на себя внимание — Клюев пришел к Кириллову сам. Он уже был знаком с его поэзией, и можно безошибочно утверждать, что его захватили ликующие строки Кириллова, посвященные революционным матросам (“Герои, скитальцы морей, альбатросы... Орлиное племя, матросы, матросы...”), которые сразу же отозвались в стихах “Медного кита”.

“Мой муж, — вспоминала Анна Кириллова, — очень ценил творчество Николая Клюева за его самобытность, знание старинных обычаев, редкий словарный лексикон и деревенскую революционность...” Кажется, можно было бы сказать: преувеличивает, — да еще списать это преувеличение на время написания ее коротеньких мемуаров — 1990 год... Но есть тому свидетельство самого Кириллова — отнюдь не мемуарное. В 1923 году, уже в иную эпоху, он написал стихотворение “Из дневника 18 г.”, по которому трудно узнать Кириллова — “поджигателя Рафаэля” и “разрушителя музеев”.

*Я с другом шел, олонецким поэтом,
Струилась пестрыми излучинами речь,
Он говорил о Китеже воскресшем,
О красном боге бунта, о коммуне...
Я слушал странные, дремучие слова,
И гулко отдавались по асфальту
Его олонецкие в сборках сапоги...*

*Но вот качнулась звонко тишина,
Расколота музыкой оркестра...*

*.....
В цветах и стали двигалась пехота,
За нею конница... Тяжелый чок копыт,
И пушки в зелени, и легкие двуколки,
Алели ленты в челках лошадей,
Качались розы в шелковистых гривах,
В петлицах розы, розы на штыках,
И вечер веял розовые блесстки...
И друг сказал: “Багряное причастье —
Народ вкусил живую кровь Христа...”*

*.....
Вскипала молодость и пенилась отвага,
Взор каждого — две пламенных свечи,
Под музыку Интернационала
Шагали непреклонные ряды...
Последняя проехала двуколка,
А мы стояли молча у стены,
И я запомнил музыку вдали,*

*И флаги жаркие, и в розовом сияньи
Слезу, застывшую у друга на щеке.*

... Вот уже кем-кем, но затворником Клюева этих лет нельзя назвать совершенно. Он с радостью шел навстречу революционной молодежи, не то чтобы невзирая на все идеологические расхождения, но пытаюсь воздействовать на нее в русле своей, “клюевской”, религиозной, духовной революции — как он пытался воздействовать в возможном будущем на Ленина своим циклом, начертав тот образ, который Ленину должно было воспринять... С Кирилловым, неустойчивым, шатучим, швыряющимся от “палача красоты” до апологии пролетария, заявляющего — “Он с нами — лучезарный Пушкин, и Ломоносов, и Кольцов...” (не исключено, что “излечение” произошло под влиянием и клюевских бесед, и клюевских стихов: “Где рай финифтяный и Сирип поет на ветке расписной, где Пушкин говором просвирен питает дух высокий свой, где Мей, яровчатый Никитин, Велесов первенец — Кольцов, туда бреду я, ликом скрытен, под ношей варварских стихов...”), — разговор был, что называется, на короткой ноге... Кириллов же первым и услышал от Клюева только что написанные послания новому другу — послания, исполненные тревожного пророчества при виде сущего духовного дикарства молодежи, ринувшейся в революцию, дикарства, не просто отрицающего всю предыдущую русскую жизнь и культуру, но “проводящего” через себя те страшные тенденции, что все явственнее проявлялись в пореволюционных событиях и которым Клюев счел себя обязанным противустать — и стоять, что называется, насмерть.

*Мы — ржаные, толоконные,
Пестрядинные, запечные,
Вы — чугунные, бетонные,
Электрические, млечные.*

*Мы — огонь, вода и пажити,
Озимь, солнца пеклеванные,
Вы же таин не расскажете
Про сады благоуханные.*

*Ваши песни — стоны молота,
В них созвучья — шлак и олово;
Жизни дерево надколото,
Не плоды на нем, а головы.*

.....
*На святыни пролетарские
Гнезда вить слетелись филины;
Орды книжные, татарские
Шестерню не осилены.*

(А это — прямой отклик на одну из статей в “Грядущем” — статью Ильи Садофьева, громившего напечатанные в таком же “пролетарском” журнале “Пламя” поэму Александра Грина и рассказ Владимира Воинова. Герой рассказа — старик, ожидая прихода “белых”, записывает по ночам фамилии “красных” для удовлетворения грядущей мести. В диаметрально противоположной ситуации поступает, соответственно, наоборот.

“О, сколько теперь этих “хихикающих”, “на случай” записавших “беленых”, вломилось в приоткрытые двери пролетарских святынь!”

Автор статьи усматривал прямую опасность в “переметнувшихся”. Клюеву же очевидна опасность для культуры — рабочей ли, крестьянской ли: для него сами эти разграничения были неприемлемы, — исходящая от самих “пролетариев”, во всяком случае тех из них, кто громче других называл себя таковыми).

*Кнут и кивер аракчеевский,
Как в былом, на троне буквенном.*

*Сон кольцовский, терем меевский
Утонули в море клюквенном.*

*Ваша кровь водой разбавлена
Из источника бумажного,
И змея не обезглавлена
Песней витязя отважного.*

Пророчествуя, что “цвести над Русью новою будут гречневые гении”, – Клюев не только увещевал своего безоглядного в революционной лихости нового друга, указывая путь от бездушного железа – “к неоплаканному, родному”, от бумажного слова – к животному, духосозидательному, но словно брал его в теплые объятия и разворачивал лицом к тому миру, откуда Кириллов вышел. Звук самого его имени переозвучивал заново для него Николай.

*Твое прозвище — русский город,
Азбучно-славянский святой,
Почему же мозольный молот
Откликается в песне простой?*

*Или муза — котельный мастер,
С махорочной гарью губ?..
Заплутает железный Гастев,
Охотясь на лунный клуб.*

.....
*Убегай же, Кириллов, в Кириллов,
К Кириллу — азбучному святому,
Подслушать малиновок переливы,
Припасть к неоплаканному, родному.*

*И когда апрельской геранью
Расцветут твои глаза и блуза,
Под оконцем стукнет к заранью
Песнокудрая девушка-муза.*

Не отсюда ли появились розы “в шелковистых грибах” и на “штыках” в кирилловском воспоминании о 1918 годе?

“Поэзия, друг, не окурок, не Марат, разыгранный понаслышке...” На поверхности здесь вроде бы – отклик на совершенно ничтожную пьесу некоего Антона Амнуэля “Марат”, напечатанную в пролеткультовском журнале “Грядущее” в том же номере, где и клюевский “Красный конь”... Но амнуэлевский “Марат” появился позже. А клюевский “Марат, разыгранный понаслышке” – это страшное ощущение очевидной связи происходящего в Петрограде 1918-го с Парижем 1793-го... Еще в 1906-м, в журнале “Перевал”, Максимилиан Волошин рисовал, отталкиваясь от уличных событий 1905-го, страшные картины якобинского террора, когда священникам публично рубили головы на площадях, и некий страшный старик, с головы до ног залитый кровью, исполнял ритуал отмщения за казнимых некогда еретиков – катаров, альбигойцев, тамплиеров, рубя налево и направо.

А Кириллов – русский город в Вологодской губернии – в это же время накрепко связан был в сознании Клюева с расстрелом священнослужителей – отца Варсонофия, пресвитера Иоанна Иванова, игуменьи Серафимы и нескольких мирян. О казнях служителей церкви, тем паче служителей храмов Русского Севера, он не мог не слышать.

Как не мог и не знать о чисто робеспьеровско-маратовском кличе Зиновьева, оглашенном в газете “Северная коммуна”: “Мы должны увлечь за собой девяносто миллионов из ста, населяющих Советскую Россию. С остальными нельзя говорить – их надо уничтожить”.

...А стихотворение “Мы ржаные, толоконные...” появилось в другом “пролетарском” журнале – “Пламя”, органе Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов. Появилось, правда, лишь в части тиража. Из другой части эта “антипролетарская крамола” была решительно изъята.

Революционная Франция была своего рода “витриной” этого журнала, что издавался под редакцией Анатолия Луначарского, пылкого поклонника якобинского террора и Парижской коммуны.

Из номера в номер там печатались портреты деятелей Парижской коммуны, репродукции картин, посвященных Великой французской революции, статьи “Революция и искусство” (о Давиде, Делакруа, Мейсонье, Милле), “Пролетарская поэзия во Франции”. Даже материал, посвященный И. С. Тургеневу, сопровождался перепечаткой воспоминаний писателя “Эпизод из истории июльских дней 1848 г. в Париже”. Публикация стихов, посвященных Жан-Полю Марату, соседствовала с фотоснимком памятника Робеспьеру в Москве, “уничтоженного белогвардейцами”.

Луначарский ясно давал понять своим читателям – где, по его мнению, корни Октябрьской революции.

Вообще, просматривая подшивку “Пламени”, волей-неволей приходишь к логическому выводу: журнал словно нарочно всем своим изобразительным видом (иллюстрации и фотоснимки занимали большую площадь каждого номера) демонстрировал, что революция ни к России, ни к русскому народу не имеет никакого отношения.

Фотографии были – как на подбор.

Открытие памятника Лассалю. На фоне памятника – Зиновьев, Луначарский, Синайский, Альтман, Пунин.

Концерт памяти Урицкого. И снова на переднем плане – Луначарский, Позерн, Коутс, Мейчик, Александрович.

“Вожди великой пролетарской революции”. Под этой шапкой помещен ряд портретов – Ленин в окружении Троцкого, Свердлова, Зиновьева, Луначарского, Каменева.

“Вожди международного пролетариата”. На читателя взирали физиономии Христиана Раковского и Карла Радека.

“Вожди немецкого пролетариата”. Соответственно – Карл Либкнехт и Фридрих Адлер.

Открытие памятника Чернышевскому. Сын Чернышевского стоит в окружении Зиновьева, Штернберга, Альтмана и автора памятника Залькалуса.

День III Интернационала. Фотографии выступающих: Фриц Платтен, Зиновьев, Альберт Герман.

Весь этот изобразительный ряд красочно обрамлял тексты Ильи Садофьева, Михаила Артамонова, Александра Грина, Алексея Чапыгина, Василия Князева, Николая Клюева...

Клюев печатал стихи в “Пламени” из номера в номер. Его “Товарищ” был помещен рядом с огромными портретами “погибших на славном посту” Володарского и Урицкого, а “Мы ржаные, толоконные...” появилось по соседству с “Одой революции” Маяковского. Соседство, кажущееся несовместимым, но не более, чем “совместимы” стихи самого Клюева на страницах последующих номеров.

*Мы — кормчие мира, мы — боги и дети,
В пурпурный Октябрь повернули рули!*

*Плывем в огнецвет, где багрец и рябина,
Чтоб ран глубину с океанами слить;
Суровая пряжа — бессмертных судьбина —
Вручает лишь солнцу горящую нить.*

Сама же картина “пурпурного Октября”, лицезрение “Республики” – название следующего стихотворения – не внушает никаких радостных чаяний.

*Керженец в городском обноске,
На панельных стоптанных каблуках...
О родина, ужель в папироске
Больше ласточек, чем в твоих полях.
.....*

*Смертельны каменные обноски
На Беле-озере, где Синеус...
Облетают ладожские березки,
Как в былом, когда пела Русь.*

*Когда Дон испивался шеломом,
На базаре сурьмился медведь.
Дятлом — стальным ремингтоном
Проклевана скифская медь.*

Далее — величественная утопия грядущей коммуны, клюевский земной рай, всемирный парадиз, живописно сотворенный “змеей-пером”, рядом с которым все утопии коммунистических вождей и идеологов, вместе взятые, кажутся бескрылой и бесфантазийной банальщиной.

*Мы опояшем шар земной
Не отстрозубую стеной —
Цветистой радуг наша тканьь,
Уснова — груди, губ герань,
Кайма из дерзостных грудей,
Узор из выпрених очей,
Живого пояса конец
Из ослепительных сердец!*

*Мы опояшем океан,
Как твердь, созвездьями из ран,
А кровь в рубиновый канат
Сплетет нам старище-закат!
Под вулканическим перстом
Взгремят в пространстве мировом
Созвездья ран, кометы слез, —
Планетный огненный обоз!*

.....
*Мы опояшем шар земной —
Рука с дерзающей рукой,
Уста — мирскую купину
Сольем в горящую волну,
Чтоб ярых песен корабли
К бессмертью правили рули, —
На острове Знамен и Струн,
Где брак племен и пир коммун!*

Пафос этого гимнического произведения чрезвычайно схож с пафосом “пролетариев”, празднующих свой праздник на страницах того же “Грядущего”, — другое дело, что поэтический дар и масштаб мысли и зрения несопоставимы. Не лишен любопытства и тот факт, что клюевское творение было напечатано в “Пламени” по соседству с творением Луначарского “Илья Муромец — революционер”. Революционность былинного героя, по мнению наркома просвещения, состояла в противостоянии его двору князя Владимира, сшибании маковок с церковью и раздаче из “пьяной голюшке кабацкой” (“борьба с религией”).

А далее...

В самом конце 1918 года выходит книга Клюева “Медный кит”. В “Пламени” на нее дает восторженную рецензию Иннокентий Оксенов под псевдонимом “А. Иноков”.

“Клюев весь принадлежит народу, он вышел из народных глубин, из олонечских лесов. В его голосе мы слышим голос мудрой народной стихии, в его поэзии слышится вещая непреклонная воля.

Каждое слово поэта ценно, каждая строчка его — откровение, ибо в поэзии мы соприкасаемся с самыми истоками народного творчества, причащаемся первобытной радости чистой народной души...

Революция совершила в душе поэта великий переворот. Прежний певец избяного рая, найдя в радости мира в своем родном углу, окинул теперь острым взором большого художника весь широкий мир и увидел, что все страны, все культуры взаимно проникают друг в друга...

В "Медном ките" Клюев встает перед нами во весь свой рост большого художника. Народ может гордиться своим поэтом".

"Послом от Кита пришел я к вам, братья. Воистину он хочет примириться с вами", — такую дарственную надпись сделал Клюев на книге, подаренной Александру Васильевичу Богданову — редактору "Звезды Вытегры". Без сомнения — с этой же жаждой примирения "Всемирной Песни" с "чугунными, бетонными" — он издавал "Медный Кит" в том же Петроградском Совете рабочих и красноармейских депутатов, где выходил журнал "Грядущее"... И получил замечательное ответное приветствие — рецензию Павла Беззалько.

"Плавая по бурному океану русской жизни и наглотившись многих медных и железных вещей, вроде — пулемета, революции, Ленина, власти советов, республики, коммуны — кит почувствовал тяжесть в брюхе. — Ого! — подумал зверь — я, кажется, забрюхател "современностью".

Через известный промежуток, какой определен природой, кит родил.

Но родил вместо "современности" Божьего слушника, пророка Иону, проглоченного три тысячи лет назад в морях древней Иудеи.

Вышедши на свет Божий, мученик Иона решил издать книгу под названием "Медный Кит", чтобы рассказать миру о вещах, виденных им во чреве кита. Книга эта издана Петроградским Советом, вероятно, с научной целью, чтобы знали, как преломилась "современность" в голове человека, который отстал от жизни ровно на 30 столетий..."

Далее Беззалько, позаимствовавший образ Ионы из клюевских "Избных песен", с издевательскими комментариями цитировал "Поддонный псалом", "Есть в Ленине керженский дух...", "Уму республика, а сердцу — Матерь-Русь...", "На божнице табаку осьмина..." — и заключал намеком на пресловутую "келью под елью":

"В книге "Медный Кит" и, что то же — "Еловый скит" есть немало очень сильных, красивых стихотворений, но они не спасают читателя от тяжелой улыбки при зрелище того, как автор тщетно силится уберечь от всеразрушающей революции свой древний Китеж-град", свое христианское миропонимание.

"Медный Кит" — книга нездоровая. Да это и понятно: как можно было автору написать здоровую, ясную, солнечную книгу, когда он пробыв такое продолжительное время в темном свалочном месте прожорливого кита?"

Это едва ли можно было счесть за частное мнение частного критика. Клюеву ясно дали понять, что в "пролетарском" сообществе он гость как минимум нежеланный, которого терпят лишь по определенной необходимости. И он хорошо это понял. Тому свидетельство — стихотворение, появившееся на страницах того же "Пламени".

*По мне Пролеткульт не заплачет,
И Смольный не сварит кутью.
Лишь вечность крестом обозначит
Предсмертную песню мою.*

*Да где-нибудь в пестром Судане
Нубиец, свершивши намаз,
О раненом солнце-тимпане
Причудливый сложит рассказ!
И будет два солнца на небе —
Две раны в гремящих веках,
Пурпурное — в ленинской требе,
Сермяжное — в хвойных стихах.*

Это уже не "керженский дух" в "ленинской требе"... Два солнца еще не гасят одно другое — но уже разведены по разным орбитам, где "пурпурное" соотносится с "железным", а "сермяжное" — с "живым"... Железный мир обогрывает солнце с Запада, Живой — с Востока.

*От смертных песков есть притины —
Узорный оазис-изба...
Грядущей России картины —
Арабская вязь и резьба,*

*В кряжистой тайге — попугаи,
Горилла за вязкой лаптей...
Я грежу о северном рае
Плодов и газельих очей!*

Рискованный посыл Клюева в будущее и “грядущей России картины” — возможное пророчество о смене географических полюсов, цивилизационном сломе, последствия которого “новое небо и новая земля”. . . Этот евразийский мотив станет определяющим в книге, которая будет складываться в годы его “вытегорского сидения”, книги, что будет названа “Львиный хлеб”.

А пока — он предпринимает все усилия к изданию двухтомного “Песнословия” — и пишет слезное письмо Максиму Горькому.

“...Революция сломала деревню и, в частности, мой быт; дома у меня всего житья-бытья, что два свежих родительских креста на погосте. Англичанка выгнала меня в Питер в чем мать родила. Единственное мое богатство — это четыре книжки стихотворений, в совокупности составивших “Первый том” моих сочинений, и новая, не видевшая света книга, в которую вошли около двухсот стихотворений, в большинстве своем отразивших наше красное время, разумеется, в самом широком смысле, чаще так, как понимает его крестьянская Рассея.

Добравшись до Питера и не имея понятия о бесчисленных разделениях в людях и, в частности, в художественных литературных кругах, я встретил на одном из митингов комиссара советского книгоиздательства, который предложил мне издать книжку более или менее революционного содержания, — какую я ему в обозначенный срок и представил. Но добро без худа не бывает: мои прежние издатели, которые раньше меня обязывали (обедом, десятирублевой ссудой) издаваться только у них, теперь огулом отказываются от печатания моего большеви(с)тского “Первого тома” и т. д.”

Конечно, Клюев имел понятие “о бесчисленных разделениях в людях” и, тем более, “в художественных литературных кругах”. Договор с издателем Аверьяновым он расторгнул сам, получив предварительное туманное предложение издания от чиновников Наркомпроса. . . Но все благополучно застопорилось, и Клюев, печатавшийся в журнале Луначарского, но не входивший с ним в личный контакт, обращается к посредничеству Горького, всеми силами выжимая слезу у не принимающего его стихов ни при какой погоде, но сентиментального и душевного, как ему кажется, обладающего немалым авторитетом писателя.

“Разные ученые люди почестнее указывают мне на Луначарского, которому, как члену рабоче-крестьянского правительства, будто бы очень к лицу издавать крестьянского поэта, но я весьма боюсь, что для того, чтоб издал меня Луначарский, — мне придется немножко умереть, как Никитину с Кольцовым. . . Алексей Максимович, посудите сами: скоро праздник 25-го октября 1918 года, земля, говорят, будет вольной, и в свою очередь я буду поэтом Вольной Земли и т. п. Если же мое новое социалистическое отечество и Луначарский для издания народных поэтов ставят в действительности смертные условия, то Вы, Алексей Максимович, быть может, усмотрите возможность довести до сведения Луначарского, что я уже приготовился и на такие, самые легкие из условий (я оголодался до костей и обнуждился до потери “прав гражданина”) — мне бы только одним глазком взглянуть на Вольную Землю. . .”

Собственно говоря, при посредничестве Горького, поговорившего с Луначарским и убедившего его в необходимости издания произведений “крестьянского революционного поэта”, два тома “Песнословия” вышли в свет в Литературном отделе наркомата просвещения в 1919 году.

(Продолжение книги “Ты, жгучий отпрыск Аввакума. . .” читайте в 2011 году)

АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

ПОЕЗД УБИРАЕТСЯ В ТУПИК

Вертикаль бессилия

А ведь пожарами дело не ограничилось. Вторая половина лета была богата на пренеприятные сюрпризы. Массовая драка в оздоровительном лагере “Дон” в Краснодарском крае. Новые взрывы на Кавказе, который уверенно становится главным источником дестабилизации РФ. Захват боевиками Баксанской ГЭС. И прямо под носом у федеральных властей – дерзкая и загадочная акция в Химках, так называемый погром администрации города, “мини-Кремля”, по остроумному выражению А. Проханова.

Но все по порядку. Начну с конфликта в лагере “Дон” под Туапсе. С одной стороны, он продолжает ряд массовых драк, о которых я уже говорил в предыдущих главах (“Наш современник”, № 8, 2010). С другой – поднимает противостояние на принципиально иной уровень, сталкивая власти в Москве и Грозном.

Причина – бытовая и, увы, знакомая. Бесцеремонность горячих южных парней, усвоивших, что с русскими девушками им позволено все. Дабы избежать обвинения в искажении фактов, процитирую заявление Генпрокуратуры: “Установлено, что конфликтная ситуация возникла после того, как замдиректора лагеря сделал замечание трем отдыхающим подросткам из Чечни, которые спровоцировали ссору с несовершеннолетней девушкой из Ростовской области. На требования заместителя директора лагеря прекратить ссору и разойтись подростки не отреагировали. Сопровождавший их взрослый также не пресекал действия молодых людей. Вместо этого совместно с подростками он стал избивать замдиректора. Три человека госпитализированы – заместитель директора лагеря, местный житель и один подросток из Чечни” (цит. по: “Время новостей”, 28.07.2010).

Прокуроры немного сгладили углы – как всегда, когда речь идет о конфликтах с национальным подтекстом. Почему-то людям в синих погонах страсть как не хочется признавать наличие межнациональной напряженности. Видимо, поэтому в заявлении говорится всего лишь о ссоре. Хотя на деле все куда серьезнее.

По заявлению потерпевшей, “к ней подошли трое чеченских ребят, начали говорить ей пошлости и распускать руки. После того как девочка послала ребят подальше, те свалили ее на землю и стали пинать но-

Продолжение. Начало в №№ 7, 8, 9 за 2010 год.

гами, назвав “русской проституткой” (там же). На языке юриспруденции это называется не ссорой, а попыткой изнасилования. Коллективного изнасилования несовершеннолетней. Распускали руки, повалили на землю, заявляли о доступности жертвы (“русская проститутка”). Это же “классика”! Чем бы закончилась эта часть истории, не пояись воспитательница, которая прогнала подростков? Затем она доложила о произошедшем руководству лагеря (там же).

Здесь начинается другая часть истории, которую бытовой уже не назовешь. Продолжу изложение, опираясь на обстоятельный материал из “Времени новостей”. “Борис Усольцев (замдиректора. – А. К.) решил поговорить с подростками из Чечни. По его словам, он нашел двоих и сказал им, что если они и дальше будут так себя вести, то отправятся домой досрочно. Ребята ответили, что не нуждаются в советах. В ответ замдиректора оттолкнул одного из них, после чего подросток, который, как оказалось, недавно перенес операцию и имел свежий шрам, закричал. На помощь чеченским подросткам прибежали два их воспитателя, один из которых сломал г-ну Усольцеву голеноstop, а другой – нос. После этого ему на выручку подоспели другие сотрудники лагеря” (там же).

Необходимое уточнение: одним из громил-воспитателей был тренер юношеской сборной Чечни по вольной борьбе Руслан Гиназов. Сама сборная также принимала участие в конфликте (“МК”, 29.07.2010).

Далее события развивались по нарастающей, что чуть не привело к грандиозному побоищу. К лагерю начали подтягиваться “группы поддержки” численностью от ста до двухсот человек (“Время новостей”, 28.07.2010). Одну составляли местные жители, другую – внимание! – “представители чеченской диаспоры из соседнего Лазаревского” (“МК”, 28.07.2010). Их удалось остановить только с помощью милицейских кордонов*.

Эта деталь вызывает у меня серьезные вопросы. Удивляюсь, кстати, почему их не задал ни один из освещавших конфликт журналистов. То, что русские соседи прибежали, как только услышали о случившемся, понятно. Наверняка часть из них работает в лагере, а потому они мгновенно узнали иотреагировали на инцидент. Но вот каким образом чеченская диаспора из другого города в течение считанных часов получила информацию, собрала две сотни “бойцов” и совершила стремительный бросок к лагерю? Не подтверждает ли это худшие подозрения в отношении диаспор?

Судите сами: разборки, по словам корреспондентов, начались в 23 часа и закончились в 2 ночи. Вероятно, первые звонки из лагеря раздались перед полночью – обыватели в это время спят. А теперь представьте себя на месте какого-нибудь чеченского коммерсанта: вас поднимает с постели телефонный звонок. Между прочим, откуда у отдыхающих номера чеченцев из Лазаревского? Значит, контакты выдали заранее. Дескать, в случае чего, звоните – вам помогут. Значит, существует как бы двойной контур безопасности: там, где не поможет милиция, выручит диаспора, которую, похоже, информируют о перемещении больших групп соотечественников.

Но вернемся к воображаемому торговцу. Национальная солидарность, разумеется, дело хорошее, но он-то тут при чем? Повздорили неведомые ему подростки. Почему он должен подниматься с постели и, засовывая в карман травматический пистолет (или какой-то другой “весомый аргумент”), спешно выводить автомобиль из гаража и мчаться в ночь за тридцать земель? Одной солидарности здесь недостаточно. Тут должно сработать нечто куда более существенное. Особый настрой, сжатая пружина, готовая распрямиться и ударить в любой момент. Вы можете определить ее как-то иначе, чем ненависть?

Возможно, меня упрекнут в том, что я делаю обобщения на основании одного случая. К несчастью, он не единичен. Я сам занимался журналистским расследованием схожей истории. В 2002 году в Угличе группа чеченцев зарезала русского подростка Костю Блохина. В городе начались волнения. Тогда из Москвы выехала колонна из 18 джипов с чеченцами, в том числе вооруженными сотрудниками охранных предприятий. Они беспрепятственно добрались

* К слову, назвать Лазаревское “соседним” можно с большой натяжкой: от него до Туапсе несколько десятков километров.

до Углича. Милиция заперлась в своем здании, позволив “гостям” хозяйничать в городе. Только по счастливой случайности тогда обошлось без крови (подробнее: Казинцев Александр. На что мы променяли СССР? М., 2004)*.

Вот так: живут рядом, но в любой момент готовы к противоборству!

Уже указанные обстоятельства не позволяют свести конфликт к заурядному мордобою. Но это, как говорится, присказка. Главное впереди.

Московские СМИ, известные своей толерантностью, представили дело как “драку между чеченскими подростками и руководством оздоровительного лагеря “Дон” (“МК”, 28.07.2010). Хотя, если вдуматься, определение неправомерно по сути. Драться между собой могут отдыхающие. Однако их конфликт с администрацией должен быть квалифицирован по-другому.

Чтобы нагляднее пояснить мысль, слегка видоизменим ситуацию. Представьте, что столкновение произошло в самолете. Что – и в этом случае станем говорить о драке? Конечно, нет. Только о неповиновении экипажу и о нападении на него. А это придает делу совсем другой оборот.

И уж совершенно определенный уголовный оттенок сообщают ему подробности, проскользнувшие в прессе, но как-то стороной, без комментариев. Приведу цитату: “Во время драки юные чеченцы сорвали российский флаг, разорвав полотнище с криками: “Россия будет нашей!” (“Независимая газета”, 29.07.2010).

Подробность дикая, но укладываемая в логику данного конфликта. С самого начала с чеченской стороны он имел характер вызова – и конкретным людям, и установленным порядкам, и, наконец, государственной символике и России в целом.

Но даже не эти обстоятельства придали инциденту характер экстраординарный, а реакция на него руководства Чечни. Встав в позу невинно оскорбленных, чеченцы на следующее утро покинули лагерь. Милиция бездействовала, хотя после всего, что произошло, она обязана была задержать погромщиков**.

Краснодарцы не захотели “обострять отношения”. И в результате получили по полной!

Выступил сам Рамзан Кадыров. Он квалифицировал конфликт как “массовое избиение... подростков из Чечни”. Обвинил администрацию лагеря в “потворстве”. И обратился к населению Краснодарского края с призывом “осознавать, какую опасность обществу представляют действия экстремистов” (цит. по: “Время новостей”, 28.07.2010).

Что называется – с большой головы на здоровую. Тут даже симпатизанты Кадырова развели руками. Александр Проханов, посвятивший руководителю Чечни немало восторженных статей, на этот раз назвал его реакцию “неадекватной” (“Особое мнение”, “Эхо Москвы”, 04.08.2010). А его газета дважды откликнулась на инцидент. В частности, корреспондент “Завтра” писал: “...Для того чтобы и дальше находиться в согласии с федеральными властями и общественным мнением в России, необходимо в согласии с требованиями УК и справедливости “сдавать” чеченцев тогда, когда они объективно виноваты... Беда в том, что в этом случае рухнет авторитет... администрации среди самих чеченцев, который основан именно на том, что Рамзан Кадыров миром и дружбой с Москвой способен обеспечить “особые привилегии” лучше, чем сепаратисты – войной. И поэтому чеченские власти обязаны всегда, полностью и до конца, поддерживать “своих” в любых конфликтах, где те за-

* Настораживающая информация просочилась (именно так!) в “МК”. Жители сгоревших в Волгоградской области деревень утверждают, что их поджигали люди, разбегавшиеся на машинах с тонированными стеклами. “Кто-то из местных успел усмотреть даже надпись “Аллах акбар!” вместо номерных знаков. Кто-то видел надпись мелом на кирпичном гараже: “Получите в сентябре новый Беслан” (“МК”, 06.09.2010).

** Для сравнения: в конце августа группа чеченцев устроила дебош во французской Ницце. Они хотели пройти без очереди в бар. Полицейский сделал им замечание. Далее – по накатанной дороге: “...полицейского... повалили на землю и начали избивать” (www.MK.ru от 28.08.2010). На этом, однако, параллели заканчиваются: “На помощь к коллеге подоспели другие офицеры. Напавших арестовали, они предстанут перед судом...” (там же). В том же ключе действовала и полиция в Линце (Австрия), где чеченцы устроили разборки с турками (NEWS.ru.com от 15.09.2010). Так поступают с преступниками в цивилизованных странах, где уважают Закон и самих себя.

мешаны, при этом давить и давить на федеральные власти” (“Завтра”, № 30, 2010).

Давить на федералов вслед за Кадыровым взялся омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев. Персонаж, неоднократно привлекавший наше внимание. То он выступал инициатором запрещения статьи о Чечне в “Большой энциклопедии”, то защищал убийц москвича Ю. Волкова. На сей раз Нухажиев превзошел сам себя.

Начал он с обвинения в адрес избитого замдиректора лагеря Б. Усольцева. При этом службу Усольцева в Чечне омбудсмен рассматривал как отягчающее обстоятельство: “Этот Усольцев во время двух военных кампаний в Чечне служил здесь по контракту... Мы обязательно установим, где именно проходил службу... Усольцев, и проверим, не совершал ли он здесь каких-либо преступлений” (“Время новостей”, 28.07.2010). **От администрации лагеря Нухажиев перешел к администрации Краснодарского края: “Миллиарды сейчас вкладывают в регион – надо посмотреть, кто им руководит”** (“МК”, 29.07.2010). **А под конец выступил с угрозами в адрес российского руководства: “Если выводов сделано не будет, проведение Олимпиады в Сочи окажется под вопросом”** (там же).

До сих пор сорвать Олимпиаду – любимый проект Путина – грозили чеченские боевики. Теперь им вторит приближенный Кадырова...

Тут даже сверхтолерантный “МК” не выдержал: “Остается непонятным, на каком основании мелкий чиновник дотационной республики смеет шантажировать российское руководство” (там же)*.

Заявления, звучавшие из Грозного, вызвали бурю в экспертном сообществе. Высказались и крупные администраторы, в частности, губернатор Краснодарского края А. Ткачев.

Все ждали, что скажет Путин. В конце концов Кадыров – его назначенец. “Ты его поставил, ты и поправь” – таков был подтекст всеобщего ожидания. Известный политолог А. Малащенко отмечал, что “случившееся компрометирует нашу власть”, и настаивал на “внятной реакции” со стороны первых лиц государства: “Если власть даст понять – ребята, вам и так много дано, мы доверяем вашему вождю, но всему есть пределы (здесь и далее разрядка моя. – А. К.), – ситуацию можно смягчить. Туапсинский случай может стать точкой отсчета новых отношений с Северным Кавказом, не только с Чечней. Если сейчас правильно не отреагировать, процесс пойдет дальше. Власть должна поступить здесь чрезвычайно жестко” (“Независимая газета”, 29.07.2010).

С неожиданной для этого прозападного интеллектуала горячностью Малащенко уточнял: “И это никакой не русский национализм. Нужно объяснить некоторые важные вещи и Чеченской Республике, и своему собственному обществу. Если по любому поводу люди хватаются за ножи и не могут быть судимы в силу традиционных факторов личности Рамзана Кадырова, ему должен быть задан вопрос. Это тот случай, когда силу (федеральной власти. – А. К.) будут уважать. Иначе не избежать новых Кондопог” (там же).

Редчайший случай: в унисон с Малащенко выступил обозреватель “Завтра” С. Загатин: “...Противоречие между законами РФ и “волей чеченского народа” способно “взорвать” Россию хуже мифической оранжевой угрозы” (“Завтра”, № 30, 2010).

Путин обязан был ответить чеченскому лидеру. Он промолчал...

“Такие крутые парни, как Путин и Медведев, боятся возразить Кадырову”, – ехидно прокомментировала радиостанция “Эхо Москвы” (“Одним словом”, 01.08.2010).

В другой передаче главред “Эха” А. Венедиктов пояснил: “Это плата... Путина за стабилизацию на Кавказе”. Венедиктов отмечал, что “Путину уда-

* В начале сентября Нухажиев вновь выступил со скандальной инициативой – запретить учебное пособие, подготовленное профессорами факультета истории МГУ, известными в научной среде специалистами – А. Барсенковым и А. Вдовиным. Выразительно пламенное “заединство”, с коим эту инициативу поддержали глава Московского бюро по правам человека А. Брод и глава комиссии по межнациональным отношениям Общественной палаты Н. Сванидзе (“МК”, 07.09.2010). Это то самое сотрудничество меньшинств, о котором я предупреждал в предыдущей главе.

лось расшатать чеченский сепаратизм... руками одних задушить других". Но, подчеркивал журналист, "когда эти люди пришли во власть, их лояльность надо все время фиксировать" ("Особое мнение", "Эхо Москвы", 01.08.2010).

Главред делал неутешительный вывод: "Контрибуция (так Венедиктов охарактеризовал безнаказанность чеченских нарушителей закона. — А. К.) будет выплачиваться до тех пор, пока российская власть будет чувствовать себя заложником (разрядка моя. — А. К.) кадыровского режима".

С Венедиктовым соглашался замдиректора Центра политехнологий А. Макаркин: "Москва помогла создать режим Кадырова... И непонятно, кто от кого здесь уже зависит. Если раньше клан Кадырова зависел от Центра, то сейчас Кадыров может диктовать свои условия" ("Независимая газета", 29.07.2010).

Очередной "голем" вышел из подчинения создателю! Фактически сделал его своим заложником. "Москва... будет закрывать глаза на все это. А куда деваться?" — уныло констатировал Макаркин (там же). А Венедиктов уточнил, проецируя отношения Кадырова с Центром на общероссийскую ситуацию: "С точки зрения длительной стратегии это начинает отравлять трупным ядом всю Россию... Такая исключительность одного субъекта Федерации, одного губернатора" ("Особое мнение", "Эхо Москвы", 01.08.2010).

Для полноты картины следует отметить: Путин, видимо, все-таки поговорил с Кадыровым. Но сделал это не публично, а в своей излюбленной манере — за кулисами.

Во всяком случае, уже 29 июля Кадыров отказался от характеристики конфликта как международного. "Это неприятный инцидент, но мы не считаем его межнациональным или межконфессиональным", — сбавил обороты хозяин Чечни ("МК", 30.07.2010).

Следующим шагом в демонстрации лояльности стал отказ Кадырова от президентского титула. Сам ли он до этого додумался или подсказали в Москве, но идея пришла как нельзя кстати. Вслед за Кадыровым и другие владыки Северного Кавказа признали: "В стране должен быть только один президент — президент Российской Федерации" ("Время новостей", 16.08.2010).

В самой Чечне верноподданные предложили именовать своего лидера "отцом страны" или "имамом" (там же). Как видим, в имиджевом плане, не говоря уже о практической стороне дела, Кадыров ничего не потерял. Но ко времени продемонстрированная "скромность" позволила ему вновь предстать верным другом и соратником Путина и Медведева.

Однако для меня, как, полагаю, и для всех русских патриотов, расшаркивание чеченского руководителя перед Кремлем не извиняет и не отменяет слов, произнесенных им и его приближенными в адрес России. Так же, как и закулисные увещания Путина не заменяют публичной оценки инцидента, которую он должен был, но так и не отважился дать.

Несмотря на громкие заявления первых лиц, не предотвращена террористическая угроза. Конечно, сегодня люди уже не настолько наивны, чтобы верить, будто она может исчезнуть по мановению "сильной руки". Но можно было бы, по крайней мере, остановить проникновение террора в собственно русские города.

Августовский теракт в Пятигорске, от которого пострадало 30 человек ("Коммерсантъ", 18.08.2010), показал, что и эта задача не выполнена. Хорошо хоть власти отнеслись к происшедшему с максимальной серьезностью. В Пятигорске объявили режим чрезвычайной ситуации. На усиленный вариант несения службы перевели и милицию Москвы.

Дело в том, что за несколько часов до трагедии в Пятигорске был произведен еще один подрыв — на административной границе Ингушетии и Северной Осетии. Смертник привел в действие адскую машину на пропускном пункте. Предполагается, что террорист направлялся в Москву ("МК", 18.08.2010).

В ночь с 18 на 19 августа в столице возникла паника после того, как был обнаружен подозрительный автомобиль, припаркованный у газораспределительного узла. Проверка показала, что номера сняты с другой машины. Кинологи, вызванные для осмотра, не исключали наличие взрывчатки. Жителей

ближайшего дома эвакуировали. Бомбы не нашли. Как, впрочем, и водителя (“Бизнес-ФМ”, 19.08.2010).

Возможно, то был, так сказать, пробный шар – тактика, к которой любят прибегать террористы.

В ту же ночь самодельное взрывное устройство в автомобиле обнаружили в Санкт-Петербурге (“Сити-ФМ”, 19.08.2010).

Словом, ни правоохранителям, ни рядовым жителям обеих столиц скучать не приходится.

Но не только соображения безопасности вызвали беспокойство властей. Взрыв в Пятигорске, скорее всего, похоронил помпезный проект руководства новообразованного СКФО.

Напомню: с начала 2010 года А. Хлопонин носился с идеей создания на Кавказе гигантского туристического кластера (я писал об этом – “Наш современник”, № 7, 2010). Полпреда можно понять: развитой промышленности в республиках Северного Кавказа отродясь не было. А в постсоветские времена захирели последние производства. Единственное, что имеется в избытке, – природные красоты. На них и решили сделать ставку: развивать туризм, привлекать инвестиции, создавать рабочие места и таким образом лишать террористов людских ресурсов.

Идею подхватила “Единая Россия” – партия власти постоянно нуждается в мега-проектах. Создание туристического кластера стало чуть ли не центральной темой партконференции, пышно проведенной на Северном Кавказе.

Правда, обстановка, в которой проводили собрание, заставляла усомниться в реалистичности планов превращения региона в туристический рай. Мероприятие сопровождалось строжайшими мерами безопасности. И однако же, несмотря на многочисленную охрану, “ЕР” не рискнула пригласить своего лидера в национальную республику. Начав конференцию в Нальчике, единороссы на следующий день перебазировались в Кисловодск, где и выступил Путин. При этом до последнего оставалось тайной, где именно соберутся “медведи”. “Маршрут менялся несколько раз, а журналистам называли сначала Нальчик, потом Минеральные Воды, Кисловодск и так далее, – свидетельствовали приглашенные представители прессы. И не без ехидства прибавляли: – Дошло даже до того, что корреспондент одного из федеральных СМИ, весьма подробно описывая само мероприятие, запутался, где же он все-таки находится. И под репортажем написал – Пятигорск. Хотя на самом деле второй день партконференции прошел в кисловодском санатории “Заря” (“Независимая газета”, 12.07.2010).

Оставим в стороне вопрос: как согласуется с моралью приглашение бизнесу – и туристам! – активнее осваивать склоны Кавказских гор – при этих-то мерах предосторожности, призванных оградить от лиха себя, любимых. Известно: политики с нравственностью не в ладу. Но элементарным здравым смыслом они обладать обязаны! И если сами боятся высунуть нос за ограду элитного санатория, взятого под охрану ФСО, то должны предположить как само собой разумеющееся, что инвесторы тоже идти на Кавказ поостерегутся.

Хотя бы в тот же Нальчик, куда так и не решились завезти Путина. И правильно, что не решились! Надеюсь, всем памятна события октября 2005 года, когда отряд боевиков фактически захватил столицу Кабардино-Балкарии и в течение двух дней удерживал город, творя в нем суд и расправу над федералами и местными правоохранителями.

И в этих условиях Кремль планирует привлечь в регион 5 миллионов туристов! Как язвительно заметил политолог С. Белковский, где взять “5 миллионов бронешлемов, чтобы раздать их туристам прямо перед заездом на эти сверхновые курорты” (“МК”, 20.08.2010).

На фоне опасных республиканских здравниц санатории Кавминвод смотрелись островком стабильности. Хотя их тоже не обошел террор. И все-таки представлялось, что в добровольно-принудительном, как это бывает у нас, порядке бизнес удастся туда заманить.

И вот стабильности положен конец!

Чтобы сделать свой меседж предельно понятным, боевики подкрепили взрыв в Пятигорске двумя нападениями на группы отдыхающих в Кабардино-Балкарии, расстреляв четырех человек. Двое, на беду, ока-

зались милиционерами, еще один был убит “только за то, что он являлся русским” (“Коммерсантъ”, 20.08.2010). Армянин И. Невсесян имел неосторожность сказать, что он христианин. Боевики заявили, что он “молится не тому Богу”, и застрелили его (там же).

“Добро пожаловать в ад!” – как писали чеченцы на скалах по пути следования колонн федеральных войск.

... А президент торопит! В августе на совещании по Дагестану он устроил разнос Хлопонину за то, что инвестиции до сих пор не пришли в регион (“Время новостей”, 16.08.2010).

Если бы полпред мог честно говорить со своим шефом, он должен был сказать: “Дмитрий Анатольевич, снимите, наконец, солнечные очки, которые вы имеете обыкновение надевать, отправляясь на Кавказ. Снимите очки и посмотрите, что здесь происходит реально. Идет война – и пока боевики не истреблены, никаких инвестиций, никакого кластера и никакой занятости не будет!”

Хотя Дмитрий Анатольевич и Владимир Владимирович могли бы и без подсказок догадаться о подлинном положении дел на Кавказе. Для того чтобы “открыть глаза”, достаточно истории с Баксанской ГЭС.

21 июля группа боевиков захватила, заминировала и подорвала гидроэлектростанцию в Кабардино-Балкарии. Сделали это на удивление просто и, приходится признать, не без изящества. Излагаю события по публикации в газете “Коммерсантъ” (22.07.2010). В три часа утра боевики подорвали заряд у здания РОВД в райцентре Баксан. Все силовики бросились туда. А тем временем пятеро террористов напали на электростанцию, которую охраняли всего два сотрудника вневедомственной охраны. Застрелив их, проникли в операционный зал, связали персонал и заминировали гидроагрегаты.

Эта простота в соединении с дерзостью атаки вызывает особую тревогу. Впервые удар нанесли по крупному (системообразующему) объекту. Случалось, до этого подрывали ЛЭП, взрывали газопровод. Атака на гидроэлектростанцию – принципиально иной уровень. “Такого еще не было”, – вынужден был признать Д. Медведев (“Время новостей”, 23.07.2010).

Политики рангом поменьше и вовсе эмоций не сдерживали. Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Г. Гудков отчеканил: “Это уже вызов политической власти, которая должна доказать свою дееспособность”. Депутат призвал “всерьез проанализировать, почему за два десятилетия крупных терактов, начиная с трагедии в Буйнакске в сентябре 1999 года, кроме громких заявлений о том, что терроризм будет уничтожен, по большому счету ничего не меняется” (“Время новостей”, 22.07.2010).

Эксперты обозначили мрачные перспективы, связанные со сменой тактики боевиков: “Если раньше террористы почти всегда целились в людей... то вчера они впервые провели успешную акцию на стратегическом промышленном объекте. И если такие “походы на производство” боевики продолжат, то проблема терроризма, очевидно, уже выйдет на новый – еще и экономический – уровень... Речь может пойти уже о реальных масштабных потерях для экономики и о соответствующих размерах ударе по авторитету власти” (там же)*.

Аналитики забыли упомянуть об еще одном аспекте инфраструктуры террора. Он ставит под угрозу огромные массы населения. Даже на относительно небольшой Баксанской ГЭС “энергетики опасались прорыва воды” (там же). Хотя власти делали широковещательные заявления о том, что катастрофа исключена. А если бы объем воды в водохранилище был значительно больше? А если бы теракт произвели не на ГЭС, а на АЭС или на химическом предприятии?

Тут важно принципиальное решение о пределах допустимого. Современная городская цивилизация, несмотря на внешнюю мощь (а во многом и благодаря ей), крайне уязвима. Разрушений колоссальных масштабов удастся избежать не потому, что вызвать их т е х н и ч е -

* В начале сентября боевики заминировали Ирганайскую ГЭС в Дагестане. Взрыв удалось предотвратить, однако в здании произошел пожар (“Новости 24”. РЕН ТВ. 09.09.2010).

ски невозможно, а потому, что существуют некие правила даже в такой игре без правил, как террор. И если террористы, по каким-либо причинам, отказываются “играть по правилам”, то ожидать можно самого худшего...*

Дело, однако, не только в боевиках. С одной стороны, мы видим ничем не сдерживаемую жестокость. С другой – на инфраструктурных объектах – ничем не сдерживаемую жадность. Баксанскую ГЭС плохо охраняли потому, что собственник (“Русгидро”) сэкономил на безопасности (“Коммерсантъ”, 26.07.2010). Что ставит это преступление в один ряд с катастрофой на Саяно-Шушенской ГЭС и с пожарами-2010.

Но это уже не о террористической угрозе – об общественной опасности капитализма, по своим последствиям далеко превосходящей опасность терроризма...

... Я пишу эти строки в конце августа и с тревогой думаю о том, какие еще трагедии могут произойти до публикации главы. К сожалению, сегодня мы все живем как на пожаре – в прямом и переносном смысле слова**.

Похоже, кое-кто из руководителей кавказских республик предлагает федеральным властям тушить огонь бензином! Глава Дагестана М. Магомедов представил на подпись Д. Медведеву указ о формировании в республике двух местных батальонов. Штатная численность каждого – около 400 человек (“Независимая газета”, 18.08.2011).

Если Медведев указ подпишет, Дагестан станет второй – вслед за Чечней – республикой в составе РФ, имеющей мини-армию. “В создании собственных национальных подразделений заинтересованы многие руководители северокавказских республик, – комментирует генерал-лейтенант Ю. Неткачев. – Однако такое желание чревато... Если Кремль разрешил Магомедову и Кадырову иметь свое войско, то этого, видимо, захотят другие лидеры России. Каждому правителю – по маленькой армии. Данные лозунги мы уже проходили, когда распался Советский Союз” (там же).

К слову, чеченский батальон “Восток” участвовал не только во внутренних разборках, но и в операциях в Центральной России, которые иначе как рейдерскими захватами не назовешь. Так, 15 сентября 2006 года бойцы батальона вошли на территорию мясоперерабатывающего завода “Самсон” в Санкт-Петербурге и удерживали его директора, требуя передать руководство предприятием другому лицу (“Коммерсантъ”, 19.09.2006).

Можно смело предположить, что с появлением дагестанских батальонов жизнь в нашем государстве станет еще динамичнее и веселее.

Впрочем, и без собственных ВС дагестанские призывники не дают скучать командирам. Завершу кавказский сюжет упоминанием о массовой драке, произошедшей в Кантемировской бригаде (бывшая Кантемировская дивизия) в середине августа. Цитирую: “Прямо на плацу части сошлись рукопашную солдаты, призванные из Центральной России и Дагестана” (“Коммерсантъ”, 14.08.2010).

Массовые побоища в войсках, спровоцированные, как правило, призывниками с Кавказа, в нынешней армии нередки. Я писал о них (“Наш современник”, № 8, 2010). Специфика данного столкновения в том, что оно произошло в элитной части, которая служит своего рода витриной российской армии. К кантемировцам регулярно возят иностранные делегации, к ним выезжают на стрельбы депутаты Госдумы. Дивизия (теперь – бригада) – неперенный участник парадов на Красной площади. Сколько раз голос Левитана победно возвещал: “На площадь вступают бойцы легендарной Кантемировской дивизии”. Что, если и на том плацу они устроят показательный межнациональный мордобой?!

Последний в череде летних сюжетов связан с ситуацией вокруг Химкинского леса.

* Не этим ли объясняется странное отравление 40 работников на кондитерской фабрике в Перми? Глава Роспотребнадзора Г. Онищенко заявил о преднамеренном отравлении их пищи. Он указал на то, что яд “был смешан с обычной солью” (<http://www.rosbalt.ru//2010/09/08/769784.html>).

** Опасения подтвердились. О громких терактах начала осени – в следующем номере.

События развивались напряженно и стремительно. Промежуточный финал – решение президента Д. Медведева о приостановке строительства трассы в районе леса. Это и торжество здравого смысла, и поистине знаковый шаг в отношениях власти и общества. Медведев не только поставил под сомнение решение Путина о прокладке трассы (демонстративно напомнив о нем), но и отказался от практики своего предшественника, который принципиально не реагировал на проявление массового недовольства.

Насколько последовательной будет новая линия руководства, покажет время. Однако и достигнутый результат чрезвычайно важен. Тем поучительнее вспомнить историю борьбы, увенчанной хотя бы предварительной победой.

Химкинский лес – крупный массив, вплотную подходящий к предместьям Москвы. Генплан столицы 1971 года предусматривал, что так называемые зеленые клинья из Подмосковья будут по многим направлениям входить в город, насыщая его свежим воздухом. Потом Москву окольцевали МКАДом, потом в области, хаотично застраиваемой коттеджными поселками и городским жильем, вырубали леса. Химкинский – один из последних. Уничтожат его – и кислород перекроют*.

Именно это и происходило. Лес попал в зону прокладки платной автомагистрали “Москва–Санкт-Петербург”. Изначально рассматривали три варианта прохождения маршрута (схема опубликована в газете “Коммерсантъ”, 26.08.2010). Выбрали самый опасный для леса: дорога рассекает его пополам. Если учесть, что вокруг трассы предусмотрено активное строительство, то судьба последнего зеленого клина ясна: он деградирует и будет вырублен. На его месте построят элитную недвижимость. Экологи утверждают, что в проекте заложена коррупционная составляющая – освободившаяся земля должна принести баснословные барыши...

Началась борьба, в которую на стороне общественности вовлеклись серьезные силы: Всемирный фонд дикой природы, “Гринпис”, депутаты Госдумы и даже французские сенаторы (французы – среди инвесторов проекта). Вопрос обсуждали во время встречи Медведева с Саркози (“Время новостей”, 11.08.2010). Чуть ли не пол-Европы выражало беспокойство за судьбу Химкинского леса. Но не русские чиновники. Они стояли на своем, не желая слушать никаких аргументов.

Невольно напрашивалась параллель с планами строительства Охта-центра в Петербурге. ЮНЕСКО пригрозила вычеркнуть Северную столицу из списка городов – памятников всемирного наследия, а мэрия вместе с Газпромом и ухом не ведет! Ну еще бы: господу решили, значит, будет по-ихнему. Пусть небо рухнет, они настоят на своем.

В ситуации с Химкинским лесом более всего поражало то, что пик противостояния дорожников и общественности пришелся на конец июля – начало августа. Москва задыхалась в дыму. Огонь уничтожил 10 миллионов гектаров леса (данные Всемирного центра мониторинга пожаров – NEWSru.com от 26.08.2010). Казалось бы, неотразимый аргумент в пользу сбережения “зеленых легких”! Что еще должно произойти, чтобы чиновники уразумели: нельзя безнаказанно сводить лесные массивы? Расплата оказалась наглядной и скорой: жителям столицы было нечем дышать.

Если дуболомы не реагировали даже на такой аргумент, их должен был впечатлить другой. В августовском чаду сгорели инвестиции в столичную и подмосковную недвижимость – люди не хотят покупать жилье там, где воздух, будто у ворот крематория. Потенциальных покупателей перехватил экологически безопасный Крым (“Коммерсантъ-FM”, 21.08.2010).

Нет, оставались глухи ко всему! Что, между прочим, ставит вопрос не только о нравственных, но и о деловых качествах наших чиновников. Если не сказать резче – об их вменяемости...

В самом деле, стали бы нормальные люди натравливать на экологов сначала чоповцев, затем “братков” с татуировками, затем молодчиков в белых масках и, наконец, ОМОН? Все сокрушающий, всем затыкающий рот (хроника борьбы изложена по статье лидера движения в защиту Химкинского леса Е. Чириковой – “МК”, 10.08.2010).

* По утверждению экологов, сейчас добывают и Серебряный Бор: “...В парке полным ходом ведется новое строительство, расчищается место для будущих объектов” (“Известия”, 26.08.2010).

“Правоохранители” (все чаще приходится закавычивать это слово) действовали с вызывающей жестокостью. Е. Чирикова свидетельствует: “При мне журналистку “Новой” Елену Костюченко задержали так, что повредили шейные позвонки. А 22-летнюю маму малыша Маргариту Попову затаскивали в автобус за волосы” (там же).

Хотелось кричать: господа начальники! Вам, что, мало “приморских партизан” и “орловских мстителей”? Вы хотите превратить в комбатантов абсолютно законопослушных экологов? Оцените: им дела нет до вашей политики. Нет дела до вторых и третьих сроков – пересаживайтесь из кресла в кресло, пока сил хватает. Они хотят одного: дышать чистым воздухом. И это не эгоизм собственников, а предельно широкий альтруизм порядочных, думающих о будущем людей. Если они победят, вам тоже достанется глоток кислорода из Химкинского леса.

В работе “Возвращение масс”, прослеживая эволюцию так называемых движений одного требования, я упоминал о защитниках Химкинского леса (“Наш современник”, № 3, 2009). И, в частности, на их примере показывал: власть своими руками делает из аполитичных общественников оппозиционеров. Она подобна царю Мидасу. Тот – к чему бы ни прикасался – все превращал в золото. Она всех превращает в оппозиционеров. Сама становится в оппозицию естественным требованиям людей и здравому смыслу.

Но даже я не ожидал, что бездарные действия чиновников и силовиков так радикализируют движение в защиту Химкинского леса. Обеспечат ему поистине всемирный резонанс: задержания с заламыванием рук происходили на глазах корреспондентов со всего света. Кто мог предположить, что лидер движения – Евгения Чирикова – станет едва ли не самой упоминаемой персоной в радиоэфире и прессе, что превращает ее в серьезного игрока на политической сцене. Сегодня никто не слышит о Гозмане или Богданове, а о Чириковой слышали все!

Подумать только, движение поддержали известные музыканты, эти надменные баловни шоу-индустрии. Сразу несколько рок-групп организовались для проведения на Пушкинской площади концерта под лозунгом “Мы все живем в Химкинском лесу”. Закоперщиком выступил Юрий Шевчук. Его в специальном обращении поддержал Борис Гребенщиков: “Юра делает очень важную и нужную работу. Он на стороне людей” (“Коммерсантъ”, 23.08.2010).

До сих пор отечественное рок-сообщество малодушно держалось в стороне от общественных нужд, что невыгодно отличало его от западных коллег. Но если оно вступит в борьбу, мало никому не покажется! Песни протеста – мощнейшее средство мобилизации масс.

Власти, разрешив митинг на Пушкинской площади, концерт запретили. Создали ситуацию, которая почти неминуемо должна была закончиться кровью. Тысячи людей, в основном молодежь, пришли, чтобы послушать любимых певцов. А петль не разрешили!

Корреспондент “Коммерсанта” живописал: “Бойцы ОМОНа в защитных шлемах и сотрудники 2-го оперативного полка ГУВД столицы перекрыли выход на Пушкинскую площадь из метро... Запретили использовать звукоусиливающую аппаратуру и даже не пускали на площадь людей с музыкальными инструментами” (там же).

Дожили! После 20-ти лет директивной демократизации в России под запрет попали гитары и скрипки! Но это же безумие – сражаться сразу на всех фронтах: против лесов и экологов, против музыки и музыкантов, а главное – против молодежи, которая в таких условиях имеет все шансы радикализироваться.

“Сейчас ваша очередь, молодых”, – зажег толпу ведущий митинга Артемий Троицкий (“МК”, 24.08.2010).

Шевчук все-таки спел – без микрофона. И прибавил, обращаясь к собравшимся: “Нам здесь жить, а те, кто принял решение рубить наш лес, сдрызнут отсюда при первом залпе “Авроры” (там же).

На площадь пришло от 3 до 5 тысяч человек. Давненько акции оппозиции не собирали в Москве столько народу!

Похоже, в Кремле в конце концов осознали, что продолжение конфликта не выгодно им самим. Этим и объясняется решение Медведева

приостановить строительство магистрали. "...Хваленая вертикаль власти прогнулась под давлением возмущенной публики", – откомментировал "МК" и назвал происходящее "зеленой революцией" ("МК", 27.08.2009).

Впрочем, возможно и почти анекдотичное объяснение. Д. Медведев слышет любителем западной рок-музыки. 24 августа в сочинской резиденции он с изъявлениями глубокого почтения принимал солиста легендарной группы U-2, приехавшего на гастроль в Россию. А на следующий день группа пригласила Юрия Шевчука выступить на грандиозном концерте в Лужниках ("Коммерсантъ", 26.08.2010). Поводом стало письмо Шевчука и Троицкого о ситуации вокруг Химкинского леса.

Не исключено, что президент захотел предстать в глазах западных знаменитостей "просвещенным правителем", а не гонителем демократии и врагом экологии. Но и в этом случае следует признать, что решающее значение имели выступления общественности: не получи история такого резонанса, в борьбу не включились бы российские музыканты и тем более рок-звезды Запада.

Обретя известность на волне протестов, да еще и заручившись своеобразной "легитимизацией" от Медведева, движение в защиту Химкинского леса может послужить базой для создания организации с более широкими, в том числе политическими целями. И это еще не худший для властей вариант.

В августе обозначился и другой сценарий развития событий. Я имею в виду "погром" администрации города Химки.

Событие это столь неординарно, что рассказывать о нем следует, опираясь на свидетельства очевидца. Наиболее обстоятельную и красочную корреспонденцию опубликовал "Коммерсантъ" (29.07.2010). Приведу пространную цитату:

"Вчера более пятисот анархистов и активистов движения "антифа" разгромили здание администрации города Химки в знак протеста против вырубке Химкинского леса... Анархисты и "антифа" начали готовиться к акции два дня назад. На их сайта появилась афиша, анонсировавшая концерт на Трубной площади. К 18.30 к Трубной прибыло... человек 400.

– Надеюсь, никто не пришел сюда ради музыки, – заорал в мегафон невысокий юноша в маске, залезший на возвышение. – Пока мы здесь, в Химках ад какой-то: фашисты вырубает лес... Так вот, мы едем туда!

Собравшиеся двинулись на станцию Петровско-Разумовское. К ним присоединилось под сотню анархистов, и, пересев на электричку, все поехали в Химки.

... В Химках на перроне построились в колонну. Начинаясь она лозунгом "Очистим лес от фашистской оккупации. 1941–2010". До здания администрации процессия добралась минут за пять, скандируя "Защитим русский лес!" ... На многих появились защитные хоккейные маски...

... Увидевшие толпу охранники убежали со своего поста у входа внутрь здания. Активист "антифа" обозначил присутствие возмущенной толпы, несколько раз ударив топором по двери. В окна кидали камни и стреляли из травматических пистолетов. Несколько окон были выбиты уже в первую минуту. Под непрекращающееся скандирование толпа расписала все стены граффити с надписью "Химкинский лес". Более пятидесяти человек достали разноцветные дымовые шашки и подожгли их. Дым был настолько густым, что здание скрылось из глаз...

... Через пять минут толпа еще раз построилась и направилась обратно на станцию. Ее пыталась остановить милицейская машина, но ее закидали бутылками и камнями...

... Еще два милицейских "уазика" ждали толпу у железнодорожной станции, но их тоже закидали...

... Участники акции протеста уехали. Они без приключений добрались до станции Петровско-Разумовское и разъехались в разные стороны".

Дерзко – на грани гениальности! Химки – крупный город, а фактически один из районов Москвы. То, что толпе удалось с такой легкостью сымитировать захват администрации, с пугающей наглядностью показало: л ю б о е здание в столице (за исключением особо охраняемых) может быть в считанные минуты захвачено и подвергнуто разгрому.

А дальше – привет Кишиневу и Бишкеку, где толпа громила и жгла бастيونы властей, что в конечном счете привело к падению режимов.

Несомненно, это демонстрация силы. Великолепно скоординированная: все рассчитано до минуты! И так же прекрасно срежиссированная: в сущности, “погромщикам” можно вменить разве что хулиганство. Кроме выбитых стекол, ущерба зданию не причинено. На фотографиях, опубликованных в прессе, администрация тонет в дыму, но это дым файеров. Жест, чисто символический: мы – можем!

Кто эти “мы”? И чего от них ждать? Захвата нескольких административных зданий в центре столицы? Или проведения очередного безобидного флэш-моба? Или – революции?

“Оранжевая” революция на Украине так напугала российские власти, что они начали давить любую политическую активность. Митинги запрещали, а тех, кто выходил на площадь, избивали и волокли в кутузку.

В Кремле не заметили, что в 2009 году в Кишиневе революционный сценарий откорректировали. Что прикажете делать с толпой, вызванной на площадь эсэмэсками? Или собравшейся на концерт? Вроде бы и партий нет – но есть молодежь, мобильная и обозленная. Объявить всех молодых потенциальными бунтовщиками? Запретить собираться больше чем по три человека? Воля ваша, а с партиями работать удобней: их можно контролировать. Но как проконтролируешь анонима?

Если акцию действительно провели антифашисты, то на политическую сцену России вышла новая сила, с которой придется считаться. Это вам не демократическая оппозиция, митингующая 31-го числа в защиту вашей же Конституции. С безоружными, не оказывающими сопротивление демонстрантами омоны не церемонятся: “Раззудись, плечо, размахнись, рука!” Но стоило силовикам столкнуться с организованным сопротивлением, они оскандалились. Оказались бессильны. Да-да, силовики – бессильны! И это не может не тревожить Кремль*.

Впрочем, я сомневаюсь, что необученный молодняк сам по себе способен действовать столь профессионально. Можно предположить, что это эксцессы борьбы за власть внутри политической элиты. Нельзя исключить и зарубежных бенефициариев.

Единственное, что несомненно, – сила, продемонстрированная власти, и бессилие властей. Они хорошо поняли значение меседжа. По утверждению милиционеров, “дело находится на контроле в администрации президента” (“Коммерсантъ”, 31.07.2010). “Отслеживает развитие ситуации” и Путин (“Коммерсантъ”, 29.07.2010).

Контролируют, отслеживают, а результат нулевой!

Задержаны два активиста движения “антифа”. Один из них вылез с комментариями в эфир – его и повязали.

Еще нескольких допросили. Силовики попытались отыгаться на гражданине Белоруссии А. Пахотине. Видимо, его выбрали как “слабое звено”: Пахотин проживает в Москве без регистрации. Из него показания выбивали. Позднее белорус заявил, что его “отвезли в химкинскую милицию, где его допрашивал сотрудник ФСБ. “Когда ему не нравились мои ответы, он предлагал подумать еще и выходил из комнаты, – рассказал господин Пахотин. – После этого люди в штатском били меня лицом об стол, угрожали отрезать ухо ножницами. Они говорили, что закопают в лесу, а искать гражданина Белоруссии в России никто не будет” (“Коммерсантъ”, 27.08.2010)**.

Кто-то скажет: вот она – власть! Неправедная – тут не поспоришь, – но полная силой. Врежет, мало не покажется!

* Милиция оконфузилась и в Питере, где активисты артгруппы «Война» в начале сентября устроили акцию «Дворцовый переворот» – в центре Северной столицы перевернули несколько милицейских автомобилей. Показательно: городское ГИБДД предпочло не придавать инцидент огласке. Однако озорники выложили фотохронику в интернет («Время новостей», 21.09.2010).

** Избиению подвергся и активист “антифа” Н. Чернобаев. Его допрашивали в Раменском ОВД. Цитирую: “Сразу после выхода из ОВД Никите Чернобаеву вызвали скорую, на которой он был доставлен в отделение нейрохирургии раменской больницы с черепно-мозговой травмой. Врачи зафиксировали также полосы на шее от сдавливания, разбитую скулу и синяк под левым глазом, сотрясение мозга и многочисленные гематомы на ногах” (“Коммерсантъ”, 30.08.2010).

Нет, дорогие, это не власть. Подлинно легитимная сила не нужна в методах из арсенала уголовников. Она действует открыто и эффективно, потому что опирается на закон и на поддержку народа. А то, что мы наблюдаем сегодня (и не только в Химках), это проявление бессилия – профессионального и правового, которое нерадивые исполнители пытаются прикрыть приемами, позаимствованными у бандюков.

В ходе расследования очередной раз допрашивали Е. Чирикову. Для того чтобы доставить в отделение хрупкую женщину, подмосковная милиция отрядила чуть ли не роту ОМОНа. И опять все на глазах у десятков корреспондентов – любуйтесь обликом “демократической” России!

А о чем ее было спрашивать: когда в Химках жгли файлы, Чирикова сидела за решеткой (“Коммерсантъ”, 05.08.2010).

Как будет развиваться борьба за Химкинский лес, прогнозировать трудно. Имиджевые потери для России и ее руководства таковы, что умные люди “сдали бы назад”. Не говорю уж о том, что рачительные хозяева страны и столицы должны по-иному взглянуть на значение экологического фактора.

Но в данном случае меня интересует другая сторона проблемы. Та, на которую дружно не обратили внимание писавшие об этой истории СМИ и которая прямо связана с проблематикой этой главы.

Власти был нанесен болезненный удар. А та – в очередной раз! – не смогла достойно ответить. Не может даже определить – кому отвечать. Настолько она уязвима и некомпетентна.

(Продолжение следует)

БОРИС КЛЮЧНИКОВ

ООН — ИЛИ МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИНИНТЕРНА

К 65-летию образования ООН

Что услышит социальный сейсмолог, приложив ухо к земле? Мощные выбросы энергии с эпицентром на Востоке. Колесница истории снова убыстрила свой ход. Восток, как пять столетий назад, бросает вызов Западу. Восток не признает установленного Западом миропорядка.

Запад отстывает: в либеральном хаосе безверия он оторвался от своих животворных христианских корней и потому теряет последние нравственные ориентиры, насаждая по всему миру вместо так необходимой духовности ценности потребительского общества и гедонизма. Они прельстили и Россию, что ставит крест на ее возрождении как духовного православного светоча. Трагично, но и Восток, бросающий вызов надломленному Западу, не излучает тех духовных энергий, которые необходимы человечеству и живой планете. Современный Восток еще более материалистичен и прагматичен. Он движется в той же либеральной рыночной парадигме, догоняя и перегоняя Запад. Кто, кроме фанатиков, станет ныне утверждать, что «свет с Востока»? На тесной сцене истории ставится новый акт мировой трагедии. Антураж – войны, блокады, кризисы. Но нет героя, у кого было бы духовное оружие, которое бы остановило безумный бег глобализаторов к обрыву.

В конце Великой войны четыре великих политика и мыслителя – Сталин, Рузвельт, де Голль и Черчилль согласились создать Организацию Объединенных Наций с универсальным членством и широчайшими полномочиями. Это были провидцы, потому что уже тогда поняли неизбежность глобального регулятора, призванного обеспечивать мир и безопасность на планете.

Холодная война, империалистические рецидивы и ностальгия по старым колониальным порядкам, утопии кремлевских мечтателей о мировом социализме, гегемонизм строителей однополюсного мира ослабляли ООН, оттесняя ее на край исторической сцены, а порой и за сцену, где происходили бурные события второй половины XX века. Больше всего ООН мешает претендентам на мировое господство. Правые экстремисты в США вели и ведут борьбу против ООН, окопавшейся, как они говорят, в смехотворном стеклянном доме на Ист-ривер. Они добились того, что Конгресс США десятилетиями ослаблял ООН, якобы защищая народ США от «сдачи национального суверенитета» этой международной организации. В Америке, да и во многих других странах, укоренилось представление, что посредством ООН осуществляется сползание к мировому правительству.

Это, конечно, миф, страшилка для недалеких людей. Международные организации в том виде, как они ныне существуют, не могут быть правительствами – у них нет властных структур, нет аппарата принуждения, нет армий, они не собирают налогов и не имеют своих источников дохода. Они помогают национальным правительствам, совершенствуя международное право, согласовывая действия государств, углубляя их сотрудничество. Их роль в глобализирующемся мире быстро растет, и потому они тоже должны совершенствоваться. Реформа системы ООН бесспорно назрела и перезрела. Надо, однако, ясно сознавать опасность забегать вперед и пытаться превращать ООН в мировое правительство: пока в нем нет необходимости, оно невозможно, более того, мировое правительство нежелательно. Перед ООН, перед объединенными нациями стоит иная задача: противостоять паразитическому финансовому капиталу (Фининтерну), который ныне выступает как негласное, тайное мировое правительство и ведет мир через беспорядки, хаос, войны и кризисы к всемирной катастрофе.

В такой обстановке опасность заключается в несоответствии структуры ООН реалиям современного мира. Более нет колониальных империй, число государств-членов ООН с 1944 года увеличилось в четыре раза, составив 192. В первую очередь предстоит реформировать Совет Безопасности ООН. Он состоит из представителей 15 государств, 5 из которых постоянные члены. Это Китай, Россия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки и Франция. Все они наделены согласно статье 27 главы IV Устава ООН правом вето. Все они ядерные державы. Но среди постоянных членов ООН нет представителей целых регионов – Африки и Латинской Америки, не представлено миллиардное население Индии. Организация Исламская Конференция, в которую входят 57 государств, тоже требует постоянного места в Совете Безопасности, чтобы выступать от имени более чем миллиарда мусульман, проживающих на трех континентах. Япония и объединившаяся Германия тоже рассчитывают получить постоянное место в Совете Безопасности. Их экономический вес и вклады в бюджет ООН (второе и третье места) позволяют им претендовать на это, равно как и на признание в качестве великих держав. Но, предоставив им такое место, можно еще больше увеличить неравновесие в составе Совета Безопасности. “Золотой миллиард” будет перепредставлен, а бедные страны Востока и Юга – нет. Таковы наиболее очевидные сложности реформирования ООН.

Развивающиеся страны устали ждать реформ. Индия уже много лет с трибуны Генеральной Ассамблеи указывает на “недостаточное присутствие в работе ООН развивающихся стран”. Представитель Индии Нирупан Сен в лекции “Индия и реформа ООН” в марте 2009 г. вновь напомнил, что “Восток считает ООН безнадежно неадекватной, не готовой к вызовам глобализирующегося мира. Сверхдержавы не способны ныне доминировать в мире. Индия заслуживает постоянного членства в Совете Безопасности”. Президент Бразилии Лула да Сильва на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи в сентябре 2008 г. заявил, что ООН окостенела, что уже 15 лет в стенах ООН ведется болтовня о реформе, но воз и ныне там. Эту же мысль он высказал во время визита в Бразилию президента Ирана Ахмадинежада. Лидеры подписали совместное воззвание с требованием незамедлительно реформировать ООН согласно “новым геополитическим реалиям, а не на основе политических группировок, существовавших в 1948 году”. Президент Бразилии тогда высказался в поддержку иранской ядерной программы.

Согласно такому источнику, как Jihad Watch, исламская группа в ООН регулярно выступает с требованием предоставить мусульманскому миру постоянное членство в Совете Безопасности. Для защиты от Израиля она требует наделить своего постоянного представителя правом вето, чтобы противостоять США, которые злоупотребляют правом вето, позволяя Израилю не считаться с ООН. Профессор Гарвардского университета Джон Мирсхаймер (John Mearsheimer) подсчитал, что “с 1982 года США ввели вето против 32 резолюций Совета Безопасности, осуждающих Израиль – больше, чем число вето, наложенных четырьмя прочими членами за все время существования ООН”.

Исламская группа в ООН научилась владеть оружием своих противников: 18 декабря 2009 г. Генеральная Ассамблея приняла резолюцию “О борьбе против клеветы (диффамации) на религии”. Дело в том, что со времени начала борьбы с международным терроризмом в СМИ стали регулярно появ-

ляться оскорбления не исламистского экстремизма, а самого ислама. Широко распространяется ныне термин “исламофашизм”. В американских СМИ идет кампания против этой резолюции, ибо она ставит оскорбления ислама вне закона. Есть, однако, деятели, которые смеют заявлять, как Давид Литтман, что “ислам это культ смерти, маскирующийся под религию”. Любопытно, что западные юридические крючкотворы утверждают, что надо защищать от диффамации не религии, а человека и его свободу совести, ибо самая распространенная ныне религия – это религия прав человека. На защиту этой позиции срочно мобилизованы сотни неправительственных организаций.

Юристы в принципе отрицают право каких-либо религий на представительство в Совете Безопасности. Они указывают, что в Совете Безопасности по Уставу представлены 5 географических регионов, а не 5 всемирных религий или цивилизаций. Объясняют, что мусульманские страны всегда были адекватно представленными непостоянными членами, избираемыми на два года: у мусульманских стран почти всегда было по три места среди 15 членом Совета Безопасности, то есть 20%, что пропорционально мусульманскому населению мира. Указывается также, что три десятка мусульманских стран едва ли смогут договориться, кому отдать постоянное место. Индонезия самая крупная среди них, но согласятся ли послать ее в Совет Безопасности Пакистан, Египет, Иран, Саудовская Аравия?

Эти и многие другие противоречия показывают, что реформы в ООН встречают сложнейшие препятствия. Подготовительные работы к ним начались два десятилетия тому назад. В марте 2005 г. генеральный секретарь ООН Кофи Аннан опубликовал, наконец, конкретный план (“In Larger Freedom”) по увеличению числа членом в Совете Безопасности. В плане два варианта – А и В. План А предусматривает добавить к 15 членам еще 9: постоянных – 6 и 3 переизбираемых через два года. План В предлагает ввести новую категорию членства: 8 новых членом, избираемых на 4 года. Вокруг этого плана уже пять лет идет оживленная дискуссия, причем несогласия много больше, чем согласия, все отстаивают свои позиции как самые справедливые. Обсуждение этого плана на пленарном заседании 64-й сессии Генеральной Ассамблеи 12–13 ноября 2009 г. не продвинуло решение проблемы. В резолюции вновь рутинно повторяется установка “на расширение состава Совета Безопасности для устранения неравновесия”.

Анализируя ход дискуссии, отметим, что удалось достигнуть консенсуса о первоочередности реформы Совета Безопасности – центрального органа ООН. Одновременно ведется работа по установлению объективных критериев для предоставления постоянного членства. Правительство США после долгого молчания в 2005 г., наконец, тоже высказалось за реформу Совета Безопасности и назвало в следующем порядке критерии для постоянного членства: во-первых, экономический вес; далее, численность населения; военная мощь; приверженность демократии и защите прав человека; вклад в бюджет ООН; вклад в операции ООН по поддержанию мира; вклад в борьбу с терроризмом и в нераспространение оружия массового уничтожения. Как видим, среди этих семи американских критериев преобладают денежные факторы, согласно правилам акционерного общества – кто платит, тот и музыку заказывает. Бедные страны отказываются от такой схемы. Их критерии – представительство от регионов; численность населения; размер территории, на которой необходимо охранять природу; военная мощь; моральный авторитет среди народов.

Кто может претендовать на постоянное членство в Совете Безопасности? Чаще всего называют кандидатуры Индии, Бразилии, Японии, Германии и страны из африканского региона (либо Южной Африки, либо Нигерии, либо Египта). Министр иностранных дел России С. Лавров на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи заявил: “Пришло время, чтобы ООН стала *единственной* глобальной платформой для координации глобальной политики и избегала двойных стандартов”. Его заместитель А. Яковенко разъяснил позицию России об “ограниченном расширении” состава Совета Безопасности. В России исходят из того, что “без реформирования ООН не может состояться многополюсный мир”, что реалии XXI века настойчиво требуют коллективного подхода к решению множачихся глобальных проблем. Вместе с тем они требуют и повышения эффективности ООН и ее агентств. Чрезмерное увеличение числа членом Совета Безопасности может еще более снизить эффективность ра-

боты ООН. Среди экспертов часто ссылаются на незавидные результаты трехкратного увеличения – с 18 до 54 – состава членов Экономического и Социального Совета ООН. В стенах ООН, тем не менее, часто звучат предложения увеличить число членов Совета Безопасности на 20 и даже на 30 членов.

Особой критике подвергается право вето. Многие правительства считают его недемократичным и требуют или отменить, или ограничить его. Возражая против права вето, многие государства требуют, чтобы каждое вето было письменно обосновано и поддержано голосами многих государств. Но голоса государств даже в ООН покупаются. Гарвардский университет провел и в этом вопросе исследование, которое выявило четкую установку: США более чем наполовину повышают помощь странам, получившим место в Совете Безопасности. К помощи добавляется откровенное выкручивание рук. Классическая формула кнута и пряника.

США сдержанно относятся к реформе ООН: там считают, что достаточно только двух дополнительных постоянных членов без права вето и трех непостоянных членов. США весьма заинтересованы в постоянном членстве для своего союзника Японии и допускают присутствие какой-либо африканской страны. Китай без колебаний отказывается – вплоть до применения вето – поддержать кандидатуру Японии, которая является его геополитическим соперником и союзником США. Два других постоянных члена ООН – Великобритания и Франция на встрече в верхах 27 марта 2008 г. сделали следующее совместное заявление: “Мы подтверждаем поддержку кандидатур Германии, Бразилии, Индии и Японии на постоянное членство, а также на постоянное представительство Африки в Совете”.

Проблема еще и в том, что кандидаты должны выдвигаться в своих регионах. А в них царит дух несогласия, политической ревности и собственных амбиций. Италия и Нидерланды, к примеру, заявляют, что не поддержат Германию, так как в Совете уже заседают две западноевропейские страны. Звучат предложения отдать их места Евросоюзу. На первый взгляд, это было бы справедливо. На деле представительство от Евросоюза, где голосуют 28 стран, способно парализовать Совет Безопасности, потому что среди этих 28 стран редко бывает согласие. К тому же известно, что все бывшие социалистические страны находятся под подавляющим влиянием США, а государства-основатели ЕС останутся без голоса в таком важном органе, как Совет Безопасности. Кипят страсти и по другим кандидатурам: Южная Корея считает недопустимым постоянное членство в Совете Безопасности Японии; Пакистан – Индии; Аргентина и Мексика – Бразилии (там, мол, не испанский, а португальский язык). Против каждого из четырех наиболее вероятных кандидатов уже сформировались группы оппозиционеров.

Как ни трудно идет процесс реформирования ООН, есть серьезные положительные сдвиги. Определелись проблемы, противоречия, позиции государств. Выделились основные изменения и вероятные проходные кандидатуры. Достигнута согласие большинства (кроме исламских и некоторых африканских государств), что новые члены Совета Безопасности не будут обладать правом вето. Все варианты реформы ведут к сбалансированию регионального состава Совета, к ослаблению роли нынешних пяти постоянных членов Совета Безопасности и постепенному наращиванию влияния стран Востока и Юга.

* * *

Совершенствование ООН не должно ограничиваться реформой Совета Безопасности.

Финансово-экономическое крыло Организации – Всемирный банк, МВФ, ВТО должны исполнять волю не только богатых стран, как это происходит сегодня. Не разномастные “G”, а реформированный Экономический и социальный совет ООН должен бы разрабатывать новую антикризисную парадигму, в которой не будет места всевластию паразитического финансового капитала. Реформированная Организация должна руководить оздоровлением мировых финансов и всей мировой экономики. Только такая ООН может остановить тайные экономические войны, в первую очередь подковерные атаки доллара против евро.

В обновленную концепцию безопасности ООН должны быть включены ограничения на подавление экономики какой-либо страны блоками, эмбарго и репрессалиями. Это прерогатива ООН, а не каких-то до зубов вооруженных держав. Нельзя допускать без санкций ООН информационных войн с лицемерным использованием великой доктрины защиты прав человека. Так, как это ныне делает Запад. С Китаем, например, ведется неприкрытый торг. Американцы говорят китайцам – ревальвируйте юань, и мы забудем о правах человека у вас. С другой стороны, ООН должна четко обозначить те границы, за которыми правительствам не дозволено насилие над своими гражданами. В мире ныне есть десятки государств, в которых безнаказанно попирается даже право человека на жизнь.

Возьмем теперь защиту окружающей среды. Каковы первоочередные проблемы? Конечно, это изменение климата. Но не только. Это и сохранение биологических ресурсов, и защита общечеловеческого достояния, такого как Мировой океан, атмосфера, Арктика, Антарктика, космос. Разрушение этого достояния ныне бóльшая угроза для выживания человечества, чем, скажем, терроризм, пиратство и локальные войны. Но способна ли ООН заниматься такими грандиозными планами при нынешнем скудном бюджете? Он в десятки раз меньше, чем финансовые ресурсы МВФ, ВБ, ВТО и многих региональных организаций. Видимо, надо реформировать ООН так, чтобы она финансировала согласно своим планам МВФ, ВБ, ВТО. В этом случае национальные государства охотнее станут передавать некоторые свои полномочия ООН. Время для этого пришло.

В английской газете “The Guardian” (10.12.2009) сообщалось, что саммитом ООН по климату в Дании уже рулит не ООН, а Бильдербергский клуб – собрание 383 самых влиятельных финансистов и политиков, из них 128 из США. В эту газету попал секретный вариант плана – “Датский текст” – переговоров и целей по климату. Бильдербергеры уменьшают роль ООН. Контроль за сохранением климата они предлагают передать Всемирному банку. Бильдербергеры – это сетевое мировое правительство. Их штаб-квартира в Нью-Йорке располагается в помещении Фонда Карнеги, представительства которого разбросаны по всему миру, в том числе и в Москве.

Два года тому назад в январе 2008 г. генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, постоянно оглядывающийся на США, указал те области, где ООН должна совершенствоваться. Это окружающая среда, здравоохранение и безопасность. Список слишком краткий и спорный. А регулирование мировых финансов, спекулятивный и паразитический характер которых привел осенью 2008 г. к грандиозному кризису? К апрелю 2009 г. генсек ООН стал уже настойчиво указывать на недопустимость игнорирования ООН в борьбе с кризисом, который, по его словам, “выявил опасные слабости и ошибки в международной экономической системе”. Он начал выступать как убежденный сторонник радикальных реформ. Разве это не крамола с позиции англосаксонского неолиберализма – заявлять, что “упала, скромно говоря, вера в финансовое и рыночное саморегулирование... Очевидна необходимость в эффективном международном регулировании и контроле”? Зато генсека поддержали многие ведущие экономисты, например, нобелевский лауреат И. Стиглиц, который настаивает на “создании адекватных международных институтов для управления глобализацией: иначе будет беда”. Генсек ООН считает, что “система ООН, созданная в 1944 г. в Бреттон-Вудсе, с ее универсальным членством, должна быть в полной мере вовлечена в процесс реформирования [мировых финансов]”.

Кризис заставил и главу католической церкви папу Бенедикта XVI опубликовать третью энциклику “Caritas in Veritate” (“Благотворительность в Истине”), в которой он – признанный во всем мире теолог – обращает взоры на ООН. “ООН, – считает папа, – должна стать подлинной политической властью в мире, с крепкими зубами для того, чтобы управлять глобальной экономикой, которая должна основываться на этике Божественного откровения”.

Эти постулаты понтифика были опубликованы в июле 2009 г., в те дни, когда в Италии проходила встреча G-8. Отмечу попутно, что среди тех задач, которыми, по мнению папы, мир должен незамедлительно заняться, на первый план выдвигается “регулирование международной миграции”, связанной в первую очередь с нехваткой пресной воды. Напомню, что уже 39 стран мира ввозят пресную воду (в России находится около 40% мировых ее запасов).

Энциклика папы отражает резкое полевение взглядов во всем мире. Мир отказывается от капитализма, и католическая церковь отражает накал страстей и поиски новой парадигмы развития.

Папа указывает, что беды исходят из господства свободного рынка, от этой священной коровы англосаксонской экономической мысли: “Рынок не должен быть тем местом, где сильный подавляет слабого... Труд должен быть защищен от свирепствующих сил рынка”. Крайне необходимо, чтобы “финансы вновь открыли для себя этику и не использовали изощренные инструменты для обмана тех, кто пытается делать сбережения”, – пишет он. В энциклике он вновь обращает внимание, что “аборты, контроль рождаемости, планирование семьи никогда не приведут к морально здоровому развитию”. Экономика должна быть не губительной, а жизненной, это и будет воплощением Божественной этики*.

Рынок в обществе, потерявшем нравственные ориентиры, создает культ денег. В России, к примеру, деньги стали божеством. У нас идет опаснейший разрушительный процесс перетекания криминальной рыночной экономики в криминальное рыночное общество. Государство оказалось не способным поставить заслон этому процессу. Требуется помощь православной церкви и других религий. Становится очевидным, что секуляризация церкви ныне более вредна, чем клерикализм. Надежда России в том, что отделение церкви от государства ни обществом, ни властями более не рассматривается как запрет влиять на людей. Отделение церкви – это разделение в симфонии мирской и духовной властей. Сказано – Богу богово, кесарю кесарево.

Взгляды католической церкви оказались много левее и справедливее того, что предлагает западная государственная элита. Это особенно видно в подходе к распределению общественного богатства и к социальной справедливости. В США 10% наиболее богатых зарабатывают в 7 раз больше 10% самых бедных. А Россия, в противоположность СССР, и вовсе – мировой чемпион несправедливости: богатые получают доход в 17 раз больше бедных! Я много раз писал о том, что опыт многих стран постоянно свидетельствует о том, что при таком уровне социального неравенства людей охватывают апатия и распространяются многочисленные социальные недуги (пьянство, наркомания, разврат, развал семьи и т. д.). Такие страны органически не способны не только к инновационному развитию, но даже к экспонентному линейному росту. Надо срочно уходить от гайдаровского монетаризма, возрождать планы начала, когда рынок, как в Китае, станет и в России не более чем инструментом достижения стратегических плановых целей.

В Китае считают, что его социалистическая модель развития доказала свою устойчивость и должна стать основой для реформирования мировых финансов и ООН. В мире ислама идет поиск своего пути. Здесь широко распространено мнение, что, реформируя ООН, надо исходить из того, что “капитализм такая же упадочная идеология, как и безбожный коммунизм, что спасение в исламе”**. Мусульманские ученые считают, что кризис не преодолен, что надо ждать его новых ударов, потому что корни его не удалены. Вот их логика: порочную систему, созданную преступными финансовыми мошенниками, слегка подлатали. Причем капитализм спасали с помощью социалистических по сути мер. Это национализация, массовая эмиссия денег и предоставление займов государствами. Для монетаристов эти меры были табу, они предавались анафеме, как, например, в России, бездумно копировавшей опыт США. Правительство США напечатало и роздало банкам астрономическую сумму в 12,8 триллиона ничем не обеспеченных долларов, столько же, как ВВП США в 2008 г. Но безработица не сокращается, доходы людей падают, а за ними и потребительский спрос. Что это означает? – задаются вопросом ученые на Востоке. Это значит, что правительства не добились самовоспроизводящегося роста рынков и экономики. Прекратятся государственные вливания – вновь начнутся банкротства. Более того, этот государственный до-

* Отмечу, что тема Божественной этики в хозяйственных вопросах не только на Востоке, но и на Западе стала весьма актуальной. Укажу, например, на бестселлер американского экономиста Lew Daly “God’s economy. Faith based initiatives and caring state”. 2009.

** См., например: Adnan Khan. Global economic crises – the mirage of economic recovery. Haqeeqat. Org, 6 November 2009.

пинг расстроил и те органические процессы, которые свойственны рыночной экономике. Ускоряется бег от доллара, который все большее число предпринимателей называют бомбой с часовым механизмом, в которой уже идет отсчет времени до взрыва.

Где же выход? Многие обращают свои взоры к ООН. Организация должна сделать так, чтобы вызревающая новая парадигма развития вобрала в себя то лучшее, что было в капитализме и в социализме.

Если же атлантисты остановят движение к многополюсности и утвердится Pax Americana, то ООН оттеснят на обочину мировой истории. Власть будет передана надежным структурам, таким как НАТО, Бильдербергский клуб, Трехсторонняя комиссия, ТНК и др. Они создадут сетевое мировое правительство, которое будет проводить стратегию “управляемого хаоса” и локальных войн. Примеры этой стратегии мы отчетливо видим в Ираке, Афганистане, Пакистане.

750 военных баз США, раскиданных по всему миру, превращаются в точечные терминалы, которые со временем должны будут контролировать местные власти, сеять беспорядки и междоусобицы, а потом “спасать” тонущих правителей. В случае дальнейшего обострения мирового кризиса (финансового, продовольственного, миграционного, экологического и др.) это сетевое правительство с центром в Вашингтоне не остановится перед развязыванием 3-й мировой войны. Многие конспирологи уже сообщают о планах сократить вдвое почти семимиллиардное население планеты. Реально существуют силы, которые хотят свергнуть человечество в Апокалипсис. Нынешняя ООН их не остановит.

Значительно лучшие перспективы у ООН в многополярном мире, который ныне формируется объективными процессами истории, культуры, экономики. Полюса очевидно кристаллизуются по границам цивилизаций, культур и религий. Это Китай, Индия, Россия, Латинская Америка с центром в Бразилии. Европа и Япония, как показывает кризис, тоже постепенно выходят из-под американского протектората. Новым полюсам и регионам понадобится универсальная мировая властная инстанция, наделенная полномочиями координации, сотрудничества, арбитража и контроля. Реформированная ООН будет для этого востребована.

Но все это дело последующих десятилетий, а пока необходимо защищать ООН от нападков, объяснять ее роль в мире, совершенствовать ее и систему международных соглашений и международного права. ООН должна выступать гарантом их исполнения и координировать международное сотрудничество.

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

ЖРЕЦЫ И ЖЕРТВЫ ХОЛОКОСТА

ХVI. ВОЛЬТОВА ДУГА

I

На родине Холокоста, в Польше, начиная с 1961 года и до третьего тысячелетия, я был не менее десятка раз.

Бывал и в Освенциме. Помню груды очков в музее, горы обуви, оставшиеся от узников, помню и гранитные доски перед входом. Помню и свои чувства, потому что записал их в стихах.

А в рифмованных строчках память живет надежнее, чем в бессловесных чувствах, выгорающих, ветшающих, усыхающих от бега времени и давления жизни.

За эти годы у меня сложился странный цикл стихотворений, который я назвал “Европейская хроника”, но сейчас, перечитывая ее, вижу, что это “Польская хроника”. Конечно же, в 60-е годы я был полонофилом, о чем свидетельствуют не только мои стихи, но и надпись на изданной в 1973 году в Варшаве двуязычной антологии, куда вошли стихи русских поэтов XX века, посвященные Польше. Есть в ней и два моих стихотворенья. На титульном листе антологии дарственная надпись: “Дорогому Стасику, соучастнику этой маленькой полонофильской манифестации – с благодарностью и надеждой видеть его у нас почаще.”

Анджей Дравич. Варшава, в поэтическое время 27. IX. 73”.

Литераторы Польши – поляки и евреи – помнят, кто такой Дравич. Однако в мой польский цикл вплетена и еврейская нитка, поскольку мою впечатлительную душу не могли не потрясти страшные свидетельства освенцимского музея смерти. И бронзовую доску, свидетельствующую в то время, что здесь было уничтожено “4 млн евреев”, я помню. Ну как было доверчивому славянскому сердцу не взволноваться и не написать нечто общечеловеческое на тему “за нашу и вашу свободу”? До книги “Шляхта и мы” – надо было еще дожить. И над камнями двух Варшавских восстаний – польского и еврейского – я тогда проливал искренние слезы. Иногда мне кажется, что лучше бы я не знал всего, что пришлось узнать в конце XX века о характерах и судьбах народов. И люди, и народы, оказывается, несовершенны. Как сказал Пушкин: “Любви, надежды, тихой славы недолго нежил нас обман, исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман”.

Завершение первой книги. Начало в №1–7, 9 за 2010 г.

Но все равно мне дороги мои родимые пятна, мои молодые чувства и озарения, которыми я жил в то, говоря словами Анджея Дравича, “поэтическое время”. Никто лично не виноват в том, что случилось. Прошло время, когда мы вдохновенно разбрасывали камни. Пришло время их собирать. Поэтому в заключение своей работы о жертвах и жрецах Холокоста я вспомнил о своем польском, и в то же время освенцимском, и в то же время библейском ощущении мира, которое посещало меня в лучшие годы, прожитые “в рифму”, когда “мне были новы все впечатленья бытия”.

Не все стихотворенья из этого странного цикла я печатал в своих книгах. Собрав их сейчас в единое целое из старых блокнотов, я понял, что написал эту хронику не случайно. Да и вообще поэзия дело суровое: все, что написано пером — не вырубишь топором. . .

ПОЛЬСКАЯ ХРОНИКА

1

*Я на поезде скором спешил
из Москвы в направленье Варшавы,
покидая границы державы,
где полжизни с размаху прожил.*

*Захотелось и мне посмотреть,
как сверкает чужая столица,
как торопится жить за граница,
как звучит иностранная речь.*

*Я увидел пейзажи, на взгляд,
столь же милой славянской равнины,
разве только что вместо осины
здесь все чаще каштаны шумят.*

*Да по праздникам в Кракове пьют —
не “Столичную”, а “Выборову”,
захмелеют — и песни поют,
и живут подобру-поздорову.*

*И должно быть, была хороша
сторона под названием Польша,
но случилось так странно и пошло,
что была неспокойна душа.*

*Потому что, куда бы стезя
ни вела за широкие реки,
от любимых примет, от себя
не уйти, не уехать вовеки.*

2

Пепел и алмаз

*Умирает на белом экране
для чего-то рожденный на свет
террорист с револьвером в кармане,
милый мальчик, волчонок, поэт.*

*О, как жаль, что она остается!
Две слезинки бегут по щекам...
Вот и кончено... Что остается?
Остается платить по счетам.*

*Я ведь тоже любил неуютность,
я о подвигах тоже мечтал.
Слава... странствия... родина... юность...
Как легко, как высоко витал!*

*Умирает убийца на свалке,
только я никому не судья.
Просто жалко. И девушку жалко,
и его, и тебя, и себя.*

3

*По “Гранд-отелю” бродит швед,
скушает с длинноногой шведкою.
Он, видимо, объездил свет
и утомился жизнью светскою.
Он на машине подлетел
к руинам взорванного здания
и, хлопнув дверцей, оглядел
останки польского восстания...
Так бестолково проживать —
слоняться, морщиться, покуривать,
не пропивать, не прожигать,
а просто-напросто прогуливать.
Пускай распнут! Пускай сомнут,
но есть у нации наследие,
и эти несколько минут
облагородили столетие!
Жиреет плоть, дымится снедь,
но где-то рядом в смежной области
живут поэзия и смерть,
сопротивляясь вечной пошлости!*

4

Разговор в баре

*Я сказал ему: “Гагарин”!
Я сказал: “Борьба за мир!”
И ответил англичанин:
“Лондон! Англия! Шекспир!”*

*Чтобы не угасла тема,
я вскричал без лишних слов:
“Черчилль!” — и тогда мгновенно
он парировал: “Хрущев!”*

*Стопки сдвинули со стуком,
молча выпили за жизнь
и, довольные друг другом,
улыбаясь, разошлись.*

*Слава людям знаменитым —
будь то вождь или король,
космонавтам и министрам,
кинозвездам, футболистам —
лишь бы имя, как пароль.*

*Он доволен — я доволен,
каждый при своем уме,*

*каждый, к сожаленью, волен
жить, как хочет, на земле.*

5

*Июльская желтая рожь
дышала дыханием свежим,
струился за стеклами дождь,
когда мы въезжали в Освенцим.*

*Как водится, все заросло,
бараки, пути, эшафоты,
поскольку добро или зло —
не все ли равно для природы?*

*А мы — только дети ее,
подвластные жизни и пленью...
Цветение — и забытье,
и сопротивление забвенью.*

*Нас кормит родная земля,
нам головы кружит свобода.
Мы все, к сожаленью, семья,
а как же в семье без уroda...*

*От летних обильных дождей
речная вода пожелтела,
цепочка седых журавлей
над желтой водой пролетела.*

*И чтобы среди суеты
век памяти не был короток,
мы спешили и на цветы
собрали по нескольку золотых.*

6

*Трибун, вчера произносивший речь,
сегодня сник. В его отчизне ночью
раздался гул, зашевелилась твердь,
и пустословье вылезло воочью.*

*Вы, щелкоперы и говоруны,
я видел вас на всяческих широтах.
Вас выделяет организм страны,
как слизь, — на эпохальных поворотах.*

*Грядущий пламень теплится в золе,
а слово “кровь” всегда звучит утробно...
Но что же делать, если на земле
ничто не зарождается бескровно!*

*Как пауки из выморочных слов,
вы тщитесь ради цели бесполезной
соткать бюрократический покров
над синей мглой, над животворной бездной.*

*Но грянет гром — покатится звезда,
внезапно задрожат хребты Синая —
и от словесной пыли ни следа,
и жизнь шумит, словесный прах смывая.*

7

*Гидесса — студентка с копною волос,
такая, что я покачнулся...
Но вот за витриною — гряда волос:
прическа — кощунство.*

*Полячка, что делать? — ведь жизнь коротка,
в ней всякая встреча, как чудо...
Труба крематория так высока!
Кокетство — кощунство.*

*Согбенный еврей неподвижно стоит,
и скорбь на лице, как кольчуга.
Свихнуться бы надо — стоит и молчит.
Молчанье — кощунство.*

*Художник с мольбертом рисует барак,
чтоб сплелись жизнь и искусство.
Как будто возможно! Наивный чудак...
Искусство — кощунство.*

*Турист от усталости очи закрыл,
пора бы, дружище, очнуться.
А где ты находишься, милый, забыл?
Усталость — кощунство.*

*На поле крестьянское пепел летел,
где брюква, ячмень и капуста
цвели, удобряясь останками тел...
Капуста — кощунство.*

*О эти прекрасные рифмы мои,
мои благородные чувства!
Да что говорить? — Помолчи, помолчи,
иначе — кощунство.*

8

*Почему же по центру Европы,
на пути все живое утюжа,
разрушая дома и утробы,
не промчались железные туши,
почему не проехали танки,
чтоб оставить подобие свалки,
чтоб остались разбитые камни,
да зверей одинокие тропы,
да пустое пространство на карте,
как клеймо на груди у Европы...
Почему не нашлось наказанья?
Не хватило фантазии бедной?
Но попало мне в руки сказанье
из истории ветхозаветной.*

9

*Как сказал Аврааму Господь:
— Дух растлился и рыщет по свету,
и трепещет невинная плоть,
ожидая призыва к ответу.*

*Я вчера поглядел с высоты:
ни фанатиков, ни атеистов,
разложились, живут, как скоты,
и поэтому гнев мой неистов.*

*Кто в разврате, а кто во хмелю,
кто в распутство ушел, кто в крамолу.
И поэтому испепелю
без пощады Содом и Гоморру!*

.....
*— Господи, — ответил Авраам, —
я согласен, мы несовершенны,
строим небоскребы и вертепы,
воздвигаем башню к облакам.*

*Благостыни недостойны мы,
все в пороках, в метинах позора.
Мало нам чумы или войны,
не хватает глада или мора.*

*Докатились. Господи, прости!
но неужто среди нас не видно,
может быть, найдется, посмотри,
ну хотя бы пятьдесят невинных.*

*Пятьдесят младенцев или жен...
Разбомбишь — и грех падет на душу... —
И, коварной логикой сражен,
Бог сказал: — Найдется — не разрушу!*

*— Но послушай! — продолжал хитрец. —
Для тебя любой заблудший дорог.
Основоположник и Отец,
ну а если нас найдется сорок?..*

*Может, в яслях, может, в детсадах
сорок невинных, душа в душу... —
Помолчавши, Бог ответил так,
очень недовольно: — Не разрушу...*

*Шла торговля, били по рукам,
то к стопам Божественным ложился,
то в припадке падал Авраам,
то в изнеможении божился
и рискнул: — А ежели один
праведник?! —*

*И, потрясая сушу,
Бог вскричал: — Так знай же, сукин сын,
и едина ради не разрушу!*

10

*Может быть, время, а может, война
женщину в черном платке истрепаала.
Не потому ли так страстно она
к каменным плитам костела припала?*

*Женщина разве сумеет понять
в мире трепещущем и разноцветном,
как совмещаются твист и Освенцим,
с чем соглашаться и что проклинать?*

*Разве успеет осмыслить она
тайну материи, сущность движенья,
если простейшей любви от рожденья
чистая истина в дар не дана?*

*Что ж, органист,
забывайся, играй,
вечность клубится под сводами храма,
пусть расплеснется она через край
из сладкогласной утробы органа!*

(1960—1964 гг.)

II

Вторым магнитным полюсом моей исторической вольтовой дуги после польского стал, как естественное продолжение трагедии Холокоста, ближневосточный арабский полюс. К тому же меня после моих “идеологических скандалов” — дискуссии “Классика и мы”, письма в ЦК о “Метрополе” и о сионизме — если и посылали от Союза писателей за границу, то чаще всего на арабский Восток — в Сирию, Ирак, Иорданию, Йемен, Алжир, Тунис. Мол, говори там, что хочешь...

А я и рад был: в чреве великих древних цивилизаций в семидесятые-восьмидесятые годы кипела живая, кровоточащая, настоящая человеческая история. Не то что в пошлой и полуживой Европе, где встречаешься с какими-нибудь славистами, мелкими диссидентами, газетными папарацци. Ближневосточная жизнь, напротив, была трагической, мощной, простонародной. В Дамаске и Багдаде, в священной для мусульман Кербале и на берегах Иордана — великого ручейка человечества, который кое-где перепрыгнуть не стоило труда, — я встречал людей, умеющих жертвовать собой во имя своего народа и с именем Бога на устах.

В одна тысяча девятьсот семьдесят восьмом году мы прилетели с кабардинцем Алимом Пшемаховичем Кешоковым в Дамаск. Отославшись после самолета в гостинице, мы утром вышли в гостиничный вестибюль и встретили высокого араба с седой шевелюрой. Он бросился к нам с распростертыми объятьями. Это был палестинский поэт Муин Бсису, с которым мы не раз встречались на ближневосточных земных широтах. Я хорошо помнил его по Тунису...

Шел съезд писателей Палестины. Мы заседали под открытым небом в каком-то парке, над президиумом под порывами ветра, налетавшего со стороны Средиземного моря, трепетало, как парус, туго натянутое полотнище, на котором в окружении двух пальмовых ветвей была оттиснута, словно зеленый наконечник копья, территория Палестины, перекрещенная двумя черными винтовками. Со стола президиума аж до самого пола свешивалось белое покрывало с нашитыми из красных букв арабской вязи словами: “Кровью напишем для Палестины”. На трибуну взлетел Муин и стал выкрикивать с нее стихи, посвященные командиру студенческого отряда, погибшему в схватке с израильтянами в ливанских горах. Рефрен стихотворенья, вызвавшего бурю рукоплесканий, мне тут же перевели:

*Я люблю сопротивление,
потому что оно — пуля в груди,
а не гвоздика в петлице.*

Поэт читал не только для живых, но и для мертвых, потому что трибуна, с которой он выступал, была обрамлена портретами палестинских писателей и журналистов, погибших в схватках за Палестину. Все они были чем-то похожи на Че Гевару; на молодых и суровых лицах лежал трагический отсвет мученической смерти и веры в победу.

В заключительный день съезда я был приглашен на торжественный праздник-банкет в отель “Хилтон”.

На эстраде пела знаменитая ливанская певица Фейруз, Муин читал стихи, посвященные ей:

*Так пой, Фейруз, для воробьев,
сидящих на решетке
моей тюрьмы.*

Но сотни палестинцев, сидящих в огромном зале отеля, смотрели не столько на легендарную Фейруз и знаменитого поэта, сколько на громадного араба, который, словно джинн из “Тысячи и одной ночи”, возвышался над всеми людьми в центре зала. Он то и дело пожимал руки, тянущиеся к нему, улыбался белозубым ртом под черной щеткой усов, чокался бокалом красного вина с поклонниками, желавшими одного – прикоснуться к нему. Принимая, как должное, признание и восторги, великан осенял всех жаждущих прикосновением своей руки, похожей на корявую ветвь ливанского кедра. Это был человек, расстрелявший команду израильских суперменов на мюнхенской Олимпиаде 1972 года.

Его звали каким-то сверхчеловеческим именем Абу – и дальше следовала цепь тотемных имен, обозначавших род, племя, семью.

Мы сидели за одним столом с Муином, и, замерев от ужаса, вызванного своими собственными словами, я вдруг сказал ему:

– Познакомь меня с ним!

Муин схватил меня за руку, и мы стали продираться сквозь горячую, влажную толпу, сквозь запахи жареного мяса, вина, пряностей и других испарений к сказочному арабу. Муин с трудом раздвинул окружение телохранителей кумира и сказал ему, что я известный русский поэт. Кумир, в черном костюме тонкого сукна, в белой рубашке, протянул мне волосатую лапу, украшенную золотыми перстнями, и моя ладонь исчезла в ней. Я задрал голову и встретился с его – нет, не глазами – а как будто двумя вставленными в глазницы холодными драгоценными камнями, не выдержал его взгляда, опустил глаза, увидел, что его шелковая рубашка широко распланирована, а грудь покрыта курчавой черной шерстью, и со страхом понял, что у него все тело покрыто таким же покровом, как у человекоподобных – у Голиафа или Гильгамеша.

Помнится мне, если я не ошибаюсь, что израильские мстители из Моссада где-то выследили его и убили через несколько лет после этого триумфа.

Через несколько дней мы взяли с собой Муина и вместе с переводчиком из посольства поехали на развалины некогда цветущего сирийского города Кунейтры, взорванного израильскими солдатами, когда они в 1974 году в ярости покидали завоеванные сирийские земли и уходили на Голанские высоты, которые, как два покатых верблюжьих горба, виднелись на горизонте.

Мы бродили по развалинам некогда цветущего города, по исковерканным взрывами бетонным плитам, перешагивали через изогнутые ржавые клубки железной арматуры, в суверенном молчанье созерцали кладбища с поваленными и раздробленными стелами, увенчанными крестами и полумесяцами. Разрушенный город, как и положено безлюдным руинам, зарастал дикой колючей травой, повиликой, жестким кустарником с глянцевыми листьями, от развалин, усыпанных лепестками цветущих яблонь, исходил запах сладкого тлена, и я вспомнил фильм об индийской гробнице, который увидел в Калуге еще во время войны и в котором меня поразили не столько приключения героев, сколько картины зарастающих тропическими лианами улиц древнего обезлюженного города. По черным базальтовым камням, из которых в Кунейтре были сложены стоявшие рядом друг с другом мечеть и христианская церковь, извиваясь своими изящными телами, носились юркие ящерицы. Время от времени, испуганные нами, с коротким шипеньем черные змейки срывались с солнцепека и ускользали в каменные щели, ввинчивались в спасительные трещины. Сирийские юноши и девушки, приехавшие поглядеть на развалины домов, где они еще недавно жили, останавливались у развалин, заходили в оскверненные мечети, в обезображенные дворы, присаживались отдохнуть в тени цветущих каштанов. Юноши были в черных брюках и белых рубашках, а девушки в синих и красных платьях. Все черноволосые, смуглые, изящные, словно выточенные статуэтки.

Алим Кешоков нагнулся, разгреб носком ботинка груды щебня и вытащил из-под него какие-то бумажные обрывки.

– Станислав, смотри, да это же страницы Библии.

Муин взял у него из рук обугленный листок плотной бумаги и прочитал несколько слов, которые пересказал переводчик:

– *“И города разрушили, и на всякий лучший участок в поле бросили каждый по камню и закидали его; и все протоки вод запрудили и все деревья лущие срубили, так что оставались только камни в Кир-Харешете”.*

– Это об израильтянах, – сказал Муин. – Четвертая книга Царств.

Ветерок, налетевший с ливанских гор, протянувшись в сиреновой дымке белой снеговой линией, освежил наши лица, мы зашли в ограду христианской церкви, выбрали под платанами тенистый пятачок и присели передохнуть. Я заглянул в церковь сквозь ржавую решетку. Увидел разбитый иконостас, поваленные каменные подсвечники, выщербленные взрывами плиты. Муин волновался. Он многое хотел рассказать нам, потому что недавно вышел с последними защитниками Бейрута из осажденного и разбитого израильской солдатней города, с автоматом в руках. С его ладоней еще не сошли пятна от оружейной стали. Рядом с ним делила все тяготы партизанской жизни его дочь – медсестра, перевязывавшая раны палестинцам. Он просто задыхался от жажды рассказать нам о последних днях бейрутских боев, и когда мы присели в тени и выпили по глотку коньяку из фляжки, предусмотрительно захваченной в путь Кешоковым, Муин посмотрел на нас своими громадными лошадиными глазами и начал читать стихи. Позже я перевел их. Стихи были о том, как он и его бывший знакомый израильтянин Даниэль стали врагами.

*Даниэль,
вспоминаю, как ты крался по палубе,
как лицо твое прожектора
вырывали из тьмы.
Ты мальчишкою крался в окрестностях Хайфы,
убежав из Освенцима
на палестинскую землю.
Палестина одела тебя
лепестками трепещущих лилий
и листьями древних оливок.
Чем же ты отплатил Палестине?
Пулей в сердце оливы.
Ты возжег не светильники из масла, а пламя пожара,
ты не шляпу надел из соломы,
а железную каску...*

Спасаясь от Холокоста, Даниэль, подобно палачу палестинского народа Менахему Бегину, убежал в Палестину.

Стихотворенье заканчивалось строками, которые до сих пор можно считать заново написанными после каждого нового всплеска палестинского сопротивления:

*Ты на древнем Синае,
или на Сирийских высотах,
или на улице Газы
будешь ждать свою смерть за мешками с песком
или за корпусом танка...*

Кабардинец Кешоков, несмотря на свои шестьдесят лет, выглядел молодцом. У него была легкая кавалерийская походка, седая голова и хорошая память.

– Где война, там и поэты, – сказал он. – Палестинские воюют за свою землю. Израильские – за свою.

Мы хлебнули еще по глотку, и Алим задумался, глядя на снеговые очертания ливанских гор. Порывы ветра, летящие с их вершин, обволакивали нас тонкими запахами цветущих роз, лепестки которых, слегка привядшие, под-

сохли, полегчали и, когда веянье ветра усиливалось, шевелились и подползали душистыми ручейками к черным, начищенным ботинкам Кешокова. А я глядел на него и представлял себе, каким он был сорок лет тому назад, черноволосый юноша в черкеске с газырями, а может быть, в простой офицерской гимнастерке, в мягких сапогах со шпорами, с автоматом через плечо, с бесшумной походкой охотника и кавалериста.

В той же Кунейтре пред тем, как возвратиться в Дамаск, я спросил Муина Бсису:

— Какая у тебя сокровенная мечта в жизни?

Он ответил не задумываясь:

— Чтобы меня похоронили в родной земле, в независимой и свободной Палестине!

Но не дожидаясь Муина до создания независимой Палестины. И до своей мечты — быть похороненным в родной земле. Он умер в изгнании, в одной из лондонских гостиниц, где жил под чужим именем с тунисским паспортом. И лишь одна из английских газет в хронике событий кратко сообщила о том, что в таком-то отеле в 207-м номере было найдено тело какого-то “тунийца”. На стене его комнаты был приколот кнопками портрет Че Гевары.

А у меня после моих скитаний по Ближнему Востоку постепенно сложился цикл стихотворений, в котором я попытался понять, почему восточноевропейские жертвы Холокоста, поселившись в Палестине, переродились в беспощадных колонизаторов и строителей “нового мирового порядка”. И конечно же, все мои чувства, которые в Польше были обращены к ним, в Ханаане я отдал соплеменникам Муина Бсису.

Некоторые из этих стихотворений я включал в свои книги 70–80-х годов. Но, собранные вместе с неопубликованными в один цикл, они обретают иную жизнь, особенно в наше время.

1

*Под небом пустынного края,
известном из Книг Бытия,
я слушал, как, в море впадая,
шумит Иордана струя.*

*Здесь каменной соли навалом,
здесь почва, как соль, солонча,
здесь стала от слез минералом
несчастливого Лота жена...*

*Тяжелое Мертвое море
насыщено солью насквозь —
в него палестинское горе
соляным раствором влилось.*

*Вода Иордана струится,
уходит под взорванный мост —
сомкнулись река и граница,
железный шлакбаум и пост.*

*Здесь наземь слетела косынка,
когда, у себя за спиной
оставив свой дом, палестинка
застыла, как столп соляной.*

*Здесь выжжены мирные нивы
на том и другом берегу,
и только плакучие ивы
цветут, как на русском лугу.*

2

Родная земля

*Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно — своею.*

Анна Ахматова

*Когда-то племя бросило отчизну,
ее пустыни, реки и холмы,
чтобы о ней веками править тризну,
о ней глядеть несбыточные сны.*

*Но что же делать, если не хватило
у предков силы родину спасти
иль мужества со славой лечь в могилы,
иную жизнь в легендах обрести?*

*Кто виноват, что не ушли в подполье
в печальном приснопамятном году,
что, зубы стиснув, не перемололи,
как наша Русь, железную орду?*

*Кто виноват, что в грустных униженьях
как тяжкий сон тянулись времена,
что на изобретеньях и прозреньях
тень первородной слабости видна?*

*И нас без вас и вас без нас убудет,
но, отвергая всех сомнений рать,
я так скажу: что быть должно — да будет! —
вам есть где жить, а нам — где умирать...*

3

*Белозубый араб восемнадцати лет,
смуглый отпрыск великих племен,
партизан и бродяга, изгой и поэт,
стал глашатаем новых времен.*

*Но политика — древнее дело мужчин,
а не юношей, вот почему
в силу этой и нескольких прочих причин
пулю в спину всадили ему.*

*Он работал связным и по древней тропе
мимо Мертвого моря спешил,
где когда-то Христос в Галилейской стране
легендарное чудо свершил.*

*Там, где огненной лавою в души лилась
речь о непротивлении злу,
вновь на камне горячая кровь запекалась,
и огонь превратился в золу.*

*Над кустом тамариска колыхается зной,
но, убийца, умерь торжество:
если юноша принят родимой землей —
то изгнания нет для него!*

4

*Когда о мировом господстве
взревнует молодой народ,
за темный бред о превосходстве
ему расплата настает.*

*Чем платит? — юностью и кровью
за угождение страстям,
за то, что силе и здоровью
дан ход по варварским путям.*

*Но если дряхлое колено
закусит те же удила —
тень вырождения и плена
ложится на его дела.*

*Так в судорожном раже старость,
своим бессильем тяготясь,
впадает в немощую ярость,
столь не похожую на страсть.*

5

*Не в родных партизанских лесах,
а среди аравийских просторов
я увидел в миндальных глазах
гнев, который понятен и дорог.*

*Палестинка, глазницы твои —
воспаленные два полукружья,
у тебя ни угла, ни сеньи
и ладони темны от оружия.*

*Чтоб сжимать автоматную сталь
в нежных пальцах — не женское дело!
Но глядишь ты в пустынную даль
чуть с прищуром, как в прорезь прицела.*

*Я без слов понимаю твой пыл,
потому что в военные годы
я ведь тоже изгнанником был
и, как ты, знаю цену свободы.*

6

*То время туманом покрыто,
когда на песок золотой
взошла босиком Афродита,
рожденная в пене морской.*

*А море шумит, как шумело,
но волны на берег несут
не чье-то прекрасное тело,
а доски, бутылки, мазут.*

*Шуришат под ногами газеты,
струится обеденный чад,
в гигантских отелях клозеты
на всем побережье урчат.*

*Где некогда влажные косы
в горсти отжимала она, —
щенок разгребает отбросы...
Но все же бормочет волна,*

*что час неизбежный настанет
и, сам своей мощи не рад,
наш род человеческий устанет
творить комфортабельный смрад.*

*Иссякнут последние недра,
вся нефть испарится до дна,
и будет последняя жертва
природою принесена...*

*Вновь на берег выйдет богиня,
но мир, погружаясь в забытье,
не вспомнит ни древнее имя,
ни тайну рожденья ее.*

7

Дамаск

*Побродил по нашему столетью,
поглядел в иные времена...
Голуби над золотой мечетью
в синем небо чертят письмена.*

*То с горчинкой, то нежданно сладок
ветер из полуденных песков.
Я люблю восточный беспорядок,
запахи жаровен и цветов.*

*Шум толпы... Торговля... Перебранка...
Но среди базарной суеты
волоокая аравитянка
вывернула грудь из-под чадры.*

*Грудь ее смугла и совершенна,
и, уткнувшись ртом в родную тьму,
человечек застонал блаженно,
присосался к счастью своему.*

*Может быть, когда-нибудь без страха
он, упрямо сжав семитский рот,
с именем отчизны и Аллаха,
как пророк, под пулями умрет.*

*Может быть, измученным собратьям
он укажет к возрожденью путь...
Спит детеныш, в слабые объятья
заклучив коричневую грудь.*

8

Разговор с покинувшим Родину

*Для тебя территория, а для меня —
это родина, сукин ты сын.
Да исторгнет тебя, как с похмелья, земля
с тяжким стоном берез и осин.*

*Я с тобою делил и надежду и хлеб,
и плохую и добрую весть,
но последние главы из Книги Судеб
ты не дал мне до срока прочесть.*

*Но я сам прозреваю, не требуя долг,
оставайся с отравой в крови.
В языке и в народе известно, что волк
смотрит в лес, как его ни корми.*

*Впрочем, волк —
это серый и сказочный зверь,
защищающий волю свою...
Все я вижу прекрасно, но даже теперь
много чести тебе воздаю.*

*Гнев за гнев, —
коль не можешь любовь за любовь —
так скитайся, как вечная тень,
ненадолго насытивший желчную кровь
исчезающий оборотень.*

9

*То угнетатели, то жертвы...
Чем объяснить и как понять,
что снова мировые ветры
их заставляют повторять
путь возвращения по кругу,
путь реформировки сил?..
Но кто к душевному недугу
их беспощадно присудил?
Сердца людей не приневолишь,
стезя затеряна в пыли...
А нужно было-то всего лишь
обжить родной клочок земли,
чтоб стал он кладбищем и домом,
чтоб был издревле защищен
не долларом и не “фантомом”,
а словом, плугом и плечом,
чтобы не тягостные мифы,
а гул работы и борьбы
да тяжкий шепот хлебной нивы
рождали музыку судьбы.*

10

*В садах голубого Туниса
был воздух душистым от роз,
от тонкого духа аниса,
от шелеста желтых мимоз.*

*Броди да вдыхай ароматы...
Но, зная задачи свои,
как роботы или солдаты,
по тропам ползли муравьи.*

*И каждый тащил в муравейник
то стройматерьялы, то снесь,
и каждый прохвост и бездельник
тотчас обрекался на смерть.*

*Чтоб не было горьких неравенств,
работали все, как один,
оставив тщеславье и зависть
разумным собратьям своим...*

*А может быть, нету лекарства
надежней от наших страстей,
чем путь муравьиного братства,
единство его челюстей.*

*Не зря муравьи пережили
всех вымерших чудищ земли,
и лапок своих не сложили,
и нравы свои соблюли.*

*Порывистый ветер пустыни
нет-нет да приносит ко мне
дыханье холмов Палестины,
плывущих в крови и в огне.*

11

*Два сына двух древних народов
такой завели разговор
о дикости древних походов,
что вспыхнул меж ними раздор.*

*Сначала я слышал упреки,
в которых, как корни во мгле,
едва шевелились истоки
извечного зла на земле.*

*Но мягкие интеллигенты
воззвали, как духов из тьмы,
такие дела и легенды,
что враз помутились умы.*

*Как будто овечью отару
один у другого угнал,
как будто к резне и пожару
вот-вот и раздастся сигнал.*

*Куда там! Не то что любовью
дышали разверстые рты,
а ржавым железом, и кровью,
и яростью до хрипоты.*

*Что было здесь правдой? Что ложью?
Уже не понять никому.
Но некая истина дрожью
прошла по лицу моему.*

*Я вспомнил про русскую долю,
которая мне суждена, —
смирять озверевшую волю,
коль кровопролитна она.*

*Очнитесь! Я старую рану
не стану при всех растравлять,*

*и как ни печально, — не стану
свой счет никому предъявлять.*

*Мы павших своих не считали,
мы кровную месть не блюли
и только поэтому стали
последней надеждой земли.*

1974—1978

Список основных источников

- 1) “Передайте об этом детям вашим”. История Холокоста в Европе. 1933—1945. М., Текст, 2000.
- 2) “Тайна Израиля”. Еврейский вопрос в русской религиозной мысли конца XIX — первой половины XX вв. СПб., София, 1993.
- 3) “Исследование Холокоста. Глобальное видение. Материалы международной Тегеранской конференции. 11—12 декабря 2006 года”. М., Алгоритм, 2007.
- 4) “Сионизм — правда и вымыслы” под общей редакцией Е. Евсеева. М., Прогресс, 1983.
- 5) Эдуард Ходос. “Между спасителем и Антихристом”. Харьков, 2005.
- 6) “Отрицание отрицания, или Битва под Аушвицем”. Составители Альфред Кох, Павел Полян. М., Три квадрата, 2008.
- 7) В. Кожин. “Великое творчество. Великая Победа”. М., Воениздат, 1994.
- 8) “Американский кабинет Иосифа Бродского”. Издательство Farrar, Straus and Giroux. 2006.
- 9) Норман Д. Финкельштейн. “Индустрия Холокоста”. М., Русский Вестник, 2002.
- 10) Ст. Куняев. “Шляхта и мы”. М., “Наш современник”, 2005.
- 11) В. Ерашов. “Коридоры смерти”. М., ПИК, 1990.
- 12) Юрген Граф. “Крах Мирового порядка”. М., Алгоритм. 2008.
- 13) “Тень Холокоста”. Материалы II Международного симпозиума “Уроки Холокоста и современная Россия”. М., 1998.
- 14) Ицхак Арад. “Холакаст”. Яд Вашем, Иерусалим. 1990.
- 15) Юрий Мухин. Евреям о расизме. М., Алгоритм, 1990. 2000.
- 16) Йохен фон Лонг. “Протоколы Эйхмана”. М., Текст, “Дом еврейской книги”, 2002 г.
- 17) Сигизмунд Мироник. “Сталинский порядок”. М., Алгоритм, 2007.
- 18) Г. В. Костырченко. “Тайная политика Сталина. Власть и Антисемитизм”. М., Международные отношения, 2001.
- 19) “Россия и евреи”. Москва, “АЗ”, 2007.
- 20) В. Бегун. “Вторжение без оружия”. М., Молодая гвардия, 1977.
- 21) Тора и духовное возрождение. Тель-Авив, Изд. Хама, 1980.
- 22) Д. Волкогонов. “Триумф и Трагедия”. АПН, 1989.
- 23) Ханна Арендт. “Банальность зла”. Эйхман в Иерусалиме”.
- 24) “Русские Амазонки”. М., 1990.
- 25) Библия.
- 26) Роже Гароди. “Основополагающие мифы израильской политики”. “Наш современник”, 1997. № 1—4.
- 27) Л. Медведко, С. Медведко. “Восток — дело близкое. Иерусалим — святое”. Грифон, 2009.
- 28) Томас Манн. “Письма”. М., Наука, 1975.
- 29) С. Баландин. “Основы научного антисемитизма”. Алгоритм, 2009.
- 30) А. Вергелис. “16 стран, считая Монако”. М., Сов. писатель, 1979.
- 31) Василий Гроссман. “Треблинский ад”. М., Воениздат, 1945.
- 32) Лев Копелев. “О правде и терпимости”. Нью-Йорк. 1982.
- 33) Василий Гроссман. “За правое дело”. Ростов-на-Дону, издательство Ростовского университета, 1989.

- 34) Арсен Мартиросян. “Трагедия 22 июня: блицкриг или измена?” М., 2007.
- 35) “Военно-исторический журнал”. 1990, № 1–12.
- 36) В. Крючков. “Личное дело”. М., 1997.
- 37) Х. Кардель. “Адольф Гитлер – основатель Израиля”. М., “Русский вестник”. 2004.
- 38) “Ахадъ Хамъ. Тайный вождь иудейский”. Берлин, 1922.
- 39) Рихард Вагнер. “Еврейство в музыке”, издание Грозмана. СПб., 1908.
- 40) Владимир (Зеев) Жаботинский. “Избранное”. Библиотека-Алия, 1978 г. Израиль.
- 41) Альфред Розенберг. “Миф XX века”. Изд. “Shildex”, Таллин, 1998.
- 42) В. Шульгин. “Что нам в них не нравится”. Изд. Хорс, СПб., 1992.
- 43) А. К. Крыленко. “Денежная держава”. М., 2002.
- 44) А. Симанович. “Распутин и евреи”, Рига, 1990.
- 45) Фридрих Ницше. “Антихристианин”. СПб., 1907.
- 46) Отто Вейнингер. “Пол и характер”. СПб., 1906.
- 47) Энциклопедия “Холокост”. М., Роспэн, 2005.
- 48) Шломо Занд. “Кто и как избрел еврейский народ”. М., 2010.

НИКОЛАЙ РЫЖКОВ

СССР И ГЕРМАНИЯ: БИТВА ЭКОНОМИК

Слово к читателям

В год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне вышло в свет большое количество различных публикаций на тему Великой войны.

В основном печатались воспоминания ветеранов, издано множество материалов по тем или иным специальным вопросам военного времени. К сожалению, доступ к печатной трибуне получили и отечественные ниспровергатели Победы.

Мои друзья и единомышленники обратились ко мне с предложением подготовить материал к этой исторической дате.

При знакомстве с публикациями мое внимание привлек тот факт, что среди них практически нет информации о формировании и функционировании военной экономики в годы Великой Отечественной войны, о деятельности тыла в то сложнейшее время. Полагаю, причина в том, что руководители государства, а также отраслей и предприятий военной экономики уже ушли в мир иной, а материалов по этой теме было не так уж и много. Первая книга председателя Госплана СССР Н. А. Вознесенского “Военная экономика Советского Союза в годы Великой Отечественной войны” вышла в свет в 1948 году. Было еще несколько фундаментальных трудов, но, за исключением книги Вознесенского, они в последние десятилетия не переиздавались и стали библиографической редкостью. Мемуары отраслевых руководителей – В. Н. Новикова, А. И. Шахурина, Д. Ф. Устинова, В. А. Малышева и других – затрагивают более узкие проблемы.

Ситуация складывалась так, что грандиозные масштабы военных действий, развернувшихся с первых дней войны, огромные потери, понесенные армией, требовали немедленных поставок на фронт огромного количества материальных средств: вооружения, боеприпасов, горючего, продовольствия, обмундирования. Перебои или срыв этих поставок грозили катастрофическими последствиями.

Требовалось максимально быстро переключить и перестроить промышленность, транспорт, сельское хозяйство на удовлетворение запросов войны.

РЫЖКОВ Николай Иванович родился в 1929 году. Окончил Уральский политехнический институт. В 1980—1985 гг. председатель Совета Министров СССР. В настоящее время член Совета Федерации.

Необходимо было произвести перестройку государственного и хозяйственного аппарата, внести глубокие изменения в систему планирования и оперативного руководства, организовать производство военной продукции на тысячах заводов и предприятий, создать единое, слаженное, быстро растущее военное хозяйство. При этом не допустить хаоса и паралича хозяйственной жизни, обеспечить рост и укрепление материальной базы для войны с мощным врагом.

Ввиду потери больших территорий пришлось решать в кратчайшие сроки целый комплекс неотложных мер по переводу всей жизни государства на военные рельсы, мобилизации материальных и духовных ресурсов для нужд фронта.

В предлагаемой читателю публикации у меня не было цели представить исчерпывающий материал по военной экономике СССР в 1941–1945 годах. Передо мной стояла более узкая задача: показать экономический потенциал СССР и Германии.

Надеюсь, что предлагаемая работа позволит объективно оценить подвиг нашего народа в борьбе с фашистской Германией.

I. Экономика фашистской Германии

С приходом к власти в Германии национал-социалистов началась подготовка экономики для ведения войны за мировое господство. В сфере промышленности преследовалась цель укрепить позиции трестов и концернов, которые в первую очередь были заинтересованы в развитии военного производства.

Общий подъем экономической деятельности, начавшийся после мирового экономического кризиса, способствовал быстрому росту промышленности и военно-экономического потенциала Германии.

Капиталовложения в германскую экономику в целом в 1935 году, по сравнению с 1932-м, увеличились примерно в 3,5 раза, а в военное производство – в 8,3 раза. В строй было введено 300 военных предприятий, в том числе 60 авиационных, 45 автомобильных и бронетанковых, 70 военно-химических, 80 артиллерийских и 15 судостроительных. Но в 1936 году курс нацистского руководства на наращивание темпов военного производства оказался под угрозой срыва, не хватало мощностей и главное – сырья.

В августе Гитлер подготовил “Меморандум о задачах четырехлетнего плана”, в котором потребовал: “...Через четыре года экономика Германии должна быть готова к войне”. Он неоднократно повторял, что решить проблему самообеспечения сырьем Германия сможет лишь в ходе борьбы за расширение своего “жизненного пространства”. В качестве главного объекта агрессии в меморандуме рассматривался богатый сырьевыми ресурсами Советский Союз. Геринг, ознакомив с содержанием этого меморандума совет министров Германии, подчеркнул, что “война с Россией неизбежна”. (Замечу попутно: это показывает несостоятельность рассуждений современных либеральных “стратегов”, утверждающих, будто Гитлер “не собирался нападать на СССР” и только подписание пакта Молотова-Риббентропа подтолкнуло его к нападению на Советский Союз.)

К началу Второй мировой войны военное производство в Германии возросло по сравнению с 1932 годом в 10 раз, а бюджетные расходы на вооружение – в 11. Темпы наращивания вооружения в Третьем рейхе в предвоенные годы почти вдвое превысили темпы вооружения Англии и Франции, вместе взятых.

По общему объему промышленной продукции Германия перед войной заняла третье место в мире. Её доля в мировом промышленном производстве достигла 13,3%, уступая только США (28,7%) и СССР (17,6%).

По сравнению с докризисным 1928 годом к началу войны система обеспечения Германии хлебом зерном увеличилась с 79% до 115%, сахаром – со 100% до 101%, мясом – с 91% до 97%, пищевым жиром – с 44% до 57%. В целом же зависимость Германии от экспорта продовольствия была на уровне 20%.

В 1939 году Германия достигла превосходства над другими странами в производстве оружия и боевой техники. Но Гитлеру было ясно, что наращивать вооружение в ходе затяжной войны за счет собственных сырьевых и люд-

ских ресурсов она не в состоянии. Поэтому военная доктрина нацистской Германии состояла в том, что необходимо одерживать “молниеносные” победы в войнах против соседей и за счет этого увеличивать экономический потенциал. Германская военная машина должна была работать по принципу “война кормит войну”.

В результате расширения агрессии в Европе с сентября 1939-го по июнь 1941 года Германии удалось значительно пополнить запас сырья для военной экономики. На службу Германии было поставлено хозяйство почти всех оккупированных ею стран Европы. Её промышленный потенциал фактически увеличился более чем в разы, а продовольственный ресурс – в 2–3 раза.

До 1941 года Германия захватила различных материалов и имущества на сумму 9 млрд фунтов стерлингов, что вдвое превышало её довоенный национальный доход. Трофейными автомашинами было обеспечено более 90 дивизий вермахта. В июне 1941 года почти 6,5 тысячи промышленных предприятий оккупированных стран Европы выполняли немецкие военные заказы. Захваченные территории также служили источником рабочей силы.

Во Франции немцы обнаружили в хранилищах запасы, необходимые для первой крупной кампании в СССР. Взимание же с этой страны оккупационных расходов обеспечило содержание армии численностью в 18 млн человек.

В результате использования материальных ресурсов и производственных мощностей захваченных европейских стран в Германии вырос жизненный уровень населения.

Наличие в распоряжении Третьего рейха к началу войны против СССР почти всего экономического потенциала Европы породило у немецкого руководства уверенность в том, что в экономическом отношении война на Востоке полностью и надежно обеспечена.

По замыслу верхушки Германии, “блицкриг” должен был решить не только военные, но и экономические проблемы войны. По их расчетам предполагалось, что при захвате вермахтом европейской части СССР в течение нескольких недель наша страна лишилась бы 60% мощностей производства боеприпасов, 70% оружия, 75% танков.

В 1940–1941 годах доля производства вооружения в валовом промышленном производстве Германии составляла 16% от всего промышленного производства. Это объясняется тем, что материальные потери вермахта в молниеносных европейских военных кампаниях были небольшими. В этой связи германское военно-политическое руководство утвердилось во мнении, что, благодаря стабильному ежемесячному выпуску нового вооружения, можно будет без перенапряжения экономики увеличивать уже имеющиеся его запасы. В среднем ежемесячно в Германии в 1941 году производилось 900 самолетов всех типов, около 200 танков, 1 750 автомобилей, 2–6 подводных лодок.

После принятия Гитлером 31 июля 1940 года решения начать войну против Советского Союза весной будущего года стала осуществляться программа производства вооружения, обеспечивающая к 1 апреля 1941 года всем необходимым 180 ударных дивизий. Программа наращивания выпуска вооружения для немецких войск, предназначавшихся для войны против СССР, была выполнена.

Для достижения значительного увеличения выпуска военной продукции была проведена рационализация управления структурными отраслями производства основных видов вооружения. Кроме того, сырьевые запасы Третьего рейха пополнились ресурсами, захваченными в оккупированной Европе.

Во Франции, Голландии и Бельгии немцы захватили около 8,8 млн тонн нефтепродуктов. Нефтепромыслы в Румынии давали ещё 5,5 млн тонн нефтепродуктов в год. Во Франции были захвачены стратегические запасы – 42 тыс. тонн меди, 27 тыс. тонн цинка и 19 тыс. тонн свинца. Из оккупированных государств немцы вывезли огромное количество оборудования и подвижного железнодорожного состава (из Франции только за первые два года оккупации – 5 тыс. паровозов и 250 тыс. вагонов).

Всё это значительно увеличивало мощность военной промышленности гитлеровской Германии. Военная продукция одних лишь чехословацких заводов “Шкода” могла снабдить многими видами вооружения около 40–45 немецких дивизий. В порабождённых ею странах (а также в Италии) Германия использовала производственные мощности автомобильной промышленности, что позволило дополнительно производить около 600 тыс. автомобилей в год.

К моменту нападения на Советский Союз почти вся Западная Европа находилась под властью Гитлера. На Западе не нашлось государства, способного противостоять агрессивным захватам империализма. Одна группа стран была подавлена немецко-фашистской армией в вооруженной борьбе, другая – без борьбы покорилась мощи гитлеровской Германии, третья – поспешила стать участницей похода фашистских орд. Такие “нейтральные” страны, как, например, Швеция, полностью поставили свою экономику на службу нацистской немецкой машине. С Турцией гитлеровская Германия за четыре дня до нападения на СССР заключила договор о дружбе, обеспечивавший южный фланг немецко-фашистских армий.

Испания объявила себя даже не “нейтральной”, а лишь “невоюющей” страной, хотя испанская “Голубая дивизия” участвовала в боях на советско-германском фронте.

Великая Отечественная война началась в условиях, выгодных для вооруженных сил фашистской Германии и не выгодных для нас.

Для пополнения рабочей силой экономики фашистского рейха были завезены с оккупированных территорий 12 млн человек. Собственные же людские ресурсы в максимальной степени направлялись на укомплектование вооруженных сил, что позволяло довести призыв до 21% от численности населения страны. В Советском Союзе призыв в Вооруженные силы в 1941–1945 году составил 19%, т. к. часть призывного контингента имела бронь – шахтеры, машинисты железнодорожного транспорта и т. д.

Кроме того, Германия мобилизовала население завоеванных стран. Так, свыше 1 млн 800 тыс. человек из числа граждан других государств и национальностей пополняли вермахт и войска СС. Из них в годы войны было сформировано 59 дивизий, 23 бригады, несколько отдельных полков, легионов и батальонов. Многие из них носили наименования по государственной и национальной принадлежности: “Валлония”, “Богемия и Моравия”, “Викинг”, “Денемарк”, “Лангемарк”, “Нордланд”, “Нидерланды”, “Фландрия”, “Шарлемань” и другие. Все эти соединения и части организационно входили в вермахт и войска СС.

Против СССР сражались и воинские формирования стран – союзниц Германии. Об этом наглядно свидетельствуют данные по числу военнопленных и их национальному составу.

Так, по донесениям фронтов и отдельных армий, обобщенным в Генеральном штабе ВС СССР, нашими войсками было пленено 4 млн 377,3 тыс. военнопленных армий противника.

В том числе: венгров – 513 767 человек, австрийцев – 156 682, чехов и словаков – 69 977, поляков – 60 280, итальянцев – 48 957, французов – 23 136 человек. Всего в плену находились солдаты, офицеры и генералы двадцати четырех национальностей.

Учитывая остроту вопроса о судьбе военнопленных, необходимо довести до сведения читателей официальные цифры.

По данным военной статистики, процент возвращенных из плена составляет 85,1%, а умерших в плену – 14,9% от всех учтенных немецких военнопленных.

Эти данные не идут ни в какое сравнение с числом советских военнопленных, погибших в немецком плену. Из 4 млн 559 тыс. советских военнослужащих, пропавших без вести и попавших в немецкий плен, вернулись на Родину только 1 млн 836 тыс. человек, или 40%, а около 2,5 млн человек (55%) погибли и умерли в плену, и только небольшая часть (около 180 тыс. человек) эмигрировала в другие страны или вернулась на Родину в обход сборных пунктов.

Гитлеровское военное командование свою главную ставку делало на внезапность нападения и “молниеносное” использование тех временных преимуществ, которыми располагала фашистская Германия. За всю историю не было армии, которая имела бы столько полностью подготовленных дивизий, танков, самолетов, минометов и автоматического стрелкового оружия, сколько имела гитлеровская армия. За два года войны в Европе возросла тактическая подготовка немецко-фашистских войск, гитлеровское военное командование приобрело опыт ведения современных военных действий с применением огромных масс танков, авиации и моторизованных войск.

К началу фашистской агрессии экономика СССР в целом находилась на мирных рельсах, и требовалось определенное время, чтобы перестроить ее

на военный лад. Красная Армия к началу войны имела на вооружении еще мало современных видов боевой техники, новых образцов самолетов, танков, автоматического оружия, противотанковых и зенитных орудий, боеприпасов. К моменту нападения на СССР военно-экономические ресурсы гитлеровского рейха примерно в 2–2,5 раза превосходили оборонно-экономические ресурсы Советского Союза.

В отличие от гитлеровской армии, воевавшей уже около двух лет, Красная Армия не обладала опытом ведения современной войны и к ее началу не была отобилизована. Советский Союз как миролюбивое государство перед войной имел на своих западных границах сравнительно ограниченные силы армий прикрытия.

II. Экономика Советского Союза

22 июня 1941 года фашистская Германия и её союзники обрушили на нашу страну внезапный удар такой страшной силы, какого еще не знала мировая история. Сражение развернулось на фронте более чем в 3,5 тысячи километров. С немецкой стороны в нём приняли участие 5,5 миллиона человек, более 47 тысяч орудий и минометов, около 4 300 танков и штурмовых орудий, до 5 тысяч боевых самолетов. На Советский Союз двинулась самая громадная в истории человечества армия. На направлениях главного удара противник имел подавляющее превосходство в силах и поэтому стал быстро продвигаться в глубь страны.

Немецкое руководство, окрыленное достигнутыми успехами, было не в состоянии правильно оценить перспективы развития войны. Подводя итоги двухнедельных боев на советско-германском фронте, оно пришло к выводу, что кампания в России будет выиграна за 14 дней. Это мнение полностью разделял и Гитлер.

Такая эйфория от блицкрига в Советский Союз была навеяна победами вермахта в 1939–1940 годах на Европейском континенте. Головокружение от успеха у верхушки нацистского руководства объясняется сроками, в течение которых были разгромлены европейские страны. Они прекратили сопротивление и сдались на милость победителя в считанные дни: Голландия – за 5 дней, Бельгия – за 18, Югославия – за 12, Греция – за 21, Норвегия – за 23, Польша – за 27, Франция – за 39 дней. Дания поставила абсолютный рекорд – она капитулировала за 24 часа. Успокаивали фашистскую верхушку и незначительные потери немецких войск. Они составили около 72 тыс. человек, а с учетом болезней и несчастных случаев всего было потеряно 97 500 человек.

Положение нашей страны в начале войны было крайне тяжелым. Необходимо было немедленно принять чрезвычайные меры по стабилизации обстановки на фронте и для спасения экономики от быстро развивавшейся войны. Особо остро встал вопрос не только как воевать, но и чем воевать.

В результате стремительного продвижения войск вермахта и захвата ими больших территорий, а также ввиду того, что значительная часть промышленности перемещалась на восток, у нас произошел резкий спад производства стратегической продукции. Ее выпуск за шесть военных месяцев 1941 года уменьшился в 1,2 раза. Проката черных металлов в декабре 1941 года было произведено в 3,1 раза меньше, чем в июне 1941 года. Производство проката цветных металлов сократилось более чем в 400 раз, шарикоподшипников – в 21 раз.

Красной Армии пришлось вести борьбу с мощным врагом, опираясь на значительно меньший военно-экономический потенциал страны, чем тот, который был к началу войны. Фронт отчаянно нуждался в поставках боевой техники, вооружения, боеприпасов. Из имевшихся в наличии на 22 июня 1941 года 22,6 тысячи танков к концу года осталось 2 100, из 20 тысяч боевых самолетов – 2 100, из 112,8 тысячи орудий – всего 12,8 тысячи, из 7,74 миллиона винтовок и карабинов – 2,24 млн.

Положение усугублялось еще и тем, что быстрое продвижение немецких войск лишило нас значительных стратегических резервов вооружения, расположенных вблизи от границ. По некоторым данным, мы потеряли одних только винтовок около 8 млн штук. В результате отобилизованные воинские части были обеспечены винтовками лишь наполовину. Безоружные бойцы должны были добывать себе оружие в бою. Результат известен, и, несмотря

на героизм воинов, людские потери были огромнейшие. Сотни тысяч попали в плен.

К сожалению, промышленность до конца первого года войны смогла произвести такое количество вооружения и боевой техники, которое покрывало потери действующей армии в стрелковом оружии лишь на 30%, в артиллерии – на 57%, танках – 27% и боевых самолетах – на 55%.

Известен такой исторический факт. В самое тяжелое время, когда фашисты стояли практически на окраине Москвы, командующий Западным фронтом Г. К. Жуков попросил И. В. Сталина срочно предоставить в его распоряжение из резерва 2 армии и 200 танков. Армии были выделены, а в танках отказано – их просто не было физически.

В создавшейся критической обстановке большую роль сыграли государственные резервы, созданные в предвоенные годы. Огромные потери в начале войны материалов, продуктов питания восполнялись в основном за счет них: за шесть месяцев 1941 года было выделено 11 368 вагонов промышленных материалов, в том числе 4 645 вагонов металлов, ферросплавов, каучука и другой продукции. В народное хозяйство и в армию было поставлено 1 003 вагона авторезины, 11 525 тыс. тонн топлива, 400 вагонов спирта, 36 тыс. вагонов продовольственных товаров.

Опыт Великой Отечественной войны показал, насколько необходима система Госрезерва страны. Из приводимых выше данных можно сделать вывод, что именно благодаря ей страна пережила самый трудный период. В послевоенное, мирное время с помощью системы Госрезерва оперативно решались проблемы, вызванные землетрясениями, стихийными бедствиями, экстремальными обстоятельствами (неурожаи и т. д.). Автор этого материала непосредственно принимал участие в деятельности этой системы, работая и на заводе, и в министерстве, и Госплане, и Совете Министров СССР. В 90-х “лихих” годах появились инициаторы ликвидации государственных резервов. Но, к счастью, у руководителей страны хватило мудрости не пойти на этот шаг. Система, пусть и не в том виде и не в таких объемах, но сохранилась.

Для того, чтобы оценить военную экономику СССР времен Великой Отечественной войны, необходимо охарактеризовать предвоенную экономику, проанализировать, с каким экономическим потенциалом мы вступили в войну с фашистской Германией.

Основой укрепления экономического потенциала Советского Союза явились огромные природно-сырьевые и людские ресурсы, большие достижения в индустриализации народного хозяйства в предвоенный период. Из общей численности населения в 194 миллионе человек к началу 1940 года в народном хозяйстве было занято около 63 миллионов. Численность рабочих и служащих с 1922-го по 1940 год возросла с 6,2 миллиона до 34 миллионов человек, из них в промышленности – с 1,9 до 13 миллионов человек.

По запасам сырья Советский Союз занимал второе место в мире. По выпуску важнейших видов промышленной продукции наша страна занимала в 1940 году 2–4-е место в мире. Развитие базовых отраслей промышленности явилось экономическим фундаментом оснащения вооруженных сил всеми видами оружия и боевой техники.

Оборонные затраты в общей сумме бюджетных расходов в СССР составили в 1939 году 26,5%, в 1940 году – 32,6%. Ассигнования на армию и военное производство в 1940 году превосходили ассигнования на промышленность в среднем в 2,2 раза, на сельское хозяйство – в 5 раз. На выпуск вооружения и снабжение войск работали не только военно-промышленные отрасли, но и предприятия около 60 других отраслей народного хозяйства.

Ввиду потери больших территорий пришлось решать в кратчайшие сроки целый комплекс неотложных мер по переводу всей жизни государства на военные рельсы. Требовалось переклочить и перестроить промышленность, транспорт, сельское хозяйство на удовлетворение запросов войны. Необходимо было произвести перестройку государственного и хозяйственного аппарата, внести глубокие изменения в систему планирования и оперативного руководства, организовать производство военной продукции на тысячах заводов и предприятий, создать единое в масштабе всей страны слаженное и быстро растущее военное хозяйство, и при этом не допустить хаоса и паралича хозяйственной жизни страны, обеспечить рост и укрепление материальной базы для войны с мощным врагом.

Потребовалась перестройка всей системы управления войсками и народным хозяйством. 23 июня была создана **Ставка Главного Командования**, (с 8 августа – **Ставка Верховного Главнокомандования**). Ее руководящую роль в исходе войны трудно переоценить. 30 июня образован Государственный Комитет Оборона (ГКО). Председателем ГКО был назначен И. В. Сталин, его заместителем – В. М. Молотов.

Государственный Комитет Оборона, как чрезвычайный орган, сосредоточил в своих руках всю полноту власти в стране. Под его руководством работали Госплан СССР, наркоматы и ведомства, хозяйственные организации, территориальные органы власти. Он осуществлял непосредственное руководство производством важнейших средств вооружений для Красной Армии: танков, самолетов, стрелкового оружия, боеприпасов, снаряжения, а также железнодорожного транспорта. В распоряжении ГКО имелся специальный институт уполномоченных, в обязанности которых входило оперативное решение вопросов, связанных с организацией и развитием производства военной продукции.

С целью повышения эффективности работы тыловых органов, обеспечения необходимой организацией тылового снабжения Вооруженных Сил СССР 28 июля 1941 года были созданы Главное управление Тыла Красной Армии и управления тыла на фронтах и в армиях, а также учреждены должности начальника Тыла Красной Армии и начальников тыла фронтов и армий.

При Бюро Совнаркома СССР был создан специальный Комитет по распределению рабочей силы, а также Комитет продовольственного и вещевого снабжения, главное управление по снабжению отраслей народного хозяйства углем, нефтью и лесом. Перестройка государственного аппарата управления сопровождалась резким сокращением штатов наркоматов, различных учреждений. Многие специалисты оттуда направлялись на заводы и фабрики.

В ГКО регулярно рассматривались результаты работы, обсуждались и решались очередные задачи военной экономики. Длительное участие в этой работе принимал Госплан СССР, ставший штабом советской военной экономики.

Первоочередной мерой руководства страны и ГКО являлось пополнение численности вооруженных сил за счет призывников из народного хозяйства. Только за первую неделю войны на военную службу призвали 5 миллионов военнообязанных, столько же, сколько находилось в составе советских Вооруженных Сил к моменту нападения Германии. Всего за годы войны мобилизация охватила огромную массу населения СССР – 29 миллионов 575 тысяч человек. Наибольшее число призванных приходилось на Российскую Федерацию – 21 миллион 187 тысяч человек, что составляло 19,2% от общей численности населения республики. По Украине этот показатель равен 12,3%, по Белоруссии – 10%. Всего же (вместе с кадровым составом ВС на 22 июня 1941 года) за время войны надели шинели 34,5 млн человек.

По данным Госкомстата СССР, к началу войны в Советском Союзе проживало 196,7 млн человек, из которых мужчин всех возрастов насчитывалось 93 млн человек. Мужское население, в свою очередь, распределялось на следующие три возрастные группы:

- мальчики моложе 18 лет – около 33% от общего числа мужского населения;
- юноши и мужчины от 18 до 50 лет (призывные возрасты) – 45%;
- мужчины старше 50 лет – 22%.

При этом среди мужчин в возрасте от 18 до 50 лет значительное число лиц по состоянию здоровья (инвалидности с детства и физическим недостаткам), судимости и отбыванию продолжительных сроков наказания за тяжкие преступления, призыву в армию и на флот не подлежали. Не подлежали призыву военнообязанные, работавшие в оборонных отраслях промышленности, на транспорте, на рудодобывающих предприятиях. Остались непризванными в 1941–1943 годах военнообязанные, оказавшиеся на оккупированных территориях Советского Союза. Таким образом, в Вооруженные Силы возможно было мобилизовать не более 35 млн военнообязанных и юношей призывного возраста.

Из населения страны была изъята многомиллионная масса самых жизнедеятельных и трудоспособных людей, равная (по тому времени) численности всего населения Дании, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Финляндии, вместе взятых.

В период Великой Отечественной войны женщины призывались в Красную Армию, Военно-Морской Флот и войска НКВД для замены мужчин в тыловых частях и в учреждениях, а также в некоторых боевых частях.

Призыв женщин осуществлялся на основании решений Государственного Комитета Оборона СССР через районные и городские военные комиссариаты по согласованию с центральными и местными советскими, партийными и комсомольскими организациями.

Годные к военной службе женщины в возрасте от 19 до 30 лет призывались и направлялись в войсковые части и учреждения, а в возрасте до 45 лет – в стационарные тыловые учреждения.

Освобождались от призыва в армию, на флот и войска НКВД женщины, обремененные семьей и беременные, а также работавшие на предприятиях оборонной промышленности, в органах НКВД и НКГБ, на железнодорожном и водном транспорте, студентки высших учебных заведений и техникумов.

В 1943 году в части ПВО направлялись женщины на укомплектование должностей военнослужащих не только обслуживающего состава, но и должностей боевых расчетов (разведчиков, орудийных номеров, номеров зенитных пулеметов, прожекторных станций, постов аэростатного заграждения и многих других).

За период Великой Отечественной войны всего было **призвано на военную службу 490 235 женщин.**

Учитывая создавшееся положение, 16 августа 1941 года был принят “Военно-хозяйственный план” на IV квартал 1941 года и на 1942 год по районам Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии.

Задачи, стоявшие перед руководством государства, были чрезвычайно сложными. До войны главные отрасли военной промышленности располагались по линии Ленинград, Москва, Тула, Брянск, Харьков, Днепропетровск. И только 18,5% от ее производственных мощностей – в Поволжье и на Урале, Сибири и на Дальнем Востоке. Значительная часть мобилизационных запасов, о чем уже говорилось выше, была сосредоточена в западных районах.

С первых же дней войны была развернута огромная работа по перебазированию производственных сил страны. Руководил ею Совет по эвакуации, председателем которого был назначен Н. М. Шверник, а его заместителями – А. Н. Косыгин и Н. Г. Первухин.

При наркоматах и в ведомствах были созданы специальные бюро и комиссии, на железнодорожных узлах и крупных станциях работали уполномоченные по эвакуации. Совет по эвакуации определял места, куда должны были перевестись предприятия, брал на учет производственные, административные, складские, учебные и другие здания, пригодные для размещения эвакуированных предприятий, давал задания НКПС по выделению необходимого числа вагонов.

Было разработано положение об эвакуации рабочих, служащих и членов их семей. Первоочередной эвакуации подлежали детские учреждения, женщины, имевшие детей, и люди преклонного возраста. Для вывоза гражданского населения в сентябре 1941 года при Совете по эвакуации было образовано специальное управление, а в местах, куда прибывали эшелоны эвакуируемых, создавались эвакуационные пункты, занимавшиеся устройством, расселением, медицинским обслуживанием и питанием покинувших свои родные места людей.

Большая нагрузка и ответственность в этом деле легла на плечи А. Н. Косыгина. Именно ему нужно отдать должное в том, что стране удалось совершить этот чрезвычайно сложный шаг.

Свыше 80% общего количества предприятий оборонной промышленности, в том числе 94% авиационных заводов и более 80% заводов по производству вооружения оказались с лета 1941 года в зоне боевых действий и прифронтовых районов.

Наркоматы некоторых ключевых отраслей промышленности были вынуждены ставить на колеса почти все свои заводы. Наркомат авиационной промышленности вывез 118 заводов, наркомат вооружения – 31 предприятие. Были демонтированы 9 основных заводов танковой промышленности, эвакуировано две трети производственных мощностей по производству пороха. Все это происходило в то время, когда фронт требовал все больше вооружения и боеприпасов. Что не удалось вывезти, было в большинстве своем уничтожено или выведено из строя.

Масштабы усилий по спасению военно-экономического потенциала носили беспрецедентный характер, аналогов которым не было в мировой истории. Трудности этой работы обуславливались ее гигантским объемом, предельно сжатыми сроками выполнения, яростными попытками противника сорвать эвакуацию. Несмотря на это, перемещение производительных сил страны произошло в целом слаженно и в намеченные сроки – из прифронтовой зоны во второй половине 1941 года были перебазированы 1 523 промышленных предприятия. Одновременно в тыл перевозились запасы зерна и продовольствия, десятки тысяч тракторов и сельскохозяйственных машин.

Эвакуация потребовала невиданного напряжения сил. Она стала поистине народным подвигом. Перебазирование производительных сил на восток – одна из ярчайших страниц Великой Отечественной войны: была эвакуирована целая индустриальная держава. Там, на необжитых местах, часто под открытым небом, станки буквально с железнодорожных платформ сразу же пускались в работу.

Для функционирования экономики в чрезвычайных условиях военного времени важное значение имели трудовые ресурсы. В связи с мобилизацией в армию многомиллионного контингента военнообязанных и оккупацией противником всех западных районов страны численность рабочих и служащих в народном хозяйстве уже осенью 1941 года сократилась до 26,6 миллиона.

Во всех отраслях промышленности были введены обязательные сверхурочные часы, продолжительность рабочего дня увеличена до 11 часов, отменены отпуска. Военные и многие другие предприятия переводились на круглосуточный режим работы. Для пополнения рабочей силы были мобилизованы массы трудоспособного городского населения.

Военные отрасли индустрии обеспечивались кадрами в первоочередном порядке как за счет пополнения молодежью в возрасте от 15 до 20 лет, так и перевода рабочих с гражданских предприятий. Резко возросла численность работающих женщин, которые заменили ушедших на фронт мужчин. На многих оборонных заводах, особенно по производству боеприпасов, количество женщин достигало 60%. Освоив самые сложные производственные профессии, они внесли огромный вклад в создание оружия для фронта.

Основной базой развертывания военно-экономического производства стали тыловые районы Российской Федерации. Здесь были сосредоточены и основные трудовые ресурсы СССР. При общем абсолютном уменьшении объемов промышленного производства в стране удельный вес российской промышленности в результате перемещения производительных сил в ее восточные районы значительно вырос.

Строительство заводов, шахт, рудников, ввод в строй доменных и мартеновских печей, прокатных станков, коксовых батарей осуществлялись в предельно сжатые сроки. Еще более высокими темпами происходил ввод в эксплуатацию эвакуированных предприятий. В 1942 году начали выпускать продукцию более 1 900 заводов, перебазированных в восточные районы страны. Всего в этих районах в 1941–1945 годах было построено и введено в строй 3 500 крупных промышленных предприятий, в том числе Норильский горно-металлургический комбинат, металлургический завод “Амурсталь”, Челябинский трубoproкатный и многие другие.

Максимальное сосредоточение национальных ресурсов на военных целях способствовало росту военно-экономического потенциала и решению важнейших стратегических задач на советско-германском фронте. Но в сложившейся обстановке Советский Союз не имел возможности полноценно решать весь комплекс внутренних народнохозяйственных проблем. Особенно острым и напряженным было экономическое положение страны с осени 1941-го и до конца 1942 года. Вражеские войска дошли до Волги и предгорий Кавказа, под оккупацией оказалась территория, где до войны проживало 88 миллионов человек. В сельском хозяйстве посевные площади под зерновыми сократились на 30–40 миллионов гектаров. Мощности легкой промышленности в 1942 году снизились по сравнению с довоенным уровнем до 48%, пищевой промышленности – до 42%, производство стройматериалов – до 26%. Были сняты с производства десятки тысяч изделий и товаров народного потребления.

Только благодаря невиданной стойкости советских людей стало возможным выполнение и перевыполнение государственных плановых заданий, обусловленных чрезвычайными обстоятельствами военного времени и бес-

компромиссной политикой решительного и безоговорочного сокрушения противника. В стране не осталось ни одного города или поселка, который бы не откликнулся на призыв “Всё для фронта, всё для победы!”.

В условиях колоссальных потерь за счет небывалого перенапряжения сил выпуск вооружения во второй половине 1941 года и первой половине 1942 года увеличился.

Вооружение и военная техника	Первое полугодие 1941 г.	Второе полугодие 1941 г.	Первое полугодие 1942 г.
Танки (тыс. штук)	1,8	4,8	11,2
Боевые самолеты (тыс. штук)	4,0	8,2	8,3
Орудия (тыс. штук)	10,0	30,0	53,6
Минометы (тыс. штук)	10,5	42,3	122,8
Пулеметы (тыс. штук)	42,8	106,2	134,1
Пистолеты-пулеметы	3,1	89,7	535,4
Винтовки и карабины (млн. штук)	0,8	1,56	2,0

В экономическом противоборстве Советского Союза с Германией все быстрее приближалось время, когда гигантская работа по перестройке народного хозяйства нашей страны на военные рельсы могла дать наибольшую отдачу. Но в середине 1942 года СССР постигли новые испытания.

В июле 1942 года положение на фронте вновь резко ухудшилось – гитлеровские войска прорвались к Волге и на Кавказ. На советской территории врагу удалось захватить ряд промышленных, энергетических, сырьевых и продовольственных ресурсов. Руководство страны вынуждено было дать указание перевести на Восток часть предприятий из угрожаемых районов.

Вторая эвакуация была значительно меньшей, чем в 1941 году. Она охватила ряд важнейших районов – от Донбасса до Северного Кавказа и Закавказья, от Воронежа до Астрахани. В течение лета и осени 1942 года было эвакуировано на Урал, в республики Средней Азии и частично в Закавказье около 8 миллионов человек, более 150 крупных предприятий и значительные запасы хлеба. Рабочие заводов Сталинграда вместе с бойцами Красной Армии героически отражали натиск врага, ремонтировали танки и другое вооружение.

Страна и армия понесли новые огромные потери в людях, вооружении, материальных ценностях. Возникший острейший кризис усугубился тем, что ряд важнейших стратегических материалов из созданных в предвоенные годы резервов оказался к этому времени в значительной степени израсходованным. Все это резко осложнило ситуацию в экономическом противоборстве с Германией.

28 июля 1942 года И. В. Сталин как нарком обороны СССР подписал приказ № 227. Ему было суждено войти в историю Советского государства военных лет в качестве одного из наиболее суровых и жестких директивных документов. И по сей день этот документ часто цитируется, вызывает неоднозначную реакцию у исследователей, ветеранов войны и простых людей. Безусловно, обстановка на фронтах требовала принятия решительных мер по наведению в войсках строгого порядка и дисциплины. Поэтому этот исторический документ необходимо оценивать в тесной связи с создавшимся положением, когда реально стоял вопрос о существовании Советского государства.

Сталин писал: “Каждый командир, красноармеец и политработник должны понять, что наши средства не безграничны. Территория Советского государства – это не пустыня, а люди – рабочие, крестьяне, интеллигенция, – наши сестры, матери, жены, братья, дети. Территория СССР, которую захватил и стремится захватить враг – это хлеб и другие продукты для армии и тыла, металл и топливо для промышленности, фабрики и заводы, снабжающие армию вооружением и боеприпасами, железные дороги. После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в

запасах хлеба. Отступить дальше значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину”.

Преодоление тяжелого кризиса, вызванного летним наступлением вермахта в 1942 году, позволило Красной Армии стабилизировать фронт и нанести врагу огромные потери. Гигантское сражение на востоке в конце 1942 года во все больших масштабах выкачивало из гитлеровского рейха колоссальные людские и материальные ресурсы.

Кадры нашей армии приобрели огромный опыт ведения современной войны. Очень важным было и то, что во второй половине 1942 года в огромных масштабах шел процесс роста мощи советской военной экономики. На фронте соотношение сил изменялось в пользу Красной Армии.

В 1943 год Советское государство вступило, имея за плечами блестящую победу под Сталинградом, положившую начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны. К этому времени уже было создано слаженное военное хозяйство СССР, укрепились новые экономические связи.

Днем и ночью в тылу ковалось оружие. Бесперывным потоком на фронт шли эшелоны с людьми, боевой техникой, боеприпасами, горючим, продовольствием. В экономическом противоборстве с Германией и ее союзниками с нашей стороны могучей движущей силой был героический труд в тылу десятков миллионов людей.

В эти годы в СССР широко осуществлялось строительство новых промышленных предприятий, что значительно усилило военно-экономический потенциал Советского государства. В гитлеровской же Германии промышленное строительство, наоборот, свертывалось. Кроме того, в результате поражений немецко-фашистских армий на советско-германском фронте Германия становилась все слабее не только в военном, но и в экономическом отношении. Объем промышленного производства систематически сокращался. Если в первый период войны фашистская Германия, используя производственные ресурсы всех оккупированных ею европейских стран, производила больше военной продукции, чем СССР, то после завершения военной перестройки народного хозяйства Советский Союз заметно превосходил Третий рейх по производству основных видов современного вооружения.

К ноябрю 1942 года силы Красной Армии и противостоящего врага стали примерно равными. И уже вскоре борьба начала протекать в новых условиях – при превосходстве Красной Армии над силами вермахта и его союзников. К концу 1942 года советские войска превосходили противника по орудиям и танкам в 1,5 раза, по боевым самолетам – в 1,3 раза. Было достигнуто и прочно удерживалось качественное преимущество в военно-техническом превосходстве над мощным врагом.

Военная промышленность обеспечила в кратчайшие сроки освоение производства и массовый выпуск модернизированных и новых видов боевой техники и оружия. Уже в начале 1943 года советские танковые соединения были в полной мере обеспечены танками Т-34. Этой грозной силе противник вынужден был противопоставить новые типы боевых машин. Так появились “тигры”, “фердинанды”, “пантеры”, а впоследствии и “королевские тигры”. Против новых немецких танков использовались 122-миллиметровые пушки и 152-миллиметровые пушки-гаубицы. Вместе с тем для успешной борьбы с “тиграми” и “фердинандами” были созданы новые мощные советские танки и самоходные артиллерийские установки, которые были вооружены 100-миллиметровыми, 122-миллиметровыми и 152-миллиметровыми пушками.

В результате количественного и качественного роста военного производства в СССР, а также огромных потерь противника на полях сражений произошло значительное изменение соотношения военной мощи СССР и фашистской Германии в пользу Советского Союза.

В подтверждение этих выводов ниже приводятся цифры, характеризующие соотношение сил на Курской дуге. Эти данные стали известны после изучения рассекреченных военных архивов обеих стран.

Отмечая огромнейшие успехи советской экономики, тем не менее следует подчеркнуть, что благодаря “тотальной мобилизации” в 1943 году гитлеровский рейх добился значительных успехов в развитии своего военно-технического потенциала. В этом году военное производство в Германии примерно

	Советские войска (фронты)	Противник (группы армий-ГА)	Соответствие сил и средств с учетом сил фронтов
Силы и средства	Центральный, Воронежский	9 и 2 армии ГА "Центр", 4 ТА и а/гр "Кемпф" ГА "Юг"	Центральный, Воронежский
Личный состав, тыс. чел.	1 336	Свыше 900	1,4:1
Орудия и минометы, шт.	19 100	Около 10 000	1,9:1
Танки и САУ (для противника — штурмовых орудий), шт.	3 444, в т. ч. легких 900	2 733, в т. ч. устаревших 360	1,2:1
Самолеты, шт.	2 172	Около 2 050	1:1

вчетверо превысило уровень 1939 года. Значение этого факта обуславливалось и тем, что Германия отдавала все больший приоритет производству средств вооруженной борьбы для континентального театра военных действий — бронетанковой технике, самолетам, артиллерийским орудиям, боеприпасам. Так, в 1943 году по сравнению с 1942 годом производство танков возросло почти в 2 раза, самолетов — более чем в 1,7 раза, орудий — более чем в 2,2 раза, минометов — в 2,3 раза. Львиная доля этой техники направлялась на советско-германский фронт.

Если вплоть до 1942 года авиационная промышленность Германии производила главным образом бомбардировщики, то после 1942 года — истребители. Танковая промышленность, производившая до 1942 года по преимуществу легкие и средние танки, перешла на производство тяжелых танков, штурмовых орудий, значительно сократив производство средних танков и вовсе прекратив производство легких.

Проведенные Германией мероприятия по совершенствованию и максимальной мобилизации материальных и людских ресурсов дали внушительные результаты по росту выпуска военной продукции, улучшились и ее качественные показатели. Недооценивать произошедшие сдвиги было нельзя. Для победы над мощным врагом тыл должен был работать так, чтобы обеспечивать постоянное нарастание превосходства над противником и по качеству, и по количеству боевой техники. Как показали дальнейшие события, экономика Германии оказалась не в состоянии работать в таком ритме. Со второй половины 1944 года в ней начался резкий спад.

В Советском Союзе 1943 год явился годом коренного перелома не только на фронтах Великой Отечественной войны, но и в работе советского тыла. Этот год ознаменовался ростом, по сравнению с 1942 годом, основных производственных фондов более чем на 11%, валовой продукции промышленности — на 17%, производства электроэнергии — на 11%, добычи угля — более чем на 23%, выплавки чугуна и стали — соответственно на 17% и 5%, выпуском самолетов — на 46%, тяжелых и средних танков — на 23%. В конце 1943 года было достигнуто превосходство в экономическом и военном плане СССР над фашистской Германией.

1944 год для нашей страны знаменателен еще тем, что был не только достигнут, но и превзойден довоенный объем выпуска промышленной продукции. Уже в октябре 1944 года промышленность СССР вышла на уровень 1940 года по объему валовой продукции.

В сложившейся народнохозяйственной структуре СССР на военные цели использовались: 57–58% национального дохода, 65–68% промышленной продукции, 24% продукции сельского хозяйства. Свыше 60% перевозок были воинскими. Удельный вес оборонных наркоматов в капитальном строительстве поднялся с 33 до 50%.

Благодаря огромному росту военного производства в СССР, а также большим потерям противника в боевой технике, в ходе военных действий уже к июлю 1943 года значительно изменилось в пользу Красной Армии соотноше-

ние основных видов вооружения на советско-германском фронте, что видно из следующих данных.

	Действующая армия СССР			Действующие силы Германии и ее союзников		
	Танки и САУ	Орудия и минометы	Боевые самолеты	Танки и штурмовые орудия	Орудия и минометы	Боевые самолеты
Июнь 1941 г.	1 475	37 500	1 540	4 300	47 200	4 980
Декабрь 1941 г.	1 954	22 000	2 238	1 940	26 800	2 830
Ноябрь 1942 г.	7 350	77 851	4 544	5 080	51 700	3 500
Июль 1943 г.	10 200	105 000	10 200	5 850	54 300	2 980

Главная задача советской военной индустрии – превзойти врага по количеству и качеству выпускаемой военной продукции при наличии меньшей по объему военно-промышленной базы, чем у Германии, – была достигнута. Военное производство в Советском Союзе в 1943 году увеличилось по сравнению с довоенным периодом в 4,3 раза, а в Германии – лишь в 2,3 раза. Рост военной экономики в СССР, превосходство в количестве и качестве производимого оружия были достигнуты в условиях, когда Германия добывала угля в 3 раза больше, чем СССР, выплавляла стали в 2,5 раза больше, примерно во столько же раз больше вырабатывала электроэнергии.

Приведенные данные еще раз говорят о том, что уровень производства современного вооружения был достигнут в СССР за счет четкой позиции руководства страны в вопросе развития военной экономики, изменения пропорций структуры экономики и высочайшей мобилизации трудовых и материальных ресурсов.

Промышленность СССР с июля 1941-го по сентябрь 1945 года выпустила 489,9 тыс. орудий, 104,4 тыс. танков и САУ, 136,8 тыс. боевых самолетов, 333,3 млн снарядов, множество стрелкового вооружения и боеприпасов.

Советский Союз произвел за годы войны значительно больше военной техники, чем фашистская Германия, США и Англия. Об этом свидетельствуют следующие данные о среднегодовом производстве боевой техники (в тыс. единиц).

	Танки и САУ	Артиллерийские орудия	Самолеты	Минометы
Советский Союз (июль 1941 — июль 1945 г.)	23,8	47,0	27,0	86,9
Германия (1941—1944 г.)	13,4	25,5	19,8	17,0
США (июль 1940 — сентябрь 1945 г.)	23,8	86,1	59,3	22,1
Англия (сентябрь 1939 — сентябрь 1945 г.)	6,0	21,8	21,4	9,1

Советская военная экономика успешно решила труднейшую задачу перевооружения Красной Армии в ходе войны. Труженики военной промышленности, героически преодолевая все трудности и лишения, в кратчайшие сроки осваивали массовый выпуск модернизированных и новых видов боевой техники и оружия.

Наряду с созданием новых мощностей по производству военной продукции, подключением к ее выпуску предприятий гражданского назначения, жесточайшей ответственностью работников тыла за выполнение заданий, важную роль в достижении экономической победы над врагом сыграл созданный в годы предвоенных пятилеток могучий научно-технический и экономический потенциал страны.

Советский Союз вступил в войну, имея почти 100-тысячную армию ученых и научных работников. Накануне Великой Отечественной войны в СССР имелось более 1800 научных учреждений, в том числе около 800 крупных научно-исследовательских институтов, оснащенных современным оборудованием. Главными направлениями работы научно-исследовательских институтов в период войны являлись непосредственная разработка проблем, связанных с созданием новой военной техники, и оказание научной помощи промышленности в мобилизации и изыскании дополнительных сырьевых ресурсов, а также способов замены дорогих и дефицитных материалов.

Неимоверно тяжелому испытанию в годы войны подвергся аграрный сектор экономики. Из-за утраты территории при отступлении Красной Армии в 1941–1942 годах общая посевная площадь СССР сократилась на 41,9%, количество колхозов и совхозов – почти на 40%. Из районов, которые были оккупированы противником, заблаговременно удалось эвакуировать более половины колхозного скота, но сохранилось его только 13%. Часть скота погибла в пути от артобстрелов и бомбежек, много животных было сдано советским воинским частям.

Материально-техническая база аграрного сектора оказалась почти разрушенной. Основную часть техники, обслуживавшей колхозы и совхозы, пришлось передать фронт. Из села почти полностью были изъяты мощные гусеничные тракторы, около 85% автомобильного парка, более 60% рабочих лошадей. В общей сложности сельское хозяйство лишилось более 54% всех своих энергетических мощностей, из которых 21,8% остались на оккупированной территории и 32,6% было передано Красной Армии.

С начала войны быстро сокращалось трудоспособное население в деревнях. В армию и промышленность в 1941–1945 годах ушло из колхозов как минимум 19,5 миллиона мужчин – хлеборобов, механизаторов, техников. На фермах и полях работать остались в основном женщины, старики и подростки.

В результате этих и других негативных факторов существенно снизилась производительность сельскохозяйственного труда. Если в промышленности за годы войны она возросла на 14%, то в колхозах, совхозах и сельскохозяйственных предприятиях она сократилась на 40%. Однако благодаря поистине героическому труду – в основном женщин – сельское хозяйство продолжало функционировать и даже наращивать в 1941–1945 годах производство зерна, мяса, молока и другой продукции.

Огромны масштабы экономического ущерба, понесенного Советским Союзом в результате нацистской агрессии. Страна лишилась трети своего национального богатства, созданного трудом многих поколений. Общая сумма народнохозяйственного ущерба в государственных ценах 1941 года составляла 679 миллиардов рублей.

Тотальным опустошениям подверглась огромная часть территории СССР: были разрушены более 1 700 городов и поселков, свыше 70 тысяч деревень, сожжено более 6 миллионов зданий, оставлены без крова 25 миллионов человек. Огромный ущерб понесли промышленность, транспорт, сельское хозяйство, система здравоохранения, образования, культуры. Разрушению подверглись более 30 тысяч промышленных предприятий, 65 тысяч километров железнодорожных путей, около 100 тысяч колхозов и совхозов, 84 тысячи школ и других учебных заведений, 40 тысяч больниц, 43 тысячи библиотек, более 400 музеев. В Германию с награбленным имуществом отправляли десятки тысяч вагонов.

После первых побед советских войск 1941–1942 года начались восстановительные работы в освобожденных городах и селах. Возрождение разрушенного войной народного хозяйства приняло широкие масштабы после сражений под Сталинградом, Курском, на Кавказе и Днепре, освобождения западных областей Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтики.

К концу войны в западных регионах СССР было восстановлено 7,7 тысячи разрушенных предприятий. С 1944 года промышленность освобожденных территорий стала давать значительную часть прироста продукции тяжелой индустрии. В течение 1945 года в Донбассе и Южном промышленном районе страны вступили в строй десятки доменных печей, мартенов, шахт.

Однако масштабы разрушений военного времени были столь велики, что для их ликвидации требовались огромные ресурсы всей страны. К концу

1945 года на освобожденной территории еще бездействовало около 70% промышленных мощностей, с большим трудом возрождалось сельскохозяйственное производство. Последствия войны, в первую очередь утрата самой жизнеспособной части населения и колоссальных материальных ценностей, намного осложнили и надолго задержали послевоенные экономические процессы в мирной жизни советского общества.

Наш народ всегда должен помнить о подвиге своих соотечественников в жесточайшие годы военного лихолетья. Не случайно один мудрый человек сказал: “Завоевать Россию можно, лишь стерев память народа”. Так не позволим – во имя павших на полях сражений – сделать это!

(Продолжение следует)

о. ВИКТОР (КУЗНЕЦОВ)

4 ОКТЯБРЯ. РАССТРЕЛ

“Когда же увидели Его архиереи и служители, то закричали: “Распни, распни Его!” Пилат говорит им: “Возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины”.

Иудеи отвечали ему: “Мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть...”.

...Игемон спросил: “Какое зло Он сотворил?” Иудеи же вопили: “Возьми, возьми, распни Его! Пусть кровь Его будет на нас и на детях наших! Только распни Его!...”

Тогда Пилат предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И неся Крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное”.

(Мф. 27, 11—33)

6 часов 30 минут. Стало светать. На Дом Советов и безоружных ополченцев, преградивших подходы к нему, было с самого начала брошено 3 тысячи солдат и офицеров, 10 танков, 80 БТР, 20 БМП, 15 БРДМ, свыше 60 БМД.

Штурм и расстрел парламента начался внезапно, без какого-либо объявления или предварительного предупреждения. Никаких предложений сдатьсь или вывести из здания женщин и детей атакующие не делали. Никаких ультиматумов о капитуляции парламенту не выдвигалось.

Послышалось поначалу непонятное тарахтенье моторов и треск, частый, отрывистый, не оставляющий сомнений: это не случайные звуки. Выглянули в окно, выходящее на стадион и здание американского посольства, расположенное за ним. Подтвердились худшие предчувствия.

Со стороны Горбатого моста и Девятинского переулка к Дому подъезжали брызжущие очередями пять БТРов.

КУЗНЕЦОВ Виктор родился в 1945 году в Москве. Окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Работал режиссером в театре им. К. С. Станиславского, на радио. Депутат Моссовета (1990—1993 гг.). Участник событий сентября-октября 1993 года. Член Союза театральных деятелей и Союза писателей России. Ныне клирик Московской епархии. Автор книг “Богослужения русским святым”, “Он выbral крест” — о воине-мученике Евгении Родионове, “Мученики нашего времени” и др. Предлагаемый читателям отрывок взят из новой книги о. Виктора “Так было. Расстрел” (М., 2010).

Вооруженные лишь плетками казаки у Горбатого моста и люди, находившиеся у палаток, залегли либо за растущими рядом деревьями, либо за прилегающими мелкими строениями. Атаковавшие первыми же очередями уложили многих из безоружных защитников баррикад и в первую очередь женщин и подростков, которые как раз готовили завтраки на кострах для продорогших защитников. Сметены палатки, шалаши, скамейки у костров...

6 часов 50 минут.

Что делать? Бежать? Куда? Команд никаких. Оружия нет. Постарались Руцкой и прочие “вожачки”, разоружили защитников, отдали почти все автоматы.

Наконец по внутренней связи, устроенной некогда для “гражданской обороны”, объявили, чтобы все собирались у Зала заседаний.

То тут, то там разлетались стекла больших окон.

Зал заседаний Совета национальностей заполнен плотно. Освещение только от нескольких свечей. Присутствующие почему-то, как в доме, где лежит покойник, тихо, едва слышно переговариваются. Почти все кашляют от простуды. Поначалу в зале не слышалось выступлений. То ли все слова уже ни к чему! То ли ждут чего-то или кого-то... Может, “президента с правительством”?.. Потом, не дождавшись, стали говорить. Но из-за отсутствия микрофонов, гула разговоров и общей подавленности их не было слышно. К тому же выступающие с трибуны всячески старались придерживаться спокойного, будничного тона. Как будто идет обычное, деловое собрание. Они нашли верный тон. Председательствовал Хасбулатов, рядом с ним С. Горячева.

8 часов 30 минут. Закончился плотный обстрел. 8-й и 20-й подъезды обстреляли из стрелкового оружия и пронесшихся смерчем БТРов.

В соседнем внешнем фойе, с большущими окнами во всю стену, примыкающем к Залу заседаний, никого нет. Ветер гоняет по полу обрывки штор. Пол весь усыпан осколками стекла и кусками от стен. Проход перегороден группой молодых людей, сгрудившихся около парня со старым ружьем в руках. Они, не отрываясь, смотрели на нижнее фойе. Это был заслон, “оборона”. Прямо скажем, весьма ненадежная. Парни ожидали и когда появятся нападающие, и когда сразят того, кто стоял с ружьем, чтобы взять его оружие и стать “грозным защитником”. Вечные святые юноши России!..

По лестнице изредка взбегали люди. Спускавшиеся шли медленно, ведя раненого или неся убитого.

Корреспондент Си-Эн-Эн нагло, при нас, продолжает вещать в портативный магнитофон, врет безбожно, ничуть никого не опасаясь. Как же, здесь – “бандиты”! Этим вот “гуманистам” – все можно! За ним – империя Лжи. Попробуй тронь! Сообщает, что “краснопресненские сидельцы” оставили первые два этажа. Наглое вранье! И второй и первый еще свободны.

9 часов 20 минут.

В зале темнота, только у некоторых теплятся свечи. Многие депутаты, сидя на своих привычных местах, поют русские песни. Им подтягивают и все собравшиеся ныне тут обитатели Дома. Это по-русски. Когда – беда, не трещать словами, и если не можешь молиться, то так вот, – грустно попеть старые, народные песни.

9 часов 30 минут. Ребята со щитами в бронежилетах поднялись с 1-го этажа на 2-й. Расстреляна маленькая демонстрация желающих пройти к Дому, к осажденным. Два парня и девушка убиты из БТРов при попытке забрать раненых.

9 часов 35 минут. Мужчина в камуфляже, снизу, со второго этажа, прикрикнул на шатающихся без толку депутатов, на 3-м этаже. Матом заставил уйти или лечь на пол. Потом, помягчев, заверил:

– Не волнуйтесь! Здесь надежные мужики собрались. Защитят вас.

Но вскоре перебежавший у простреливаемого окна очкарик снова вывел его из себя. Он вскрикнул:

– Лежать, я сказал, вдоль стен! И не бегать!..

9 часов 45 минут. Посты у центрального входа и на 2-м этаже оставлены. Передовая теперь на лестнице, ведущей на 3-й этаж, в зал заседаний, где собралась основная масса осажденных.

9 часов 50 минут. Мощный взрыв на 2-м этаже, в буфете. И вскоре за ним другой. Сильная очередь из крупнокалиберного пулемета БТР дополнила

брызгами стекол и кусками бетона, мрамора... Защитники Дома изредка отвечают отдельными выстрелами и редкими очередями из автомата.

10 часов 00 минут. С противоположной стороны, с чердаков и с крыши дома стреляют снайперы. Они отслеживают всякое передвижение в Доме, словно на будничной охоте в лесу. Хладнокровно отстреливают всякого, неосторожно переходящего у окон. Были там, как говорили потом, среди снайперов ВВ, МВД, бейтаровцев и иностранные стрелки из охотничьих клубов, которые купили билеты в Россию, как на сафари, заранее запланированную безопасную “веселую охоту” на людей, на русских, как на дичь. Приехали “поохотиться”...

10 часов 20 минут. В стороне, у стенки, примостились молодые солдаты из роты “Дзержинки”, примкнувшие к оборонявшимся. Невест как затесавшаяся сюда иностранная корреспондентка дотошно выпытывает у одного молодого солдата. Он безхитростно отвечает:

– Я службу всего месяц. Нас вчера привезли к метро “Парк культуры”. Выстроили. Мы ничего не знали. Приказали взять щиты, дубинки и выстроиться поперек моста. Тут видим: идет большая масса народа. Ну, потом началось... Нам приказали поднять щиты. Только я поднял, как на меня наперла гряда людей. Я упал. Быстро отполз. Побежал догонять своих. Мы отбежали небольшой группой, прикрываясь щитами. А машин уже нет. Одни уехали, другие уже захватывались демонстрантами. Нас бросили сбжавшие командиры. Тут нас окружили демонстранты и стали уговаривать переходить к ним, к народу. Мы и перешли.

10 часов 30 минут.

Помещение Комиссии по вероисповеданию напоминает импровизированную церковь. Самодельный иконостас, за ним – огороженное малое пространство алтаря, подсвечники. Седовласый священник Алексей Злобин, измученный и усталый, едва стоя на ногах, в полном облачении, отпевает принесенных убитых молодых защитников России.

Впечатления трагичности происходящего, хаоса, царящего вокруг, здесь не ощущается. Наоборот, возникает ощущение собранности, важности происходящего.

Если важнейшим для всей страны на тот момент был Дом Советов и то, что вокруг него и в нем происходит, то самым главным местом в нем, сердцевиной в Доме была, конечно же, самодельно сооруженная церковь. Здесь было сам Дух не временного, а вечного сопротивления злу. Вот здесь – важнейшее место. Это чувствовалось всеми. Свидетельствовало самым красноречивым образом.

В эти драматичнейшие часы это был центр, духовный штаб сотрясаемого разрывами Дома, всех собравшихся в нем. Здесь было на этот момент и главное место всего, если иметь в виду весь мир. Именно Россия в этот день, в эти часы, именно Дом Советов в Москве, именно эта церковь в нем стали связующим звеном нашей многострадальной земли с Небом. Именно здесь, как два тысячелетия назад в Иерусалиме, сошлись в битве две постоянно противоборствующие силы – добра и зла, света и тьмы.

Здесь возносилась молитва страждущих, терпящих неслыханное бедствие. Отсюда потоком шли искупительные жертвы за грехи людские. Именно из этих стен, одну за другой, сотнями забирали “связные” – ангелы – души убиенных “за други своя”. Новые граждане во множестве наполняли самую большую державу – Небесную Россию.

Едва о. Алексей закончил отпевание, как к нему ринулись парень с девушкой и стали упрашивать, умолять. Он поначалу отнекивался, указав на множество принесенных недвижимых тел. Но потом сдался и стал венчать молодых, коротким чином.

Ему едва дали дослужить. Вбежали запыхавшиеся хлопцы-казаки. Стали умолять священника пойти с ними: там друзья умирают. Надо успеть причастить их. Отец Алексей, взяв все необходимое, пошел за ними на усталых, затекших ногах.

Вот кто здесь – главный. Кто совершает по-настоящему главное дело! Священник, отец Алексей Злобин, а не какие-то там президент, спикер или министры.

11 часов 20 минут. Со всех сторон, из окружающих зданий, с крыш домов – снайперы продолжают простреливать подход и все этажи Дома. Пули

ковыряют стены, пробивают окна, разрывы снарядов вырывают большие куски стен, разносят мебель и аппаратуру в щепки.

Журналиста, который пытался выйти с белым флагом, — застрелили.

Стало уже понятно, что большинство отсюда не выйдет. Что удивительно, женщины держались мужественно и были более собранными, чем мужчины.

Снова сильный взрыв. Депутаты в темном зале продолжают тихонько петь.

11 часов 30 минут. Струхнувший Руцкой, понявший, что, как и Горбачев, он — “отработанный пар”, теперь не нужен главным дирижерам происходящего. “Мавр сделал свое дело, и — должен удалиться”. Даже лучше, если он погибнет под обломками Дома Советов. Испуганный “президент” стал суетиться. Передали по радио, как он начал кричать в микрофоны о помощи, изрыгать проклятия кровавому диктатору и его окружению. Потом, скиснув, стал просить пощады, предложил переговоры.

Ельцинисты ответили, что согласны при условии сдачи оружия, которого практически почти не было в Доме.

Клика Ельцина чего только ни выливали на осыпаемые осколками головы защитников Дома. И что те, кто здесь — наемные бандиты, которые расправляются с мирными москвичами, не щадя детей, женщин и стариков... Неужели они победят?... Это будет ужасно.

11 часов 40 минут. Сильные взрывы сотрясают здание. Танки стреляют совсем не холостыми, отнюдь не болванками, как заявляют ельцинские генералы и свора теле- и радиожурналист.

Кто-то влетает в зал и громко, испуганно спрашивает: “Кто отдавал приказ стрелять?” Ведущий заседание спокойно ему ответил: “Здесь никто никаких боевых приказов не отдает!” Вопросивший вихрем улетает.

11 часов 50 минут. Опять изредка стреляют с лестницы 2-го этажа. Командир поучает: “Если кто появится, вы в него не стреляйте. Пусть живут ребята. Они ведь подневольные. Не по своей воле сюда загнаны. Вверх стреляйте, для остротки...”

Слышно, что над Домом летают вертолеты. По радио сообщают, что с них будут высаживать десант обученных головорезов. Наступает последний этап погрома Народовластия в России.

На 2-м этаже слышна команда: “Карпов! Убитого на месте оставь. Ползи сюда сам”.

Девушка худенькая пошла к полковнику-депутату, стоящему у стены. Спрашивает: “Санитарка нужна?” Полковник грустно ей отвечает: “Спросите, кого нужно, не у меня!...”

11 часов 50 минут. Невидимый Руцкой по внутренней, громкой связи заполошно, истошно продолжает приказывать: “Не стреляя-ать!!...”

Кто-то сообщил, что расстрел показывают по телевизору через Си-Эн-Эн. Из расстрела решили сделать **зрелище**. С одной стороны, унижить, высмеять погибающих. А заодно продемонстрировать всему миру показательную порку. Вот, мол, как будет со всеми, кто будет нам сопротивляться! Какой бы значимости, известности и авторитетности ни были люди даже Высшего законодательного органа страны.

Затишье, опять же только со стороны защищающихся. Снова по динамикам дребезжит, привычная команда “президента” — не стрелять. Такие команды часто получает русский солдат. И при обороне границы в 41-м году, и сначала на Даманском, и во взбесившейся Чехословакии в 60-е годы, и в подлючем Вильнюсе; потом они зазвучат в Чечне, в роддоме распятого Буденновска, в “Норд-Осте”, в Беслане...

11 часов 55 минут. Хасбулатов, уверенный в своей личной неприкосновенности, начал с места “задушевный разговор” с собравшимися в зале: “Надежда умирает последней. Врут там все про нас. Парламентера даже убили, журналиста Терехова. Он вызвался вывесить белый флаг. Вот это называется: “Армия сохраняет нейтралитет”.

В тон ему депутат Исаков из темноты негромко, по-простому сообщил, что есть данные о том, как неизвестные воинские подразделения заходят нападающим войскам в тыл и бьют их, провоцируя тем самым ожесточение и большее кровопролитие. Потом авторитетно, погромче, чтобы дольше запомнилось, сказал: “Всем, кто останется в живых (а их будет немного), надо будет разобраться с такой, творимой незаконными властями жестокостью и вероломством”.

Депутат, генерал Тарасов (“Отчизна”) дает справку: “В самом начале нас блокировала дивизия особого назначения. Они экипированы полностью, с ними БТРы. Видели в окно, как же первый снаряд попал в палатку у здания Дома Советов. Много людей было убито, лежат теперь неподвижно”.

– Звери! – поддержал кто-то генерала.

– Первыми нападающими были бейтаровцы. На первых БТРах были надписи: “БОС” – боевая организация сионистов! – уточнил кто-то из темноты зала. И вновь в зале установилась согласная тишина.

12 часов 05 минут. Вызвали санитаров к двум парням, истекающим кровью на лестнице второго этажа.

Сообщили, что танки с моста подошли и укрепили нападающие цепи. Рукой истошно предлагает, непонятно кому, переговоры. Ему уже никто не отвечает.

По радио продолжают передавать рев Ельцина, про то, что здесь находятся одни “бандиты”. В тон ему Белла Куркова, как старая, всклокоченная сорока, верещит о том, как “наемные громилы” расправлялись вчера вечером с мирными москвичами, не щадя никого... а теперь “засели в своем логове” – Белом Доме. Не устают, врут напрапалую про осажденных, расстреливаемых здесь, и другие вещуны из демократической своры...

12 часов 10 минут. Предложено составить список депутатов (по требованию осаждающих). Для чего? Для выхода отсюда? Для “награды”? Или для учета количества убитых, качества “произведенной работы”? Для тюрем или преследований потом? Настораживает...

12 часов 15 минут. Осаждающие вновь усилили обстрел. Снова взрывы, треск очередей, грохот стекла и камней, а по громкой связи внутри Дома только и слышна маршматическая команда: “Не стрелять!...”

Удивительнейшее вещество – человеческая кровь! Сам вид и запах ее производят сильнейшее действие. Одних она ужасает, парализует, других возбуждает, пьянит.

12 часов 17 минут. Сильными взрывами снарядов проламывают стены. Все здание вздрагивает.

Спокойно по длинному балкону-переходу с опасной стороны проходит депутат Исаков. Разрывы и шелест рассыпающихся рубленых гвоздей. Но многие, стоя невдалеке, не обращают на это никакого внимания. Человек привыкает ко всему.

Один парень, смельчак, чудом поджег бутылкой БТР, тот, дымя, умчался прочь. Но парня тут же скосили три других БТРа. Двое смельчаков выбежали на открытую площадь, схватив его за руки, поволокли к Дому. Их пулеметной очередью заставили лечь. Они ползком, согнувшись, продолжают подтаскивать раненого. Это уже недалеко от 8-го подъезда, и они смогли достичь его, прежде чем БТРы, рванув, вплотную подлетели к подъезду.

В досаде БТРы, задрвав пушки, стали поливать свинцом без разбора все, что могли поразить. Затем в стену Дома вновь ударил снаряд. Отчего в стороны блестящим, сверкающим на солнце дождем низверглись новые груды стекла.

Засуетилась стайка дерзких, злых, постоянно усмешливых, а теперь бледненьких, чернявеньких пацанят и девиц, – корреспондентов демпрессы, все время, по чьему-то наущению, здесь брезгливо околачивающихся, вынюхивающих, высматривающих, воровато записывающих или наговаривающих на диктофоны клевету и издевки для НТВ, “Коммерсанта”, “Московского комсомольца”, “Эха Москвы”. Причем было заметно, что, чем хуже у нас шли дела, тем веселее они становились. Если же у нас какая-нибудь удача, они становились мрачными и озлобленными. Эх, не научились мы давать хорошего пинка кому надо. Только друг другу отвешиваем лихо.

Теперь эта шушера нерадостная. Притихли. Чего ж вы? Ваши побеждают. Пляшите! Обделались, “герои”? Глаза раскрыты, ищут помощи и защиты у всех. Они “отплатят” потом, когда благополучно, с комфортом выйдут из Дома, “отблагодарят” черной ненавистью, презрением тех, кто отдавал им последний кусок хлеба, прикрывал их, рискуя собой, от пуль и разрывов снарядов, как некая Н. Кинцуро в гнусной книжонке, изданной “Коммерсантом”.

12 часов 20 минут. 18-й и 19-й этажи горят, черный дым вырывается наружу. Вокруг носятся БТРы и из-за них орудуют наземные снайперы. Пехота не рискует сюда сунуться.

12 часов 25 минут. Мужчина с приемником поймал коротковолновую радиостанцию за пределами Дома Советов. Слышны крики передающего: “Идите все на защиту Белого Дома!!!” Спасибо, друг, но уже поздно! Сюда теперя и птичка не пролетит. Проспали. Об этом надо было взывать хотя бы вчера.

Ельциноиды требуют безусловной капитуляции. Разоружиться и сдаться. Потом они обещают всех “просеять”, грозясь разобраться с “боевиками”. Кого они сочтут таковыми – вопрос.

В окна видно, что на Бородинском мосту полно любопытствующего, глазеющего народа. Отовсюду за войсками идут массы людей. Зеваки стекаются на бесплатное зрелище. В отличие от вчерашнего потока людей, пробившихся сюда с Октябрьской, из этих никто прорываться к осажденным не собирается.

12 часов 30 минут. Загадочный демократический депутат Уражцев, организовавший прорыв и наш бросок к Дому Советов, по каким-то волнам радио призывает всех военных на помощь Дому Советов. Тоже поздно, дружок. И почему-то ты не здесь, не с нами?..

Солдаты (в милицейской форме), перешедшие на сторону осажденных, спят, притулившись вдоль стен, на полу. Съели по кусочку хлеба, выпили по стаканчику минералки, всё, что осталось из имевшегося в Доме. Сморило их. Взрывы, содрогание здания продолжают. Звон рушащихся окон, а они... спят спокойно. Вот как устали, измотались, запутались. Что с ними будет дальше? Хорошее-то вряд ли, а потому самое разумное отдохнуть, набраться сил для следующих “приключений”. Бедные русские мальчишки...

Много задремавших и в темном Зале заседаний.

12 часов 35 минут. Появились первые паникующие. Одни – тихие. Они носятся меж людьми, пристают то к одному, то к другому. Шепотом, исподтишка искушают “свежими новостями”, сообщениями и пр. Другие – буйные. Те в голос, громко призывают сдаваться, пока не поздно, стращают, прельщают прелестями того мира, что за стенами, вздрагивающими от разрывов. Находятся и те, кто их осаживает, не дает разгуляться.

Все радиостанции заняты общим – агитируют население страны “поддержать Ельцина”, “спасти страну” от “красно-коричневой заразы”. Утверждают: “Это необходимо!”, спекулируют лозунгами, расписывают “доблести” военных, расстреливающих “боевиков”, “фашистов”, засевших в Доме Советов. Призывают “встать на защиту России!” Вот подлецы! Всё перевернут с ног на голову.

12 часов 40 минут. Снизу выкрик: “Врачи есть?!”...

Нашелся какой-то инвалид. Поковылял по лестнице вниз, сменить, видно, убитого.

Хасбулатов, куря трубку, бледный, ходит между собравшихся. У него берут интервью. Подбадривая и себя и других, он сообщил, в частности: “Много москвичей идет. Бросаются под гусеницы. Те, что на бронетехнике, запрашивают командира: “Что делать?”. Им отвечает командир: “Давить! Давить!..”

12 часов 45 минут.

В Моссовете в это время идет заседание Чрезвычайной сессии. Передали, что там приняли решение о том, чтобы войска прекратили обстрел Дома Советов. Радостно было это слышать, но поздно. Декларации не помогут.

12 часов 50 минут. Хасбулатов расстегнул светлый плащ, а под ним – белый, аккуратненький бронезилет вместо манишки. Он устал отдыхает, сидя на подоконнике окна, выходящего во двор. Рядом с телохранителями, земляками – чеченцами. Сидит среди “простых” людей, собравшихся здесь. Для чего эта демонстрация?

Опять сокрушительный взрыв. Всё содрогнулось. Хорошо построено здание Дома Советов. Как крепость. Три-четыре этажа встроенных флигелей вокруг, принимающих на себя основную часть разрывов, надежно защищают основное здание, 20-этажный “стакан”. Другое строение давно бы развалилось от такой чудовищной артиллерийской атаки.

12 часов 55 минут. Парень, казак с медалью, предложил женщинам покинуть здание. Желающих оказалось немного. Одна женщина даже громко выкрикнула о несогласии. Подошли еще какие-то два дяди в штатском. Уговаривают женщин. Потом перенесли агитацию свою в Зал заседаний. Женщины-депутаты тоже отказываются уходить: “Не пойдем!.. В заложницах будем оставаться со всеми. Уйдем, как и все”.

13 часов 00 минут. Снова прибежали снизу, спрашивают в зале врачей и санитаров. Уже никто не встает. Больше их нет здесь.

13 часов 05 минут. Паникеры и паникерши множатся. Вслух тихонько и шепотом они уговаривают всех уйти. Заявляют, что никто – ни армия, ни население – не поддерживает осажденных.

13 часов 07 минут. В зале, несмотря ни на что, сохраняется хороший, стойкий дух. Продолжают красиво петь женщины: “Гори, гори, моя звезда”. Ведет это уникальное собрание-пение депутат Челноков. Ведет своеобразно. Запевает песни, одну за другой. У него густой баритон. Песни при сильных взрывах сбиваются, но потом их подхватывают вновь.

13 часов 10 минут. Видно, как некоторые корреспонденты и иностранцы с аппаратурой пытаются договориться с осаждающими, чтобы пробраться сквозь атакующее оцепление, кордоны и в то же время сохранить “жареный” дорогой материал, который они тут, порисковав немного, снимали для эффектных репортажей. “Кому война, а кому – мать родна”.

13 часов 15 минут. Чувствуется общая неопределенность. Некоторые требуют позвать “президента” Руцкого и его “министров”. Информации – никакой. Вельможные командующие непонятно чем занимаются. Каковы их действия? И есть ли они? Кому они звонят? Какова ситуация? Для чего их поставили на важные посты?.. Масса вопросов.

Штурмом брать нас не решаются. Почему? Наверняка они знают ничтожную вооруженность защитников Дома. Не происходит наступления только по двум причинам; либо трусят, боятся за свою шкуру, либо не хотят, не желают выполнять приказы преступного начальства и так вот “пассивно” саботируют их указания.

13 часов 20 минут. Снова взрыв. Сильный. Здание опять задрожало. Сообщили, что по всей Москве идут бои с манифестантами с применением огнестрельного оружия. От метро “Баррикадная” отбросили людей, желающих помочь осажденным. Есть убитые и там.

13 часов 23 минуты. Депутат И. Андронов говорит о возможности ухода пожилых, женщин и больных. Скоро будет атака. Слова, сказанные из его уст, подействовали.

13 часов 25 минут. Женщины, недужные, малолетние подростки понемногу начали уходить. Что с ними будет? Как с ними будут обращаться ельцинские звери?..

Хасбулатов так ничего вразумительного не предложил и, покурив трубочку, отдохнув среди народа, пошел к себе в кабинет. Другие начальники и не кажут себя.

Объявлено, что будет атака с вертолетов и танками.

Депутат Новик объявил, что к нам идут представители из Конституционного суда и “субъектов федерации”, для того чтобы вывести отсюда всех, кого возможно. А “кого возможно” и кого нет?

14 часов 20 минут. В Зале заседаний по-прежнему темно, многолюдно. Тихая песня, на удивление светлая – “Подмосковные вечера”, потом фатьяновские песни. Да, это люди особые. Ни паники, ни воплей, ни истерик. Спокойно встречают смерть, и мужчины и женщины. Как облеченные высокими полномочиями, которых знает вся страна, так и простые люди из ополчения, смиренно и скромно находившиеся под дождем и снегом у баррикад, в последний момент успевшие вбежать под крепкие стены Дома Советов. Полное единение всех собравшихся, готовых к самой последней и страшной участи. Вот она – единая, загадочная русская душа – одна на всех и одновременно у всех своя, особая. Вот оно – единое тело Христово, тело православного Отечества, зримо составленное здесь как из верующих, так и непросвещенных, сердцем своим чистым освятившихся духом братолюбия. Святая Русь!..

Носилок с телами у стен все прибавляется. Их несут сверху и снизу. Здесь – сердцевина здания. Здесь – восставшие против беззакония, разбоя диктатуры – народные избранники, верные защитники обобранного и униженного народа. Соль земли русской. Здесь и самое безопасное, самое многолюдное место в Доме.

Кто-то поймал по приемнику плохо слышный голос Ельцина. Разобрать ничего невозможно. Понятно только, что он торжествует, изображает из себя “миротворца”, гаранта мира и порядка.

Фрагменты опубликованных в “Комсомольской правде” милицейских радиопереговоров 4 октября:

- **Запомните, никого живым не брать!..**
- **Там одни урки собрались, там людей нет нормальных...**
- **Мы их перевешаем на каждом столбу...**
- **В “Белом доме” живых не брать...**
- **Внимание всем. Я “Пион”. Никаких пленных! Уничтожать!..**

14 часов 25 минут. В фойе Зала заседаний приносят раненых. Среди них молоденький паренек – боец с простреленной кровоточащей ногой. Сильно разворочено бедро. Видно, стреляли в него разрывными пулями. Его несут четверо, на плечах.

Группа женщин около полусотни вышла с поднятыми руками из Белого Дома.

Один парень в мегафон кричит тем, что снаружи, агитирует солдат образумиться, не выполнять преступных приказов. В ответ ему – очередь из БТР. Он, схватившись за окровавленное лицо, падает.

Наконец появилась и наша “власть”: Баранников, Дунаев, Ачалов. Стоя кучкой, в стороне от зала, в полутьме совещались о чем-то своем. Шепчутся в углу просторного фойе, не обращая внимания на окружающих. Вид у них, как у нашкодивших и не знающих, как выпутаться, вечных второгонимых. Около них топчется грозная, хорошо вооруженная охрана. Бравые крепыши! Телохранители с новенькими автоматами. Они-то вооружены очень качественно, только понапрасну. Их бы новенькие автоматы защитникам, отбивающим нас от нападающих войск!.. Явно растеряны их подопечные – “министры”.

Собравшиеся здесь осажденные люди им не нужны. Аплодисментов теперь на них не сорвешь. Интерес к избравшему их народу в “министрах” пропал. Начхать им на всех, как, собственно говоря, и до этого. Не ради блага людей они выдвигались, а теперь задвинулись обратно с высоких должностей. Чем озабочены они сверх меры теперь? Нами? Спасением нашим?.. Ждите, не дождетесь. Своей шкурой зачесавшейся раззужены. Мелькнул где-то и “президент” с командой вооруженных до зубов телохранителей. Забегали...

14 часов 30 минут. Мальчишки, неизвестно как сюда попавшие, перебегают безстрашно у брызжущих стеклами от взрывов огромных окон Дома. Они оживляют обстановку. На ходу жуют что досталось из разрушенного буфета. Довольные, для них это – “войнушка”.

Поначалу Ельцину гарантированно был подчинен состав личной охраны и кремлевского полка, а это немало – 20 тысяч. Наготове были и незаконные вооруженные структуры Боксера – Осовцова. В основе своей – это бейтаровцы, узаконенные еще Горбачевым как “культурная организация” в 89-м году и легально орудующие в России. Говорят, это около трех дивизий (!). В Москве, в сердце России! Не подпольные, а под официальной “крышей”. Три дивизии! Где же ФСБ, МВД? Так ретиво гоняющиеся и хватающие патриотов России? В эти дни эти службы показали, где они и с кем. Они вместе с бейтаровцами стреляли в те дни по одной цели – по избранным народом депутатам Верховного Совета России, по высшему законодательному органу, которому были подчинены, и по самым опасным для них – патриотам Отечества!

14 часов 35 минут. В Зале заседаний уже совсем другая атмосфера. Никакого сна, тишины или песен. Деловитая, взволнованная деятельность.

Сказали, что первая группа женщин, больных и детей из 60-ти человек вышла с поднятыми руками из Дома Советов. Их встретила озверелая толпа демоноидов. Оцепление вынуждено было защищать вышедших от этих уродов. Что с ними будет? Дойдут ли до метро?

14 часов 50 минут. В Зале снова начали петь, теперь уже в полной темноте. Последние свечи закончились. Слышна песня: “А я остаюсь с тобою”...

15 часов 10 минут. Песня смялась. Возник какой-то гул в Зале заседаний. Многие обернулись туда. Что там?

Оживевший вдруг, снова появился “министр” Баранников. Он громко представляет двоих военных, пришедших с ним. “Это из “Альфы”.

Зашептались, зашушукались в зале, глядя на странных “инопланетян”. Те, в серебристых спецкостюмах и черных больших шлемах, навороченных,

с угрожающим, на время чуть откинутым забралом – словно персонажи из фантастического фильма.

Баранников тоном умелого конферансье, подтверждая общие догадки, объявляет:

– Да, да, они из того самого, знаменитого подразделения “Альфа”. Пришли к нам с предложением. Об этом скажет вам сам старший лейтенант, – потом по-свойски предложил одному из пришедших, тому, что повыше. – Говори, Сережа.

Не спеша, “космонавты” вышли на середину президиума. Кто-то их заботливо подсвечивает фонарем, чтобы они были всем видны.

Один из них, кого Баранников по-свойски назвал “Сережей”, заявляет:

– Мы не политики. Наша работа другая. Мы были в Афгане. Брали дворец Амина, в других местах... Мы не хотим в вас стрелять. И пока не стреляли. Хотим вас вывести отсюда. Помочь уйти. Если, конечно, вы этого захотите, согласитесь сдать. Обещаем вам защиту.

Стоящие на сцене сообщили и о том, что по своей инициативе они с трудом договорились с командованием о ненападении, что покидающие здание не будут перебиты.

– На улице собралась толпа озверевших лавочников, пьяного хулиганья и оголтелых ротозеев. Чтобы они не растерзали вас, мы доведем под своим конвоем до ближайших станций метро – “Баррикадная” или “Улица 1905 года”. Либо на автобусах отправим вас по домам.

Для пущей убедительности “космонавты” напомнили о том, что готовится штурм, в том числе с применением газов и авиации. Все готово для быстрого уничтожения осажденных.

Это был – ультиматум.

После этих слов бойцы “Альфы” отошли в сторону и стали ждать общего решения.

Возникла распря. С трибуны и в зале, через микрофон и без него стали горячо обсуждать сложившуюся ситуацию и предложенный прибывшими выход. Одни были за то, чтобы не поддаваться на шантаж пришедших и до конца оставаться здесь и погнубить под разрывами и пулями или от удушения газами. Другие, высмеивая “глупую” решимость первых, настаивали на “разумной, реальной” оценке сложившейся ситуации. Они призывали к сдаче, к выходу из сотрясаемого от разрывов, горящего уже Дома Советов.

Депутат И. Андронов сказал:

– Они готовы нам помочь. Почему мы им не верим?.. Положение у нас такое – на ступенях вы видели “защиту”, у которой нет оружия, патронов. Там, за стенами, танки, войска, ОМОН. Толпы пьяного хулиганья. Здесь еще есть женщины и дети... Сейчас выбор. Или смерть – или жизнь и борьба... Она не останавливается. Съезд мы провели. Все в рамках конституционного поля. Большого теперь здесь мы больше сделать ничего не сможем. Ради сохранения своих жизней, которые нужны нашим близким, детям, на благо все той же Родины нашей, согласитесь на единственное разумное решение сейчас... .

Двое-трое на него попытались было заворчать, но не получилось.

Баранников горячо поддержал Андронova и быстро исчез. Этот “министр”, как выяснилось потом, забрал себе схему системы подземных коммуникаций, по которой можно было вывести большую часть защитников Дома Советов. Это было им утаено. Сколько бы жизней благородных людей можно было спасти!..

Женщины – защитницы Дома стали ругать примолкших депутатов:

– Напелись? Разбежаться теперь?.. А как же те, кто лежат грудями вокруг Дома Советов, которые безоружными защищали вас? Они что, напрасно полегли?.. Чтобы вы здесь несколько часов поболтали и благополучно разошлись “до будущих сражений” с кастрюлями дома?.. И эти – “начальнички” – где? Опять попрятались, молчат. Вы их понавыбирали, предателей.

Их поддержал мужчина, снова сказав о “командующих”:

– Говорят эти “генералы” с балкона красиво, зазывно. Они, эти лампасы хреновы, “министры” новоиспеченные, ничего путного и не сделали. Порядочные люди пулю в лоб себе пускают, а эти после такого охотят, уговаривают... За сколько “зеленых”? Или за то, чтобы не кончили их? “Герои” эти – Баранников, Ачалов, Дунаев с “президентом” – Руцким... .

— Они пошли штанишки свои посушить, — предложил свою версию пожилой мужчина от дверей.

На него шикнул кто-то из депутатов:

— Ну вы это!.. Не очень-то!..

— А чего? Не так, что ли?! — отважно подтвердила женщина.

— Они сейчас в посольства всякие звонят, — поддержала ее подруга по круглосуточным бдениям на улице. — Драпать отсюда в Африку или куда там захотели. — Мы остаемся, — решительно заявил безстрашный мужчина и кивнул на “космонавтов”. — А вы давайте, вон к этим, в лапы идите, под дубины и пули!

... Повсюду собирались в группы, выходили вначале женщины и пробравшиеся сюда дети. К ним подсуетились, втесались разные там лазутчики из “органов”, более полусотни случайных зевак и орава писак. За ними опять группа женщин. Процесс пошел...

16 часов 30 минут. Офицер “Альфы” вернулся с еще большим количеством своих однополчан. Их около 20–30. Теперь они держат управление происходящим, настаивают принять быстрее общее решение: “В противном случае никто не даст гарантий вам. Любого застрелят или разорвет толпа собравшихся рядом. Решайтесь!”

Явно, что командный тон “космонавтов” над осажденными — это приказ не только от их командиров, но и от предавших обороняющихся “министров” и “президента”.

Кто-то поинтересовался: “А что с нами будет после выхода из Белого дома?”. Подполковник ответил, что это не в его компетенции.

Женщина спрашивает:

— А где Руцкой, Ачалов? Где они, эти “наши”?..

Ей кто-то отвечает:

— А кто знает! Наверное, у себя. Государственные дела всё решают.

Стратеги!

Другой голос:

— Бегали тут, суетились по своим делишкам каким-то.

— Да смылись они, наверное, уже отсюда. Дома сидят, — предположил кто-то.

16 часов 40 минут. Взял слово депутат Бабурин:

— Спокойно, друзья. Решено, что будем выходить. Ничего другого не осталось. Кто хочет, кто имеет желание и возможность биться до конца, пусть остается. Честь им и хвала. Основная же масса людей здесь гражданская и мало чем могущая воевать. Жертв положено здесь — предостаточно. У всех есть семьи, родители, дети. Вы нужны им.

Выходим, соблюдая порядок. Без криков. Выбора у нас, как такового, уже нет. Нам даны немногие гарантии... Надо ими воспользоваться.

Вначале пойдут оставшиеся здесь женщины и люди преклонного возраста. Затем мы, депутаты и руководство. Потом военнослужащие, защитники Дома Советов.

Появился и “спикер” Хасбулатов. Он вышел к трибуне и, поддержав Бабурина, негромко произнес последнюю свою “тронную” речь:

— Похоже, что мы все же должны будем покинуть этот Дом. Наш идеализм получил удар. Мы за это время стали самыми твердыми сторонниками реформ, но благо не только в том, что в Российской Федерации наш принципализм вошел в норму. Да, мы наделали ошибок. И вы, и я. Их не совершают те, кто ничего не делает. К концу нашего пребывания здесь мы стали профессионально полезными. Подвели большой пласт под законность и порядок. За нами — наш народ, хоть и лгали ему про нас, а про них нам. Правда вскроется. Наш Дом стал и символом наших достижений, нашего трагического периода, может быть, последнего. Так, вероятно, суждено Всевышним. Надо пройти и путем мук.

Некоторые женщины заплакали. Депутаты и присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

С. Бабурин сказал: “Мы выполнили свой долг до конца, и не наша вина в том, что армия, войска МВД и МБ предали Конституцию и свой народ. Мы должны выходить из этого здания с гордо поднятой головой...”

Затем он зачитывает Обращение Съезда народных депутатов к гражданам России:

“Десятый (чрезвычайный) Съезд народных депутатов Российской Федерации сегодня, 4 октября 1993 г., закончил свою работу. Народные депутаты, сотрудники аппарата Верховного Совета РФ, все защитники Дома Советов России покидают охваченное пожаром здание побежденными, но не сломленными. Мы выполнили свой гражданский долг в защите Конституционного строя Российской Федерации до конца. Не наша вина в том, что Министерство безопасности, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, большинство структур исполнительной власти поддержали государственный переворот 21 сентября 1993 г. и силой подавили сопротивление защитников Конституции. Так теперь складывается судьба России.

Низкий поклон каждому, кто назвал преступление преступлением и выступил в защиту Конституционного строя России. Будущее подтвердит нашу правоту и наше безкорыстие.

Скорбим о гибели сотен людей в вооруженных столкновениях 3 и 4 октября, независимо от того, с чьей стороны они сражались. В Москве запылали пожар гражданской войны, когда брат идет на брата.

Торжествующие победители, поправшие Основной Закон, готовы изничтожить инакомыслие даже ценой Большого Трора.

Остановимся! Постараемся понять друг друга. Россия не имеет права на гражданскую войну. Миллионы наших соотечественников, погибшие в ходе революций и войн XX века, взывают об этом. Сегодня как никогда от мудрости и мужества каждого жителя России зависят жизни миллионов и мир в нашем Отечестве.

Съезд народных депутатов и Верховный Совет Российской Федерации не избежали в своей деятельности ошибок. Но все наши помыслы были направлены во благо России. Мы сделали все, что могли.

Соотечественники! Опираясь на многовековые политические, экономические, культурные традиции России, прежде всего на патриотические традиции великого русского народа, защитим будущее России, сохраним ее единство и территориальную целостность.

Десятый (чрезвычайный) съезд народных депутатов Российской Федерации.

4 октября 1993 г.

Принято при общем согласии перед выходом из здания.

Громкий голос из зала:

– Россия – не только Москва. Давайте в другом городе России работать!

Его поддержали:

– Можно!

Хасбулатов ретировался, буркнув на прощание:

– Простите меня.

И ушел с трибуны.

Видя, что массового движения в зале все-таки не происходит, вновь общее внимание занял Бабурин:

– Мы сделали всё. Не наша вина, что Ельцин, министр обороны Грачев и министр внутренних дел Ерин предали нас, предали Россию.

Депутаты проголосовали. Странники капитуляции возобладали.

Не сразу, но все свыклись с этим решением. Организовано стали готовиться к выходу...

16 часов 50 минут. Все встали, пошли в освещенное фойе. Там стали рассредоточиваться по выходам к 8-му и 20-му подъездам.

Царило некоторое оживление от того, что наконец-то неопределенность так или иначе позади. Вновь появилась надежда на благополучное завершение. Было страшно и боязно, но люди утешали друг друга. Не покидала уверенность, что есть какие-то нормы и рамки, за которые не могут переходить ни люди, ни власти. Конечно, теперь эти нормы сильно нарушились. Но упорная вера настойчиво билась: не посмеют же они расправляться так вот, “за здорово живешь”, со столькими людьми! Есть же законы, есть радио, телевидение, печать... Нормы, юридические законы, международные права... Они не позволят тем, кто вооружен и осадил здание, безчинствовать и совершать насилие над безоружными. Ведь заключенные здесь по доброй своей

воле – это же народные избранники, депутаты как-никак Верховного Совета страны!.. Это парламент!.. К тому же нам обещали! Так что нечего пугаться и паниковать. Вперед – к свободе, к дому, к близким и родным! – так успокаивали, уговаривали себя исходящие из горящего Дома.

Оживленные сборы захватили всех. Депутаты и чиновники из одних комнат сновали в другие – с бумагами, сумками на тех немногих, нижних этажах, что остались в некоторой целостности. Кто-то, переключаясь, искал знакомых, проверял содержимое карманов и сумок, чтобы ничего не забыть. По зову, по команде, к выходам пошли несколько групп осажденных.

17 часов 00 минут. Горка сложенного оружия была небольшой: с десятка пистолетов, столько же автоматов и самодельных берданок, около 10 рожков с патронами. Что это на такой Дом и на стольких бойцов?! . Уже построены люди, ничего плохого не подозревающие, записывали и диктовали друг другу адреса, телефоны. Откуда только не собрались эти прекрасные мужественные люди! Вся география страны! С Севера, с Урала, из Сибири, и с Юга – Приднестровья, и даже с Дальнего Востока услышали душой, добрались сюда, чтобы встать на защиту последнего бастиона, сдерживающего стихию беззакония, гибели страны. Люди простые, совсем далекие от политики, не имея никаких партийных чинов, каких-либо практических интересов, кроме как защитить Правду, Справедливость. Какие же они красивые! Стройные, с ясными глазами, улыбками. Цвет нации, великой страны. Соль ее. Как хорошо было около них!

18 часов 00 минут. Уже был вечер, когда бойцы “Альфы” вывели эту последнюю многочисленную группу из Дома Советов России. Люди вышли на прилегающую к Дому площадку, перед широкой лестницей, обращенной к Москве-реке. Под ногами хрустели куски стекла, крошек белого мрамора и штукатурки стен, густо покрывавших все пространство около Дома.

За рекой – гостиница “Украина”. Перед ней – сквер, а перед ним виднелись виновники сокрушительных разрывов и сотрясений Дома Советов – тяжелые танки, расположившиеся у парапета набережной, прямо напротив Дома. Еще ближе, уже на этой стороне набережной, куча БТРов и войска в амуниции, с оружием.

Задержанное подразделение защитников Дома Советов после тщательного ощупывания, осмотра конвоиры повели к сходу гранитной лестницы, где внизу, на набережной стояло около десятка автобусов с дополнительным количеством конвоиров.

Впереди защитников шел красивый, высокий, подтянутый мужчина в военной форме (не снял ее, не переделался, чтобы скрыться от расправы). Гордо, даже с вызовом, подбадривая, подавая пример соратникам, он вышагивал размашисто вперед, к гибели, понимая, что она тут, рядом.

Сети впереди расставлены, надежные, неминуемые. И, несмотря на это, широк шаг впереди идущего. Свободен, как у вольного, породистого скакуна. Не плетется, не спотыкается он и перед пропастью, о которой знает, но не робеет.

Вот она – порода России! Вот он, цвет, гордость, сила, будущее Её. Через минуты исчезнет с тела Её, покинет Её душа его прекрасная, вылетев через многочисленные пробоины пулевые из тела его ладного, здорового, сильного, которое изрешетят трусливые ничтожества в воинской амуниции, с оружием против безоружных. Труссы против храбрцев. Подлые рабы против свободнейших, благороднейших сынов России.

Долго, восхищенно смотрел на них, не в силах оторваться. Разболелась голова. Слезы сдавили горло. Горе обволокло сердце.

Еле оторвавшись взглядом от последнего парада цвета России, почти не видя ничего впереди, поплелся догонять свою группу гражданских.

“Поднимемся ли теперь когда? Сможем ли?”

Может, уже никогда. Может, уже это – последние крохи золотого фонда, природного народного замеса использованы? Может, это последние мальчики и мужчины – русаки уходят от нас в Царствие Небесное с этой грешной, оскверненной пролитой кровью патриотов столицы, расхристианской русской земли.

*Глас крови брата твоего вопиет ко Мне от земли;
И ныне проклят ты на земле, которая разверзла уста
свои, чтобы принять кровь брата твоего от руки твоей.
(Быт. 4, 10-11).*

Солнце светило прямо в лоб, все пронизывая своими лучами, ярко выявляя все вокруг: дома, облепленные поверху снайперами и зеваками; мост, пестреющий разноцветной толпой заполонивших его зрителей; войска с бронетехникой, и особенно ярко освещенную площадку перед лестницей на набережную реки – арену с жертвами. Высвечивая все до подробностей, светило как бы приглашало: “Смотрите, запоминайте все покрепче! В том числе и вашу улюлюкающую подлость, дурь и низость. Чтобы потом не вопить: “За что нам!..” И тот образчик поведения, жизни человеческой, какой вы видите перед собой на ступенях Дома Советов, по которым спускаются стройными колоннами защитники ДС и куда выводят оставшихся депутатов и граждан, примкнувших к ним, – последних защитников ваших прав и справедливости”.

Конвоиры подвели выведенных к широкой лестнице, нисходящей к Москве-реке. Повсюду – на гостинице, напротив, слева, на крыше большого дома на улице Чайковского, на мосту, перегороженном оцеплением милиции, ОМОНа и солдат, – находились большие скопления людей. Особенно на крыше дома, обширной, как внушительная арена стадиона – там просто не было свободного места. Как крыша выдерживала? Везде, отовсюду с любопытством взирали на выходящих – как на диковинных зверей, ведомых укротителями. Бедные, вышедшие по приказу из-за штор трусы. Науськанные, размахивают они теперь угрожающе палками и железками на тех, кто пытался их освободить... Так смотрели, наверное, с трибун на первых христиан, выводимых на арену Колизея, римские язычники, ротозеи, предвкушающие потеху, жаждающие кровавого зрелища. Теперь и в этих ротозеях проснулись древние, кровожадные инстинкты – посмотреть на показательное побоище непокорных. У кого-то проснулся наконец запоздалый интерес к участию в событиях. Только жаль, что много, уродливого, обывательского свойства. Вот, оказывается, в Москве сколько народа! И это только здесь. Сразу забросили все свои “важные” дела. Как же! Зрелище будет!.. Лучше, чем по “телику”. В натуральном виде. Ну, смотрите, смотрите на тех, кто за вас на гибель идет. Больше теперь таких, в таком количестве и не будет, некому будет стоять за вас. “Умельцы” хорошо “пропалаывают” Россию, бдитительно выкорчевывая из нее все живое.

Мы уходим...

Москвы сорок первого года, Сталинграда, с которых начался отпор врагу и путь к победе – не получилось. Соппротивление заглохло на первых оборотах... Жаль. Мы оставляем плацдарм. Оставляем на дальнейшее пленение страну, народ (**наш народ**)...

Мы отдаем на поругание погромщикам, оставляем Дом – храм чести, достоинства, справедливости, законности...

Мы – уходим...

Дом горел. Закопченный вверху. Сильно разбитый. Нижняя половина его, хоть и выщербленная выбоинами разной силой, была по-прежнему сахарно-белой, но верхняя половина – густо-черная. Из многих окон – чем ближе к крыше, тем больше, – вырывалось пламя, образуя общую рыжую, коптящую стену.

Воротилы “демократии” признались потом: “Если бы около Дома Советов было 70–100 тысяч людей и не было провокаций со зданиями мэрии и Останкино, расстрел Дома Советов стал бы невозможен”. Не хватило количества праведников, чтобы город и страна устояли. Этой, сотой части, Москвы не оказалось. И обильная кровь пролилась. И устои государства – рухнули.

АЛЕКСАНДР АРЦИБАШЕВ

ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

Услышим ли стон земли?

При Союзе писателей России создан Общественный совет по возрождению деревень. Идея эта возникла на Всемирном русском народном соборе в апреле 2009 года и получила поддержку на XIII съезде Союза писателей России.

В Совет вошли видные общественные деятели, депутаты Государственной Думы, писатели, журналисты, ученые, священнослужители, представители администраций всех уровней, руководители хозяйств, фермеры и другие. Задача Совета: объединить усилия государства и общества по преодолению тяжелой ситуации на селе. Как известно, за последние годы заброшено свыше 40 миллионов гектаров старопахотных земель, обанкрочены тысячи хозяйств, без работы осталось 6 миллионов крестьян, импорт продовольствия превысил 30 миллиардов долларов.

Налицо пагубная тенденция закрытия в глубинке школ, детских садов, клубов, библиотек, фельдшерских пунктов, свертывание производств и, как следствие, — отток крестьянской молодежи в города. В большинстве деревень доживают век одни старики. Редко где что-то строится. Так продолжаться долго не может. У России есть все возможности кормиться со своего стола. Назрела необходимость коренного реформирования агропромышленного комплекса с учетом изменившейся конъюнктуры на продовольственном рынке.

Не так давно прошло очередное заседание Общественного совета по возрождению деревень, на котором были обсуждены вопросы рационального использования сельскохозяйственных земель и повышения почвенного плодородия. О состоявшейся дискуссии мы попросили рассказать председателя Совета, сопредседателя Союза писателей России Александра Николаевича АРЦИБАШЕВА:

— Совершенно очевидно, что предпринимаемые правительством меры по поддержке отечественных сельхозтоваропроизводителей явно недостаточны. До сих пор не удалось выйти на объемы производства зерна, мяса, молока, другой продукции, имевшие место в 1990 году. В тяжелейшем положении такие отрасли, как животноводство, картофелеводство, овощеводство, льноводство, некоторые другие. Более половины продовольствия производят ныне личные подсобные хозяйства. В плачевном состоянии сельхозмашиностроение. В хозяйствах предпочитают приобретать импортную технику. Весьма скромны достижения аграрной науки. Шараханья из одной крайности в другую, бесконечные эксперименты с землей обескровили деревню, завели АПК, по сути, в тупик.

Закономерен вопрос: что же делать? Прежде всего разобраться с тем, как используется пашня. После принятия Госдумой закона о купле-продаже земли значительной частью крестьянских наделов завладели разного рода дель-

цы, далекие от нужд селян. Для них земля – это выгодное вложение денежных средств. Нынче купил, завтра продал. Потому-то и запустевают десятки миллионов гектаров пашни. Никто даже и не думает изымать землю у нерадивых собственников, хотя, согласно тому же закону, это вполне возможно.

Как сказал, выступая на заседании Совета, заместитель директора Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза России Виктор Езепчук, земля – это основа жизни, основа сельскохозяйственного производства. До недавнего времени мониторингом земель сельхозназначения занималась Роснедвижимость (ныне Росреестр). Информация была неполной и, понятно, никого не устраивала. Сейчас эти функции переданы министерству, что вполне закономерно. Ведь невозможно осуществлять те или иные меры по наведению порядка, не зная, в чьих руках находится земля, в каком она состоянии. Создан отдел мониторинга, определены его задачи. В настоящее время земля сельхозназначения составляют 402,3 миллиона гектаров. Из них – 115 миллионов гектаров пашни. В Минсельхоз переданы данные о сельскохозяйственной переписи, проведенной в 2006 году. Обобщаются сведения, собираемые в регионах, Роскосмосе, Росгидромете, агрохимслужбах. Нужна полная картина с землей. . .

Однако и без космических спутников в любой области можно увидеть брошенные поля, зарастающие лесом и кустарником. Что же предпринимается в законодательном плане для ужесточения ответственности за неиспользование сельхозземель по прямому назначению? Об этом рассказала начальник отдела Департамента Минсельхоза России Татьяна Арсеньева. По ее словам, есть определенные наработки в этом направлении. В частности, внесены изменения в Налоговый кодекс. Снижены пошлины на регистрацию земельных участков и долей. Принята поправка в Закон об обороте земель сельхозназначения, продлевающая еще на два года срок приведения в соответствие с Гражданским кодексом договоров аренды земельных участков, заключенных до вступления в силу этого закона. То же самое и в отношении юридических лиц по реоформлению прав постоянного бессрочного пользования земельными участками на правах аренды или собственности. На очереди – внесение поправок в еще одиннадцать федеральных законов в части совершенствования оборота земель сельхозназначения. Это и выдел земли, и наделение полномочиями органов местного самоуправления проводить общие собрания пайщиков, и механизм прекращения прав на землю в случаях, когда она не обрабатывается более двух лет, и так далее. После принятия этих поправок земельные доли будут выделены 10 миллионам собственников. Появится возможность сформировать земельные участки на площади около 107 миллионов гектаров. Еще один законопроект, призванный обеспечить сохранение и целевое использование земель государственных племенных организаций, находится на рассмотрении в Государственной Думе. В ближайшее время будут внесены поправки и в закон об ипотеке. Предлагается уточнить полномочия общего собрания дольщиков и возможность передачи земельных участков в залог. Это позволит значительно увеличить объемы инвестиций в АПК. . .

Дай-то Бог, чтобы все это поскорее воплотилось в жизнь и возымело действие на нерадивых владельцев сельхозземель. Почему-то большинство из них предпочитают оставаться в тени, не желая “засвечивать” свои приобретения. Журнал “Форбс” периодически публикует списки самых богатых людей планеты, включая российских олигархов. Было бы любопытно узнать: а кто в России владеет в огромных масштабах землей? Говорят, половину подмосковной пашни скупил всего-то с десяток толстосумов.

Довольно остро на Совете прозвучало выступление заведующего кафедрой землепользования и кадастров Государственного университета по землеустройству, доктора технических наук Анатолия Варламова. Он отметил, что с 1991 года в стране учет земель практически не ведется. Из таблицы в таблицу переписываются устаревшие данные. Отсюда неразбериха. Никто не знает качественного состояния сельхозугодий: сколько заболочено, сколько заросло лесом, сколько подвержено эрозии. Государство не владеет полной информацией о земле. Пожалуй, Россия – единственная страна в мире, где нет единого федерального органа, отвечающего за управление земельными ресурсами. Хорошо, что Министерство сельского хозяйства взяло сейчас на себя часть этих функций. Может быть, удастся наконец принять и закон об охране земель. В Земельном кодексе лишь две статьи, в которых упомина-

ется это слово. И все. Таким образом, если учесть, что государство отстранилось от проведения землеустройства, передав эти функции собственникам, и практически перестало осуществлять мониторинг (занимается лишь кадастром недвижимости, собирая налоги), то получается – плывем “без руля и без ветрил”.

Стоит ли удивляться тому, что с каждым годом масштабы деградации почв увеличиваются? Из земли выжимают все, что только можно выжать. В настоящее время в стране действует более двух тысяч федеральных и около двадцати тысяч местных законов, регулирующих земельные отношения. Теперь прикинем: можно ли в этом “море” законов и подзаконных актов найти лазейку для всевозможных манипуляций с землей? Элементарно. Погрязли по уши в бумаготворчестве, принимаются поправка за поправкой, а почему нельзя провести инвентаризацию и отразить все нюансы в едином законе, с которым работали бы землепользователи? Например, в Германии такой закон есть. Он достаточно объемный: на тысяче страниц прописаны до деталей все регламенты с землей – вплоть до того, под каким углом забивать колышки границ участков.

А что у нас? Согласно принятому в 2007 году закону о землеустройстве границы можно проводить описательным методом. Скажем, два соседа порешили считать межой дорогу, разделяющую участки. Потом один продает свою землю, а у нового хозяина возникли претензии. Начинается спор, дело доходит до суда. Каково судьям разбираться во всем этом! По оценке ряда экспертов, ежегодно в судах рассматривается до 100 тысяч конфликтных дел, связанных с землей. И этот процесс нарастает.

Вчитаемся повнимательнее в Гражданский, Земельный, Лесной, Водный кодексы. В каждом – свое толкование понятия “земельный участок”. Впрочем, как и принципы межевания. Налицо нестыковка законов, дублирование функций. Кто нынче “рулит” землей? Минсельхоз, Минэкономики, Минприроды, Минрегионразвития, Минобороны, Минтранс и еще куча других федеральных ведомств. Росреестр, по сути, превратился в придаток Налоговой службы. А, как известно, “у семи нянек – дитя без глаза”... В итоге на кадастровый учет поставлено только 20 процентов земельных участков.

В конце концов сельхозтоваропроизводителей заставят-таки перерегистрировать все здания и сооружения. А это немалые затраты. В каждом районе земельные комитеты имеют аффилированные службы, которые взвинчивают расценки на услуги. В среднем постанова на кадастровый учет одного участка растягивается на 7–10 месяцев и обходится владельцу в 45 тысяч рублей! Потому-то люди и не спешат оформлять наделы. Необходима коррекция самой методики кадастровой оценки сельхозземель. Вся информация об их экономической эффективности взята из данных двадцатилетней давности. Кто сейчас скажет, сколько выращивается продукции на том или ином поле, какова рентабельность производства? Да никто! Налоги следует брать не на глазок, а с учетом реальной кадастровой оценки, в полной мере используя земельную ренту...

В очередной “черный передел” втянуты миллионы людей. Многие на собственной шкуре испытали тяготы оформления наделов и понимают, насколько важно наведение порядка в этом деле. Властям не мешало бы прислушаться к дельным предложениям. Скажем, ввести натуральный налог на пашню. Купил землю – производи зерно, мясо, молоко... Тогда у многих отпадет желание скупать миллионы гектаров.

Руководитель одного из подмосковных хозяйств Петр Орехов рассказал, с чем лично ему пришлось столкнуться: “Пришел новый собственник и скупил значительную часть земельных долей. Однако некоторые крестьяне не поддались на уловку, решили выделить свои паи, а им заявляют: “Заплатите за оформление всего массива!” Это же нереально! Таких денег ни у кого нет. Тупиковая ситуация. Одни разговоры об искоренении коррупции, но дальше слов дело не двигается. Коли уж государство отдало селянам землю бесплатно, то извольте оформить ее в собственность тоже бесплатно...”

Заведующий кафедрой агроинформатики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор технических наук Дмитрий Хомяков заострил внимание на проблеме перевода земель сельхозназначения в другие категории. Подчас это делается с такой легкостью, что просто диву даешься. Ловкачи пользуются опять-таки брешами в законодательстве. Так, в Подмосковье “ушли” земли ряда на-

учно-исследовательских институтов, опытных хозяйств, агрохимических станций. Но, похоже, никого это не волнует.

В то же время глава крестьянского хозяйства из Тверской области Геннадий Сотников поведал о такой истории. Он подарил земельный участок в 62 гектара одному из своих знакомых. Новому хозяину пришлось выложить за оформление аж 2,5 миллиона рублей! Причем 450 тысяч ушли только на оплату работы археологов, которые должны были дать заключение о том, что на приобретенной земле нет древних стоянок человека. Вырыли несколько шурфов, составили подробный отчет с графиками и таблицами и представили счет. Плати! А в целом потребовалось собрать два десятка таких справок. Ну не абсурд ли?

Еще одна серьезная проблема: состояние почвенного плодородия. С болью говорил об этом заведующий кафедрой почвоведения МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор экономических наук Александр Яковлев. По его мнению, контроль за использованием земель сельскохозяйственного назначения ослаблен не случайно. Так удобнее скупать за бесценок огромные массивы. Минсельхоз вынужден ныне по шепотке собирать из каждого ведомства разрозненную информацию о земле. Для большинства олигархов, завладевших десятками тысяч гектаров пашни, она представляет интерес прежде всего как территория, с которой можно проворачивать различные коммерческие сделки. О повышении почвенного плодородия речи не идет. Для вида, конечно, пахут, что-то сеют, но нигде не узнаешь, кто прихватил земли Куликова поля или Бородина? Во многих районах активно действуют маклеры, выуживая у местных чиновников информацию о земельных наделах и довольно быстро переоформляя их на новых хозяев, в том числе через подставных лиц, и на иностранцев. Земля стонет... Отрицательный баланс гумуса, засоление, опустынивание. Черноземный слой уменьшился на треть. Куда дальше-то падать? Молчат государственные органы, но не должна молчать общественность...

Голоса людей из российской глубинки не слышны нынче ни на центральных телевизионных каналах, ни по радио. Редко пишут о крестьянских бедах газеты. Как будто деревня в блокаде. Вот что рассказал заместитель главы администрации из Серебряных Прудов Московской области Алексей Волков:

“На территории района сто лет назад проживало свыше пятидесяти тысяч человек. Сейчас лишь половина этого количества. А ведь согласно пришлопмятной программе сселения “неперспективных” сел и деревень из 128 населенных пунктов предполагалось оставить всего 12. К счастью, затем провалилась. На сегодняшний день в районе 84 сельских поселения. Пытаемся сохранить крестьянские хозяйства, но это становится все труднее и труднее. Очень беспокоит селян новый “накат” на деревню – так называемое подушевое финансирование школ, детских садов, больниц. А мы знаем, что если закрывается школа, то из деревни уезжают последние жители. Кому же обрабатывать землю?”

Эту же мысль поддержал и председатель объединения мелкотоварных производителей сельскохозяйственной продукции Московской области Петр Рябцев:

“За прошедшие двадцать лет раздельного существования города и деревни мы практически подошли к полной утрате крестьянства. Этого нельзя допустить. Не будет у России надежного тыла – не будет и самого государства. Недавно поехал с внуками в Тульскую область, и даже дети были поражены запустением. Шестилетний малыш говорит: “Дед, здесь жить невозможно...” – “Почему?” – спрашиваю. “Ну ты же посмотри, какие колючки вокруг, все заросло бурьяном...”

Редактор газеты “Козельск” Калужской области Владимир Ильин отметил, что ныне больше стали уделять внимания социальному развитию сел: газификации, строительству дорог, прокладке водопроводов... Но вот особых перемен в экономике хозяйств что-то незаметно. Тут руки у сельских администраций коротки, они не могут вмешиваться в дела акционерных обществ, владеющих землей. Это частники. Отделы сельского хозяйства на местах занимаются лишь сбором статистических данных. А ведь именно от низового звена должна исходить вся инициатива по наведению порядка на земле. Сколько говорится о наделении сельских муниципальных образований большими властными полномочиями, но воз и ныне там...

Впрочем, и прокурорское око словно не замечает махинаций с землей. Ни у одного олигарха не отняли еще необрабатываемые годами поля. А по какой цене приобретают наделы? Например, в Саратовской области пай в двенадцать гектаров стоит всего-то двадцать тысяч рублей. Так же и в других регионах. Глядишь, еще год-два, и вся пашня будет распродана.

Исход крестьян с земли обусловлен, по сути, невозможностью выжить в нынешних экономических условиях. Взлетели цены на технику, горючее, электроэнергию, газ, а доходы от зерна, мяса, молока все ниже и ниже. Доля крестьян в конечном продукте не превышает 25 процентов. Остальное – накрутки перекупщиков, переработчиков, торговых сетей. С трудом удалось депутатам Госдумы принять закон о торговле, но вряд ли он в корне изменит ситуацию к лучшему. Уж больно велико влияние лобби, делающего громадные деньги на импорте продовольствия!

Закономерен вопрос: как писатели могут помочь селянам? Правдивым словом. Во многих регионах при писательских организациях созданы отделения Общественного Совета по возрождению деревень. У земли виднее. Чем больше информации будет поступать из глубинки, тем мощнее будут звучать слова протеста против удушения крестьянства.

АЛЕКСАНДР МАЛИНОВСКИЙ

ДОМ НАД ВОЛГОЙ

...И когда в первый раз в жизни я попал на Волгу — она поразила меня своими людьми... Тот же тяжелый, подневольный труд, так же сгибались спины под многопудовой тяжестью и так же велики были машины и пароходы — но люди были другие.

Широкобородые, рослые, они говорили громко и ходили так прямо и свободно, как будто никогда им не приходилось сгибаться.

Они пели красивыми свободными голосами, и самая печальная песня в их мощных грудях перерождалась в широкий и веселый призыв к жизни...

Леонид Андреев

Этим летом к нам под Самару на дачу приехала родственница моей жены Мария Петровна. Уже более тридцати лет живет она с семьей на Севере. Приехала с Надыма, как сказала, погреться.

На мои просьбы рассказать что-нибудь из своей долгой жизни она вначале отмахивалась:

— Не в обычай мне это. Кто я? Всего-то “булгахтер”, как говорил мой муж. Кому интересно мое “житие”?

А тут съездили мы с ней в Октябрьск, поселок, ранее называвшейся Батраки, где она раньше долго жила с родителями в бревенчатом доме на высоком берегу Волги. Пожили там три дня, в чужом теперь доме. Теперешний хозяин сдает его. И живут в нем, кому вздумается. Последние полгода дом пустует.

Кого можно было, Мария Петровна проведала. Что смогла увидеть, увидела. Отогрелась душой...

На обратном пути в Самару вздыхала: “Дом-то, дом наш... Души в нем живой не стало, улетучилась...”

...И словно прорвало плотину. На протяжении всего времени, пока жила у нас, рассказывала, как она говорила, о “своей жизненке”.

Рассказывала спокойно, ни надрыва в голосе, ни слезинки на лице...

Мы с женой и внуком слушали...

До сих пор во мне ее слова:

— Как ведь получилось: Волга и железная дорога в жизни оказались главными. Все около них. Все с ними связано...

...Сколько годков утекло, а мало что забылось. Что с другими было, что папа с мамой рассказывали – помню. Словно со мной все случилось... И буд-то мне сотни лет... Многими жизнями жила...

И братики мои, и сестры, детки мои – все у меня ребятишками бегают... Брат Сережа воевал на войне, а я все равно его только мальчонкой и вижу... Родни много. И вся она с Волги, с Сызрана, как раньше говаривали.

Дед мой по маминой линии Бондарев Федор Федорович развозил по городу еще до революции жигулевское пиво. Пиво доставляли в Сызрань из Самары с завода фон Вокано, а разливали на месте. Потом он с напарниками вез бочки или бутылки куда надо.

Федора Бондарева многие знали в Сызрани. Работа у него была заметная.

А все мужики в роду моего папы Смирнова Петра Андреевича и деда Андрея Петровича издавна были извозчики. Своих лошадей имели.

Когда мой папа Петр совсем еще мальчишкой был, сел раз к нему в пролетку пассажир один. Это и решило папину судьбу. А может, и детей его, и внуков.

Оказалось, что пассажир не простой. Инженер. На железной дороге работает. По тем временам инженер-путеец – профессия очень серьезная.

Несколько раз папа подвез его на работу. А потом уж стал постоянно доставлять.

У папы-то моего желание огромное было на железной дороге работать. Не хотел он с лошадьми всю жизнь, как отец с дедом. Лошадей любил, а на душе другое было.

Вот один раз и говорит он седоку своему:

– А можно к вам на работу устроиться?

– А куда ты хочешь? – спрашивает инженер.

– У меня в семье все извозчики. А мне паровозы страсть как нравятся!

Весело засмеялся инженер:

– Лошадь на паровоз меняешь?! Резонно!

А потом серьезно так:

– Ладно, с началом поговорю. Нравишься ты мне.

Потом папа рассказывал: “Я его в следующий раз везу, а он: – Вот к такому-то часу приходи. Я с начальником разговаривал”.

Папа ничего родителям о задуманном не говорил. Не торопился.

Пришли они, значит, к начальнику. Инженер говорит:

– Вот тот парень, который паровозы любит.

– Ну, раз любит, – отвечает начальник, – возьмем в бригаду учеником слесаря.

Папа так рад был. Домой приехал, и с порога:

– Всё! Не буду я больше извозчиком! Поступаю работать в железнодорожное депо.

Мать обрадовалась. А отец его:

– Да что ты? У нас все... Потомственно... Надобно по-отцовски: теми же ложками из того же блюда. Надежней так.

– А я так не хочу, я изменяю вам. Я больше механизмы, железки люблю. Время теперь другое. Не лошадиное!

Так по-своему и свершил. Три месяца в учениках проходил. Там, рассказывал, мужики бородатые с ним учились, а он пацан совсем. И три класса.

На четвертом месяце дали им задание. Я не скажу точно, какое. Кажется, притереть какую-то деталь. Он лучше всех сделал. И его слесарем по ремонту в цехе оставили.

У него желание огромное было учиться дальше. Взял у одного машиниста в депо книжку про устройство паровоза. Все механизмы изучил и через три месяца пошел к тому же начальнику.

– Переведите меня, пожалуйста, на паровоз, хоть кочегаром.

Начальник со второго раза согласился:

– Ладно, – говорит, – удовлетворяю твою просьбу, раз ты, Смирнов, такой настырный. Попробуешь кочегаром, потом видно будет...

Тогда поезд такой ходил, от Сызрани до Обшаровки, назывался – “Трудовой”. На нем папа и начал работать машинистом. Не сразу, конечно. Но достиг, чего хотел. “Прилепился”, как он говорил, к технике.

Очень хотел учиться дальше, потому как загорелся стать инженером. Чтоб дороги железные строить, по всей стране. До самого Востока.

Все время с книжками был. Но на какие деньги учиться?! Смурной, заметили родители, стал ходить Петр. Нервный.

Прошло некоторое время, он словно переродился. В церковь зачастил. Просветлел весь... Сама доброта. Начал соблюдать посты. Со своим другом Никитушкой в хоре церковном пел. Столько песен они старинных знали, а не шибко оба грамотные.

И тут папа объявляет родителям:

– Готовлюсь уйти в монастырь, в монахи.

Всполошились все в доме. Не знают, как и подступиться к нему. Он стоит на своем: “Я так решил”.

...Но его вскоре в армию призвали. В морфлот. Все и отодвинулось.

Служить папа попал в Кронштадт на боевой корабль, в машинное отделение. Потому как в машинах понимал, что к чему.

У папы старший брат был, Иваном звали. А у него жена Доня. Шустрая такая.

Мой дед, Андрей Петрович, пока еще папа служил на флоте, попросил Доню приглядеть невесту сыну Петру. Чтоб, значит, тот опять не начал думать, когда вернется, про монашество. Доня и постаралась.

А как раз Крещение. На Крымзе крестный ход был. Сейчас Крымза не та совсем. А тогда нормальная речка была. Вырубали на ней крест во льду и окунались. Народу сходилось, чуть не вся Сызрань.

Доня показала нашу будущую маму папе сначала в храме.

Мама в то время у портнихи работала. Потом уж рассказывала: купили сукна, сшили по-модному, чуть не до полу пальто. Я помню, оно потом долго лежало в сундуке, пальто это. Уже без воротника. Воротник огромный был, говорили. Жесткий мех, блестящий. Этот воротник куда-то определили. Забыла, куда. А пальто лежало. На боках у него такие красивые строчки шли. И огромные железные дутые пуговицы. Три штуки. Тогда модно это было. И сапожки у мамы красивые, на шнурочках. “Кокетка” назывались.

Мама моя Рая аккуратистка была. Доня по субботам со своей матерью в баню ходила. Она еще там обратила внимание на то, какое у Раи чистое белье. Белое и аккуратное. Она его с помощью своей мамы парила в большом чугуне в печке.

...Рая папе в храме с первого раза, как увидел, очень понравилась. Потом они встретились на Крымзе.

После Крещения загорелся: “Пойдемте свататься”.

А Рае, маме будущей нашей, всего семнадцать лет. У Бондаревых пятеро детей было. Трое умерли.

Старший брат Федор не по любви женился. Как было дело? Любил он плячку, Бруновскую Соню. Через два дома от них жила. Семья Бруновских большая. Родни нет. И земли мало. Давали ее на душу, на сыновей. А у них одни девки. Бедно жили. Федор зачастил к Соне. А мать его, Агафья, ни в какую: “Мы бедные, и еще бедноту разводить. Нет, нет и нет!” Разговорили его. Женили на богатой из Засызрана. Взяли Устину Захарьеву. Но Федор не полюбил ее, оказалась она гулящей. И выпивала, и покуривала. Это в то время-то!.. Я застала, видела ее... Да... Родилось у них двое: Павлуша и Николай. Маленькие еще были, когда Федора не стало... Он со своим отцом крышу своего дома крыл. Лето. Жарища. Достали из погреба квас. Он слез с конька. Напился холодного и лег на спину на травку. Через три дня его не стало. Скоротечная чахотка.

Ладно. Я о папе с мамой продолжу.

Бондаревы с первого раза отказали. Смирновы – беднота. Прошло сколько-то времени, папа начал донимать Доню: “Пошли да пошли опять сватать Раю”.

Направились они во второй раз свататься.

Не сразу сладилось дело. Но сдалась Агафья:

– Господи, – молвила, перекрестившись на икону, – Федьку женили против воли. Не сложилось у него. Нельзя упрямять! Неспроста помер. Не в нашей воле...

И дочери:

– Нравится тебе Петр?

– Нравится, – отвечает она.

– Ну, Бог с тобой, иди за него. Не с богатством жить, а с человеком!
Так было.

...Только папа женился, его снова забрали во флот, в четырнадцатом году. Всю германскую служил в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки. – **Прим. авт.**).

Случилась грыжа у него. Сделали операцию и отпустили в отпуск домой. Когда вернулся на службу, его эсминец “Летучий” ушел в море.

Командир другого корабля, который назывался, кажется, “Быстрый”, взял к себе. Чтобы не болтался, значит, без дела. Больно понравился папа командиру по службе. “Я с командованием решу, оставлю тебя у себя”, – так сказал ему.

А эсминец “Летучий” погиб во время шторма в Финском заливе. Остался из команды в живых один боцман. Когда подобрали, он уже ума лишился.

Папа продолжал служить на “Быстром”.

Мама потом одну зиму жила у папы. Квартиру они снимали где-то у одной финки в Гельсингфорсе.

У этой хозяйки швейная машинка была. Мама шитьем зарабатывала и себе, и ей. Маму-то, когда ей было всего двенадцать лет, в Сызрани отдали учиться шить. Немка Дарья Карповна набирала девочек и обучала их ремеслу. Семья у немки была большая. Те девочки, чьи родители не могли платить, мыли полы, варили, убирались по дому. Это была плата за учебу.

Родитель сказал: “Я лучше платить буду, только учите ее сразу шить”.

Мама хорошая была швея. Эта специальность и выручала нас всех.

А тут – февраль 1917-го.

“Ничего, – говорил папа, – не поймешь: придут на корабль одни – свое говорят, а придут другие – свое”.

Неграмотные были. Куда податься, не знали. Что творилось!

Дружок Гурьян подталкивал:

– Прислоняться к кому-нибудь надо. Посередке не устоять! На стремнину выходим!

Папа так ни к кому и не примкнул. Не надо ему это было. Командир “Быстрого” хороший был человек. А пришли люди и начали команду смущать. Тянуть на свою сторону. Командир против. За дисциплину стоял. Зимой это было. Корабли высокие такие. Подхватили матросики командира и выбросили за борт. На лед. Разбился насмерть.

Судовые комитеты, папа говорил, верх взяли. Много командиров погибло. Двоих офицеров на другом корабле, он рассказывал, свои же матросы убили кувалдой. По голове, сзади.

...Вскоре он вернулся в Сызрань. На паровозе стал работать, в депо. Но недолго проработал, как гражданская война началась, и Сызрань заняли белочехи.

А ночью тридцатого мая забрали папу...

Мама была беременна Надей. Ей стало плохо. Что делать? Врача нет. До больницы не добраться. Вокзал в руках белочехов. В городе переполох. И Самара на осадном положении.

Папа пропадал около года, до середины девятнадцатого. Мост через Волгу белые взорвали без него, при отступлении. Два пролета изувечили.

Потом папа рассказывал: “Я – за машиниста, рядом помощник. Тут же охранник чех, следит, чтобы не набедокурили чего. Лишнего слова сказать нельзя. Остановки только по необходимости. Целый эшелон чехов везем на Восток. Все пути от Пензы до Забайкалья тогда были заполнены эшелонами с чехами. Во Владивостоке они намеревались перегрузиться на корабли”.

Папа называл станцию, где они отделались от чехов, Арысь. Это в Южном Казахстане.

Когда охранник заснул, на этой станции они пробки вывернули. Воду слили. И все! Паровоз, как на приколе. И удрали. Блуждали долго. Была эпидемия тифа, оба заболели.

Очнулся папа в больнице. Без документов, без вещей – все пропало.

Напарник неизвестно где. Скорее всего, убили.

Когда поправился, вспомнил, как дело было. После больницы пошел в местное депо, рассказал. Ему поверили там. Дали какое-то пособие, чтоб смог доехать до дома.

На товарных добрался до Сызрани. Не сразу приняли его на работу. Проверили: по своей воле или по принуждению вез белочехов.

Закончилась эта канитель, стал снова работать машинистом.

Папа старательный был. Работал с большой охотой. В двадцатые годы привел он как-то поезд на пять минут раньше графика. Его тут же вызвали к начальнику. Так ему надавали-настращали. Накричали. “А вдруг авария случится?! Поезд приведешь, а хвост другого куда девать? Может не успеть уйти. Что тогда делать? Куда торопишься?”

Сильно переживал, когда ему говорили то, чего он не принимал. Не молчал.

Когда позже на железной дороге возникло целое движение за сокращение времени перевозок, он уже не работал машинистом. Но шишек за то, что досрочно приводел поезд, успел наполучать.

А тут предложили в партию вступить. Он и вступил.

Отец его, мой дед, отговаривал. А папа ни в какую: “Я уже вас раз послушался, не пошел в монахи. Теперь по-своему сделаю”.

Заупрямился.

Отец ему:

– Это же разные вещи. Понимаешь?

– Понимаю, – отвечает, – цели партийцев схожи с теми, которые хотят достигнуть верующие. Только христианство обещает рай после жизни, а коммунисты – в этой жизни, на земле! Царство Божье на земле можно достичь. Коммунисты хотят дать его рабочему человеку, пока он жив! Церковь когда-то дать обещает, а новая власть – когда живем!

Дед Андрей аж захворал от таких его разговоров. А папа, будто ему кто на ухо нашептывал, сделал, как захотел. И как партийного его в тридцать четвертом, когда в нашей семье было уже шесть ребятишек, направили на подмогу, на Дальний Восток. Мы и поехали всей гурьбой. Мне было тогда три года. Я ничего не помню – из разговоров только.

Мама рассказывала, что мы не одни ехали. Две семьи было – наша и Борисовых. Каждой семье по вагону выделили. Смирнов да Борисов – оба машинисты. У обоих коровы, а у нас еще и лошадь. Семью из восьми голов кормить надо. В один вагон погрузили скотину, в другой – сами с детьми. У Борисовых трое ребят было.

Месяц ехали. Приехали на станцию Ерофей Павлович Амурской железной дороги. Это за Читой. Далеко.

Три года прожили там. Отец сначала работал машинистом паровоза, как и Борисов. А потом их обоих перевели в службу техники безопасности, как очень грамотных. Следить за состоянием паровозов и вагонов.

Часто бывало: начальство сверху требует, чтобы поезд отправить тогда-то и тогда, а папа: “Нет, нельзя. Надо ремонт делать, устранять неисправность”. Не мог покрывать.

Где правда? И нельзя, и надо. Маялся он со своим характером. От этого и пострадал.

...Как получилось? Чтобы папе попасть в контору, надо было идти через мастерские, где паровозы ставят на ремонтную яму. Яма эта глубокая. Рабочие идут, а в помещении все время пар, плохо видно. Если яма открыта, зажигали красный свет: дескать, путь закрыт. Если зеленый – открыт путь. Зеленый свет дали, а яму решеткой не закрыли.

Папа и еще один молодой парень упали в эту яму. Кто с ним работал, говорили, что специально так устроили. Чтоб не препятствовал. Надоел он со своей дотошностью. Специально – не специально... Начальство-то помалкивало. Не скажешь точно: кто и чего?

Уж очень папа с детства стремился к машинам. Вот машины его и ухайдакали.

Около двух часов они провалялись в этой яме. Хватились их, пришли домой к нам, а мама: “Он на работу ушел”. Когда их нашли, парень был мертвый, а папа без сознания. Потом оказалось, что у него в двух местах перелом позвоночника.

На второй день папа начал говорить. Выжил. Через полгода стал задыхаться. Врачи сказали: “Вам здесь не климат”. Как срубили его. Расстроили ему все здоровье лекарствами. Когда приехал в Одессу на курорт, показал

тамошнему врачу рецепты на лекарства, которые он принимал. Тот качал головой, приговаривая: “Они же вам сердце травили. Куда это годится?” Что скажешь на это?

Тогда на железной дороге аварий и несчастных случаев полно было. Неспойно.

Приезжал Каганович разбираться. Но до Смирнова ли? Каким был и каким стал папа после увечья? Как небо и земля! Дали ему инвалидность. Вторую группу.

Так вот! С кривдой жить больно, а с правдой тошно.

Надо было возвращаться назад в Сызрань. Опять дорога, половина России на колесах. Тут уж помню, как мы ехали.

Когда поезд стоял, я камешки собирала. Прямо на берегу Байкала. Они были с одной стороны обычные, а с другой – как обтесанные. Красивые.

Я потом у нас в Жигулях таких не видела. Набрала этих камешков, сколько хотела. Долго они у меня были. И в Сызрани, и в Октябрьске. Камешки с Байкала! Играли в разные игры в них. Были они и белые, и коричневые, и голубые.

Помню, как мы мимо станции Батраки ехали. Там мой мешочек с камешками чуть было не украли. Подхватили, думали, что-то другое в нем. Он же тяжеленький.

Приехали мы в Сызрань близко к осени. У папы в городе сестра Таня жила. У них семья! Да мы нагрянули. И началась наша новая жизнь на старом месте.

Папа до самой смерти так и не поправил здоровье. И наша жизнь после беды этой стала такой, какой получилась.

А что наши жизни тогдашние? Как камешки меж колес паровоза... Не видно их. И некому видеть. Того и гляди, как бы совсем в пыль не стерло. Такие колесища...

Вот живем у тети Тани и никак не можем купить дом в Сызрани. И корову, и лошадь продали перед отъездом, а денег маловато. Ехали с Дальнего Востока больше месяца. Потратились.

Тридцать седьмой год. Мне уже шесть лет.

Летом тепло, а наступила осень, мерзнуть стали. Спали-то кто в коридоре, кто в сарае.

У тети Тани старшая дочь Лиза была замужем за Никитой Ушаковым из Батраков, что на берегу Волги. Приехала его мать, посмотрела на нас и говорит:

– У меня подруга дом продает, Карпухина Васса.

Папа и зацепился, поехал в Батраки. Дал задаток за дом. Составили бумагу. Если владелица дома передумает продавать, то возвращает задаток и еще такую же сумму. Если папа откажется покупать, деньги остаются у Вассы и столько же папа доплачивает.

Приехали потом дочери к ней из Самары:

– Что ты делаешь? Не продавай.

А Карпухина деньги уже почти все потратила. Продала. Куда деваться?

Дом этот был привезенный. Раньше плоты связками гоняли с верховьев Волги. Чтобы подработать, мужики срубы делали. Ставили их на плотках. Когда пригоняли плоты, срубы продавали. В Батраках таких домов было немало. Бревна толстенные. У этих бревен выпиливали из середины доски на пол, на потолок. Края на стены гнали.

Когда-то дом стоял почти у самой Волги. А потом начали железную дорогу расширять, пути добавлять. Станция узловая. Оренбургская железная дорога начиналась с Батраков. Много чего достраивали. Дом и перенесли. На пустырь, вверх, в сторону Линева оврага. Целый там порядок выстроился. Так оказался наш дом над Волгой. Случилось это в 1905 году. Уже сто четыре года прошло.

Стоит домина. И не покосился. Крышу несколько раз меняли. Сени тоже, из таких же сосновых бревен. Одной породы. Потолка у сеней сначала не было. Сразу крыша, и все. Видел, какие сени большущие, два окна. Папа лавку мастерил широченную. Поставили две керосинки. Готовь – не ленись! Тут же, на лавке – чугун двухведерный. Слава потом крышку к нему сделал деревянную. Вода всегда была рядом.

Первую зиму кое-как прожили. Неухоженный дом был. Клопов!.. Ужас! Внутри дома стены оштукатурены глиной с соломой и побелены. Как только весной потеплело, глину всю отодрали, дранку тоже. Папа удивился, какую красоту закрыли глиной!

У нас в переулке за углом жил печник Корней Чудаков с женой Марфушкой. Папа с ним договорился, и голландку с печкой переложили. Поменьше сделали. Между ними промежик получился. Сверху папа сделал полати. На них мы и ночничали.

В переднем углу — икона, в заднем — печь. Так и зажили.

Папа мастер был по железу. Сделал короб для голландки. Печку мы почти и не топили.

Сестра Надя на угольном складе работала. Там выписывали уголек. В тележке мешками через железную дорогу наверх возили. Им и топили.

Голландка наша была с поддувалом. Весело топилась. Уголек горит по-немножку в сторонке. Мама поставит чугунок, и в нем побулькивает. Даже булочки она пекла в ней. Папа противень сделал. Небольшой, как раз, чтобы помещался. Приспособились.

Наши полы в доме и в сенях мы берегли. Они некрашенные были. Веником жестким натрешь, водой смоешь. Высохнут, желтенькие такие. Светятся доски! Широкие. Но пришло время, стерлись. Опять: что делать? Долго по стертым-то шлепали. Отремонтировали пол, когда уж я на переправе работала.

У Вани Солоухина на Правой Волге дочка на комбинат устроилась. Про ремонт разговорились. А он: “Я с Нюрой поговорю, у них там плиты ДСП полуманья, нестандартные выписывают. Дешевле будет”.

Выписали. На машине привезли тридцать квадратных метров. Всего за девяносто рублей. Перестелили пол. Проолифили. Пришло время, покрасили. Все как полагается, чин-чинарем...

Папа больной. Детей, как галчат в одном дворе. Надя в восемнадцатом году родилась. Сергей — в двадцать третьем. Таня — в двадцать пятом. Слава — в двадцать девятом. В тридцать первом — я. А уж Володя — на Дальнем Востоке в тридцать шестом, за год до того, как с папой случилась беда.

Тетя Таня, у которой мы когда-то жили в Сызрани, часто к нам потом в Батраки приезжала. Наш папа был младший у них в семье. Он с тысяча восьмьсот восьмьдесят седьмого, а тетя Таня на четыре года старше его. Она уважала папу. Может, еще и оттого уважала, что муж ее, Николай, был никакой. Ни украсть, ни покараулить. И никакого не было у него в руках ремесла. Выпивал здорово. Ходил ямы копал, погреба. Что-то по мелочи делал. То в бригаде, то один. Приносил домой копейки. Жили больше на то, что зарабатывал мой дедушка. А Колька-то, если и заработает что, все тут же пропьет. А не заработает, лопату продаст, а все равно выпьет. На другой день занимали у кого-нибудь, чтобы лопату купить.

Было у них трое детей. Старшая дочь Соня, потом Лида и младший Николай. Соня на фронте погибла. Николай заболел туберкулезом и рано умер. Лида на Север уехала. И через год там умерла.

У нас одно лето много тернослива уродилось. Вот тетя Таня за терносливом и приехала к нам. Он такой крупный. Черный, прямо аж сизый. Она так радовалась ему. Набирали мы тернослив в ведра. Она его в Сызрани продавала. Все какие-никакие, а деньжата.

Говорила она нараспев:

— Братец Петя, как я соскучилась! Как у вас в семье спокойно!

Я на улице была. Вошла и слушаю ее молча.

Говорит, а сама гостинец вынимает: большущий такой крендель. Сушки — маленькие, она их привозила в прошлый раз. А это — громадный такой, крендель. Тетя Таня на него смотрит и сама радуется. И всем хорошо так от ее лица светлого.

...Наконец-то в Батраках мы купили корову. Радость какая! Известно: корова на дворе, харч на столе.

Корова была большая и пестрая. Звали ее Ранеткой. У нее было белое пятно на лбу. И еще по одному на спине и на боках. Большущие и тоже белые.

Умница была Ранетка наша. Можно и не ходить, и не встречать ее из стада. А я любила это делать. Мама доить начнет, а она ее лижет и мычит. Куда как соскучится. Молочница была. И хоть бы кого тронула когда. Не пырлась. Золото недооцененное, а не корова!

На нашей стороне Волги, на правой, не было травы. Траву мы возили с левого берега на долбленке. Лодка из цельного дерева. Большая такая сомина, метров пять длиной, а то и поболее. Края лодки обшиты досками. Лавочки – три штуки. Две пары весел. Все основательно так. Папа звал нашу лодку почему-то редедей (говорят, был такой буксир на Волге). На носу лодки – цепь. Рядом якорь. Была еще для нее рама на колесах, как тележка. На ней возили лодку, когда вода убывала.

Лодку оставляли на зиму на берегу. Для этого была цепь и огромный замок. Все, что связано с лодкой, Волгой, нашими поездками за сеном, мне так по душе было. Папа все говорил, что мне бы мальчишкой надо родиться. И правда. Я жалела, что такого не случилось. Особенно я любила, когда в затоне плыли. Тихо кругом, вода гладкая, как в блюде. Слава с Володей на весла наваливаются. То лопасти глубоко в воду погружают, то в небе ими, как папа, усмехаясь, говорил, “колеса крутят”.

А папа гребет не торопясь, экономно, как бы играючи. С уважением к воде... Спина у него прямая, не прогнется. По-другому ему нельзя с его пловничником. Руки работают, как механизмы какие. Будто казак в седле сидит. Красиво!

...Сена на лодку навалим целый воз и плывем потом по течению. Дух захватывает!

Левый берег ровный такой. Правый – стеной стоит. Наверху, в Костычах, церковь. Помолюсь потихоньку на нее и сижу чуть дыша. Чего только глаза не видели потом за жизнь, а эта вот картина...

Знала, что в церкви-то тюрьма устроена, а все равно помолюсь... Купола притягивают.

...Папины истории любила слушать.

О том, как в старину царь Иван Грозный в походе своем остановился в наших Жигулях. И захотел он свое войско сосчитать. Велел каждому воину своему горсть земли на одно и то же место бросить. Каждый и бросил, коль царь велел. Так образовался курган великий. С тех пор зовут его Царевым.

Как мне хотелось на этом кургане побывать! Еще я больно желала Разинский – Молодецкий курган увидеть. Столько про него слыхала... Песня еще про него могучая!

И еще одна песня была. Особенная. Я все ждала, когда папа вспомнит про нее. Он часто ее пел. Откуда она такая у него?

*Ой, ой, о-е-ей,
Дует ветер верховой,
Мы бредем босы, голодны,
Камнем ноги порваны.
Ты подай, Микола, помочи,
Доведи, Микола, до ночи.
Эх, ухнем, да ой, ухнем!
Шагай тверже, друже.
Ложись в ляжку туже.
Ой, ой, о-е-ей.*

Лодку у нас вскоре украли. Замок отбили и укатали. Тут уж нам совсем тяжело с сеном-то стало...

Все к одному: лодку украли, и коровы не стало, собаки ее подрали. Горе. А тут как обухом – война! Сравнимо ли с нашими прежними бедами?

Пошло-поехало!.. Сережа, едва окончив курсы трактористов в Батраках, ушел добровольцем. А мы, которые остались, казалось, были вдаль от войны, а не в стороне от нее. Похоронки начали приходить, раненные поступать. В Сызрани одиннадцать госпиталей развернули для фронтовиков.

От Сережи, брата, ни единого письма с фронта. Где он? Что с ним?

Старшая сестра Надя недовольная все была, корила родителей: “Вот вы купили дом в Батраках. Дети неучами остались”. Она так говорила, потому что на поездки в Сызрань нужны были деньги. А нас пятеро, кроме нее. Где денег столько взять? Таня, когда окончила седьмой класс, все же поступила в трикотажный техникум в Сызрани.

А война началась, ушла из него. Поступила в военное училище, эвакуированное из Москвы в Сызрань.

Есть нечего, носить нечего — она так и решила. А подружка Тани, Роза Ивантеева, доучилась в техникуме. Уже после войны в Ригу попала. Там замуж вышла. После институт окончила. Раза два приезжала в Батраки. Я ее видела. Как не наша стала. Чужая. Будто и не тут родилась. Первой не поздравляется. И говорить как-то по-другому стала.

А Таня всю войну прослужила в метеорологической службе. Они с Леонидом и поженились на фронте. В Польше. Расписались. Он — летчик, не хотел откладывать на потом. Каждый раз мог не вернуться с вылета. Командир полка выдал молодоженам подтверждающий документ, что они в законном браке. С печатью и росписью документ.

Обоих уже в живых нет, а бумага сохранилась. У меня в Надыме в шкафу лежит до сих пор. Для чего храню, и сама не знаю.

Любила я Таню очень...

Не стало у нас коровы Ранетки, прошло какое-то время, мама сильно заболела.

В войну какое питание? Вот и сказалось... И о Сереже неотступно она думала: где он, что с ним? Не случилось бы самого страшного...

Уже лежкой лежала. Врач посмотрел, послушал и говорит папе:

— Хочешь, чтобы Раиса Федоровна была живая, усиль питание. У нее слабость от недоедания. Молочка бы...

Шумилина Василиса родом из-за Волги, с Бестужевки. К ней родные из села привозили зимой на санках, а летом на лодках молоко, тыквы, смородину. Торговали потихоньку.

— Коза нужна, — говорит отец. — Помоги купить.

— Ладно, поспрашиваю, — отвечает Василиса.

На другую неделю родственница ее приехала тыквами торговать и ведет на веревочке козу. Черная коза такая. Нам подсказали, чтобы молоко было от черной козы. Полезней. Она черную и привела.

Появилось молоко, мы стали то лапшичку, то кашку манную варить. То так мама попьет. Яички на последние деньги покупали. Поднялась мама. Стала потихоньку ходить. Эту козу Маню она так полюбила, так потом ее берегла...

Разговаривала с ней. Они умные, козы-то. И чистюли. Вот откуси сначала кусок сама, а потом дай ей. Так она аж губы скривит и отвернется. Видал, какая?!

В войну под нашим бугром нефтебаза была. Часто там либо солярка, либо бензин попадали в Волгу. Сильно рыба пахла. С баржей качали мазут, керосин, машинное масло, бензин в баки, потом в цистерны. И везли куда надо — на войну.

Ребята рыбачили подальше от нефтебазы.

Володя летом спал на сеновале, чтобы не тревожить нас утром, когда уходил на рыбалку. Вечером нароет червей и махнет, едва солнце появится.

Папа все шутил: “Смотри, промысловик, утонешь — домой не приходи!”

Часов в восемь-девять утра Володя уже рыбу несет. Кукан до самой земли висит. Подкармливал нас сорожкой, густерой. Папа не рыбачил, Слава тоже. Сережа на фронте.

На папе много держалось в доме. На рыбалку у него здоровья не хватало.

Летом мы мясо не видели. Какое мясо? Суп варили с яйцом, картошкой, луком. Бочку из-под огурцов после зимы папа пропарит, чтоб не пахла, и делали квас. Восемь ведер. Мама умела готовить квас хороший. Хранили его в погребе. Погреб набивали снегом, сверху насыпали опилки. Если отец курицу зарежет, то сразу сварит, покруче посолит. И бульон готов. Из бульона потом суп — пожалуйста.

Керосин бывал очень редко у нас. Летом варили на таганке: круглое кольцо такое из железа и три ножи. Все во дворе, на свежем воздухе. Многие в Батраках так делали.

Поселок Батраки потом в 50-е годы переименовали. Стал город Октябрьск. До того был районом Сызрани.

Со спиной у папы полегче стало. Но сердце – никудышное. По дому полно работы, а он не больно мог.

У нас во дворе большой чурбак стоял. Вместо стула ему служил. Сядет на него, выпрямив спину, и рубит дрова. По-другому не мог.

Недалеко от нас была сапожная мастерская. Папа устроился туда ночным сторожем. Как устроился? Маму оформили, а он ходил.

Я раз пошла к нему за ключом от сарая, с собой унес. Зашла, а он лежит на полу без сознания. Дверь открыта. Изнутри крючок накинуть не успел. Сколько так лежал, неизвестно. Я в рев. Он очнулся, еле его подняла. Долго сидел, потом потихоньку пришел в себя.

Мама в тот день утром, до того, как такое случилось, за завтраком говорила:

– Ох, не к добру. Повержилось мне ноченькой, будто домовой в углу за печкой хлопотал. Шапку одевал все свою. Она сползает, а он одевает ее... И все никак у него не получается. А потом, когда я уж вроде совсем заснула, подошел он и погладил меня рукой по голове. Легонько так. Седой весь и сухонький такой. А рука холодная у него... Не случилось бы чего...

– Будет городить-то, детей пугать небылицами. К тебе одной он только и приходит.

Мы, ребятня, слушали и посмеивались. Папа видит, что нам весело становится, добавляет очень даже серьезно:

– И то! Аксюте вон с Муранки, сказывают, домовой наемни пятаку прострелил. Оттого она и хромает. Не тебе одной внимание... За дело, значит. Не будет ворожить больше. Говорят, обернется свиньей и шастает вдоль дворов. Кругом колдуньи развелись...

Так утром было, а вечером вон как получилось. Не к добру посмеялись. Верь – не верь. Что хочешь делай!..

Привела я папу из сапожной домой. Он с Надеей остался. Мы с мамой пошли сторожить мастерскую.

Потом он говорил маме:

– Не дай Бог, кто бы вошел тогда, взял чего. Там же инструменты, кожа, обувь. Мы бы за все не расплатились. Что делать-то?

Мама в ответ:

– Детей поднимать надо. Пойду работать я. Будем больше огородом заниматься. Как-нибудь. Что ж теперь: закрыть глазки да лечь на салазки? От сапожной придется отказаться.

– На тебе и так столько, ты ж не коренная баржа, – убивался папа.

Поступила мама в швейную мастерскую. Недалеко от нас. Маскхалаты шила для фронта, рукавицы. Там работает, придет домой, дома шьет. Кто с каким заказом придет, то и шьет. Работала ночами.

Купили лампу керосиновую. Вешали ее на крючок к потолку. Называли мы ее “молния”.

Досталось маме с этим шитьем. По дому прибрать, сварить, накормить всех. Где столько времени взять? В постоянном недосыпе ходила.

Папа очень переживал за нее. Тогда мы, ребятня, почти совсем не болели. Будто знали: кому за нами ходить? Я вот на старости теперь думаю: за что папе судьба такая? Никого не обворовал, никогда не посягал ни на что. Смирно жил и работал.

У нас и фамилия сама за себя говорит: Смирновы. Смирненные, значит.

Папа стал ходить по деревням соседним. Заглянет во двор, спросит:

– Посуда худая есть?

– Ой, да полно. И тазы, и кастрюли!

У него племянник в Сызрани в жестяном цехе на железной дороге работал. Обрезки жести, которые на выброс, приносил моему папе. А он: все в дело.

Зима наступила. Папа свою поклажу на салазках начал возить. Тридцать километров в один конец. Так вот пропитание и зарабатывал. Ведро починит: картошки насыплют. Кастрюльку заклепает: капуста дадут. Однажды он заработал аж мешок картошки и ведро кислой капусты.

Утром рано вышел домой. В начале марта дело было. Повалил мокрый снег. Пять шагов пройдет с салазками, спереди них куча снега. Рукавицами разгребет, дальше путь торит. До самого вечера, целый день шел с грузом своим.

Около нового вокзала, где Надя работала, стояли одноэтажные бараки. В одном из них контора ее была. Папа потом говорил:

“Ташился и думал: Господи, помоги мне, чтобы я застал ее на работе. Не ушла бы домой. Упаду и не встану”.

Совсем обессилев, оставил салазки метрах в двухстах от барачков. Когда вошел в контору, Надя ахнула. Лицо у папы бледное, сам шатается. Еле шевеля губами, говорит:

– Иди, помоги! Шут с ними, с продуктами. Салазки упрут. Жалко.

Эти салазки он сам делал. Полозья железом оковал. Спереди и сзади перекладинки. Все чин-чином. Веревка крепенькая, беленькая. Такая, чтобы на шею и подмышки хватало.

Пришли они: салазки с поклажей на месте. Впряглась Надя. Говорит:

– Садись на мешок с картошкой.

– Ну да! – отвечает. – Надрывать будешь. Я уж как-нибудь сам.

Палкой уперся сзади в салазки:

– Ты только потихоньку, ладно? Чтоб я попевал.

Добрались до барака, он совсем обессилел. Три дня не вставал. И потом долго болел. Говорил, что пожадничал с картошкой да капустой-то...

Картошка, тыква, свекла, огурцы – основная наша еда. Она нас спасала в войну. Хлеб если был, то по карточкам. Я все нормы хлеба, кому сколько, помню до сих пор. Может, помню оттого, что он, хотя с переборами, но был. Остальное: сахар, масло, пшено – на них карточки давали, а сами продукты – кой-когда... Если два месяца карточки из-за отсутствия продуктов не отовариваются, их выбрасывай. Они уже не действуют. Через два месяца может быть та же история. Оттого и не помню нормы. Никакую крупинку от продуктов не выбрасывали. Папа сделал ступку, пестик из дубового полена. Все отходы дробили и – в дело. У нас на огороде перестала родиться картошка. Земля выдохлась. Решили сеять рожь. Рожь высокая уродилась, красивая! Непривычно.

Папа смастерил мельницу. Сыплешь рожь, мука на глазах получается, только не ленись: туда-сюда двигай большой такой, с двумя ручками, валик. Он движется по широкой лавке, обитой железом. Муку сметаешь в банку. Она тут же, прикреплена внизу лавки. Рожь убирала серпом. Солому соседка порезала помельче, обдала кипятком и – своей коровенке Зорьке скормила.

Но без картошки никуда. Решили мы ее сажать на целине. С ней целая история вышла, с картошкой-то... Расскажу потом.

Спичек часто не было. Особенно в начале войны. Спичек нет, а огонь нужен. Папа смастерил малюсенькую коптюшку, размером с палец. Сделал фитиль из ниток от чалки и водрузил коптюшку в печке на загнетке. Там эта коптюшка и хранила огонь. Светился камелек!

Если были спички, их продавали не в коробках, а по сто штук, пучком связанными. С такой ленточкой, о которую ширкать, чтобы спичку зажечь.

Мы звали папину коптюшку “мышинный глаз”, а папа уважительно: “огниво”.

Он сам следил за огнем. Никому не доверял. И расход керосина сам контролировал. Керосин тоже редко был в продаже.

Этого не было, того не было. Многие страдали, не выживали. Но у нас был наш папа. А у других – отцы на фронте. Вот в чем беда-то: без отца жить.

...Дали нам от собеса землю под картошку. На бугре-то целина-матушка. Пырей один растет. Копали, копали. Умаялись. Папе копать тяжело. Мы пыхтели: Слава, Володя и я. Сели отдыхать. Папа говорит:

– Пройдусь вдоль сада, вон на тот край.

Взял тонкий прутик. Пошел. У него привычка такая, когда идет, вжикает эдаким прутиком.

Скоро вернулся:

– Дураки-то мы какие. Чего мы тут мучаемся? Там земля-то! Я ткнул прутком, он чуть не на четверть влез!

А мы вскопали уже сотки две, а то и больше. Бросили. Пошли за ним. А там, пока шли, травка такая... Она с весны еще выколосится и быстро сохнет. Колочая – страсть! Ступить нельзя. Пока добрались, все подошвы горят. ...Соток десять мы вымахали. Квадрат такой получился, вскопанный.

Пришли, маме рассказали, а она:

– Что сажать-то будете? Семена – не купишь.

– Думать надо, – отвечает папа, – может, что из одежды на толчок?

А мама уже все наши тряпки старые поперешила. Меняли их, меняли. Кончились.

Она говорит:

– Всего двести рублей осталось. Езжай в Обшаровку, купи, сколько можно, семенной картошки.

– Сколько я куплю на такие деньги, – чешет папа затылок, – не больше ведра...

– Сколько купишь, столько и будет. Остальное морковью засеем.

И мы подались с папой на базар. Он любил меня брать с собой.

Чтобы рано быть на месте, мы поехали с ним вечером. У папы в Обшаровке знакомые были. Переночевали у них. На полу нам мягко постелили. Когда встали, папа говорит мне:

– За ночлег им кусок мыла, что ли, дать?

– Дай, – говорю, – еще когда-нибудь приедем, где ночевать?

Мыло он сам варил. У машинистов-паровозников покупал каустическую соду, которую они добавляли в котлы от накипи, а на рынке доставал баранье сало. Кипятил все, а потом в самодельные жестяные формочки с перегородками разливал. Когда масса застывала, формочку опрокидывал – из нее вываливались кирпичики мыла.

Папа дал один кусок хозяйке, один оставил себе.

Она:

– Ах, Петр Андреевич! Мыло-то мы так давно не видали. Теперь намоемся в бане.

– Ты его подсуши, – говорит он, – а то слишком мягкое, быстро смылится. Моя Рая на печке сушит.

– Это уж обязательно. Хорошо, что подучил. Рада-то как я!

Пришли мы с папой на базар. В кругом полным-полно народу. Мыло мы сразу продали потихоньку. А вот семена картошки никак не купим. Дорогая картошка. Не хватает денег даже с теми, которые он за мыло выручил. Я уж не помню, сколько это было.

...И вот стоит женщина. Рядом – ведро картошки. Проросла вся. Росточки бледненькие такие.

Папа спрашивает:

– Почему горох-то твой, хозяйка?

– Не горох, а картошечка, дедушка.

Папа всю войну с бородой ходил. Поэтому она его дедушкой и назвала.

– Это “смысловка” – самый хороший сорт. Я набрала, когда уже все выкопали. С корней добирала. Вишь, пролежала до весны и сразу проросла. Липучая – страх! Ни один росточек не обломался. Бери! Не пожалеешь. Большой смысл есть. “Горох”, скажет тоже!..

Говорит так и говорит, себе в удовольствие.

– А сколько ведра?

– Двести рублей.

– А у нас всего-то двести! – удивилась я.

– Ну, вот, видишь? Все в кон!

– “Смысловка”? – улыбается папа. – Смысл есть? Проверим, куда нам деваться?!

Пересыпали мы картошку в свое ведро. И поехали домой.

– Ба, что это за мелочь? Никогда такую не сажали! Учудили вы, не соскучишься, – мама долго не могла успокоиться.

Папа молчал себе.

Одного ведра наших семян хватило на весь участок. Мелочь. Сначала в лунку по одной клали, потом даже по две.

А к сентябрю такая картошка вымахала! Тогда вовремя дожди прошли. “Смысловка” так “смысловка”! Очень крепкие корни у нее!

И какая уродилась вкусная, белая. Рассыпчатая. Шесть больших мешков набрали! Возили мы ее на нашей тележке. Пустую тележку в гору — еще так-сяк, не очень трудно тащить. А вот с горы, с нашей поклажей такой, удержать тележку нелегко. Того и гляди вырвется. Махнет вниз!..

Воду до 30-х годов брали из Волги. Кипятили. А потом на берегу, где городская баня, около нефтебазы, поставили водокачку. Будочка такая, как домик, на колесах. Вода уходила, будочку за ней подкатывали. Эта водокачка качала воду на все Батраки. И на улицах были свои будочки. В коммунальном отделе покупали талоны на воду. Один талон — 25 литров воды. Ее тоже кипятили.

Давали по часам: утром два часа, в обед — два, вечером — два часа. Занимаешь очередь у будочки, подаешь талон в окошечко. Открывают тебе краник. Наливаешь.

Без талонов воду не давали. Мы ходили за ней со своего бугра почти за километр. Так было в войну.

Потом уж, когда ГЭС Волжскую построили, нашли артезианскую воду. Уровень воды в земле поднялся или научились бурить? Только тогда колонки с этой водой появились прямо на улицах.

Около больницы поставили колонку. И еще ближе к нам соорудили потом.

Война давила. По мосту через Волгу к нам шли поезда с ранеными, эвакуированными. А на фронт — составы с горючим, боеприпасами, танками.

Великое противостояние. А мы копошились около. Выживали.

Помню время, когда кроме хлеба по карточкам ничего не давали. Было написано: сахар, масло, рыба. На бумажке этой. А так — не было. Потом полегче стало.

...Тем, кто занят на тяжелых работах, тому положено было в день 800 граммов хлеба. Служащим — 550 граммов. Пенсионерам и иждивенцам, по-моему, 250 граммов. Вперед по карточкам хлеб не давали. Надо было приходиться в магазин каждый день. На карточках был номер магазина, к которому прикреплен. А хлеб привозили когда как. Иногда только к обеду. Пекли недалеко, в пекарне. И на лошади, еще горячий, только из печки — в магазин. Занесут его, дух хлебный по магазину. Стоишь, и голова кружится.

Старшая сестра Надя получила на нас всех карточки на месяц и отдала папе, когда он зашел к ней на работу. А они как деньги были, лощеные такие. Как десятки, розоватые. Он их положил, карточки эти, в карман. И пошел домой.

Мы обычно разрезали листки с карточками подекадно. Чтобы, если потеешь, то не сразу все. А тут не успели. И фамилии не написали.

Положил он их на стол, карточки. Мама стала смотреть:

— А, батюшки, где же еще? Тут всего на четверых?

Нас шестеро было. Сережа и Таня на фронте.

— Отец, где карточки-то еще на двоих?

Беда!

Пошел он назад. Нет, говорят конторские, не видели. Никто не приносил.

Мама:

— Не мог толком объяснить! Может, другие дали бы.

— Что ты говоришь? — отвечает папа. — Посмотри, что творится на мосту, на железной дороге. Беда какая! Сколько раненых везут. На мосту такое движение. Летчики не только мост, они нас защищают. Вчера один не пожалел себя. Тараном пошел на фрица. А тут я, растеряха: “Дайте мне еще!..” Не должен я никуда идти!.. Хлебушко даром не дается.

Так он расстроился. Плохо ему стало. Залез на печку и лежит.

Стали обедать. Зовем его. А он:

— Не буду я есть. Сам себя наказал. Потерял. Как же я могу?

Мама начала причитать. Мы расплакались. Стали ее успокаивать. Еле еле папу уговорили сесть за стол.

Прошло три дня.

И вот тетя Паня обратила внимание на двух женщин.

На дороге работали рабочие. И чтобы они подолгу не ходили и не стояли за хлебом, им его носили эти две подруги. У каждого из рабочих была своя

сумка с биркой. Женщины каждый день получали и носили хлеб в этих сумках. И себе заодно брали по карточкам.

А тут наладились дополнительно брать. Сами отрежут талон от карточки:

– Вот, нас бабушка одна попросила, ноги не ходят. Отпусти!

И возьмут хлеб-то. В другой раз еще как-то скажут. Наплетут.

Мама сказала тете Пане о пропаже, она и спрашивает их в очередной раз:

– Откуда у вас карточки эти? Дополнительные.

Они замялись. То да се.

Тетя Паня:

– Петр Смирнов потерял карточки. Такой больной весь. И ртов сколько!

Что же вы делаете? Нехристи! В милицию заявлю, коли не отдадите!

Они и закатили глаза под лоб. Признались, что подобрали их на тропинке.

Тетя Паня отдала мне карточки. Я бежала домой, ног не чуяла. Ой, как хотелось папу обрадовать. А то он, бедненький, только делал вид, что ест. А сам так, для отвода глаз...

В то утро принесла я из магазина хлеб. Мама разрешила буханку, а из нее на стол вывалились, чуть больше горсти, мелкие, малюсенькие картофелины. Сырые. Жижа течет. Мать в слезы: “Чем я вас кормить-то буду? Карточек больше нет”.

Я собрала все в кучу и – к тете Пане в магазин.

– Такие-растакие, я им покажу! – грозилась она. Дала мне взамен полбуханки, а сама – в пекарню. Разбираться мыкнулась.

Хлеба и так чистого не было: то в нем лузга от овса, то от пшена, красная. В пекарне воровали, конечно. Один Бог без греха.

Установили контроль. Сообщили куда следует, и там меры приняли. Галя Краснова через неделю и попала. А как дело было?

У нее две девочки-погодки. Муж на фронте. Привязался к ней со своими ухаживаниями милиционер Генка Ладяев. Дороги не давал. Я слышала, как она жаловалась моей маме: “Все ноги мне оттоптал. Не знай, что делать? Стыдно перед девчатами своими. И боюсь его. Страшает: не будет по его, мне несдобровать”.

Выполнил обещание Генка этот. Остановил он ее, когда она с работы домой шла. Поманил пальцем. Она подошла.

– Чевои-то у тебя в сумке-то? – спрашивает.

– Где? – перепугалась до смерти Галина. Поняла, что плохи дела.

– Где, где?! Сказал бы, где!.. В сумке, которую у тропки схоронила. Не твоя, что ли?

Пошатнулась Галя. Повяло ужасом от той кары, которая на нее вот-вот обрушится. Потемнело в глазах. Испугалась, что сейчас тронется умом. Станет еще более жалкой и мерзкой, чем этот неуступчивый блюститель порядка.

Затравленно оглянулась. Будто ждала, что кто-то подойдет сзади к ней по этой узкой тропинчке, на которой она встретила с человеком в форме. Заступится за нее. Сейчас! Немедленно! Пока не случилось самое страшное, скажет слова, оправдывающие ее.

Но кто мог подойти и сказать такие слова? И были ли они у кого тогда... такие, кроме нее самой?..

– Пристроилась коза к возу с сеном, – радовался своему Генка, – хорошо в пекарне?

Он обошел Галю, поднял и вывернул сумку. А в ней кусок теста. С кулак всего-то, ну может, поболее...

– Как жеть, милая, тебя угораздило?

Говорил так, а у самого морду на урыльник свело.

– И теперь не согласна со мной? Не поздно еще...

– Только подойди ко мне, зверь! – еле и сказала она.

Осудили ее.

Потом за что-то еще добавили, там уж, где сидела.

Муж не вернулся с фронта, погиб. Девчата выросли одни. Обе больные.

Паня все корила себя, что побежала тогда в пекарню, когда картофелины в буханке обнаружили. Считала за собой вину. Все говорила: “От дождя да в воду”. Девочек Галиных привечала и помогала им, чем могла.

Потом они ее, мать-то свою Галю, нашли. В Сибири где-то. Не помню, где.

Возвращаться домой Галя не захотела. Не ходячая уже была. Только мотнула еле послушной рукой:

– На кой мне теперь это?..

...У нас в саду яблонь не было. Одни груши и тернослив. Папа вдоль забора оставил их. Всю войну – на деревьях ни одного цветочка. Только листья. Сама природа плакала от общего горя.

Кончилась война. Хорошо все помню. Как сады зацвели весной сорок пятого! Цвети они начали перед первым мая. Теплынь такая наступила. Все деревья цвели! И груши наши, и вишня. И яблони, у кого были. Все бело-розовое! Выйдешь на крыльцо: аромат, как в раю каком! С такой силой ожили.

Первого мая папа говорит:

– Наверное, война последние дни идет. В Берлине переговоры.

А девятое настало: победа! Словами не передашь радость!

Когда война закончилась, на строительство дороги Куйбышев–Москва пригнали пленных немцев. На асфальтовом заводе три дома трехэтажных было. Жили там местные. Магазин рядом. Мы ходили иногда за покупками. Такая грязь кругом, ужас! Как жили?

Немцы чистоту навели. Дом, в котором они размещались, побелили. Держали их за тремя рядами колючей проволоки под охраной. И на работу возили под охраной.

Рядом клены здоровенные росли. Они у кленов этих стволы побелили. Землю вокруг вскопали, цветочки посадили. Простые: ноготки, еще какие-то. Против прежнего там рай стал.

Дом стоял торцом к дороге. Написали на стене черными буквами на белом: “Мы победили!” Все идут и смеются: “Они победили?”

Одноклассница Надька Петрунина принесла в класс фотографию немца. Молоденький совсем, а рядом сестра и мать его. Пленные немцы на свои фотографии хлеб выменивали. Больше у них уже ничего не было.

Говорю Надьке:

– Зачем тебе его фотография? У него она: память. Лучше бы уж дала хлеба так, без ничего.

– Мне его жалко, – отвечает, – он сказал, что не по своей воле пошел воевать. У него глаза такие: я верю, он хороший. Еще говорит, что скоро умрет. Просил очень сохранить фотографию. Если родственники будут разыскивать его когда, показать ее. Я обещала. Он так верит, что все образумится. Придет время, когда войн совсем не будет. А будет общий мир! Люди поумнеют. Только, сказал, уже без него. Видишь, на обороте его имя есть.

Мне захотелось посмотреть на этого немца. Мы с Надькой пошли к бараку. Но поздно. Скрюченный весь, глазастый немец сказал, что Вернер ночью умер. Закопали его в овраге. Там рядом этих оврагов было полно. Зима. Метель. Пойдешь, что ли, туда? Страшно...

Уже летом пошла я козам за травой. Смотрю, в овраге такая она зеленая. Я с мешком и серпом – туда. Только спустилась, как заору. Бегом оттуда. Выбежала, вся трясусь. Там внизу скелет человека лежит. Видно, зимой долбить пленным тяжело было землю, слабые. Вот они его в снег и закопали.

Выбежала я наверх с пустым мешком и серпом. Еле отдышалась. Стою, не ухожу. Смотрю и смотрю туда, в овраг. Толкает меня еще посмотреть. Спустилась. Лежит. Все кости целехонькие. Когда пришла, рассказала Надьке. Втемяшилось ей, что это Вернер. И все тут. Сильно плакала. Ходила в этот овраг без меня. У нее брат родной без вести пропал на войне. Может, оттого она так...

Потом уж, когда я в собесе работала, приходят двое мужчин к главбухше нашей:

– Вы, – спрашивают, – когда здесь пленные немцы были, работали при них?

– Да, – говорит, – работала. В трудовой книжке запись есть.

– Можете показать, где их хоронили?

– Конечно, – отвечает Ксения Ивановна. Ходила, показывала.

Она потом говорила, что в Германии ищут своих. Вот и приехали эти двое. Вот бы фотографию Вернера показать. Да Надькин след простыл. Уехала куда-то. А куда, никто из нас не знал.

Потом комиссия работала. Говорили, что вроде нашли захоронений одно количество, а по документам – другое. Несоответствие большое. Известно, как хоронили.

Кто кого у нас больно считал? И наших, и не наших...

На нефтебазе то ли бензин, то ли солярка при перекачке попала в Волгу. А рядом асфальтовый завод. Там овражек небольшой такой от реки шел. На заводе два катера было: “Петрович” и “Звонкий”. Говорили потом: один из команды “Петровича” возился с двигателями, разогрел или что. Уже осень была. И бросил факел в воду. А может, окуроч... Волга и вспыхнула. Многие погибли, кто рядом был. Тогда взад-вперед суда ходили. Кругом копошились люди. Мне сверху видно, я ботву на огороде убирала. Зарезво полыхало без краев. Пристань стало не видеть. Бросилась туда:

– Папа, папа! Миленький, только не попади в огонь! Боже сохрани! Тебе и так хватило!

Беги и молюсь. А пионерка! Бога зову в помощь. Потом и слова пропали. Только мычу.

В этот день папа на дебаркадере стекла менял. Попросили – он не отказался. Прибежала на пристань, а он целехонький. Только чумазый весь, народ спасал, как мог.

Пострадало, не знаю, сколько. Много. Брат Володя только вечером пришел с Волги. Принес собачонку. Мужчина и женщина на дощанике плыли. Он и вспыхнул, дощаник этот. Оба погибли. Погибли они, а собачонка осталась целой. Он принес ее, а мама против.

– Мам, ну ладно тебе, она много не съест. Пусть живет, спаслась ведь! Уговорил. Согласилась мама.

Долго собачка у нас жила. Мы ее Жучкой звали. Потом Жучка оценилась.

Один щенок гладкий такой был, на коротких ножках. Шерсть жесткая, жесткая. Ясочкой назвали. Больно уж трогательный. Второго машиной задавило, совсем еще маленького. Я его не очень запомнила, какой.

Ясочка в будке жил. Весной во дворе грязь.

Чуть подошло, куры начали выходить на теплынь. В сарае дырка сделана. Они туда-сюда, сами заходят-выходят. Уже близко к Пасхе, а яичек совсем мало.

Сидим, обедаем. Папа говорит:

– Мать, а мать, ты яички-то больно не расходуй. К празднику побереги.

– А я и не расходую, – отвечает, – вон иногда одно в кашу разобью. Не несутся чтой-то.

Прошло дня три. Надя идет с работы на обед, Ясочка вылез как-то бочком из будки, остороженько. Встречает. Она гладит его, а он смотрит на нее внимательно, будто сказать что-то хочет. Надя говорит маме:

– Что-то у нас Ясочка сам не свой, озабоченный какой-то? То общительный всегда, а теперь?

А мы все так любили своего Ясочку. Характер у него мягкий, приветливый. И мама заметила перемену:

– Не заболел ли? – отзывается. – Пойду, посмотрю.

Собрала со стола остатки. Понесла ему. Я с ней. А Ясочка виляет хвостом. Как будто заманивает к своей будке. По кругу ходит.

Мама удивилась:

– Да что с тобой творится?

Подошли с ней поближе, глянули в будку. А там яички, поболее десятка.

Куры облюбовали местечко, а он им не стал мешать. Наоборот: бочком-бочком проходил в будку на свою лежанку. Так же бочком и выходил. Получается, за сторожа был. Подошла и Надя, забрала яички. Папа говорит ей:

– Хорошо, что ты надоумила нас посмотреть. А то бы он, как наседка, взял и высидел бы нам цыплят. Вот квочка была бы!..

...Помню, папа взялся в сорок седьмом караулить картошку на собесовских делянках. Попросили. Сделал шалаш, настелил в нем сухого сена. Посередине шалаша была траншейка, в нее по двум ступенькам надо было спускаться. А по бокам от траншеи этой, влево-вправо, получились лежанки, удобные такие. Дверь папа какую-то старенькую принес. Приладил. В самый

сильный дождь было в шалашике сухо. А когда солнце, укрываться в нем от жары – красота!

Мама перловку сварила.

– Нате, отцу отнесите на завтрак.

Мы с Володей взяли глиняную чашку с кашей и пошли.

Пришли. Папа сидит. Правая рука у него до самого локтя покраснела. Инда смотреть страшно. Всю ночь, оказывается, не спал. А получилось как? Днем он жал серпом пырей, мозоль образовалась. Как прорвало, видать, грязь попала, пошло воспаление.

Уговорили пойти в больницу. Его тут же и положили. Около месяца пробыл там. Видно, когда резали, сухожилие задели. Палец безымянный не гнулся потом у него всю жизнь.

Вместо отца, пока он в больнице был, мама караулить огороды нас с Володей отрядила. Иногда Егор Пуговкин навещался. Его участок с картошкой был недалеко от нашего шалаша.

...И вот уже смеркается. Володя спит. Я слышу шум какой-то. Кто-то ходит, а я выглянуть не тороплюсь.

А тут дядька Егор кричит со своего участка:

– Марья! Вы чего дрыхнете? Из-под носа картошку воруют, а вам хоть бы хны!

Ой!.. У меня сердце заметалось. “Воруют”. Как же? Что же? С ворами-то впервые столкнулись, вот так напрямую... Выскочили с братом наружу. Чуть кондрашка не царапнула. Смотрю: один, второй... четвертый... Их сарынь целая. Человек семь нагрянули. Ухачи! У меня волосы дыбом!.. Ай, батюшки, что же делать?! Ладно, Егор подоспел, а тут объездчик на велосипеде – Федька Маслов. Колхозные поля проверял.

Увидев такое дело, воришки остолбенели:

– Ой, только в милицию не сообщайте.

Оказались они из сызранского ремесленного училища. На плотников учились. Все из окрестных деревень. Родители далеко. А есть хочется!

Непохожие на хулиганов. Молоденькие совсем еще.

Егор им:

– На первый раз прощаем. Только марш отсюда! По-быстрому!

Они гуськом и побежали. Смехота! Теперь, в наше-то время, разве кого напугаешь так?

Я после уж снова вышла из шалаша, а они всей гурьбой копаются у дядьки Егора в огороде. Пошла к ним. А он им разрешил картошки у себя накопать. Они уже, как свои: “Дядя Егор, дядя Егор...” И потом, когда убирали картошку, трое приходили помочь. Дружба у нас завязалась с ними. Один, белобрысый такой, Митей звать, из Кануевки оказался, где дядька Егор родился. Земляки!

Брат Слава после седьмого класса пошел учиться на столяра. Пока учился, сделал для дома и стулья новые, и тумбочку. В жизни ему умение это потом крепко пригодилось.

После училища работал в вагонном депо. Ремонтировал вагоны. Зарабатывать начал, полегче стало.

Поступил в машиностроительный техникум. А с третьего курса взяли его в армию. Три с половиной года отслужил на Охотском море. Вернулся. В техникум берут его только на третий курс. “Не пойду, – заявляет нам, – лучше работать устраюсь. Несправедливо, я до армии весь третий курс проучился. В апреле призвали. А меня опять на третий?”

Папа ему всякие доводы приводил:

– Мне инженером не удалось стать, так ты, может, будешь. Какой размах на железной дороге!.. Вон Борис Бещев (тогда министр путей сообщения. – **Прим. авт.**)! Разве не пример?.. Сирота! Сначала братья помогли. Потом – техникум, затем – институт...

Еле убедили Славу вернуться к учебе.

При эвакуированном из Минска машиностроительном заводе был этот техникум. Слава окончил его и стал специалистом по резке и сварке. Голова у него светлая. В Киев к Патону ездил учиться этому мастерству.

Как-то быстро поставили его начальником конструкторского отдела на заводе. Дальше собирался учиться в институте на заочном отделении. Да спеш-

но так женился. А потом дом затеял строить. На том же позьме (земельном участке), где и наш общий дом стоял. Сруб сообща помочами поставили. А после он почти все вершил один.

Володя сразу после армии женился. У каждого свои заботы. Помню, помогал он Славе всю неделю вечерами и весь выходной. А у самого дом без крыши. Замотался. И говорит:

– Меня не хватит на все. Пускай рабочих нанимает.

А как нанимать? На какие денежки? Ушел, а сердце не на месте.

Говорит мне:

– Пойдем вдвоем, помочь надо.

Всего-то часа два его не было со Славой. А Слава тяжеленную потолочную матку на стены один поднял. И все. Не до строительства стало, не до учебы... Надорвался. Всю потом жизнь страдал.

И Володя мучился. Корил себя, что так вышло.

...А тут у Володи затемнение в легких обнаружилось. Врачи допекли анализами. Таблетки не помогают, а с операцией тянут. Володя худел на глазах. Пришел к нему в палату Слава, принес термос китайский.

– Будешь есть, болезнь пройдет. Решайся!

– Что это?

– Собачье мясо. Надо бы барсучий жир раздобыть, да где? И времени нет...

Стал Слава ему это мясо приносить, а Володя послушно ел. Вскоре ушел из больницы домой. Жена Лена стала готовить мясо. Съел целую собаку и пошел к врачам на проверку. Никакого затемнения в легких. Будто и не было ничего. Чудеса прямо!.. Везучий наш Володька.

Сейчас ему уже за семьдесят. Рыбачит с племянником на Волге. Не одни – с помощниками. Часть улова они по норме сдают хозяину, остальное – себе. Тем и живут.

Помощники часто меняются, пьют. Володя с Андреем замучились с такими работниками...

Спрашиваешь: было ли свободное время? Днем, конечно, не было. Придешь из школы: то воду таскаешь, то полы моешь. Или на огороде возишься.

А я так любила слушать радиопередачу “Театр у микрофона”. Приглушу динамик, чтоб не слишком громко было. И слушаю себе.

Театр меня завораживал. Толубеев был, Хохряков. Царев был. Какие голоса! Чудо! Пьесы Чехова были. У меня такое воображение, я все представляла себе. Как и что! И “Вишневый сад”, и “Три сестры” слушала. Оперетты любила. И поют, и говорят в них.

Мама бывало:

– Спи, завтра чуть свет разбужу!

И будила. Особенно летом рано вставала. Коз надо в стадо сгонять.

Я смотрю: как теперь все изменилось.

Раньше, казалось мне, в три часа уже светало, а сейчас только в пятом часу начинает. Земля, что ли, у нас теперь не так крутится?

Вот “Театра у микрофона” не стало. Да что я говорю? Самого радио, какое раньше было, не стало. Куда дело годится?

...В техникум тогда поступали после семи классов. Подруга Надька сразу решила подавать документы. Моя сестра Надя уже работала. Я заговорила про учебу в Сызрани. Она:

– На какие деньги ездить туда? Работать надо.

Я упростила попробовать сдать экзамены в медицинский. Если без троек сдам, будут давать стипендию. Другое дело!

Училась я в школе без троек. Сдала все вступительные экзамены на четверки, остался один: по Конституции. Ночевала я в Сызрани у Надькиной тетки Гани. Переночевали и отправились на экзамен. Народу тьма. А мы голодные. Я так перемучилась. А тут мне какой-то мужик вредный в комиссии попался. На первый вопрос я не ответила. Мне он хлоп – тройку и поставил. Прошу, чтобы меня еще поспрашивали, ни в какую. Все, стипендии не видать!

Однако два месяца я ездила на занятия. Сестра Надя замучила:

– Давай бросай, давай бросай!

Я и сдалась. Она меня тут же устроила быстренько. На склад уголь учитывать в Обшаровке. Еще надо было табели вести, графики работы грузчикам составлять. Работали грузчики угля в три смены. Среди них Хохлов Артем – вертлявый такой был. Все ему надо.

– Ты, – говорит, – над бумажками сидишь, уголь учитываешь. А не знаешь, какой он бывает.

– Как так, не знаю? – отвечаю. – Ошибаешься.

– Знаешь? Сейчас проверим.

Ушел. Через некоторое время принес в барак четыре куска угольных. А у нас тогда уголь был прокопьевский, блестящий такой, карагандинский – тусклый и антрацит. И еще бурый уголь. Его плохо машинисты брали.

...Платформы стояли, он и набрал. Я все назвала правильно, по маркам. У грузчиков лица вытянулись.

Любопытная была, давно уж все пощупала своими руками. Эшелон ведь за эшелоном шли. Октябрьск всю жизнь свою связан с транспортом, а жизнь нашей семьи – с железной дорогой и Волгой. Через Октябрьск переваливали истари лес, зерно. Он соединяет Европу с Азией: и мостом, и железной дорогой. Издавна через него возили грузы то гребными, то парусными судами, то баржами с конной тягой. А до того бурлачили... Трудяга – одно слово.

Хохлов этот, Артем, приставать начал. Подкараулит, где никого нет... И лезет со своими ручищами. Сильная была, в следующий раз не стерпела. Дала крепкий отпор. Укоротил руки, но, чувствую, что-то замыслил...

Никому пожаловаться не смею, молоденькая совсем... А тут уволилась. Взяли меня в горсобес счетоводом. Работала и бегала в вечернюю школу. Окончила 8-й и 9-й классы. И все на том завершилось мое образование. Больше нигде не училась.

Как замуж вышла, вместе с мужем стала работать. Михаил сначала был матросом, потом рулевым. Одну зиму учился, после этого на маленьких судах начал работать капитаном.

Работали вместе мы долго. Доверили ему “Агиткатор”. Плавали по Волге до Саратова, Волгограда. И обратно в Самару. На втором этаже размещался кинозал с небольшим экраном. Мы пришвартовывались к судну, и капитаны с командным составом в кинозале прорабатывали несчастные случаи, аварии на воде, приказы. Там же мы раздавали письма, свежие газеты. Михаил меня матросом устроил. Потом я согласилась еще и на повара. В команде восемь человек. Всех накормить надо. Никакой скидки не было. До того уставала. Еще счетоводом тут же.

Потом паромом с мужем заправляли. Сто пятнадцать, помню, человек вместимостью. Около десяти лет плавали. Михаил в бухгалтерии мало что понимал. Все мне сбегрил. Он и в машинах не очень... Я в этом вскоре убедилась. Часто у него ломалась техника.

В сутки только шесть часов были свободными, с двенадцати до шести утра. То варила, то кормила. То за матроса, то подсчетами занималась.

До нас перевозили народ через Волгу частники. Каждый на своей завозне. Сновали туда-сюда. Организовали паромную переправу, нас и направили. Берег левый – берег правый. Один маршрут.

Волга тогда кипела! Народищу... Подплывешь, сначала с носа чалку вовремя надо подать матросу, который на причале. Потом бежишь с кормы подавать другую. Туда, сюда. Как савраска. За вахту набегаешься... У меня до сих пор руки – мужицкие.

На Волге паромная переправа стоила двадцать копеек. Каждый вечер надо было подсчитать деньги, в кассу сдать. Путевой лист оформлять. Потом Михаил захотел, чтобы я и машинные журналы заполняла. Обленился совсем. Тут уж я в дыбошки. Ни в какую! “Машинные журналы заполняй сам!” – сказала, как отрезала. На мне еще и выдача зарплаты. Топливо на мне. Все расходы-доходы, все надо свести. Весь баланс на мне. Сводила.

Между судоремонтным заводом и элеватором в Самаре стояли два плавдома. Дали нам комнату в одном, в трюме. Окно одно, на уровне воды. Сырость, конечно. Отопление паровое. В носовой и кормовой частях – плиты. Топили углем. На них мы и готовили себе еду. В этом трюме у меня дочь Наташа родилась. Построили на Кряже восьмиквартирный дом: дали нам двухкомнатную на две семьи. Коньковы были бездетны. Так что нас пятеро

всего. Топили дровами, углем. Котел стоял. Немножко вздохнули. Когда в Сызрани бухгалтерия в порту стала расширяться, меня вызвали.

Юрий Васильевич говорит:

– Мы тебя, Вострикова, хотим в бухгалтерию перевести. В Сызрань. Как ты на это смотришь?

– Мне же тогда ездить надо из Октябрьска каждый день, – отвечаю.

– Решай! Главный бухгалтер мне рекомендовал тебя. Хорошо о тебе отзывается.

Домой приехала. Маме с папой сказала.

– Соглашайся, – говорят, – от Мишки хоть отдохнешь.

Так я освободилась от мужниной многолетней bestолковщины, вздохнула свободней. Ничего он с охотой не делал. Плавал, как жернов: столько всякого перетопил в реке. Все абы как. И злой постоянно. Кричит. У плохого мужа жена всегда дуря.

Почти десять лет ездила в Сызрань на автобусе. Больше двенадцати часов в сутки меня дома не было с такой работой. Зато не на воде. Я с Михаилом плавать всегда опасалась. И за него боялась. Все что-нибудь не по-людски. Скажешь ему по-доброму. А он:

– Собака умней бабы: на хозяина не лает.

Вот и поговори с таким.

Эта вода!.. Бог меня, что ли, хранил. Два раза вылетала за борт по его глупости. Плавать-то я хорошо умела. Целехонькой оставалась, без царапинки...

А вот железная дорога меня отметила. На всю жизнь, когда еще учетчицей работала.

Шла мимо паровоза. Окалина вылетела вместе с дымом из трубы и – в глаз. Светленькая такая. Воткнулась в правый глаз прямо в яблоко. Сестра Надя, когда я домой прибежала, свернула листочек бумаги клинышком и вынула ее. Вынуть-то вынула, а глаз с той поры плоховато видит, не как левый.

...Сын Петя – грудной, а у меня молоко пропало. Чем кормить? Скорехонько козу купили, вспомнили, как маму выходили в войну. Коза Катька и стала у Пети кормилицей. Катька красивая была. Черная вся, только голова от ноздрей до рогов – белая. Она потом принесла двух козлят. Один белый, другой – почти как она, черный. Мама летом их частенько мыла. Привяжет к завалинке, вынесет таз и помоеет. Вымя Катьке каждый раз перед дойкой мыла. И тряпочкой потом протрет, аккуратненько так.

Сестра моя Таня приехала к нам из Новокуйбышевска и зазвала маму в гости к себе. Мама – к поезду, а ее три козы провожают до самого вагона. Не удержать их. Она уехала, а они, как только поезд какой на станции загудит, мечутся по двору, того гляди вырвутся.

Без мамы пригнала я коз из стада, помыла вымя Катьке и хотела подоить ее. Не далась. Одну Белку подоила, а Катька с Манькой по двору бегают:

– Ме-ме?.. – почему, мол, так долго хозяйки нет?

Мама приехала на другой день, вечером. Едва калитку открыла, они втроем к ней:

– Ме-ме, ме!.. – Жалуются.

Она их гладит, приговаривает:

– Миленькие мои, соскучились, бедненькие...

...Михаил продолжал куролесить. С людьми у него плохо получалось. Я терпела, как могла. Михаила Вострикова теперь все в порту знали. Переводили его, переводили с одного места работы на другое, а толку?

Достукался: из капитанов в матросах оказался. И все равно продолжал пить. Леня за пазухой у него гнездо свила. Что тут делать? Борис, муж сестры Михаила Люськи, развелся и уехал на Север.

А тут вернулся в Октябрьск. Зачем-то принесло его. Известно: глупый – умного, пьяница трезвого не любит. А тут оба одинаковые сошлись. В первый день с утра налупились. Два дня пили. То у нас, то у них в бане. Вдруг исчезли оба. Враз. Как дымок печной, пропали. День, второй – их нет. Дома не ночуют. Я – на пристань.

– Где Мишка?

А сменщик его, Юрий:

– Ты чего это? Проснулась? Уехал твой туповатый Востриков. Сказал: в Сургут. Поеду, говорит, себе новую биографию делать! Видала, что?

Михаил вскоре прислал письмо, две страницы наваракосил. Срочно велел приезжать. Устроился на работу. Обещают жилплощадь. Иль, пишет, всю жизнь в отцовской деревяшке хочешь прожить? Без газа, без горячей воды, с нужником во дворе? В Сызрани или Октябрьске, дескать, не дожدهшься своего жилья. Опомнися. Не пил бы так, глядишь, по-иному все было.

Поехали к нему. Где муж, там и жена. У нас уже были и Наташа, и Петя. Мама вздыхала: “Куда из родительского дома? К добру ли?”

Вспоминаю первый год на Севере.

Конечно, непривычно сначала. Мошки и комары... С ума сойти. Еще бы, столько озер и болот, речушек и проток.

Пришла с работы, а Петя:

– Мама, ну пойдём в лес! Сколько уж раз обещала.

Лет девять ему было. Все дни на речке пропадал. Там ветерок. Купался с мальчишками, а все в лес рвался.

Голубика поспела. Взяли ведерки пластмассовые, и пошли с ним. Только зашли в лес, мошкара тучей набросилась. Комары! Как мухи, огромные. Мы в панике назад. Выбежали на дорогу, оглянулись – огромный комариный хвост. Потом-то уж попривыкли.

Зато какие зимой гонки на оленьих упряжках на льду озера Янтарного! Вот где красота!

Вначале, как приехали, пришвартовались в пятнадцати километрах от Надьыма, в поселке. Двухэтажный деревянный дом. Отопление, плита на кухне на баллонном газе. У нас на Волге такого не было. Огородов никаких. Отдых от огородов. По дому приберешься, сварить, то да се. И только.

Воду в бойлерах привозили. Набирали ее в бочку. Большая такая, в коридоре стояла. Это не то, что в Батраках: на себе таскать на коромысле по два ведра. На гору от Волги. Иногда несколько раз в день туда-сюда. Плечи ноют. Многие по-другому на Севере.

Коренные: ненцы, ханты, манси – в основном все в охоте, в рыбалке, оленеводстве. Их всего-то, кажется, около десяти тысяч осталось, кочевых.

С тех пор на глазах моих столько перемен свершилось. Теперь в Надьыме около пятидесяти тысяч разного народа живет. А население автономного округа уже более пятисот тысяч.

Край – цены ему нет! Не зря народ прибывает и прибывает. Места всем хватит. Еще бы, говорят, в два раза больше Франции!

Не видала Францию, но все равно...

Мне бы грамотешки побольше, да годков сбросить хотя бы с десятков. Но ушло мое времечко. Дела великие вершатся! А такие, как я, недоучившиеся, где-то будто внизу, в трюме огромного многопалубного парохода, копошатся. Те, кто ученые, с высшим образованием, если бражничают, работают вполоборота, мне за них неловко, честное слово. Дела-то требуют каких усилий!

Я почти всю жизнь, до восьмидесяти седьмого года проработала бухгалтером на расчетах по зарплате. То в Сызранском порту, то в Надьымском.

Как живут на Севере? По-разному, уже говорила.

У сына Петра одноклассник был в Надьыме, Виктор. Мы жили в одном доме. Окончил он девять классов, и мать отправила его в Питер к брату. Поступил учиться в техническое училище на экскаваторщика. Там и попал в дурную компанию. В голове-то реденько засеяно. Воровать начал.

Он и раньше не больно нравился мне своим поведением. Замечала, что частенько поступал нечестно, по мелочам. Все шустрил что-нибудь. Такой вертолет! Обокрали они какой-то там магазин. Поймали. Дали ему три года. Отсидел свое. Приехал к родителям в Надьым. Нигде не работал.

Летом ночи в Надьыме светлые: гуляй хоть до утра. Муж с женой несли пиво в банке. Он с друзьями был во дворе. Отняли пиво и ушли к приятелю, который жил рядом в общежитии. Эти, муж с женой, за ними. Вахтерша видала компанию с трехлитровой банкой пива. Подтвердила. Позвонили в милицию. Когда милиционер вошел в комнату, разудалая компания распивала то злосчастное пиво.

Так как Виктор был судим, дали ему сначала два года условно. В Салехарде потом суд переиначил: пришлось ему сидеть два года. Отсидел, опять к матери вернулся.

Когда сидел, научился плотницкому делу, столярному. Она и этому рада была. Потом он начал работать в Ямбурге. Вахтовал по полмесяца. Сама не была там, а слышала: кто в Ямбурге не работал, тот Севера не видал. Зимой морозы под пятьдесят градусов. От барака до барака веревки протянуты. С их помощью передвигаются, иначе унесет. Так вот газ-то дается.

...Мать к сестре уехала в Старый Оскол. Виктор примерно через полгода – к ней. Не захотел в Надыме с отцом жить. Пил тот крепко, буйствовал.

Прилетел Виктор к матери, его прямо в аэропорту и забрали. Он ничего не поймет. Оказалось, в Ямбурге убили парня, с которым он работал вместе. Мать с сестрой собрали денег, сколько для залога надо, чтобы его выпустили до суда.

Потом разобрались: когда случилось убийство, его уже в Ямбурге не было. Уволился и уехал. Он пока ждал суда, дал себе зарок: если отпустят, уйдет в монахи. И ушел. Разыскал мужской монастырь где-то в Калужской области. Мать, Люся, ездила к нему следующей весной. Место, говорила, райский уголок. Дубовая роща рядом. Монахи все вокруг в такой чистоте содержат. И столько кругом ландышей цветущих! Как в другой мир попала. Воздух! Хоть пей его. В монастыре коровы, куры. Целую ферму монахи содержат. Сын больше на кухне работал. Много заготовок всяких впрок делали. Консервировали, солили. Огороды огромные. Если корову зарежут, мясо не ели, в продажу. На полученные деньги покупали рыбу. Рыбное варили. Или постное.

Но снова беда. Плохо стало у матери с ногами. Ходить невмочь. Сестра Ольга написала Виктору. Так, мол, и так, Божий человек, мать совсем стала неходячая, давай, Витя, к ней прибивайся. У меня семья, работа. Я не потяну. А ты один. Приезжай за мамой ухаживать.

Вот он два года уже в Старом Осколе и живет, третий пошел. Мать пенсию получает, а он пристроился в церкви работать. Я иногда звоню ей. Иной раз она мне:

– Марья Петровна, мой Витя такой добрый стал. Помогло ему временное его монашество утвердиться в жизни. Одно беспокоит. Ему сорок один уже, а не женат. Мне так хочется, чтобы нашел какую порядочную и привел.

Спокойная стала в разговоре. А то, бывало, в Надыме зайду к ней, она и пошла без остановки обо всем и обо всех, кто наверху. Я ей:

– Люсь, мне неинтересно про политику.

– А я не про политику, я про жизнь.

– Мне неинтересно других обсуждать.

Она свое:

– Те, которые ловкие, дело свое завели, разбогатели. А которые посоветливее, так... они в стороне остаются. Из них кто спился, кто повесился, кто чего...

На Север каждый за своим едет. Свою долю ищет. Известно: славны бубны за горами. Чаше за деньгами едут. Кто как устроится. Кто в “Надымгаз” работает, теперь он стал “Газпром”, тот удачник. Хорошие у них оклады. У подруги моей Луневой, она умерла уже, дочь работает там уборщицей. Заработок – двадцать тысяч.

Мы со всей ребятней с пятого этажа в последнее время часто гурьбой у Нефедовых собираемся. Теперь уж со внуками. Дарья Николаевна и Василий Михайлович из Оренбурга. Сначала они, орелики молодые, целину рванули в 50-х годах поднимать. Там им какой-то мужик, который с Крыма, подсказал, что у него на родине организуется виноградарский совхоз. Уже закупили саженцы. Они – туда.

Приехали. Там, в этом совхозе, как раз строили дома из ракушечника. За счет совхоза. Пилили на большие кирпичи его, и – в дело. Построили они себе дом такой. Километров шестьдесят где-то от Евпатории. Стали неплохо жить. Туда на лето отдыхающие приезжают. Соорудили веранды, стали сдавать. Там же тепло.

И вот прибыли какие-то отдыхающие из Надыма, разговорились. Мол, в Надыме заработки неплохие, то да се. Василий Михайлович и поехал в Надым. Он электрик со среднетехническим образованием. Устроился быстро.

Через год дали ему квартиру. Дарья Николаевна подалась к нему. А дети уже взрослые. Старший сын остался в совхозе работать, женился. Второй сын Владимир в Питере служит во флоте. Познакомился с одной, пишет: “Женюсь”. Родители не возражали. Приехали в Надым, живут с ними вместе. Внука родили им.

Дочь их Татьяна – решительная девка. Звонит в Надым матери: “В Афганистан еду. Уже документы подала”. Мать в слезы: “Ты что? С ума сошла”.

Уехала Татьяна. Два года была в Афганистане. Окончила курсы поваров. Работала в госпитале.

Что заставило? Не могу сказать. Вода плохая, грязища. Заболела желтухой. Приехала к ним на Север.

Неприкаянные на Севере многие. Не все, конечно. Как унесенные ветром каким... Помнишь фильм-то этот?.. И каждый хромает на свою ногу.

Ни разу не слышала я, чтобы кто-нибудь на реке Надым песню запел. Как бывало на нашей Волге...

Растекается народ русский, его будто уже и нет. И те, кто живет где, как временные. Никому уж не надо ни своей земли, ни дома у речки. Разве чтобы доживать только, не жить...

Папа два года не дожил до своего 85-летия. Умер незадолго до нашего отъезда на Север. Пришел в сарайшку пол подмести, там куры у нас были в одной половине. В другой – две козы. Мама сидела козу доила, а он стал сметать куриный помет в корытце, которое встроил вровень с полом. Мама и не поняла, как все случилось. Обернулась, а он лежит недвижимый. Голоса не подал даже. До этого два инфаркта было.

Такая жизнь: многое хотел, а умер в курятнике. Боже мой, что я говорю? Вся жизнь папа трудился, нас кормил. Никого за всю жизнь пальцем не тронул.

...Андрей Сидоркин, одноклассник его, говорил на похоронах маме: “Счастливым какой Петр-то. Жил незаметно, никому не мешал. И ушел, никого не обременил старостью своей. Мне бы так...”. Позавидовал.

...Я сейчас замечаю за собой: у меня, как у папы, сердце-то стало. То защемит, то ничего. Руки вот порой не слушаются. Когда стою еще, на кухне руками могу работать, а наклонюсь: мотнет в сторону... Мне бы тоже так, как папа, чтоб не в обузу...

Спрашиваешь, что в жизни было самого-самого?.. А что было? Работа да заботы – вот и вся жизнь. Что еще вспомнить? Дети – самая большая забота. О себе когда помнить? Дом хозяином держится. А у мужа моего, что на катере, что в доме – все в развале. Злой Михаил был неимоверно.

Никакой путевой работник из мужа и на Севере не получился. От себя не уйдешь. Не любил работать и людей не любил. Куда уж еще хуже?

Песни не пел. Ни одной не знал. И пил, и дурил, и детей бил. И дочь, и сын бегали от него. Я не давала бить, так он без меня Петра отстегает и прикажет, чтобы молчал.

Но всему свой конец. Однажды прихожу с работы. Петя сам не свой сидит на кухне. Лицо опухшее от слез. Голос охрипший. Стала допытываться, он реветь. Ничего не говорит.

– Ну-ка, – говорю, – рубаху сними.

Снял. Гляжу: у него от плеча до бедер темные полосы. И ремень на полу в углу лежит. Ремнем сек десятилетнего мальчишку.

Схватила я в горячках ремень. Ну, думаю: держись! Одним махом свалила Михаила на пол. Разум, что ли, помутился. Опомнилась: Боже, он же муж мой! Что же это... сын рядом.

А Михаил перепугался. Бледный. Трус – одно слово. Не мужик.

Бросила в лицо ему ремень этот. Говорю:

– Бери сейчас Петю и ходи с ним в больницу. Пройдем освидетельствование. Подаю бумагу в милицию. Будешь сидеть. Хватит мордовать!

Не ожидала: бухнулся он на колени и стал молить, чтобы простила. Противно стало. Схватила Петю и ушла на улицу. Продышаться от всего этого.

Когда вернулись, он спит пьяный на полу. Села и сажу на кухне: лицо в слезах. Баба – она и есть баба.

А вскоре утонул муж в Надыме. По пьяни весной. Жил пьяным, помер глупо.

Поднимала детей одна.

...Только в день похорон Петя был у могилы отца. Потом – ни разу. А у деда в последний приезд в Октябрьск памятник обновил.

Я настояла в свое время сына Петром назвать в честь деда. Хотела, чтобы на папу был похож. И не ошиблась. Когда в вертолетное училище Петя поступал, зрение подвело. Зачислили не летать, а в механики. После учебы в Выборге вернулся в Надым.

Весь с тех пор в железках. Порода такая, кропотливый. И совестливый во всем. В деда. Комара во сне не обидит. Таким бы высшее образование, да побольше их. Наша общая жизнь, глядишь, получше стала бы. Выпрямилась... Но нет, как-то по-другому она идет... По своим законам устроена, жизненка наша...

...Вздумали его в депутаты избрать, а он ни в какую. Отказался. И папа сторонился власти всякой. Руками живем.

Там на Севере, известно, лагеря были. Ссылные.

Совсем еще недавно жил в городе один из таких. Звали его Аполлоном. Поговаривали, что граф по происхождению. За что осудили, не знаю. Деликатный такой, высокий. Когда освободился, построил дом. И жил себе прямо у реки Надым. Рассказывал кое-что о своей жизни. Немного.

Раз в год ездил он в Питер. Краски масляные привозил. Рисовал. Чаще всего осенний лес. Грустные картины такие. А недавно умер, в 98 лет. Всегда при встрече тянуло меня с ним заговорить. Иногда получалось.

Спрашиваю, что ели в войну в ссылке? Мне интересно сравнить с тем, как в Октябрьске было. Хлеба, говорит, не видели. По двести граммов крупы давали на день. Питались в основном тем, что лес давал. Было много куропаток. Оленя зимой забивали. Как в Надым едешь, по дороге там мост. А рядом озеро небольшое. Такие огромные караси в нем были. Озеро так и называлось: Карасево. Потом ягоды, конечно, выручали.

Морозы наступали в сентябре. И холода стояли до июля. Когда город построили и теплоцентраль, климат изменился. Немного теплее стало, а то один год даже речка не вскрывалась. Уже при мне на реке земснаряд поставили. Чистили судовой ход, чтобы суда не садились на мель. Дебаркадер обустроили. Я Аполлона несколько раз у этого дебаркадера с мольбертом видел. Чего уж он там интересного нашел? Сказал один раз:

– Какой прекрасный мир оставил нам творец!

Дивно это мне было тогда слышать слова его.

– Я прожила столько здесь и не увидела красоты никакой, маета одна, – говорю ему, – без Волги мне и холодно, и серо здесь. Где вы увидели ее, красоту?

– Человек – часть этой красоты, – так сказал. И совсем меня заморочил. Сколько ему люди вреда сделали, а он такое говорит.

Сильно испортился человек. Было бы побольше таких, как мой папа...

Теперь все чаще папу вспоминаю. Раньше сильно не задумывалась о вере. Помолюсь, и ладно. А теперь книги духовные начала читать. Евангелие. Раньше бы надо.

Папа-то! Он, бывало, перекрестится в нашем доме перед иконкой в переднем углу: “Святой Ангеле Божий, хранитель мой, моли Бога о нас, грешных...” Обернется на меня, лицо светится... С верой в душе жил. И дом наш на Волге наполненный им. Оттого, может, и крепок еще.

Мне Аполлона будто кто в помощь послал. Говорит:

– Сходите в Свято-Никольский храм-то, который у нас недавно построили. Он заряжает жизнью. По-новому должна церковь заговорить и, кажется, заговорила. Надо не уводить человека от жизни, а подготавливать к ней. К жизни не потом, а на земле. Жизнь и есть рай настоящий.

А я хожу в храм. Как не ходить? Не стала ему говорить об этом. Давно хожу... И вижу: не все, кто в храме, переживают. Некоторые приходят по форме... Меня слова его удивили в который раз. Это моя-то жизнь и других, кто рядом: рай?

А художник о своем:

– Рай надо творить самим нам. Я на Севере это понял. Это мой главный итог жизни. Храм здесь, на Севере, как нигде, соединяет и небо, и землю. И холодный север, и теплый юг. И Волгу, и Надым. Он среди суровой жизни – опора духа! В очередной раз у России крыша поехала. Сколько можно?

Смута – вот название всему, что творится. Очередная смута. Во всей России холод. Надежда на храм. В нем душа согревается. Свет идет. Церковь не может теперь быть сама по себе. Мир изменится к лучшему, только в единстве мирского и церковного.

Когда он так сказал, я опять папу вспомнила. Он ведь и верующим был, а в партию вступил.

Я, старуха, пожила, а терялась, когда так Аполлон толковал. Было уже это... с папой было, со всеми нами. Верили в Бога, в царя, потом в Ленина, в Сталина... в перестройку... Устали верить... Всеобщее братство, равенство... Будет ли такое когда? Какое братство, коль капитализм начали строить? Все по кругу идет!..

Сказала ему о своих сомнениях. А он не развеял их. Говорил, задумавшись:

– Грешны мы все, Марья Петровна. И не признаемся в этом, в личной вине перед нашей жизнью грешны. Повиниться нам надо, всем! Слишком многому верили из того, что нам говорили. Верили тем, кого не надо было слушать. И у нас, и за бугром столько таких говорунов оказалось. Говорунов себе на уме, со своей целью...

Вскоре художник заболел и умер. Я его незадолго до смерти у храма встретила. Указал он на прихожан:

– Смотрите, Марья Петровна! Народ в храм тянется. Ищет опоры. И вы в храм пришли! Россия в который раз во мгле. Успех любой ценой – разве это не грех? Большой грех.

А меня не остановишь. Не знаю, почему.

– Потянулся народ в храм, – соглашаюсь, – но уж больно разные жизни: в храме и на улице.

– Не торопитесь судить, – говорит. И смотрит на меня не осуждающе, а терпеливо, как на дите малое. И, правда, кто я перед ним?

– От иконы до топора, – говорю, – при безысходности далеко ли? Не зря мой папа рассказывал когда-то, что трубка Стеньки Разина вечно дымится в Жигулевских горах. До поры. Коли ту трубку кто покурит, станет заговоренным. Будет, словно сам Стенька. И клады ему дадутся, и все, что надобно. Одно слово – Разиным будет. Вот говорят, высох народ? Люди стали, как сухие листья, жухлыми. Но ведь сухие листья и полыхнуть могут, напоследок...

– Молитесь, – только и молвил он мне в ответ.

Я и молюсь. Молюсь и думаю, что каждый по-своему верит в нашу жизнь, оттого она никак не наладится.

Кто учит нас, сами ушибленные. Ушибленные больно все мы. Особенно наши мужики. Прости меня, Господи!

Гляжу иногда на свою внучку. Ручонки-то какие беленькие у нее. И слабенкие. Такая молодежь теперь. С эдакими ручонками только у компьютера с мышкой и сидеть. Случись жизнь на нашу похожая, осияет ли?

А теперешняя жизнь?..

...Давно уж смотрю на нее, на теперешнюю, будто из окна нашего дома над Волгой. Слово дом наш выше поднялся. Виднее теперь из него стало вокруг...

Прежней жизни нет, а новая – непонятная...

Что желать внучке? Был бы порядок и справедливость, а там, как у кого сложится. Внуки наши уж так не привязаны к Волге, как мы. Другие они.

А мы? Мы – такие, какие получились. Жили нелегко, особенно в детстве. А какой свет идет оттуда, из детства нашего! Неугасимый...

Прожив у нас не все лето, как собиралась, а чуть больше месяца, Марья Петровна внезапно собралась уезжать. Старшая ее внучка Лена месяц назад проводила мужа служить в армию. Теперь он в Северодвинске. Уже определено, Сергей будет служить водолазом.

Узнав это, я невольно подумал: прошло без малого сто лет, как Петра Андреевича Смирнова призвали на службу во флот. И вот новая судьба, Сергея и Лены. На другом вроде бы витке. У обоих высшее образование. Но ни кола, ни двора нет. Успели снять крохотную комнату в Надыме...

Новая судьба, как старая калька. Все бы, кажется, ничего, да пришла телеграмма: попала Лена в автомобильную аварию. Лежит с переломом обеих

ног. Это на третьем-то месяце беременности. Вот Марья Петровна и заспешила в Надым.

Когда прощались у вагона, сказала она с поразившим меня спокойствием:

– Не судьба. Хотела подольше пожить на Волге. Я что было удумала? Умру, может, здесь, здоровье-то никудашное. Оттого и разговорилась. Похороните около родителей, у реки. На просторе. Не хочу лежать на Севере, в мерзлоте. Удумала, а на все воля Божья. Внучка переломанная ждет, некогда помирать. Простите меня, грешную!

...Она уехала. И не стало в нашем доме того особого тепла и душевного света, какой был при ней. Все, кажется, осталось на месте, а с умолкнувшей ее, порой косноязычной, но такой живой речью многое потускнело.

За то время, пока гостила у нас, она и варенья нам наварить успела, и сока наготовила целую батарею банок. Пустовавший наш погребок ожил. Все, которые вокруг нее были, окунулись в ароматный, вкусный, домовитый, полузабытый уже мир детских запахов и ощущений.

Уехала, и мы словно осиротели.

Надолго ли хватит нам подарков, припасенных впрок ее щедрой душой?

“Она и песни-то любила, те, которые пел мой дед”, – запоздало спохватился я.

...Ловлю себя на том, что и я теперь смотрю на окружающую жизнь по-иному. Будто – из окна дома над Волгой, в котором прожил-то всего три неполных дня, когда приезжал с Марьей Петровной в Октябрьск.

“ВСЕГДА СВЕРЯЮ СВОИ ДЕЙСТВИЯ С БУДУЩИМ”

*Беседа Почетного гражданина Калужской области СТАНИСЛАВА КУНЯЕВА
с Губернатором Калужской области АНАТОЛИЕМ АРТАМОНОВЫМ*

Ст. Куняев: Анатолий Дмитриевич, встречаемся мы с Вами в достаточно сложное время. Экономический кризис, пожары, стихийные бедствия. Но мне бы хотелось сегодня поговорить с Вами не только об этих апокалиптических кошмарах, но и о многом хорошем, о чем мы мечтаем и что осуществляем. И, на мой взгляд, лучше всего поговорить о судьбах общей для нас нашей малой родины. Вы человек крестьянского происхождения, из села Красного, а мое детство, хотя я родился в Калуге, прошло в деревне Лихуны.

Ан. Артамонов: Не самое плохое место.

Ст. К.: Да, не самое плохое, в памяти у меня до сих пор живут леса, поля, овраги, речка моего детства. Нам знакома сельская жизнь, и это роднит нас в понимании того, чем для нас является малая родина. Вы годитесь мне в сыновья – я с 1932 года, а Вы с 1952-го. Но чем быстрее бег времени, тем более живыми становятся мои воспоминания. Они вот в этом трехтомнике “Поэзия. Судьба. Россия”. Хочу подарить Вам мою заветную книгу о России, о калужской земле, о наших судьбах.

Ан. А.: Спасибо, Станислав Юрьевич, это для меня очень дорогой подарок, потому что я отношусь к Вам с огромным уважением, и не только я, но и все калужане. И мы очень гордимся, что у нас есть такой земляк. Спасибо, что не прерываете связь с родиной.

Ст. К.: Калуга для меня не просто место рождения. Я здесь бываю по несколько раз в год, слава Богу, что у меня здесь есть рабочий кабинет, это квартира матери, подаренная мне калужским правительством при Вашем участии. Я бы не написал очень многого за последние 15–20 лет, если бы у меня не было такого уголка, куда я убегаю от московской суеты, от перегрузок. Я здесь лечусь, здесь на Пятницком кладбище лежит вся моя родня по материнской линии. Здесь я отмечаю свои юбилеи. Здесь моя школа... Я горжусь, что окончил 9-ю железнодорожную школу, а сейчас это гимназия им. Циолковского – одна из лучших школ до сих пор. На юбилеи школы меня регулярно приглашают учителя.

Я шефствую над библиотекой моей школы и над многими другими калужскими библиотеками. Связи с Калугой у меня не прерываются, а нарастают. Малая родина моя – она и в моем уме и в моем сердце всегда. А какие у Вас, Анатолий Дмитриевич, отношения с Вашей малой родиной, с селом Красное?

Ан. А.: Вы затронули важную тему, Станислав Юрьевич... Сейчас можно слышать из уст многих людей такое странное словосочетание: “в этой стране”. А я никогда не скажу о своей малой родине: “в этом селе”... Я всегда говорю: “в моем селе, в моей области, в моей стране”. Не бывает ни одного дня, чтобы я не вспомнил о своей малой родине. Я люблю бывать там, это

меня подпитывает, и когда предоставляются возможности помочь моей малой родине, всегда это делаю. Недавно мы построили там прекрасный храм Пресвятой Богородицы, и Вы знаете, Станислав Юрьевич, я просто ощущаю, как внутренне изменились с открытием этого храма люди... Мы пытаемся воссоздать там животноводство, сейчас строится ферма. Я пытаюсь найти людей, способных открыть там производство, дать возможность моим сельчанам трудиться и зарабатывать. Я встречаю многих своих сверстников, дети которых сейчас живут в Калуге или в Брянске. Не все имеют в городах свое жилье, а в селе Красном стоят прекрасные дома, в моем селе всегда жили отличные плотники. Помню свои детские впечатления: выезжая из нашего села в иные места, я с удивлением смотрел на покосившиеся, вросшие в землю домики без фундамента. В Красном это невозможно было увидеть. У нас всегда строили крепко и основательно.

Ст. К.: А Вы, Анатолий Дмитриевич, как-то рассказывали, что в школу ходили за 7 километров от дома...

Ан. А.: Но это последние 9-й и 10-й классы. А неполная средняя школа у нас всегда была в центре села. Но село-то большое! И до этой школы нужно было идти 2 километра пешком... Детство не забывается, я очень люблю свое село и держу в уме – как результаты моей работы отзовутся на моей малой родине. Для меня важно, что думают обо мне мои земляки, и я живу так, чтобы мне не было стыдно перед ними и перед всеми жителями области. Я всегда говорю моим коллегам: вы не ждите сегодня похвалы себе, сегодня вы ждете только критики. Вы должны думать только об одном: как вашу работу будут оценивать потом, будущие поколения. Вы, Станислав Юрьевич, и по своему писательскому труду знаете, сколько имен в нашей культуре, литературе при жизни не получили признания...

Ст. К.: Да, это бывает достаточно часто.

Ан. А.: А в управленческом труде это бывает почти всегда. И потому я работаю на самоконтроле. Всегда сверяю свои действия при исполнении должности с будущим. Стремлюсь заглянуть вперед – не во вред ли это будет людям, что будут жить после нас.

Ст. К.: А я, Анатолий Дмитриевич, лишь недавно узнал, что Ваш отец Дмитрий Михайлович – ветеран войны, и что он живет в селе Красном.

Ан. А.: Да, он фронтовик.

Ст. К.: Сейчас продолжается юбилейный год Победы, и мне хочется вспомнить и о своих родственниках. Моя мать всю войну проработала во фронтовых госпиталях, брат ее Железняков Сергей Никитич был летчиком, штурманом Авиации Дальнего Действия. Достаточно сказать, что осенью 1941 года, когда немцы подходили к Москве, и Сталин приказывал Голованову – командующему Авиацией Дальнего Действия – бомбить Берлин, наши летчики этот приказ выполняли. Мой дядя дважды или трижды слетал туда и обратно. Его наградили орденом Красного Знамени. У меня сохранились старые “Известия” от 15 октября 1941 года, где сообщалось о награждении. А ведь это было тогда, когда немцы стояли в 20 километрах от Москвы и рассматривали нашу столицу в бинокли. А мы бомбили Берлин! Мой дядя был еще награжден не раз. Погиб он в 1943 году... Занесен в Книгу Славы Калужской области. Отец мой погиб в Ленинграде. Он был невоеннообязанным, но готовил ополчение на случай, если немцы войдут в город. В Институте физкультуры есть мемориальная доска, на которой имена всех погибших во время войны сотрудников этого института. И первый среди них – Куняев Юрий Аркадьевич. Он в 1942 г. был награжден посмертно медалью “За оборону Ленинграда”. А как в Калужской области, Анатолий Дмитриевич, осуществляется программа помощи ветеранам?

Ан. А.: Мы выполнили, как, я надеюсь, и все регионы, указание по обеспечению жильем всех участников войны, что стояли в очереди до 2005 года. Сейчас реализуем эту программу дальше – уже для всех вообще ветеранов войны.

Ст. К.: Их же немного уже осталось...

Ан. А.: И кроме того, я сказал всем главам местных администраций области, и это не подлежит обсуждению, что любая возможная помощь ветеранам должна быть оказана. Но очень бы хотелось, чтобы человек в пожилом возрасте имел радужное к себе внимание со стороны своих родных. Бывает ведь обидно, когда дети и внуки ветеранов, вместо того чтобы окружить их

теплом и заботой, выгоду от них стремятся получить. Мы проанализировали сейчас, кто живет в тех квартирах, что мы предоставили для ветеранов, и, к сожалению, не всегда там живут сами ветераны... А ветераны как жили в плохих условиях, так и живут. И закон нам в данном случае не дает никаких возможностей поправить эту ситуацию, остается только призывать к совести этих родственников. Вы сейчас упомянули об участии в войне своих родных, а мой отец с сорокапяткой всю войну прошел. Это орудие в шутку называлось "Прощай, Родина!"...

Ст. К.: Это противотанковое...

Ан. А.: Да, и когда уже ад крошечный вокруг на передовой, то чудо, если кто-то у этого орудия оставался в живых. Мой отец был дважды тяжело ранен, лежал на поле боя и смотрел в небо. А сам в это время думал, так он рассказывал мне, что если бы Господь оставил его в живых, и у него родился бы сын, то после этого пусть бы и смерть пришла, лишь бы род продолжился... И вот, я думаю, как же так – ветераны в войну победили, восстановили страну, родили детей, теперь и внуки и правнуки у них есть, а их потомки, вместо того чтобы благодарными быть им за это, так еще спекулируют на их судьбе... Мы иногда смешиваем понятия нужды человеческой и морали. Жаль, что это происходит.

Ст. К.: Вы знаете, Анатолий Дмитриевич, я иногда вспоминаю себя подростком, помню 1947 год, половина или больше половины из нас были без отцов. В 1951 году я закончил десятый класс, и нас было всего 20 человек – небольшой был класс, и отцы были только у четырех человек, все остальные – безотцовщина. Нас матери растили и бабушки. Но поразительно, что дух Победы просто окрылял нас в отрочестве, делал нас упорными, жизнестойкими, целеустремленными. Я помню, тогда вошла в обиход прекрасная песня, что жива и до сих пор, Михаила Исаковского "Летят перелетные птицы... ", и она меня так поразила тогда, а я уже и стихи писал. И вот однажды я шел в школу от Загородного сада. Когда проходил мимо Парка культуры, то очень уж захотел ее спеть. Побежал на откос, к Оке, и начал ее петь, глядя на правый берег, еще не заселенный. И вот, когда дошел до слов: "Желанья свои и надежды связал я навеки с тобой, с твоею суровой и сной, с твоею завидной судьбой...", я почувствовал, что у меня слезы наворачиваются на глаза от этой песни... Из 20 окончивших со мной школу одноклассников 18 поступили без всяких репетиторов в лучшие вузы Москвы. У нас была прекрасная классическая система образования, никаких ЕГЭ. Так что и беда была, но эта беда сделала нас, детей войны, особым поколением. Я с благодарностью вспоминаю этот дух Победы, время, которое навсегда останется в истории человечества...

Анатолий Дмитриевич, я знаю, Вы будете говорить еще о несомненных успехах Калужской области.

Ан. А.: Не буду.

Ст. К.: Но я знаю, что у Вас один из самых низких по стране процент безработицы, знаю, что Калужская область была дотационным регионом, когда Вы вступали в должность, а теперь осталось чуть-чуть, и область расстанется с таким понятием. Ваши индустриальные парки, я проезжал мимо них, останавливался, смотрел на строительство, поражался... Вас, Анатолий Дмитриевич, считают одним из удачливейших губернаторов в смысле инвестиций. Я разговаривал с другими губернаторами, которые, честно сказать, иногда с завистью говорят, как у Артамонова все получается! Но о таких фактах любой губернатор расскажет, если есть ему чем похвалиться. Но кроме этих фактов есть мысли и чувства, которые убеждают не меньше фактов. Я с горечью и негодованием вспоминаю 90-е годы, когда отдельная, небольшая, но мощная часть наших СМИ представляла патриотизм бранным словом. И слово "патриот" – тоже. Слава Богу, за последние 10 лет это как мокрой тряпкой стерто. Сейчас уже мало кто позволяет издеваться над словом "патриот" и "патриотизм". А вот Вы, Анатолий Дмитриевич, так сказали на одном из своих сайтов: "Здоровый патриотизм сидит сегодня в любом американце, японце или китайце, а у нас в России чувство, что я живу в родной стране и должен сделать все, чтобы моя страна была самая-самая – это все в последнее десятилетие было вымыто из наших мозгов". Сказано смело и правдиво, я с Вами совершенно согласен. "Если чувством патриотизма будут пронизаны не только те, кто у станков стоит, но и министры, и правительство, и все, кто ставит стратегиче-

ские задачи, то эти стратегические задачи страна выполнит”. А вот дальше идут такие слова, в которых я вижу Вашу мечту: “Мы должны приложить все усилия для того, чтобы у коренных жителей Калужской области была гордость за свою малую родину, а многие граждане России мечтали бы жить на благословенной Калужской земле”. Что Вы еще можете добавить к этому?

Ан. А.: В этих словах заключается программа, я бы так сказал. Что такое – каждый калужанин должен гордиться тем, что он живет на своей благословенной земле? Это значит, что мы должны сделать настолько привлекательным наш край, так его обустроить, такие возможности создать, чтобы эта мечта стала былью. И когда меня спрашивают: зачем столько времени Вы уделяете благоустройству, я отвечаю, что красивая окружающая среда поднимает настроение, дает и заряд на работу, и удовольствие возвращаться домой. А если всё это оставить в неприглядном виде, ничего не менять к лучшему, знаете, тогда поневоле сбежишь... Скажешь себе: поеду-ка я в Москву или еще куда искать свое счастье. Надоело мне в провинциальной грязи барахтаться. Вот в этом смысл благоустройства. Недавно прочитал на одном сайте во время недавних пожаров: надо Артамонову посоветовать весь лес выложить плиткой тротуарной, тогда не загорится... Это, видимо, в ответ на мою работу по благоустройству города. Это, конечно, ирония, но все равно, я вижу в этом не насмешку, а добрый юмор. Все это делается для людей. Я с удовольствием наблюдаю сейчас, насколько в хорошую сторону меняется облик наших населенных пунктов – и городов, и районных центров. Вам, Станислав Юрьевич, может быть, не все удалось посмотреть, а Вы поезжайте и в Тарусу, и в Козельск, в любой город – в Юхнов, в Спас–Деменск, и Вы увидите, насколько они изменились к лучшему. Там действительно приятно сегодня жить. Но это все не само собой пришло. Вот я недавно был в одной европейской стране, и меня поразило: Европа, казалось бы, а по обочинам дорог – бумажки, бутылки, пластиковые пакеты валяются... А я уже терпеть это у себя в области не могу. Увидел мусор, тут же звоню главе администрации соответствующего района и говорю: когда я буду ехать обратно – этого быть не должно. Ведь чистота создает настроение, и мы сейчас специально создали предприятие, которое будет заниматься уборкой мусора. Воскресники, субботники – это хорошо. Но граждане платят налоги, и этого достаточно, чтобы власть наводила порядок. Конечно, есть много других вопросов, влияющих на настроение людей, – заработная плата, жилье, устройство детей – это все формирует настроение человека, но есть общий фон жизни, который мы должны создавать. И в этом плане за нашу область не надо агитировать, за ее красоты, за ее историю, за нашу культуру, насыщенность памятными местами, которые мы всегда своим гостям с удовольствием показываем. Но в добавление ко всему тому, что нам досталось от предков и от природы, мы должны сами привносить каждый день что-то новое, что-то свое, что должно расположить любого человека к калужской земле. И вот то, что Вы сказали сегодня, Станислав Юрьевич, это очень верно. О Калуге теперь уже никто не говорит пренебрежительно, как о некоей заштатной территории. И это здорово!

Ст. К.: Вы, Анатолий Дмитриевич, неформально относитесь к своей работе, живете своими планами, своими чувствами, а не просто по должности все выполняете. Прочитал я недавно два отрывочка из Ваших интервью и отметил, что выглядят они, я бы сказал, по-писательски, что неожиданно было для меня. Вот Вы говорите: *“Предки не только оставили нам великие духовные и культурные традиции, но и несметные кладовые природы, жизненные пространства...”* И вот дальше – очень важно: *“Мы обладатели реальных богатств, и как бы нам ни вредили потрясения в мире, наше благополучие зависит от нас самих”*. Это крайне важная мысль! И еще мне очень понравилось, что Вы сослались на Пушкина: *“На предпоследнем в 2008 году заседании правительства я посоветовал коллегам вспомнить поэтическую фразу Пушкина об экономике государства: “...чем государство богатеет, и почему не нужно золота ему, когда простой продукт имеет”* – это строчка из *“Евгения Онегина”*.

Ан. А.: Да, было такое...

Ст. К.: А дальше мысль необычная для людей, стоящих на высоких должностях, сказанная поэтическим языком: *“Если не знать историю своей страны, то не будет источника вдохновения для того, чтобы свою жизнь посвятить Отчизне, своему государству. Для меня это не красные слова. Но что значит судьба одного человека в сравнении с тем, что земля будет процветать? Поэто-*

му, если кто-то из моих молодых коллег говорит: я устал, я хочу отдохнуть... — я отвечаю ему: но почему ты устал, ты посмотри, какая история нашей земли... Нам надо гордиться, нам надо сделать ее ещё лучше” — замечательные слова. Спасибо Вам за них!

Ан. А.: Когда кто-то говорит: ну так же нельзя, так можно не выдержать, даже умереть... — я говорю: ну и что? В конце концов — все мы смертны. Но вот после вступления в должность журналисты спрашивали меня, и я ответил: мне Господь Бог дал такую судьбу, мне посчастливилось, мне дана такая возможность послужить людям, всем, кто живет на моей земле, и было бы совершенно неправильно, постыдно даже не использовать возможность быть честным по отношению к людям. Здесь нельзя жалеть себя, нужно всего себя отдавать и успеть что-то сделать. Надо бояться не работы, а бояться не успеть совершить эту работу.

Ст. К.: Анатолий Дмитриевич, есть много обстоятельств, которые может быть, и сильнее нас. Поэтому сейчас, говоря о наших достижениях, невольно думаешь: сколько еще не сделано, и более того — сколько изъянов в нашей жизни, и я сейчас затрону некоторые из них, опять же ссылаясь на Вас. Это такие тупики нашего развития, которые я называю абсурдом гайдаровских реформ, гайдаровского разгосударствления, доведенного до абсурда, что даже таких энергичных руководителей, как Вы, ставит в труднейшее положение. Вот пример. Я бываю на севере Архангельской области, рыбачу на реке Мегра, и что же там случилось? Местное законодательное собрание, не знаю уж по каким соображениям, отдало реку, в устье которой стоит деревня Мегра, и где живут поморы, в аренду.

Ан. А.: Реку?

Ст. К.: Да, реку. На 49 лет. А что такое поморская деревня на севере? — там пашен нет, там болота, узкие ленточные леса и река, по которой местные жители добираются на лодке за дровами, где ловят рыбу, до озер дальних добираются. Эта река была единственным постоянным источником жизни и пропитания поморских жителей. Как можно было допустить! Вот в той же Мегре вернулось с войны всего три человека. Они защищали эту землю, эти реки, этот лес — это все должно быть во всенародном пользовании, а теперь там охрана, выставленная арендаторами, с помповыми ружьями встречает местных жителей и гоняет их.

Ан. А.: Ну, я понимаю — пруд отдать в аренду...

Ст. К.: Нет, это река! — 200 километров.

Ан. А.: Это абсурд.

Ст. К.: А Лесной кодекс наш нынешний?.. Почему такие у нас пожары этим летом? Говорят, что частный бизнес всегда эффективен. Но с лесом явно не получается. Снимают сливки с этих лесов, выпиливают в тайге все под корень; мне рассказывал Валентин Распутин, пеньки только остаются, а после нас, как говорится, хоть трава не расти... К чему все это я говорю, Анатолий Дмитриевич? — Вы поставили вопрос о пустующих землях, вышедших из сельскохозяйственного оборота...

Ан. А.: Мы об этом часто говорим...

Ст. К.: Но Вы сформулировали это настолько точно, что я понял: это одна из основных причин, которые мешают нам развиваться дальше. Вот Вы говорите в интервью: *“Немалая часть калужских земель превратилась в товар для спекуляции, а где-то просто в омертвленную недвижимость, и сегодня мы уже не можем людям, желающим заниматься сельским хозяйством, предложить свободных земель, мы тратим усилия на поиски инвесторов, уговариваем их вложить деньги в простаивающие сельхозугодья, но хозяин, не склонный хозяйствовать на земле, отказывается ее продавать по приемлемой цене”*. Более того, Вы даже недавно рискнули сказать такую вещь, что *“... в рамках Организации Объединенных Наций должно существовать наказание для государств, которые не обрабатывают пригодные для возделывания сельскохозяйственных культур земли. Стыдно, у нас столько земель, а мы покупаем продовольствие. А ведь почему мы стали экспортировать зерно? — мы поубивали своих коров, некого стало кормить, нет своего скота, вот и стали вывозить зерно”*. Я, Анатолий Дмитриевич, снимаю шляпу перед Вашей смелостью, когда Вы сказали: *“Я подозреваю, что люди, которые имеют влияние в Москве, в том числе и в Госдуме, нахапали, применю это слово, пахотной земли, и им теперь надо добиться, чтобы ее разрешили перевести в земли*

иных категорий, тогда она сразу на несколько порядков вырастет в цене”. Но что вот с этим делать, Анатолий Дмитриевич?

Ан. А.: Только одно – закон надо принимать. Тот, который позволил бы это зло победить. Вы знаете, Станислав Юрьевич, я думаю, что все равно в конечном итоге правда победит и здравый смысл восторжествует. Вы затронули тему пожаров – это тоже оттуда...

Ст. К.: Те же корни.

Ан. А.: Да, оттуда. Причем есть вещи, которыми должно заниматься именно государство. Например, обеспечением пожарной безопасности даже тогда, когда леса арендуются. Каждый арендатор не может на арендуемом участке построить свою пожарную часть! Это был бы абсурд. Он должен платить налог, а за эти налоги государство должно обеспечивать детям образование, больным лечение, а всему населению – пожарную безопасность. Сейчас вот Путин Владимир Владимирович четко сказал, что государство в данном случае проморгало, но уже принимаются меры, чтобы эту ситуацию исправить. И мы здесь у себя совсем недавно эту тему обсуждали, говорили о тех уроках, что извлекли для себя. Я предложил, что вдобавок к государственной службе пожаротушения – причем плохого пожаротушения, несвоевременного, – мы должны воссоздать те добровольные пожарные дружины, которые когда-то у нас были, оснастить их техникой, и в каждом населенном пункте население о своей безопасности тоже должно думать. У нас бывали случаи, я проезжал по населенным пунктам, которым угрожал пожар, и говорил – ночью все не спите, по очереди дежурьте и в случае необходимости – у вас телефоны есть, сообщите хотя бы... А многие отвечают: а почему это мы должны, Вы должны нас охранять!.. – Но это, знаете тоже неправильно, в общественном сознании необходимо преодолевать иждивенческий подход. А Вы посмотрите на Австрию, на Германию – у них вообще нет государственных пожарных частей, только добровольцы. И это было когда-то и в царской России, да и в советские времена. Мы просто ушли от этого, забыли, а зря. Но сейчас Вы, Станислав Юрьевич, затронули вопрос о земле...

Ст. К.: 40 процентов пахотной земли выведено из оборота в Калужской области.

Ан. А.: Да, причина в отсутствии закона. Причем дело даже не в тех думцах, что нахапали много земли. Мне кажется, нужно будет разобраться в этой проблеме поосновательней, на уровне Правительства Российской Федерации. Мы видим, что подсказка с мест сейчас очень эффективна, и вопросы решаются.

Ст. К.: Что-то на нынешнего министра сельского хозяйства у меня надежды нет.

Ан. А.: Ну, Елена Борисовна здесь ни при чем, это не ее прерогатива, она должна думать о развитии действующих производств. На мой взгляд, она справляется с этой задачей. Но то, что сегодня есть пустующие земли – это не только наша, это и ее боль, и она тоже заинтересована в том, чтобы были приняты такие законодательные акты, которые позволили бы просто убрать с неиспользуемых земель неэффективных собственников, а попросту говоря – проходивцев.

Ст. К.: А вот еще одна болячка. Уже демографическая. У меня после войны была маленькая сестренка, ей было 4 года, и я ходил на кухню детского питания, тогда государство, обескровленное войной, держало эти кухни, где можно было получить молочные смеси, кефирчики, кашки, еще что-то, и стоило это копейки, почти даром. И не только у меня, у моих друзей были младшие братья, сестры, и мы бежали через весь город к этой маленькой кухне, находившейся в здании бывшей церкви, где нам давали эти бутылочки. А что сейчас? Вот опять в результате этих лихих, мягко говоря, 90-х по всей России распродали помещения детских садов, и Вы, Анатолий Дмитриевич, так это все прокомментировали: *“Чтобы быстрее ликвидировать позорящую нас очередь (а по нашим данным, 6 тысяч очередников в области), надо не только форсировать строительство новых дошкольных учреждений, но и подумать о возвращении перепрофилированных детских садиков. Приватизация лишила детей зданий в самых густонаселенных районах. Настало время продумать, как обойтись с этими зданиями”*. Получится ли что из этого?

Ан. А.: С теми зданиями, что находятся сейчас в частной собственности – с ними мы ничего сделать не сможем, надо смотреть правде в глаза.

Мы не можем повернуть все вспять. Другое дело, мы можем предложить собственникам взаимовыгодные условия, чтобы они уступили нам эти помещения, а мы им взамен что-то дадим. Но беда в том, что многие эти помещения сегодня используют государственные организации не по назначению. Например, в Калуге Октябрьская управа находится... в детском садике. **В Тарусе Академия наук – там же. Я вот к президенту Академии Осипову ходил и сказал ему: вы же самые умные, самые просвещенные, самые передовые. Вы должны заботиться о судьбах нации. В Тарусе очередь – несколько сот человек, а ваши люди цинично закрывают садик и отдают его коммерческим структурам. После нашего разговора прошел год, но ничего не изменилось. Но недавно я сказал ему: ты жди моего выступления в федеральных средствах массовой информации, и я твой пример приведу и расскажу во всеулышание об этих ваших проделках. И что есть из себя Академия наук, если она думает о науке, но не думает о тех, кто эту науку будет развивать в будущем. То есть о нынешних детях. И таких примеров множество – заводские детские садики, федеральным учреждениям принадлежащие. Мы еле-еле выцарапали у железнодорожников 3 или 4 детских садика, и то не бесплатно. А что такое железная дорога? – это государственное предприятие, а мы должны выкупать, как будто это чужая страна. Весь народ строил эти детские сады. Почему мы должны друг у друга выкупать то, что принадлежит нашим детям? Регион должен выкупать собственность у Федерации! А ведь если мы в области видим, что какая-то собственность области не нужна, а нужна нашим муниципалитетам, мы ее отдаем им бесплатно. Никогда мне в голову не приходила дурная мысль спросить с муниципалитета за это деньги. Я больше скажу: те учреждения, что находятся в государственной собственности, но используются не по назначению, если бы их вернуть детям, то и их бы хватило. Об этом говорят все руководители субъектов Федерации, и я надеюсь, что решение этого вопроса будет найдено. Но я предложил и другой вариант решения проблемы. Сегодня содержание ребенка в детсады обходится недорого. Мы готовы эти деньги отдать родителям. Пусть мама сидит со своим ребенком и возьмет еще детей ближайших соседей. Мы готовы такой маме и стаж засчитывать, и оплату этого труда производить. Законы области это позволяют.**

Ст. К.: Я этот кусочек нашей беседы выделю жирным шрифтом. Я знаком с Осиповым и с Якуниным – привезу и положу им на стол этот текст!

И еще одна болячка, простите, что перехожу к ней. Знаете, ехал я недавно в Сергиев Посад, и вот когда Кольцевую дорогу переезжаешь, стоят толпы людей из наших азиатских республик: таджики, киргизы, узбеки. Готовы на любую работу, лишь бы взяли их – землю копать, мусор вывозить, заборы ставить... Да, разрушение Советского Союза принесло много несчастий простому люду. Разве это жизнь? Иногда их обманывают, “кидают”, не платят им, постоянно такие конфликты происходят. Обратнo я ехал в такой пробке, что едва-едва ползли, утром рано. Это едут на работу из маленьких городков Московской области в Москву люди. Потому что в этих городках типа Серпухова, Сергиева Посада, Красноармейска и т. д. – такая безработица или так мало платят, что они готовы мучительную дорогу делать туда и обратно каждый день. Жизнь на износ. И столкнулся я недавно со своей племянницей калужанкой, она в Москве живет, она рассказала мне то, что я увидел потом на Вашем сайте: о том, что калужские медсестры ездят в Московскую Градскую больницу автобусом. Профессионально это блестящие работницы, делают все быстро, четко и скорей, скорей, скорей – успеть на обратный автобус в Калугу.

Ан. А.: Многие ездят из Калуги работать в Москву, а потом два дня дома...

Ст. К.: Да, по-всякому бывает. И Вы подтвердили ту информацию, что я получил от моей родственницы. “Почему ездят на работу в Москву? – Там медсестра получает 15 тысяч рублей в месяц, а в Калуге – 8 тысяч с трудом”.

Я, Анатолий Дмитриевич, сам из врачебной семьи: у меня мать была врач, а по отцовской линии у меня дед был знаменитый хирург, мемориальные доски ему висят в Нижнем Новгороде – он там организовывал больницы еще до революции. Бабка моя, его жена, была акушеркой, так что медицинские дела в генах у меня. Что можно предпринять во всем этом, вот после этой Вашей оценки. Что-то движется, что-то предполагается?

Ан. А.: Какое решение? Поднять заработную плату в два с половиной раза. Но не всем работникам здравоохранения бюджет позволяет платить большие деньги, только выборочно, тем, в ком мы особо нуждаемся. Конкуренция с Москвой для нас – положительный фактор, она заставляет власть двигаться, думать. Но Вы знаете, Станислав Юрьевич, это не только медицины касается. Есть Москва. Она является, так же как и любой регион, субъектом Федерации. И есть бюджетный кодекс, который устроен таким образом, что те доходы от производств, которые реально существуют в регионах – зачисляются в бюджет Москвы. И таких незаработанных доходов у столицы, просто потому, что эти предприятия зарегистрированы в Москве, – огромное количество. И произошел перекося – бюджет Москвы сегодня в разы (если брать расклад на одного жителя) превышает бюджеты всех сопредельных, и не только, территорий. Мы с Лужковым очень тесно сотрудничаем, я ему неоднократно об этом говорил, он, в принципе, соглашается, но порой даже не знает, из каких источников формируется его бюджет. Я ему говорю: вот Вы знаете, Юрий Михайлович, что в прошлом году Калужская область заплатила в бюджет Москвы четыре с половиной миллиарда рублей?..

Ст. К.: Налоги имеются в виду?

Ан. А.: Да. Наши люди, которые там работают, наши предприятия, которые там зарегистрированы. Производят здесь, а реализуют продукцию там, а налоги от продаж, они намного превышают налоги от производства. И вот эти шальные деньги и позволяют Москве жировать. А нам многое непозволительно. Это при том, что Калужская область гораздо более обеспечена, чем Смоленская, Тульская, Рязанская, Тверская области. В тех регионах – еще тяжелее ситуация. Можно было бы, конечно, ставить вопрос об установлении справедливости. Но вряд ли в ближайшее время мы на это сможем пойти, потому что москвичи привыкли к своему особому положению. И есть некоторые вещи, которые сегодня делаются за бюджетные средства в Москве, которые для нас являются фантастикой. Мы никогда не позволим себе такие траты.

Ст. К.: Там покупают томографы за 90 миллионов... .

Ан. А.: Кстати говоря, Калужская область в числе тех немногих регионов, к которым у Генеральной прокуратуры никаких замечаний нет. Мы создали у себя еще несколько лет назад министерство конкурентной политики и тарифов, в котором работают самые проверенные люди. Они ведут всю работу по закупкам, и у меня душа спокойна за этот участок работы. Сейчас Владимир Владимирович Путин, следуя нашему примеру, дал указание создать на уровне России такое же министерство. Поэтому Москва – это наша головная боль, боль всех регионов, которые расположены вокруг Москвы. Москва – это как пылесос, выкачивающий из нас кадры. Самые лучшие кадры, а мы, к сожалению, этому противостоять не можем. Точечно что-то делаем, кому-то добавляем, самым ценным работникам. Но не всегда удается удержать их. Разбогатеем!.. Сейчас в Калужской области уровень средней заработной платы – 17 тысяч рублей. Он третий после Москвы и Московской области.

Ст. К.: Замечательно.

Ан. А.: И это произошло за последние годы. Мы с последнего практически места переместились на третье в Центральном федеральном округе. Будем еще развивать экономику, будет больше бюджетных отчислений. Мы в этом году, худо-бедно, уже на 30% приросли по бюджету, на 45% приросли по уровню промышленного производства. Заняли первое место в России. Надеюсь, все это поможет нам.

Ст. К.: Эта проблема имеет негативное продолжение. Я совершенно согласен с Вашими, Анатолий Дмитриевич, словами, когда Вы говорите: *“Надо немедленно разобраться с пребыванием в области нелегальных и полуполигальных эмигрантов из республик Средней Азии и Закавказья, которых у нас, по самым скромным подсчетам, около 25 тысяч. Они не платят налоги в бюджет, сбивают стоимость рабочей силы на рынке труда. От конкуренции с ними калужане должны быть избавлены на законных основаниях”*.

Ан. А.: Так делается в любом цивилизованном государстве.

Ст. К.: Да, жалко их, но, как говорит русская пословица: не солнышко, всех не обогреешь.

Ан. А.: Да. А что делать? Конечно, хотелось бы всем помочь, но ведь мы с этих налогов живем. Если никто не станет платить, то тогда – на что содержать больницы, школы, детские садики и т. д.? – только с налоговых отчис-

лений. Хочешь работать у нас в области – приезжай, регистрируйся, законным образом плати налоги и тогда – все в порядке.

Ст. К.: Анатолий Дмитриевич, Вы действительно в этом смысле человек передовой, так как на инвестиции у Вас, как говорится, легкая рука.

Ан. А.: Потому что мы честно себя ведем с инвесторами.

Ст. К.: И иностранные инвесторы часто приезжают в Калужскую область.

Ан. А.: Не только иностранные.

Ст. К.: Да, но я подумал: это ведь у нас и было когда-то. После разрухи, гражданской войны, революции. Не сразу мы какой-то железный занавес утвердили. Мы кредиты просили, но Запад не давал нам их. Я недавно был в Кемерово, и там есть музей, рассказывающий о тридцатых годах. Тогда, в эпоху Великой депрессии, что бушевала в Европе и Америке, к нам приехало большое количество специалистов с Запада, они помогли нам строить и Магнитку и Кузбасс. И голландские, английские, немецкие инженеры здесь прижились, создали семьи, нарожали детей, подняли наш промышленный тыл, который так помог нам выиграть войну. Сталин был прагматиком и понимал многое. Платил валютой иностранным специалистам, лишь бы работали.

Ан. А.: Я недавно сказал на одном из наших больших российских форумов, что можно поставить задачу все утыкать ядерными ракетами для безопасности своей территории, а можно поступить по-другому: можно позвать их к себе и вместо ракет построить заводы и фабрики, и они сами их будут защищать, свое имущество – и ракеты не потребуются. Он, если здесь построил завод, никуда не унесет его с собой, это будет наш капитал, наши люди там будут работать.

Ст. К.: Вот до того времени, пока Европа не стала приобретать коричневый цвет, у нас были совсем другие отношения с западным миром. У нас даже был лозунг: соединить русский революционный размах и американскую деловитость. Я писал обо всем этом, еще когда работал над книгой о Есенине. Привозили к нам все лучшие образцы западной техники. Традиция эта сохранилась, и слава Богу, что в Калужской области все это развивается.

Ан. А.: Мы по итогам первого полугодия заняли 1-е место в России по объемам привлеченных инвестиций в расчете на одного жителя. И это позволяет нам надеяться, что и завтра мы будем развиваться. Ведь что такое сегодня привлеченные инвестиции – это завтрашние рабочие места, работающие производства. Сегодня многие говорят: давайте мы бюджетные деньги дадим разваливающимся предприятиям, мы их поднимем. Но для чего? Что мы будем производить? Мы должны производить то, в чем человек нуждается. А самое главное сейчас для нас в России – производство знаний. Я долго думал, как показать нашему областному обществу дальнейшее направление движения. Потом сказал ректору Бауманского университета: заведи наше здание администрации области, чтобы все видели, что главное сегодня – знания. Чиновник – он посидит, поработает и не в шикарных условиях, а пусть студенты сюда придут. Пусть каждый, кто приедет в Калугу, спросит: что это за здание такое помпезное?.. А ему скажут – это университет. Вот что сегодня для нас главное. Поэтому Вы, Станислав Юрьевич, совершенно правы, вспоминая прежние времена, это было и в начале XX столетия. Кто только у нас не работал!

Ст. К.: Были концессии в конце двадцатых годов...

Ан. А.: Концессии были. Заводы строили у нас американцы, немцы. До сих пор еще работает их оборудование.

Ст. К.: Анатолий Дмитриевич, еще одно мое мировоззренческое наблюдение над Вашими размышлениями насчет того, что делать для будущего, как верить в будущее. Первый том моих мемуаров называется так: “Русский человек”. Я сам русский человек, и мне хотелось понять сущность русской природы на судьбах людей своей эпохи. Русский человек – это явление уникальное. Это человек, который не хочет упрощаться. Он в будущее тащит все исторические проблемы, которые имеет с незапамятных времен – и свое язычество, и свое христианство, и свое богоборчество, свою борьбу за демократию, и свое преклонение перед авторитетами, и свое раскольниковство, и реформы Никона – ни от чего не хочет отказываться. Вот европейцы гораздо прагматичнее, они легко упрощаются, сбрасывают груз прошлого, как ракета сбрасывает предыдущую свою ступень и летит дальше. А мы живем всем тем, чем жили наши предки. И это – наше богатство, но это и наша тяжесть, сложность всей на-

шей жизни. И для того чтобы понять русского человека, особенно XX века, я подумал написать книгу о человеке, который является эталоном русской натуры – в изъянах и недостатках, в широте и красоте, в заблуждениях, озарениях. Таким человеком я избрал Есенина. В шестидесятые годы я его полюбил, а в девяностые мы вместе с моим сыном Сергеем эту книжку написали. Я ее Вам хочу подарить. Вышло девять изданий этой книги за последние 15 лет. Таков спрос на Есенина, такая это знаковая фигура для русских людей. А в шестидесятые годы, перечитывая Есенина, я наткнулся на строчку: “Не знаю, не помню, в каком селе, может, в Калуге, а может, в Рязани жил мальчик в простой крестьянской семье, желтоволосый, с голубыми глазами” – это он писал про себя. А в Калуге он никогда не был, но почему-то слово Калуга залетело ему в душу, и я подумал, что это знак свыше, и я должен написать книгу о нем.

Ан. А.: Может, Есенин имел в виду Циолковского, который родился в Рязанской губернии, а жил и работал в Калуге.

Ст. К.: Может, и так. Вот эту книгу, последнее издание, только что вышедшее, я подписал Вам и Вашей супруге Зое Иосифовне.

Ан. А.: Спасибо огромное!

Ст. К.: А что касается Ваших мыслей о русском человеке, то они очень мне близки. Вы сказали так: “Несколько дней назад мы открывали два завода, они будут делать штампованные изделия для автомобильной промышленности, это совместный проект “Северстали” и испанской компании “Гестами”, и я с директором завода шел, и он показывал это производство. Я спросил о проблемах. Он говорит: “Проблем нет никаких, но я хочу отметить удивительную способность к обучению ваших людей (он сам иностранец). Все, что касается техники – они схватывают на лету. Если в другом государстве надо шесть месяцев обучать персонал, то здесь достаточно месяца два – и великолепно работают”. И дальше Вы затронули нравственную максиму, которой живет русский человек. Не все это понимают, а вы поняли. “Единственное, чего не любит русский человек, – не любит хамства. А есть такие примеры, и нам приходится в это вмешиваться. Это не касается компаний, а касается конкретных людей, которые в этих компаниях работают, особенно в кадровых службах... Я сказал и постоянно повторяю: относитесь уважительно к людям, которых вы берете на работу”. И еще одна строчка: “Тот, кто не жалеет живота за други своя – тот русский человек” – это Ваш, Анатолий Дмитриевич, ответ на вопрос корреспондента, кто есть русский человек. И Вы добавили: “И тот, кто с иными народами умеет жить в ладу”. Как Вы думаете, за последние 20 лет изменилось ли что в характере русского человека?

Ан. А.: Вы знаете, Станислав Юрьевич, в семье всегда бывает всякое...

Ст. К.: Кстати, Анатолий Дмитриевич, Гоголь, мой любимый писатель, говорил о том же русском человеке: “Что ж это такое – поставь только памятник какой, или забор – столько дряни сразу нанесут...”

Ан. А.: В семье всегда было не без уroda. И в прежние времена не самые хорошие стороны характера проявлялись в русском человеке. И сегодня такого достаточно. Меня всегда возмущает, когда ищут только плохие примеры и на этом показывают, каким плохим стал русский человек. На самом деле ничего не изменилось. Я вижу, с каждым годом растет число молодых людей, которые хотели бы гордиться своей Родиной – Россией. И даже те, кто живут за границей, занимаются наукой, они думают о возвращении на Родину. Поэтому говорить, что русский человек стал космополитом, не приходится. Были люди, что бомбы кидали в царя, думая, что делают благо, а на самом деле ввергали страну в жестокие потрясения. И сейчас такие люди есть. Но я считаю, что дух русский неистребим. Здесь есть совокупность глубинных корней, к которым мы сегодня относим православие – оно в значительной степени скрепляет наше общество. Что же касается того, что поменялось за последние 20 лет, то я склонен скорее думать о том, что будет в следующие 20 лет. И вот это напрямую зависит от нас. И если разделять степень ответственности за будущее, то мы можем ругать молодежь, но она ответственна в меньшей степени, чем мы, обязанные иметь определенную житейскую мудрость. Мы составляем ее на путь истинный, но здесь велика роль всей нашей огромной системы образования, которая имеет великолепные традиции, и ответственность людей, работающих в этой системе – огромна. Мы должны прививать учащимся основы той великой культуры, носителями которой мы

являемся. И тот груз, как Вы говорили, что мы за собой тянем – этот груз культуры, традиций, – его обязан знать каждый человек. Человек может считать себя культурным не тогда, когда он знает лишь основы техники, а будет понимать смысл жизни. А смысл этот заключается не в строительстве дорог, или машин, или компьютеров. Он заключается в наших духовных богатствах. В их приумножении.

Ст. К.: Я был знаком с замечательным русским советским поэтом Ярославом Смеляковым. У него есть такая строчка: “Должны быть все-таки святыни в любой значительной стране”. Вот юбилеи – это наши святыни. В это время мобилизуется духовная составляющая нашего общества, его историческая память. У нас впереди большие юбилеи. Вот юбилей Евдокии Стрешневой-Романовой – жены основателя династии Романовых Михаила Федоровича и матери Алексея Михайловича, уроженки калужской земли, которая дала России трех цариц.

Ан. А.: Да, династия Романовых многим обязана калужской земле.

Ст. К.: Впереди юбилей полета Гагарина – 50 лет, юбилей победы над Наполеоном в 2012 году – 200 лет. И во всех этих юбилеях без писателей нам не обойтись.

Ан. А.: Без Вас.

Ст. К.: Я горжусь калужской писательской организацией. Я сам издал здесь первую книгу в 1960 году и был принят в Союз писателей. Вся наша калужская земля связана с Пушкиным, с Гоголем, Толстым, Константином Леонтьевым, Мариной Цветаевой, Заболоцким, Леонидом Леоновым – я считаю их нашими земляками. А мои старшие товарищи все – и Николай Панченко, и Николай Воронов, и Булат Окуджава – так или иначе могут считаться калужанами. 21 год я – главный редактор журнала “Наш современник”...

Ан. А.: Самый массовый, кстати, литературный журнал.

Ст. К.: Да. У нас сейчас тираж 9 тысяч. Если сложить тиражи знаменитых в прошлом журналов – “Нового мира”, “Октября”, “Знамени” – это и будет 9 тысяч. Наш журнал популярен у читателей. У нас печатаются Юрий Бондарев, Валентин Распутин и Василий Белов. Печатались Свиридов, Вадим Кожин, Виктор Астафьев. Многие известные калужане занимают почетное место на страницах журнала. Покойный Валентин Волков был постоянным автором журнала. Регулярно печатаются в журнале калужане Юрий Убогий, Андрей Убогий, Вадим Терехин, Сергей Михеенков, Людмила Филатова – всех не перечислить. Я ведь когда работал секретарем московской писательской организации, помогал издаваться многим калужанам, квартиры помогал им получать, вступать в Союз писателей. И мы благодарны руководству области за то, что Вы понимаете важность нашей работы. За то, что пленумы писательские здесь проходят, за Дни славянской письменности. За дни “Нашего современника”. В конце концов, за мои юбилеи. Но с другой стороны – когда я приезжаю к Тулееву в Кемерово, приезжаю в Орел, в Иркутск – там у писателей есть свое собственное место, где они могут собраться, обсудить свои книги, пригласить к себе гостей... Когда-то в Калуге это было, даже издавался альманах “Окские просторы”. Сейчас этого нет. А калужская писательская организация того заслуживает.

Ан. А.: Я не забуду Ваши слова, но надо и писателям свою инициативу проявлять. А чтобы подвести итог нашей беседы, позвольте Вам, Станислав Юрьевич, подарить вот этот фарфоровый барельеф – это Свято-Введенская наша Оптиная пустынь. Жемчужина калужской земли. Великие писатели, которых вы называли, стремились побывать в Оптиной пустыни, где была и есть Благодать Духа Святого. Как и в иных обителях земли калужской.

Ст. К.: Это бесценный подарок, Анатолий Дмитриевич, благодарю Вас.

МАРИНА СТРУКОВА

“ВЕЛИКИМ НАЦИЯМ НЕ ПРОЩАЮТ”

Из переписки с Д. М. Балашовым

Записные книжки с черновыми набросками стихов, старые конверты с аккуратно сложенными письмами из редакций и обращениями читателей я храню почти пару десятилетий. Мой маленький архив. Здесь и ответ Станислава Юрьевича Куняева с советом прислать больше стихов и не увлекаться красивыми словами. И послания от Геннадия Григорьевича Касмынина, ныне покойного, который всегда мог безошибочно выбрать заголовок для моей поэтической подборки в “Нашем современнике”. За строчками этих писем не просто частица нашей литературной дружбы, но и само время, и судьба страны в наших судьбах.

Всегда интересуюсь историей России, я, конечно, читала книги Дмитрия Михайловича Балашова.

В 19 лет, осенью 1994 года я получила письмо из Новгорода от Дмитрия Михайловича, мой адрес он узнал в редакции “Нашего современника”. Сейчас, после его трагической гибели, с новым горьким чувством читаю его строки. Дмитрий Михайлович тепло отозвался о моем творчестве, понимая, как важно для молодого автора получить положительную оценку от известного писателя. Он скромно спросил, читала ли я его книги, и одну из них прислал в подарок.

Я ответила: “Здравствуйте, глубокоуважаемый Дмитрий Михайлович, большое спасибо Вам за книгу и добрые слова. Показалось счастливым совпадением то, что написал мне один из самых уважаемых мною современных писателей. Я люблю исторические книги и, конечно, не могла не заметить среди них Ваших произведений. У меня есть подшивка “Роман-газеты”, и я знакома, наверное, почти со всеми вашими романами. Мне очень понравился Ваш “Симеон Гордый”!.. Но наиболее захватывающим кажется его продолжение – “Ветер времени”. Он привлек меня сочетанием приключенческого и философского. И особенно полюбился один из его героев – Никита – своей бесшабашностью и готовностью пойти на любое безрассудство за то, что ему дорого...”.

Из письма Балашова: “Письмо Ваше таскаю с собой и перечитываю. Обрадован и тем, что Вы оказались моей читательницей... Нам, видимо, надо встретиться и поговорить о многом. Возможно, Вам это будет не менее полезно, чем мне. Могу и Вас пригласить в Новгород. Поговорили бы и о “Памяти” и о многом прочем... Вам надо изучать, именно изучать труды Л. Н. Гумилева”.

Тогда я была под впечатлением деятельности “Памяти”, потом РНЕ, удивляюсь, как в семье, где до сих пор утверждают, что “Путин дал нам стабильность”, я пришла к русским националистическим взглядам. Ночью в глухом селе я включила радио и услышала, как “ведущие лихорадочно комментируют штурм Останкино. Был октябрь 93-го. Сначала я приняла репортаж за телеспектакль, но когда осознала смысл происходящего, была потрясена и сожалею, что не нахожусь в Москве. В тот день я не знала, что в “Белом доме” гибнут и мои будущие соратники – баркашевцы, что это была именно попытка объединенного национально-патриотического сопротивления.

Из письма Д. Балашова: “Здравствуй, Марина! Русских людей убивают постоянно и безнаказанно. Из “шумных” (но безнаказанных) убийств последнее – Игоря Талькова. Борьтсья с этим необходимо, иметь свою организацию надобно, суровую, дисциплинированную, подчиненную единой цели – очищение нашей страны, иначе мы погибнем. Другой вопрос – дозрело ли общество до приятя такой формы борьбы, то есть будет ли оно, хотя и пассивно, на стороне мстителей? Наконец, если такая организация появится, стараниями Сиона против нее будет направлена вся мощь официальной системы (органы, милиция, ОМОН), которая, в этом случае, ворон ловить не будет. И, наконец, всякой организации нужна хоть какая-то “крыша” в органах власти”.

Дмитрий Михайлович Балашов считал, что русским необходима надежная организация. Он возлагал надежды и на казаков, считая, что без этого славного воинского сословия не удержать южных границ Империи.

Позже я наблюдала возрождение казачества в родных краях. Атаман Северо-Хоперского округа Всевеликого войска Донского Владимир Михайлович Репин – редактор одной из районных газет Тамбовщины, стал печатать в своей газете статьи по истории России и казачества, призывать вступать людей в организацию. Патриотическое движение в провинции было абсолютно на нуле. Но вот я узнаю, что в организацию стала вступать молодежь. Парни, которые раньше знали лишь поездки на дискотеки и пиво, изменились. Как к лицу им камуфляж или черная форма! Заметно, что они по-другому чувствуют себя, возвысившись душой до служения Родине, народу, вдруг стали расспрашивать своих родителей о том, не было ли у них в роду казаков, а в сундуках отыскались старинные регалии, бережно спрятанные прадедовские погоны, медали. И стали поистине семейными реликвиями полуистлевшие фотографии, где предки в форме Войска Донского. У ребят в жизни появилось что-то Великое. Но атамана не понимают многие обыватели: “Зачем нам это? Что за блажь – возрождение казачества? Если бы вам за это платили... В наших краях и станиц-то было три-четыре...”. Многим не понять, что если бы жив был дух казачества в этом краю, не зарастали бы пашни бурьяном, не скупали бы их за гроши заезжие чужаки с Кавказа. Поэтому население юга России снова надо оказачивать, необходима воинская каста, миссия которой – из рода в род оберегать Родину.

Из письма Балашова: “...любые реформы возможны лишь при организованной национальной силе, способной проявить себя... Люди, которые, сидя тут, оплевывают Россию, должны уехать за рубеж”.

... На мой взгляд, в произведениях Балашова главную роль играет философский анализ такого явления, как русская власть. Ее миссия, вековые достоинства и недостатки, проистекающие именно из русского характера ее носителей – князей и государей. Бог, властитель и народ – их взаимосвязанность на земле Руси всегда явлена на страницах балашовских книг. Православная вера, как испытующее начало. Бремя власти... Власть на Руси как тяжкий груз, сужденный свыше, передаваемый по наследству. Власть в Орде как источник богатства, славы, русские князья и ордынские ханы. Государственные интриги. Унижение и грызня из-за ярлыков. Глубокое раскаяние и самоотверженность. Но едва ли меньшее место, чем власть мирская, занимает в романах Балашова духовная власть. Святые подвижники или суровые пастыри, смиренные перед Богом, не отступающие перед земными владыками, отстаивающие интересы Отечества в Орде. Когда мы размышляем сегодня о русской власти, романы Балашова могут показать ее воочию, в лицах. Лики русской власти: благородная и суровая Марфа Посадница Новгородской республике. Трагическая фигура Симеона Гордого...

Русь в огне ордынских набегов и междоусобиц духовно окормляли достойные и самоотверженные пастыри. В своих романах Дмитрий Михайлович

вновь и вновь представляет идеалы власти духовной в лицах митрополита Алексия, Зосимы Соловецкого, Сергия Радонежского, в борении с житейскими трудностями и врагом невидимым оберегающих свою паству. Почему сегодня многие национально мыслящие люди обращаются к язычеству? В ряде случаев и потому, что официальная церковь занимает соглашательскую позицию по отношению к политике, разрушительной для нации.

В 1994 году я преподавала рисование и немецкий язык в сельской школе. Наверное, мои читатели удивятся, узнав, что одновременно я учила церковно-славянскому языку в воскресной школе. Мне нравилась ожившая древнерусская речь персонажей Балашова. Рассказывают, что Дмитрий Михайлович часами мог говорить на старославянском языке, жаль, что я его не услышала.

Из писем Д. Балашова: “Что касается моих романов, то они, кроме новгородских” (“Господина Новгорода” и “Марфы”), представляют, по сути, единое сочинение, ибо те же герои переходят из книги в книгу, а всё вместе называется “Государя московские”: (“Младший сын”, “Великий стол”, “Бремя власти”, “Симеон”, “Ветер времени”, “Отречение”. Заключительную книгу, “Святую Русь”, я пишу сейчас и издаю частями”.

“Где нам найти своего Наполеона? Жуков, имевший силы и возможность отвоевать страну, совершить “революцию наоборот”, ничего не понимал в политике... Его и съели!”

“В сельской школе, где до весны учился мой сын, он один и был патриотом, один из всех учащихся! И в Москве не лучше, чем в провинции. Но вы то появились-таки! И сколько еще вспомнят, наконец, своих прадедов?”

Дмитрия Михайловича радовало то, что он видит представителя нового поколения, который готов служить Родине.

“Лев Николаевич Гумилев, мой учитель, умирал с тяжким чувством.

— Быть может, — говорил он, — нация, минув “золотую осень”, уже перешла в обскурацию, тогда конец.

Конец, добавлю, и России и русским, ибо остаться огрызком земли в пределах 15-го столетия нам не позволит никто. Все исторические наблюдения убеждают меня в том, что великим нациям не прощают их прежнего величия. Мы не Эстония, не мордва, нас попросту уничтожат. Писал статьи на геополитические темы: — почему страну нельзя делить, и почему мы не имеем права терять наши выходы к морям — как об стену горох!.. Одолевает ощущение бессмысленности любых призывов... Мне представляется, что Ваши стихи “Спите, трусы!” родились после какого-то застольного спора, когда Вам бросили презрительно: мол, сколько вас, мыслящих о благе Отечества? Человека три на всю страну, не более!”

Из писем Д. Балашова: “... Наши враги по-прежнему рассчитывают игру на два хода вперед — монаршее семейство подготовили из своих! И церковь разлагают изнутри. И ни у кого из патриотов нет программы действий, программы нового устройства страны!”

“Я и сам когда-то учился живописи, сам когда-то преподавал в деревне, и сейчас, перечитывая Ваши гордые строки, думаю с надеждой: неужели жизнь прошла не напрасно?! Неужели после торгашеского поколения, поколения рэкетиров, лавочников, готовых за гроши родину продать, и всесветных проститутток идет, пришло уже новое поколение, — героев и героинь, матерей, пахарей и воинов, грядущих спасти Россию? Тогда не напрасно все — и труд, и долгое мучительное наше прозрение, и книги, не нужные больше никому в мире, кроме русичей, не забывших отчизны своей! Дай Бог, чтобы поколение внуков пошло за такими, как вы, и чтобы вы сами не оказались в одиночестве, не поддались отчаянию...”

Если Дмитрия Балашова радовало то, что часть молодого поколения все же прониклась идеями национал-патриотизма, то и я сегодня стала задумываться: нахожу ли отклик у нового поколения русских читателей, так как их мнение имеет для меня решающее значение.

Как-то я получила письмо от скинхеда: “Я хочу поблагодарить Вас за Ваше творчество от имени своего друга Паши Рязанцева, который недавно погиб в уличном бою с кавказскими оккупантами. Он очень любил Ваши стихи!”

Я горжусь такими читателями. Пусть большая часть молодежи болтается по клубам и пьянкам, кого-то арестовывают с героином в кармане, кто-то подается в секьюрити к власти имущим, но кто-то приходит в националистическую организацию, рискует свободой, даже жизнью в борьбе за Россию.

И пусть в их плеерах диски с готическим роком, и верят они в Перуна, а не в Христа, старшее поколение патриотов должно принимать молодых соратников такими, какие они есть, — дело у нас общее. Через все письма Дмитрия Балашова проходила главная мысль — русским необходимо мощное, объединяющее всех нас национальное движение, и он своим творчеством служил его созданию.

Я горжусь перепиской с Дмитрием Михайловичем, сходством наших взглядов. *“Меня в Вас поражает, при Вашей молодости, абсолютная зрелость мысли и твердость национальной позиции. Мыслию так же и, увы, не вижу другого пути спасения России, кроме силового”*.

Скажу честно, неудобно мне цитировать лестные слова известного писателя в мой адрес, но говорят они о том, каким человеком был Дмитрий Михайлович. Понимал, как много значило его одобрение для начинающего автора, стремился поддержать на выбранном пути. И несмотря на то, что меняются мои политические взгляды, я сохраняю добрую память о тех, кто заметил мое творчество в период становления.

У великих людей не бывает случайных смертей...

ВЛАДИМИР КРУПИН

О НАЗНАЧЕНИИ ПИСАТЕЛЯ В РОССИИ

Ни природа, ни государства не могут быть без национальной идеи, которая объясняет их присутствие в мире. Россия как непобедимое государство и русский народ выращены Православием. Оно и есть национальная идея России. В нем соединенность краткости земной жизни с жизнью вечной и понимание зависимости нашей воли от воли Божией.

Русское слово, вначале устное, потом письменное, всегда славил Бога, всегда полагало основание жизни во Христе. Именно оно создало национальный характер. Возглас русских былин постоянен: “Постоим за Землю Русскую, за Веру православную!”.

Почему русская литература – ведущая в мире? Потому что стоит на основе устной и книжной письменности Древней Руси, которая глубоко православна. Краеугольный камень русской литературы – “Слово о Законе и Благодати”. В нем описан приход Православия в русские пределы, наше неприятие иудаизма, преданность народа своим руководителям, если они исполняют Закон Христов, различение добра и зла, учение об истинной мудрости, которая в познании Бога. Первыми переводами с греческого на русский, после Священного Писания и Богослужебных текстов, были книги святых отцов. У них мы учились отличать истинное знание от ненужного.

Воспитанию души с помощью православного разума служила русская литература. Она поставила эту цель во главу угла. Она выучилась этому от устного народного творчества: обрядовых и исторических песен, былин, сказок, загадок, легенд и, второе, от творений святых Отцов. С первых шагов стала учить добру, красоте, правде, совести, различать ложь, говорила о молитве, посредством которой можно и нужно достигнуть прозорливости, любви и смирения. Учила с помощью великих и мощных образов богатырей и пахарей Святогора, Ильи Муромца, Микулы Селяниновича, Добрыни Никитича, Вольги Святославовича, Алеши Поповича... Все очень разные, живые, способные и к выяснению отношений, они всегда отбрасывали свои обиды друг на друга, на князей, когда речь заходила о защите святых церквей. О деньгах и помина нет при этом. Никита Кожемяка не хочет воевать со Змеем, но Владимир – Красное Солнышко посылает к нему осиротевших детей, и “сжалился Кожемяка на сиротские слезы” и вступил в схватку. Победив Змея, не взял за это ничего и вернулся к своему труду.

Былины Новгородского цикла учили любви и порядочности. Набожность служилых и торговых людей была нормой. Садко, богатый купец, трое суток

играет “в гуселки яровчатый”, морской царь пляшет, так что “стало много тонуть людей праведных, стал народ молиться Миколу Можайскому”. Явился святитель Николай, научил Садко, как спастись от морского царя. Вернулся Садко в Новгород, выстроил в благодарность святому церковь белокаменную. Другой новгородец Василий Буслаев – натура вольная, буйная. Угомона нет на него. И отец покойный не в пример. Ссорится с новгородцами. И унижает его даже не “старчище пилигримище”, а “почестная вдова Амелфа Тимофеевна”. “Никого я не послушал бы, – говорит Василий, – а послушал тебя, родную матушку, не послушать тебя закон не дает”. Отправляется с дружиной к святым местам.

Традиции устной русской литературы перешли в письменную. В “Слове о полку Игореве” Игорь, возвращаясь из плена, первым делом идет в храм к Богородице Пирогощей. “Поучение” Владимира Мономаха насковозь пронизано наставлениями о вере в Бога, о соблюдении постов. “Слово” Даниила Заточника показывает, насколько в Древней Руси хорошо знали Священное Писание и античную письменность. Но уже видны обороты чисто русские: “Дураков не жнут, не сеют, сами рождаются... Как в худой мех воду лить, так и глупого учить; мертвого не рассмешить, безумного не научить”.

В текстах постоянны явные или измененные цитаты из Псалтыри, Ветхого и Нового заветов. И литература паломнических путешествий, “хождений” насковозь православна. Игумен Даниил у Гроба Господня возжигает “кандила”, лампы за всю русскую землю. “Во всех местах Святой Земли я отслужил 90 литургий за князей, бояр, за детей моих духовных, за всех русских христиан, живых и мертвых”. Афанасий Никитин – купец. Конечно, думает и о выгоде путешествия, но главное в “Хождении за три моря” – боязнь потерять причастность к кругу православного богослужения. Вот он болел, выздоравливал, ест скоромное и боится, а вдруг уже наступил Великий пост?

Велики заслуги летописца Нестора, святого покровителя пишущих на русском языке. Его “Повесть временных лет... откуда есть пошла Русская земля” ведет отчет не от киевских князей, а от времен библейских, от разделения земли меж сыновьями Ноя после потопа, числит происхождение “словенское” от племени Иафетова. То есть русские включаются в мировую историю с ее первых шагов. В житийных сочинениях о Борисе и Глебе, Антонии и Феодосии преподобный Нестор, как и в своей “Повести”, все события в мире и Руси объясняет Божественным Промыслом. И сами основатели русского монашества – незаурядные писатели, особенно Феодосий. Литературоведы отнесли бы его к ярко выраженным публицистам. Весь пафос его широко в Руси известных сочинений говорит о постоянной бдительности и охране веры православной от латинян. Полагая, что спасение возможно только в православной вере, Феодосий вообще запрещает хвалить чужую веру. Кстати, русское слово “чушь” происходит как раз от слова “чуж, чужой”. “Если кто хвалит чужую веру, тот является двоеверцем и близок к ереси... Если кто скажет тебе: ту и другую веру Бог дал, ты отвечай: разве Бог двоеверен?” С латинянами Феодосий вообще запрещает иметь какие-либо сношения ни по делам веры, ни по делам житейским.

Можно и дальше и с большой пользой обращаться к памятникам русской письменности, совершенно не стареющим, но пора перейти к современности и сделать вывод: в русское письменное слово, начиная с Ивана III, с Алексея Михайловича и Петра Алексеевича, тем более с времен сменивших их женщин, Екатерины, Анны, Елизаветы, Екатерины II, вошли “оккупанты” – духи светскости и развлечения, духи ожидания удовольствия от чтения. То есть пришло чтение, которое действовало на нервы, а не на душу. А щекотание нервов требует все новых ощущений, и их мы дождались от Вольтера, Руссо, от Дидро, Аламбера. Красиво названы: энциклопедисты, но попросту это безбожники, вызвавшие к жизни и Дарвина с его обезьянами, потом и Ницше с его ожиданием сверхчеловека, то есть фашизма. Это ж логично: если от инфузории-туфельки, амебы мы дошли до человека, изобрели станок Гутенберга, надо идти дальше.

Далее страшно, ибо доверились славяне безбожным учениям. Помогали в этом свои богоборцы: Белинский, Чернышевский, Писарев, Добролюбов, Тарас Шевченко. Да и Герцен. Кто тогда слышал голоса Данилевского, Леон-

тьева, Хомякова, Аксаковых, святителей Тихона Задонского, Дмитрия Ростовского, Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника, Иоанна Кронштадтского, Оптинских старцев? Их наследие еще только начинает осваиваться. Теперешние писатели, дерзающие писать на русском, просто обязаны сделать их книги настольными.

Что нас спасет? Единственное и самое простое – обращение к Господу. Все остальные пути перепробованы.

Эта простота спасения всегда вызывала злобу падшего Денницы. Нападения на русскую душу были самыми сильными во все времена. Ослабевала вера – Россия вразумлялась бедствиями. Крепла вера – возвышалась Россия, но опять усиливались сатанинские нападения. Эти нападения усиливаются именно сейчас, по мере продвижения России ко Христу. Духовные вожды народа, к которым относятся писатели, ибо им дан от Бога дар писать, обязаны соответствовать вызову времени. Но если писатель не воцерковлен, труды его плохо помогут Отечеству. Ведь любили же Россию Палиевский, Кожин, Селезнев, Ланщиков, Михайлов, но их противостояние нашествию безбожного воинства оказалось слабым. Потому что не были воцерковлены. И не они, а либералы стали влиять на умы. Разве бы кому-то из любящих Россию пришло в голову именовать русских солдат федералами. “Погибло пять боевиков и убито три федерала”. Федералы. И это о русских юношах, о цвете человечества. О тех, кто продолжил меру подвига воинов Великой Отечественной. Но не у любящих Россию, а у ее ненавидящих в руках средства массовой информации.

Именно нам вновь посылается испытание нашей веры, нашей любви к России. Где можно найти силы для любви и веры? Только в Церкви. Кто об этом скажет? Только тот, кто за свои труды и молитвы награжден таким даром. То есть воцерковленный писатель. Он никогда не заменит священника. Да это и не его дело. Стихотворение Пушкина “Отцы пустынники и жены непорочны” не заменяет великопостную молитву святого Ефрема Сирина, и “Объяснение Божественной Литургии” Гоголя не есть Литургия, но они помогают войти в церковную ограду, воздвигнуть вокруг себя “стены Иерусалимские”. Вот назначение сегодняшнего слова.

Да, у нас стократно меньше возможностей выходить к читателям и слушателям, сравните число и тиражи изданий, телевизионное и экранное время, но спросим, что ж нас все никак не победят, не задавят, не низведут до уровня толпы и черни? Потому что есть безошибочное чутье народа. И оно чует правду, оно сердцем ощущает того, кто любит Россию, а кто видит в ней экономическую территорию проживания.

Конечно, нам тяжело. Но это естественно: мы – русские, нам всегда было всех тяжелее. Русский Крест неподъемен для других. А то, что он дан именно русским, показывает веру Господа в нас. Мы обязаны оправдать Его веру. Тяжело, но Крест не по силам Господь не дает. И то, что усиливается бесовская злоба – это верный показатель того, что наша любовь к Богу и России действенна. В непрекращающейся схватке Христа с Велиаром, света с тьмой православные писатели – воины. Их оружие – слово. Но это главное оружие современности. А слово, обеспеченное золотом любви, обязательно победит.

* * *

Православный взгляд на явления и события может спокойно ответить на любые, казалось бы, сложные вопросы бытия. Вот постоянно муссируемый вопрос антисемитизма. Но надо же различать еврейство, иудейство и жидовство. Жидом может быть и не еврей, еврей может быть и не иудеем. Не было никогда в России антисемитизма, да и кто бы, кроме Советской армии, спас евреев в Великую Отечественную войну? А жидовство – понятие не национальное, а социальное. И почему нельзя употреблять это слово? Тогда, что, и Пушкина нельзя читать, и Гоголя, и Лескова? Например, Плюшкин же не еврей, а русский помещик. Он торгуется с Чичиковым: “А сколько бы вы дали? – спросил Плюшкин и сам ожидал: руки его задрожали, как ртуть”. У Пушкина в “Скупом рыцаре” Иван, посылая слугу к Соломону, наказывает:

“Да ты б ему сказал, что мой отец богат и сам, как жид...”, но самого Соломона Иван называет жидом только тогда, когда тот подстрекает Ивана к отравлению отца: “Есть у меня знакомый старичок, аптекарь бедный... он составляет капли... ни вкуса в них, ни цвета не заметно; а человек без рези в животе, без тошноты, без боли умирает”. Вот тут-то Иван вскидывается: “Как! Отравить отца! И смел ты сыну... да знаешь ли, жидовская душа...” и далее по тексту.

Жидовство — понятие, обозначающее скряжничество, вымогательство, паразитирование на чужом богатстве. Есть об этом и пословица: “Родом дворянин, а делами жидовин”. Русских участников в ереси жидовствующих едва ли не больше, чем евреев.

Сохранился анекдот из послереволюционных времен, тогда как раз был такой закон и запрещалось произносить слово “жид”. На остановке трамвая стоит мужчина. Милиционер спрашивает: “Что вы тут делаете?” — “Трамвай под...”. Тут мужчина спохватился, ведь внутри слова “поджидаю” как раз это слово. И произносит: “Трамвай подъевреиваю”.

Так что к жидам сейчас скорее относятся не евреи, а так называемые новые русские. Конечно, они новые, так как забыли правило для богатых людей в России: Господь дал мне возможность нажить достояние, я возвращаю его Отечеству. И тут, к слову, притча о смерти нового богатого. Он отстегивал от щедрот своих нечестно нажитые деньги на церковь и уверенно пришел к дверям рая. Говорит апостолу Петру: “Открывай!” — “Подождите, мне надо посоветоваться”. — “Чего ждать, вон и по телевизору показывали, как я компьютеры в детдом дарю”. — “Но все-таки подождите”. Вернулся, говорит: “Деньги приказано вернуть, в рай не пускать”.

ПЁТР ЧАЛЫЙ

ЗИМНИЙ ЛИСТОПАД

На вечерний огонек в редакцию заглянул гость – бывший сотрудник нашей районки, становившийся известным поэтом, его уже печатал сам Твардовский в “Новом мире”, теперь публиковали подборками стихи столичные газеты, журналы, его имя уже, нет-нет, да вставляли в свои обоймы критики. Был это Алексей Тимофеевич Прасолов.

Затеялся поначалу шутейный разговор с непременными подначками друг друга. Дошел черед по кругу и до Прасолова. Давний его знакомый на правах ровесника подковырнул:

– Тебе вот, Алексей Тимофеевич, уже под сорок. А стихов написал с тощую книжонку, в карман влезет.

До сего момента Прасолов был, что редко с ним случалось, весело общительным – с порога отдал машинистке на перепечатку рукописи новых стихов, вдруг разоткровенничался на людях. “Косил отавы-травы в материнском хозяйстве. В охотку косил. Давно так не работал. А ночью в кухоньке зажигаю керосиновую лампу – и сижу над бумагой”. Он рассказывал, а за стеной в соседней комнате стучала машинка, на понятном только ей языке выговаривала:

*Сенокосный долгий день,
Травяное бездорожье.*

Следом – только написанное:

*Спустилась темь. Костер совсем потух.
Иными стали зрение и слух.
Давно уж на реке и над рекою
Все улеглось. А что-то нет покоя.*

В потертой папке с застешкой-”молнией” на коленях у Алексея Тимофеевича лежали листы с начальными главами повести о военном детстве. “Называю ее так – “Жестокие глаголы”.

И вот это – “стихов у тебя на карманную книжонку”, – сказанное, возможно, не без злого умысла, мгновенно изменило Прасолова. С лица сошла улыбка. Отчужденно колючим стал взгляд. Собеседники ведь знали: шутки,

ЧАЛЫЙ Петр Дмитриевич родился в 1946 году в селе Первомайск (Дерезоватое) Воронежской области. По образованию – учитель словесности, работает журналистом. Автор восьми книг прозы и переводов с украинского. Выпускает литературные, историко-краеведческие “газеты в газете” “Поле слободское” и альманах “Слобожанская тетрадь” (два выпуска – Воронеж, 2006; 2008). Член СП России. Живет в Россоши Воронежской области.

случалось, безобидные в свой адрес Алексей Тимофеевич и раньше не принимал, а тут речь зашла о сокровенном. Буркнул резко, с запальчивым вызовом: – Как считать! Кольцов немного написал. . .

Никому тогда не дано было знать, что скоро трагически кончит свой жизненный путь Алексей Прасолов. И уже годами после выйдет в Москве плотная книга его избранных стихов. Вступительную статью к тому же литературовед Вадим Кожин начнет словами, как бы подытоживающими тот наш разговор: “Если когда-нибудь возникнет мысль об издании книги, включающей в себя наиболее значительные образцы лирической поэзии нашего времени, – в эту книгу – как бы мало в ней ни оказалось имен – должны будут войти стихотворения Алексея Прасолова”.

“Человек с чувством истории, времени, глубины”, – такую оценку Прасолову дал, по свидетельству литературоведа-критика Инны Ростовцевой, русский писатель Леонид Максимович Леонов.

I

Когда перечитываю сборники Алексея Прасолова, всегда запнусь на странице, начинающейся строкой:

Я не слышал высокой скорби труб.

Стихам предпослано посвящение – “Памяти Веры Опенько”.

*...Мы обостренной помним
Часы утрат, когда, в пути спеша,
О свежий холмик с именем знакомым
Споткнется неожиданно душа.*

С Верой Митрофановной Опенько встретился Прасолов в юности. Вот его служебная автобиография. Алексею Тимофеевичу в зрелом возрасте доводилось писать их довольно часто: в пятидесятые-шестидесятые годы по разным причинам вынужден был нередко менять адрес работы, скитаясь по редакциям сельских районных газет то близ родной Россоши, то возле Воронежа. Бухгалтеры редакций, дотошные канцеляристы по сей день порой в книгах приказов хранят личные бумаги Прасолова – листы, исписанные, как всегда, характерным торопливым почерком с круто наклоненными вперед остроконечными буквами, будто пишущий спешил поспеть за рождающейся в голове мыслью.

Кстати, точно подмечено – скоропись напоминает его походку. Алексей Тимофеевич ходил быстро, выдвинув плечо и наклонившись вперед, вроде преодолевая встречный ветер. Так вот, в прасоловских служебных бумагах слово в слово повторяются строки: “В 1947 году поступил в Россошанское педучилище, окончил его в 1951 году и поехал работать в Первомайскую семилетнюю школу в качестве преподавателя русского языка и литературы”. В глухом суходольском сельце и сошлись пути Алексея Прасолова и Веры Опенько, молодой учительницы, прибывшей тоже вести уроки русского и отечественной литературы.

Родом Вера Митрофановна была из донской слободы, из Новой Калитвы. Отец ее – красный конник гражданской войны. О Митрофане Опенько рассказал в свое время писатель Гавриил Троепольский в известном когда-то очерке “Легендарная быль”, перепечатававшемся в столичных сборниках. Избиралась и работала Вера секретарем райкома комсомола. Видимо, могла устроиться и получше, но корчагинский призыв “Только на линию огня!” был для нее не просто звучным лозунгом, а необходимой жизненной нормой. Отправилась работать в самое дальнее от тогдашнего райцентра село, где на начало учебного года не хватало учителей. Как много значила эта встреча для Прасолова, чувствуется в строках прощального стихотворения, которым он начинался, по его собственному признанию, как поэт, став “обретать цвет, запах мира”.

*И может, было просветленье это,
Дошедшее ко мне сквозь много дней,
Преемственно разгаданным заветом —
Лучом последней ясности твоей.*

*Как эта ясность мне была близка
И глубиной и силой молодой!
Я каждый раз ее в тебе искал,
Не затемняя близостью иной,
Размашисто, неровно и незрело
Примеривал я к миру жизнь мою,
Ты знала в нем разумные пределы
И беспредельность — ту, где я стою.*

Степное Первомайское, раньше называвшееся Дерезоватое (по часто встречающемуся в здешних местах колючему кустарнику), — “тихая моя родина”. В ту зиму с пятьдесят первого на пятьдесят второй шел мне шестой год, скорее всего, я бы не запомнил Прасолова, хоть и стоял он на квартире у недалекой соседки тетки Моти Шевченко: заезжих людей в селе останавливалось немало, учителя тоже менялись часто. Запомнил же нового учителя в серой шинельке потому, что встречал его в ближней хате, двор напротив нашего, где жила Вера Опенько. К тому сроку я поднаторел в чтении. В родном доме учебники, оставленные старшим братом, пробуквал от корки до корки. Вот и повадился по причине (“мать за солью послала”) и без повода бывать в хате соседей, где весь стол в горнице был завален книгами. Благо, Вера Митрофановна заметила, что я переминаюсь с ноги на ногу, краснею, боясь попросить разрешения поглядеть на книгу. Заполучив в дрожащие руки “Басни Крылова” размером с бабусину “святую книгу”, присаживался тут же на лавку и замирал, как мышь, над раскрытыми листами.

Они же, учительница и учитель в шинельке, говорили и говорили. . .

Раз Вера Митрофановна дала мне чистую тетрадь и простой карандаш. На первом листе я начал рисовать дом и тут же чуть не разревелся: вышел он скособоченным. Утешали они меня вместе. Учитель сказал:

— Ты нарисовал хатку тетки Катри (жила на нашей улице вдовая женщина в покосившемся домишке). Очень похоже.

Учительница взяла карандаш, быстро начертила человечков, пустила дым колечками из трубы — и картина ожила.

Больше ничего не могу отыскать о Прасолове в своей памяти детских лет. А вот ученики его помнят, хоть всего год он проработал в школе.

Вышло так, что лет через пятнадцать Алексей Тимофеевич уже журналистом заехал в Первомайское. В бывшей краснокирпичной школе, построенной еще земством, располагалось теперь правление колхоза, у крылечка и поджидали председателя. Прасолов не участвовал в разговоре, — сосредоточенный лоб прорезали глубокие морщины, — стоял в сторонке, как зачастую, весь в себе. Тут его тронула за руку молодая женщина.

— Алексей Тимофеевич, цэ вы? Еле признала вас. Меня не вспомните, сколько прошло. Вы наш класс учили. . .

Обрадовались случайной встрече, улыбались, расспрашивали друг о друге. То была Маруся Величко, в девичестве — Беспалова, работала тогда дояркой на колхозной ферме. Говорливая ученица. Звучным голосом спешила выговорить:

— Я хоть и неважно училась, но посейчас не забыла, как хорошо вы нам про Пушкина рассказывали.

Уже меня самого, без Алексея Тимофеевича, газетные пути-перепутья в недалекой Старой Калитве свели с семьей Тютеревых. Они работали в школе с Прасоловым.

— Председатель колхоза попросил нас, учителей, в ночную молотить хлеба, — вспомнил Алексей Иванович. — Как взялся Алексей Тимофеевич за вилы, до ранку не выпускал их. Не разгибаячись кидал снопы пшеничные. Когда развиднелось, смотрю, ладони прячет. Так и есть — с непривычки растер до крови. Корю его, почему сразу не признался. А он отвел в сторонку, попросил не поднимать шум, перед людьми неудобно. Удивился его выдержке. Как больно ведь, а терпел и работал.

Еще рассказал Тютерев, что Прасолов чурался застолий. Любил уединение. Охотился вместе с хозяином дома, где жил. По воскресным дням рисовал. Алексею Ивановичу запомнилась картина осенней природы.

— Он меня заставил осмысленней посмотреть на окружающий мир, какой казался серым до скуки. Оказывается, что наша степная сторона по-своему красива, только нужно увидеть эту красоту.

– Прасолов не скрывал, что пишет стихи. Учителя относились к этому с уважением.

Кстати, позже, спустя годы, в письмах к Василию Белокрылову, писателю, Прасолов тоже будет возвращаться к дням своего сельского учительства.

“Там я писал поэму “Комиссар” и тоже уперся. Параллельно шла поэма, первый раз написанная в 7-м классе (тогда – 9-я по счету!). В той и другой я выходил из тупика, переходя от первой ко второй попеременно, а закончил обе аккордом – сразу. Это были еще не поэмы, хотя в них имелось сущее, но работа поучительная”.

“Я не кровожаден, хотя на моей совести (еще в Н. Калитве, когда работал в школе) – лисовин (5 декабря 1951 года), одной картечиной – наповал, заяц (в засаде в саду) и 5 волчат, которых мы с дядькой (хозяином, у которого я квартировал) вырыли из норы. Старого волка ночью в засаде дядька только ранил”.

Алексей Иванович Тютерев больше был посвящен в текущий повседневный быт, а вот его жена Елена Григорьевна оказалась поверенной в сердечные переживания Прасолова.

– С Верой Митрофановной мы как-то сразу сблизились. Я ведь чуток раньше приехала в Первомайское по направлению после института. Ни родных, ни знакомых. Но сельские люди мне понравились. Встретила суженого, вышла замуж. Растили сынишку. Хотелось, чтобы и у подруги все складывалось удачно. А тут и Алексея Тимофеевича будто сам Бог послал.

– Она книгами жила. И он такой же. Первым Алексей к Вере потянулся. Стал заходить посоветоваться, как лучше к уроку подготовиться, предмет ведь один вели. В клубной самостоятельности участвовали. Кинофильмы обсуждали. О прочитанном говорили.

– Алексей долго стеснялся сказать Вере, что она ему нравится. Она же как не замечает симпатий. Алексей видит, что мы как родные сестры с ней, мне первой признался, что Вера ему по душе. Подтруниваю над ней: Алеша-то не просто так к тебе в гости зачастил. Она отмахивается: не придумывай, замуж не собираюсь, еще учиться нужно. . .

– Задружили они. Стихи ей хорошие посвящал.

Настроение тогдашнее точно передают слова Прасолова в письме тех времен. “Надо жить в очень близком окружении душ, тоскующих по душе, – и обжигать их, чертей, чтобы они чувствовали хотя бы самих себя”. Тютерева бережно хранят фотографии из тех давних лет, где они молодые. Светлолицая и русоволосая Вера – ясные глаза. Широколобый с прямым зачесом волос Алексей – чистый взгляд. Добрые надежды на то, что все впереди.

– Ближе к весне меня послали на учебные курсы, – рассказывала Елена Григорьевна. – Вернулась, узнала, что между Верой и Алексеем случилась размолвка. . .

Кончился учебный год, и, уложив свои немудреные пожитки, из моего села навсегда уехал молодой учитель. У постаревшей тети Матрены с той поры, сменяя друг друга, квартировало немало постояльцев, она сама им счет потеряла. А Прасолова не забыла.

– Обходительный паренек. Я прихворну, а то и бригадир на работу посылает на весь день, так Алексей воды наносит, колодец неблизко, в яру, сам скотину управит, вечером в хате протопит. Не чурался крестьянского труда.

– По ночам над книжками сидел. Когда ни кинусь ото сна, светится на столе керосиновая пятилинейка. Я его пожалео: побереги голову. Засмеется и опять в книжку!

– С Верой Митрофановной хорошая была пара. . .

Домик тети Моти на выезде из села, у дороги к автобусной остановке. Прослышав, что мне по работе доводилось встречаться с Прасоловым, она всегда останавливала, спрашивала об Алексее и наказывала передать поклон.

Вера Митрофановна осталась у нас. Учительствовала до конца дней своей короткой жизни, из которой ушла, как и Прасолов, не успев постареть.

“Хорошая душа” – напишет о ней в письме по прошествии многих лет Алексей Тимофеевич. Тесен же мир! Когда другой поэт Михаил Тимошечкин узнает, о какой Вере Оленько речь, то вдруг припомнит, как он, первый секретарь Белогорьевского райкома комсомола, не однажды в распутицу коротал в задушевных разговорах неспешную речную дорогу на попутных баржах с

комсомольским секретарем из Новой Калитвы, добираясь домой с областных совещаний. И Михаил Федорович скажет о ней схоже: “Толковый человек”.

Знали о том и мы, ее ученики. Не всякого человека, пусть даже и учителя, ходили бы ребята целым классом проведать в больнице. К Вере Митрофановне ходили в мороз на лыжах и за полтора десятка с немереным гаком километров, выстаивали у оснеженного кружевами оконца. А она за остуженным стеклом, обрадованная, улыбалась сквозь слезы, больше сокрушалась, переживая за нас, и наказывала впредь не вырываться в такую дорогу.

На нее, с виду недеревенскую, худенькую женщину, в замужестве легло столько и житейских невзгод (в селе их ни от кого не утаишь, все на виду), и болезни не отступались, а она держалась. В класс входила с улыбкой. Она учила нас своей улыбкой не гнуть спину до слома перед встреченной бедой. Тем и памятна.

Как и ему.

*Все — без нее, и этот стих,
И утра, ставшие бездонней.*

Услышав от меня, что родом я из Первомайского, где начинал учительствовать ее сын, Вера Ивановна, мать Прасолова, сказала:

— Вера там ему встретилась. Алеша часто о ней говорил. Жалел, что разошлись дороги.

И думала вслух о несостоявшемся:

— Может, у Алеши все по-другому было бы...

Возвращаясь в памяти в ту дальнюю зиму детства, вижу высоченную, чуть подавшуюся на восход солнца белую березу. Стояла она посреди огорода у тети Матрены. Как выжила в огненной сече (фронт дважды катился через село)? Как устояла от порубок — одна-единственная на всю округу? Мне не верилось, что дерево белое-белое само по себе. “Наверное, тетка Мотя белит его крейдой...” И все думал: как она белит березу до самой вершины? Отчего дождем не смывается мел? Так считал, пока не забрался в чужой огород и не потрогал березу рукой.

На радость большим и малым росла высокая береза. Приспела нужда — срубили и ее.

*А я стою средь голосов земли.
Морозный месяц красен и велик.
Ночной гудок ли высится вдали?
Или пространства обнаженный крик?..
Мне кажется, сама земля не хочет
Законов, утвердившихся на ней:
Ее томит неотвратимость ночи
В коротких судьбах всех ее детей...*

2

Нечаянно попавшиеся на глаза стихи сразу приглянулись. Представьте: солнечный мартовский день, теплый пар над замороженным асфальтом, талые ручьи, а у тебя — третий курс институтской учебы, возраст, когда “любые горы по плечо”. Как тут не провозгласить, что “весна — от колеи шершавой до льдинки утренней — моя”.

Конечно, поэтический сборничек “День и ночь”, выпущенный в нашем Воронеже Центрально-Черноземным издательством в 1966 году, я не оставил на полке привокзального книжного магазина на улице Мира, хотя фамилия автора мне ничего не говорила пока. Вечером же, в общежитии, устроившись поудобней на койке, раскрыл книжку. Стихи не были ни лихими, ни крикливыми, как могло показаться по той выхваченной наугад глазами строке. Просвещенный филологическими науками, поднаторевший в оных, я бы перечислил различные оттенки лиры поэта. Прежде всего, стихи отличались запоминающейся ненадуманной выразительностью.

*Водю розовой — рассвет,
В рассветах повторенья нет.*

Рядом иное, тоже удивительное –

*Схватил мороз рисунок пены,
Река легла к моим ногам —
Оледенелое стремленье,
Прикованное к берегам.*

Отнес бы стихи в разряд старомодно-философских, школы “поэтов мысли”, поскольку чувства и думы, вылившиеся на бумагу, больше говорили о духовной человеческой жизни, пытались проникнуть в ее суть.

*Пусть над нами свет — однажды
И однажды — эта мгла,
Лишь родиться б с утром каждым
До конца душа могла.*

Сумел бы даже придрататься к встречающейся велеречивости... Но – в тот вечер мне было не до литературоведческого семинарского анализа.

А строка посвящения – “Памяти Веры Опенько” – осенила: неожиданно я встретился вновь с учителем в серенькой шинельке – с Алексеем Тимофеевичем Прасоловым, с его стихами.

Вскоре на той же книжной полке раздобыл еще один сборник – “Лирика”, изданный в том же 1966 году в Москве “Молодой гвардией”. Стал внимательнее следить за новыми газетными и журнальными публикациями поэта.

Отчасти Прасолов тогда же заставил всерьез обратиться к стихам, от которых шел сам, – к творчеству Блока, Тютчева, Боратынского. То обстоятельство, считаю, было из важных: молодежи всю поэзию застили имена шустрых эстрадных литераторов, больше никого – ни из современных, ни из старинных – мы зачастую и знать не хотели. Лирика Александра Твардовского, Ярослава Смелякова, Александра Яшина, стихи таких поэтов, как Анатолий Жигулин, Владимир Гордейчев, Алексей Прасолов, позже – и Николай Рубцов, Николай Тряпкин, Юрий Кузнецов (говорю о себе), подтолкнули не только глубже читать русскую классику – обогащали духовно, помогали вырабатывать собственную жизненную позицию.

Летом 1967 года на студенческих каникулах пришел проситься подрабатывать в редакцию росошанской районки, в которой нештатно сотрудничал селькором и раньше.

– Заведующий сельхозотделом уходит в отпуск, а ты под началом у Прасолова побудешь. Знаком с ним? – уточнила принимавшая меня на работу женщина, заместитель редактора. Крикнула в глубь коридора: – Алексей!

По фотографии, открывающей московскую книжечку “Лирика”, я бы узнал Алексея Тимофеевича. Там он снят без позы или понятного напряжения перед объективом, светлое лицо, во взгляде – духовная сосредоточенность. Удачные снимки мне и после не доводилось видеть.

Когда остались вдвоем на покосившейся коридорной лестнице, я сказал:

– Спасибо вам за ваши стихи, Алексей Тимофеевич, – и тут же покраснел, устыдившись своих же слов. Но услышанная благодарность Прасоловым была принята не как дежурная. Голос его дрогнул.

– Трогают? – спросил он.

Та первая минута нашего знакомства расположила друг к другу, сблизила.

Работали в одном кабинете, лицом к лицу. На плечах сельскохозяйственного отдела в районной газете основные заботы. К тому же – я только осваивался в профессиональном журналистском деле. Так что почти весь день нам обычно было не до разговоров.

Петухом насакивал ответственный секретарь, требуя положенные “срочно в номер” строки. Ходившее о нем по редакции шутовское присловье “и нет житухи нам от Виктора Желтухина” вроде бы ввел в обиход с легкой руки Алексея Тимофеевича. Чуть ли не добела раскаляли телефоны, вызванная сельские новости. Выезжали чаще на попутных грузовиках в ближние и дальние колхозы-совхозы, по возвращении сразу же становились к газетной “наковальне”. Готовили свои репортажи. Правили материалы селькоров и писали статьи то за районное начальство, то от имени доярки, с какой беседовали накануне. Газета прожорлива: одно сделаешь, а следом же тебя торопят другие заботы.

Среди журналистов порой бытует мнение о поэтах-писателях, несущих на себе обязанности газетчика, как о людях, работающих вполсилы. Выкладываются, мол, они над рукописями своих книг, а за редакционным столом лишь отбывают службу. О Прасолове скажу: к газетному труду он относился как, видимо, к любой работе, по-крестьянски серьезно. Перелистайте подшивки районки. Знакомый прасоловский почерк – говорить о людях по возможности не выпранным, не казенно-затасканным, а теплым словом – встретится часто. Статьи, заметки, очерки – что требовалось газете, то он и делал без всяких скидок на свое истинное призвание. Не один увесистый том составили бы написанные им газетные строчки.

Не только физических, но и творческих сил районка, конечно, забирала немало. Фотокорреспондент Иван Петрович Девятко часто выезжал вместе с литературным сотрудником Прасоловым в село.

– Ожидаем тракториста на полевой обочине. Он в нашу сторону уже развернул машину. Июнь стоял, но летняя жара еще не приспела. Жаворонки в небе такое выделывают, на все лады высвистывают. На муравейник долго глядели, удивлялись разумной жизни муравьев: всяк своим делом занят. Честно признаться, я бы и не запомнил тот день, мало ли их распрекрасных нам выпадает. Да Прасолов написал тогда не репортаж о кукурузной прополке, а прямо-таки поэму, только что не стихами. О трактористах хорошо сказал. Ту степь так обрисовал – где слова отыскались, – вспомнил Девятко, когда я попросил его рассказать о Прасолове-журналисте.

Не ради красного словца Алексей Тимофеевич в письме в правление Союза писателей России заявит: “Ведь я работаю литсотрудником районной газеты, которая требует полной отдачи рабочего дня и тебя самого. Зато я всегда среди тех, кто кормит страну, – среди колхозников – в поле, на фермах”.

Дотошно присматривался тогда к Прасолову и я, что вполне объяснимо.

Невысокий, сухотелый. Ходил всегда в рубашках с короткими рукавами, в накладном карманчике вчетверо сложенный лист бумаги и карандаш. Ни блокнотов, ни авторучки с собой не носил. Да и в редакции всегда на его столе стояла чернильница, писал обычной, забытой ныне школьной ручкой с “уточкой” – тупоносим вставным пером. Материалы в газету готовил, поражало, очень быстро; исписанный ровными строчками лист почти всегда без помарок. Если приходилось изменять написанное, вычеркивал буквы с какой-то суеверной старательностью, так что прочесть их после было невозможно. Учил этому и меня.

– Никто не должен знать, в чем ты сомневаешься. Нарушается стройность твоей мысли.

Поражало умение точно укладываться в газетные размеры. Закажет ответственный секретарь “сто двадцать пять строк на петит”, столько Алексей Тимофеевич и напишет – ни буквой больше, ни буквой меньше. А уж коль редакционный начштаба просчитается, то ругался с ним ворчливо – в газетной полосе затыкать “дыры”, дописывать материалы не любил.

В редакции чаще молчаливый, державшийся в одиночестве, Прасолов умел увидеть и разговорить человека. Поехали в колхоз за передовым опытом на заготовке кормов. Побывали на кукурузном поле, у силосных траншей на ферме, записали фамилии механизаторов, нужные цифры, примеры. Сделали снимки. Пора и возвращаться. Алексей Тимофеевич же застрял в весовой – разговорился с женщиной. Беседуют, смеются – не остановишь. Вслушался: его собеседница – звеньевая у свекловичниц, а в молодости шофером была, парашютисткой. Никогда бы не подумал, что у повязанной козынькой колхозной весовщицы такая любопытная судьба. Не очерк о ней пиши, а книгу.

Человеческой деликатности газетчика у Прасолова стоило поучиться. Не докучал тем, с кем приходилось беседовать, от работы старался не отрывать. Сельские дела и проблемы знал так, что председатель колхоза и агроном, доярка и тракторист говорили с ним уважительно, видя в нем своего – деревенского толкового собеседника.

Да и в редакции к нему относились с почтением, казалось мне, не потому, что он писал стихи – Прасолов не брезговал, не пренебрегал любой газетной работой. Требовалась статья о молочной ферме, делал ее, нужен репортаж из нового колхозного детского садика – выезжал туда, получал задание выпустить номер о людях – ровесниках Октября, сидел и на маленьких замет-

ках. Такой корреспондент — всегда на особом счету в районке, где вечно не хватает рабочих рук, недостает до самой последней минуты перед выпуском газетных строк.

С особым вниманием я прислушивался к советам Алексея Тимофеевича, когда выпадала не занятая работой минута. Высказывался он скупно и коротко. Потому запоминалось.

Мои газетные материалы по должности первым читал он. Вычеркивал цифры, какими я для солидности пересаливал статью.

— В газете главное — люди. Не молоко, не мясо, не проценты — люди. Как и на земле — человек. О нем старайся больше и писать.

Маракую-маракую — не получается у меня статья. Вроде и ясных примеров предостаточно, а вот в складывающихся словах не выделась эта ясность. Руки опускаются. Объясняю Прасолову суть дела. Он обстоятельно растолковывает, как надо писать.

— Направление мысли своей для себя же определи. Дальше главное — не менять курса. А парус с фактами можно поворачивать как угодно.

В окололитературных кругах газетная работа часто считалась неблагодарной поденщиной, уже потому — халтурной. Вот мнение на сей счет Прасолова: “Честный человек, даже делая то, что чуждо ему, может быть честным: так или иначе он покажет себя, хоть в четырех строках из написанных им ста строк; а это уже дорого”.

Выдавался свободный от газеты час — Прасолов застывает над страницами стихов Николая Заболоцкого. В тот июль он не расставался с уже потерятым зелененьким однотомником. Отлучаясь, предупреждал, что уходит в читальный зал, проглядывал все журналы, какие получали в библиотеке.

Ближе к вечеру наводили порядок в бумагах на столе, прикрывали плотные двери, отгораживаясь от коридорного шума, окна комнаты выходили в пустынный, заросший кленком-самосевком дворик. Разговор начинался о литературе, о любимых книгах, поэтах и писателях. Намолчавшись за день, Алексей Тимофеевич выговаривался. Очень точно подметил воронежский литературовед Анатолий Абрамов то, что передать речь Прасолова очень трудно. “...Если у большинства людей разговор — это путь по земле, шагание по дороге, по полю, по асфальту, то его разговор — это всегда шаги по сваям над пропастью”. Мне к тому времени доводилось слушать пользующихся большой известностью прозаиков и поэтов, посещал курсы лекций основательно знающих историю, литературу ученых, кандидатов и докторов наук. Что меня, студента, тогда ошарашило (иного слова не подберешь, чтобы сказать о тогдашнем своем впечатлении) — Прасолов со своим педагогическим училищным дипломом никому из встреченных мною людей, более образованных и живущих в литературном или ученом окружении, не уступал ни в знаниях, ни в красноречии. Спросил невзначай о Курбском, он мне весь вечер говорил о Руси времен царствования Ивана Грозного. Завел разговор о Есенине — прочитал хорошо знакомые строки так, что ты их как будто впервые до конца прочувствовал, открылись они тебе иной гранью.

Бывает, интересного слушаешь человека, говорит увлеченно, дело до тонкостей знает, да после переберешь мысленно беседу — ничего примечательного-то в голове и не осталось. Все красиво обговоренное, оказывается, знакомо, как вязкая ирисная конфетка, но преподнесенная тебе вдруг в позолоченной обертке.

Прасолова отличало то, что высказываемые им мысли, суждения были, скорее всего, не заемными ни у толковых книг, ни со стороны. Он имел собственный взгляд не только на литературу — на окружающий мир, в чем-то, но отличающийся, выделяющийся в общем ряду. Это дается не каждому.

*Что значит — время?
Что — пространство?..
Для вдохновенья и труда
Явись однажды и останься
Самим собою навсегда.*

Вскоре я убедился, что среди журналистов тогдашней районки Прасолов оказался не единственным, кто тоже был богат книжной мудростью и своеобразным мироощущением.

В нашей же комнате угол у входа занимал третий стол, за которым иногда восседал, поблескивая очками на крупном морщинистом лице, “вольный стрелок” Иван Матвеевич Грачев. В своей долгой жизни (его шестидесятилетний возраст в ту пору мне казался древним) он прекрасно знал лишь одно дело – газетное. Оказавшись на пенсии, он при всем желании просто не мог уйти из редакционной “кузницы”. Чему собратья по перу были, конечно, рады, переложили на ветерана освещение проблем городской жизни, создав для него нештатный отдел. Отстучав спозаранку на пишущей машинке, к приходу начштаба Желтухина он клал ему на стол заявленные ранее материалы и надолго исчезал, твердо выдерживая собственный график обхода предприятий и учреждений. Возникал вновь обычно к вечеру.

– Доброго здоровьичка, доктор! – слышалось его неизменное приветствие, унаследованное из Института красной профессуры, в каком ему в молодости довелось учиться по завершении не менее знаменитого Института философии и литературы. Приятельское обращение “доктор” нравилось и Прасолову, он охотно откликался и порой не отказывался засесть у шахматной доски.

Иван Матвеевич, нет-нет, да и извлекал из своей памяти “про между прочим” очередную “историйку”. То, как с Гришей Коноваловым (“знаешь, саратовский прозаик, романы-кирпичи сочиняет”) попали на обед к писателю-графу Толстому. Заметив, что молодые гости мельком улыбнулись друг другу, едва взглянув на поставленные перед ними махонькие рюмочки, Алексей Николаевич сам понимающе расхохотался и приказал принести посуду попримличнее.

С присказками-прибауточками “доктор” не передвигал, а со стуком переставлял шахматные фигуры и, к слову, припоминал, как за ним, цензором Гослитиздата, ночью пришла машина. “Спрашиваю: вещи с собой брать?” – “Не надо”. Привезли на службу – спешно пришлось восстанавливать изъятые “купюры” в верстке книги Фейхтвангера о Сталине. Сам Иосиф Виссарионович красным карандашом “прошелся” по тексту, советуя печатать все целиком, невзирая “на собственную личность”. Позже, когда судьба забросила Грачева в воронежские края, на библиотечной полке обнаружил знакомую книгу все-таки с его сокращениями. “То ли Сталин схитрил: часть тиража с полным текстом выпустил для француза, мол, не допускает цензуру. То ли услужливые соратники вождя постарались”.

Прасолов не удивлялся, допытывался вроде шутейно, как в точности все было: “В тридцать седьмом году как сажали? Кто кого опередит с доносом, тот и цел?” Иван Матвеевич не обижался. В редакции все знали, что его служебная карьера рухнула из-за чрезмерного пристрастия к спиртному зелью. Признаться, я неверяще слушал “доктора”. Очень уж на неправдоподобные “байки” смахивали его рассказы о былой жизни, богатой на слишком уж исторические встречи. Время спустя в дороге мне случайно подвернулась книга воспоминаний именитого деятеля; на фотографии, запечатлевшей молодёжь с Максимом Горьким, узнал хоть и моложавый, но знакомый лик Грачева.

До неожиданной встречи с Прасоловым я уже знал, что Алексей Тимофеевич за какие-то прегрешения отбывал трудовую повинность за колючей проволокой в “почтовых ящиках” близ Воронежа. Освободили его до срока по ходатайству того же Александра Трифоновича. Но ни в глаза, ни за глаза досужих разговоров о “темных пятнах” в биографии Прасолова по редакции не велось. Как я теперь понимаю – повода к тому не было. Работал Алексей Тимофеевич с полной выкладкой, как дай Бог любому и каждому.

Однажды к нам в комнату зашла жена Прасолова – невысокого росточка, под стать мужу, женщина. За руку вела сынишку. Я сразу оставил их наедине. Когда вернулся, Алексей Тимофеевич был уже один, дописывал материал, второпях черкал, что на него непохоже. Попросил вычитать текст с машинки, а еще перед уходом одолжил денег. “У Сережи день рождения, игрушечные щит и меч куплю ему в подарок”.

В послеобеденный час я застал в нашем кабинете совершенно другого человека. На вошедшего глянул исподлобья, будто камнем кинул. Когда вроде разглядел, потеплел взглядом. Он пытался макнуть ручкой в чернильницу, но не попадал, руки не слушались.

Заглянул к нам Желтухин, с порога громогласно позвал к редактору и – осекся. Плотнее притворил за собой дверь, сообщил тихо: “Начальство из Воронежа приехало, собираю всех.” Еще раз окинув взглядом покачивающегося за столом Алексея Тимофеевича, распорядился: “Ты пока не выпускай его в коридор, чтобы не попался на глаза. А потом тихо уведи домой”.

– Квазимодо! – высказался ему вслед Прасолов.

Получилось все-таки по-сказанному. Алексей Тимофеевич безропотно притулился к моему плечу, благополучно спустились со второго этажа на улицу и свернули в пустынный переулок, не привлекая к себе внимания. Держаться на свежем воздухе он стал поуверенней. Убедил меня, что доберется самостоятельно на квартиру, жил ведь недалеко от редакции.

Наутро на работе он не появился, позвонил, что лег в больницу – психоневрологический диспансер. Вот только тогда я и услышал о Прасолове: золотой человек – пока не запыет...

Своим чередом текла редакционная жизнь. Вернувшийся из отпуска редактор расспросил меня как-то о появлении в газете заметки про “сбежавшее” молоко. Вспомнилось, обочь проселка встретилось нам с Прасоловым на пути колхозное стадо. Алексей Тимофеевич не преминул дотошно поговорить с пастухами, после чего и написал о беспорядках на ферме.

– Председатель нажаловался в райком, утверждает, что все брехня. Оклеветала газета. Езжай туда и разберись, нужно ли нам извиниться.

Поспел к обеденной дойке. Говорливые доярки выложили мне еще “вагон и маленькую тележку” фактов, подтверждающих, что Прасолов писал “сущее”. Раз так, то опровержения председателю не дожидаться.

Уже со спокойной душой захотелось навестить Алексея Тимофеевича. По пути забрел в колхозный сад, там от запаха “белого налива” кружилась голова. Под рукой ничего не было, пришлось вспомнить детство: потуже перетянул поясной ремень, набрал яблок полную пазуху. С гостинцем под вечер явился в больницу. Алексея Тимофеевича встретил у входа близ забивающих “козла”. Сразу же отвел он меня в сторону ото всех, за лечебницу поодаль, где край городка. Присели на пригорке, откуда хорошо была видна округа – луг, речка в осоке, меловое холмогорье, за какое скатывался вслед за солнцем летний день.

На чистую траву высыпал, расстегнув рубаху, горку фарфорово светящихся яблок. Хотел сказать: “Вам, Алексей Тимофеевич. Угощайтесь”. Да промолчал. Прасолов плакал.

3

Подоспел сентябрь – кончился срок моей газетной работы “в наймах”. С Алексеем Тимофеевичем продолжали разговоры в письмах.

Советовался с ним, готовясь к семинарскому докладу о творчестве Владимира Луговского.

“Правильно пойми основное в его книге “Середина века”. Там очень много мыслей – явно высказанных, чувствуемых. И, конечно, не меньше мастерства. В коротком письме все это не поддается анализу. Отмечу, что, несмотря на внешнюю строгую “классичность” пятистопного ямба, в этих поэмах столько настоящей новизны формы и такая емкость в слове, что понимается сразу. Из его лирики лучшее – последнее: “Солнцеворот”, “Синяя весна”. Это как то же самое, что и в поэмах, но в несколько “облегченной” форме. Это мысли и чувства человека на расстоянии. И хорошо, что Луговской не оглядывается на прошлое, на революцию, а, идя вперед, несет все это в себе. Причем революция эта – не внешняя, а духовная”.

Сообщил ему, что у нас в институте все просто помешаны на стихах Вознесенского. Пытался и сам пояснить, что я увидел нового в них. Алексей Тимофеевич спокойно усмирал мой восторженный пыл. Объяснял убедительно: “Заревы” Вознесенского не воспринимаются как нечто органически целое. Найдено ключевое понятие, слово с большим резонансом и “обратимостью”. На этом построено разноглосье современного мира, который преломлен в стихах Вознесенского так, как ему хотелось. Ну и пусть. Это его дело, его право”.

Как всегда, скупо писал о себе.

“У нас новостей нет, кроме всяких именин, в том числе и моих, отмеченных 13 октября (веселое число!). Подарили лампу, подчеркнув сим фактом, что день пожирает газета, а ночью можешь себе творить что угодно”.

“Я недавно был в Воронеже и Семилуках. Выступал на читательской конференции. То, что мне вручили билет (члена Союза писателей СССР. – П. Ч.), ты, наверно, знаешь из газеты “Коммуна”.

Дотягиваю, как и все, до праздника, дающего несколько дней роздыха и возможности побывать с собой наедине. Это трудное дело”.

Наказывал: “встретить праздник “думою о сущем”. Больше старайся взять внутрь в эти годы. Желаю успехов и познания”.

В Чехословакии, куда попал я на случайную студенческую практику, вдруг с радостью услышал, что имя поэта Алексея Прасолова с уважением произносит в Оломоуцком университете чешский литературовед Загладка, специалист по советской поэзии. Он даже вызвался с согласия автора подыскать ему толкового переводчика. Весть об этом Алексей Тимофеевич принял намного спокойнее меня.

“О возможном переводе и публикации моих стихов на чешском думать много не стоит”.

Тут же высказал иную просьбу.

“Да, не смог бы ли ты достать хоть какое-нибудь издание стихов Анны Ахматовой?.. У меня было последнее издание, но там же, в Воронеже, утащили черные руки”.

Приходили еще интересные письма от Прасолова, но, к сожалению, канули в студенческом общежитии.

На зимних каникулах — домой! А в Россоши, конечно, не проехал мимо редакции. Вечером с Алексеем Тимофеевичем пошли смотреть факельное шествие молодежи — отмечалась двадцать пятая годовщина освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Сквер, где на братской могиле стоит памятник павшим воинам, ближние улочки были высвечены огненными сполохами.

*Сорок третий идет
Дальним гулом с востока.
У печи,
На поленья уставясь незряче,
Трезвый немец
Сурово украдкой плачет.
И чтоб русский мальчишка
Тех слез не заметил,
За дровами опять
Выгоняет на ветер.
Непонятно мальчишке:
Что все это значит?
Немец сыт и силен -
Отчего же он плачет?..*

Эти свои строки Алексей Тимофеевич не читал, когда бродили по засыпанном снегом деревенским улочкам городка. Но в его памяти всколыхнулось незабвенное. Больше говорил о пережитом военном лихолетье. Вспоминал свое, личное, и обращался к судьбе страны. Говорил о святом долге тех, кто видел, прошел через горнило войны, — сказать об этом для грядущего Толстого, кому по силам будет мудро воздать непреложную славу нашему народу, который не первый раз в мировой истории отдает самого себя во благо всего человечества.

На улочках, где бродили, в ряду свежестроенных домов попадались присевшие хатки — из-под камышовых бровей стрехи светились оконца. Который век светились?

Придерживали шаг, останавливались и молчали. Как у святого места.

На притихший городок ложился снег.

Алексей Тимофеевич по вызову из Союза писателей собирался в скором времени уезжать на Высшие литературные курсы Москву. Несколько раз повторял, что давно хотелось спокойно постоять в Третьяковке у любимых картин, без суеты посещать музеи. Сказал о том, что вот-вот должна выйти его новая книга “Земля и зенит”. Читал стихи.

После говорил отчего-то вдруг резко, даже с каким-то вызовом.

— Знают, как рождается человек, дерево, день — обо всем ведают. Но не знают, как рождается поэзия. И я счастлив.

Последние слова мне не показались, а возражать ему вслух отчего-то не стал. Пусть бы говорил это живущий в ином измерении литератор — люблю-

щийся только на себя чужеродный пустоцвет, от увлечения каким предостерегал меня недавно сам же Алексей Тимофеевич. Все было бы ясно. Но ведь Прасолов всегда совсем иначе мыслил о “сущем” в поэтическом слове:

“А ведь я помню... Зимний, непогожий вечер... Колхозница — тетя Мотя — вяжет шерстяной чулок и читает мне наизусть “Катерину” и “Тяжко, важно в свити житы сироти без роду...”. Эту думку Шевченко написал, вернее, записал, в один присест — вылил. И это самое первое его стихотворение.

Когда же придет этот поэт — такой же силы, современный? <...> надо слушать лекции и эту колхозницу с землистыми руками: чем она живет, о чем хочет сказать? Если скажешь за нее — ты поэт. Надо нам думать так, как думают люди, и не заставлять их говорить так, как нам бы хотелось”.

В тот вечер расстались поздно, когда мне уже нужно было спешить на ночной поезд.

— Из Москвы обязательно напишу, — сказал Алексей Тимофеевич на прощанье. Но весточки из столицы от Прасолова я так и не дождался. А вскоре и меня закрутило: выпускной курс, государственные экзамены, на распределении расписался за “точку” будущей работы в Сибири.

Из вторых уст услышал, что после житейски вроде бы спокойной полосы у Алексея Тимофеевича опять пошли прежние срывы, какие усугубились серьезной легочной хворью.

По возможности старался не упускать публикации его стихов. Правда, сам он относился к ним с каким-то непоказным безразличием. Принес ему из газетного киоска свежий номер “Литературки” с большой подборкой его стихов. “Жигулин постарался”, — заметил сразу. Первую минуту вроде бы со светлым лицом вглядывался в отпечатанную свою работу, а затем вернул мне газету. Говорили, что схоже радовался присланной ему из редакции “Нового мира” тетрадке с опубликованными в журнале стихами — переплетена в плотную обложку. Погодя — без особого сожаления отдал ее знакомому. Дарил даже рукописи стихотворений, так и оставшихся ненапечатанными.

После выпадали суетные, почти вокзальные встречи.

— Вы туда? А я оттуда.

Россошь покинул Прасолов насовсем в начале 1969 года и приезжал сюда лишь изредка, навещал мать. В обнародованных позже письмах писателю Виктору Астафьеву есть такие строки: “Россошь не лучшее место для пишущего (обыкновенный тупик, где ты один и сидишь, как в яме)”. Не думаю, что Алексей Тимофеевич искренне хаял родимый городок. Просто выпала минута отчаяния — судебные разводы с женой, больничное заточение в туберкулезном диспансере. Выговорился под горячую руку, хорошо зная, что бумага все стерпит.

4

Близким знакомым в последние годы жизни Алексей Тимофеевич говорил:

— Что у меня есть хорошее в Россоши, так это семья Лилии Ивановны Глазко.

Подарил ей фотографию, на обороте своего портрета размашисто написал:

*Для Лилии Ивановны —
Такое бы случилось! —
Переписал бы заново
Стихи свои и жизнь!..*

В Лилии Ивановне почувствовал Прасолов близкого себе человека. С той первой встречи часто приходил к ней отвести душу в разговоре. Продолжались беседы и после его внезапных отъездов, в теплых письмах. Бумага хранит его сокровенное слово, его веру в то, что запечатленный на листе “мой мир в какой-то мере передастся другому” человеку, который “сохраняет себя, свое, дорожит каждой крупницей светлого и чистого в жизни”.

“Ночи я не видел... А вижу народившийся день и вношу я в него свою душу, уже настолько привыкшую к напряжению, что для нее, кажется, не существует понятий — усталость и бодрость: одно похоже на другое. Я даже сутки не воспринимаю как единицу времени, — есть свет за окном и нет света, —

это все, что в моих глазах. Господи, счастье ли это или мука моя — ничего я не разбираю отдельно и не хочу разбирать.

Пойду дальше сквозь все, что мне суждено, как оно — сквозь меня проходит насквозь. А может, и останется все целиком во мне — но все это уже не чувство, а рассуждения. А мне их меньше всего требуется”.

— ... Я горел желанием в детстве хоть раз оторваться от земли на планере, на самолете, на воздушном шаре, переделал десятки моделей геликоптеров, планеров, самолетов разных типов — от ПЕ-3 до “ястребка” ЛА-5, от МЕ-109 до Ю-88 и 89 (этих мастерил для мишеней — “сбивал” из арбалета, из самопала, из трофейной немецкой винтовки боевым зарядом, в котором наполовину убавлял пороха). Все было, даже два случая, когда я еле уцелел от брошенной мною гранаты и от немецкой мины, расстрелянной мною на реке Черной Калитве. О, времена! Нас солдаты называли “второй фронт” и грозились отодрать за уши за все эти проделки.

А для нас это была настоящая, полная риска жизнь!”

“Как летит время! Мы уже во сне не летаем. А я летал долго, лет до 36 во сне. (Из письма И. Ростовцевой: “Неужели я еще расту? Летел над полями, видел внизу сизую польнь, пашню, кусты и потом на дороге коснулся ногой теплой от солнца пыли...”). И так легко мне было просыпаться после парения над землей! Сегодня моя знакомая сказала: “А вообще ты когда идешь, когда сидишь, все кажется, хочешь из чего-то вырваться и улететь. Не замечал за собой?” Видно, внутреннее выдается мной на глаза, когда эти глаза внимательны и понимающи”.

*Мы опять с тобою отлетели,
и не дивно даже,
что внизу остались только тени,
да и те не наши.
Сквозь кристаллы воздуха увидим
все, что нас томило,
но не будем счет вести обидам,
пролетая мимо.*

“... думаю: хорошо, что человек сохраняет себя, свое, дорожит каждой крупинкой святого и чистого в жизни — и даже разговор на бумаге с ним очень нужен. А я как готовился к нему сегодня и вчера, когда получил письмо. А готовиться — это прежде всего отойти от суеты, вымыть руку и душу от газеты, от всего, что так далеко от моего сущего. Перед тем, как встретиться со своим прерванным делом, решил поговорить наедине с листами бумаги, где тоже отразится мой мир и в какой-то мере передастся другому. Да будет так!”

“... удалось удрать на 21 день в никуда, там среди зимнего леса, в виду наполовину — до середины — замерзшего Дона я вспомнил другой лес, другую реку Савалу, Савальский лес, богатый березами, вспоминал живую душу, жегшую костер со мной и без меня на мартовском снегу, впрочем, Вы прочтете все в “Огнище” (Огнище — лес, выжженный для посева. А посев бывает разный...). И писалось же мне в те дни, в январе!”

“... удрал в Гремяче, где ночевал, а в 4 утра брал материал на ферме”.

“... ночь выписывался до 3 часов утра — срочный материал на целую страницу. Сдал все до обеда. А теперь под бой курантов бегу через дорогу к ящику, как Ванька Жуков, и опускаю под полуночным небом письма. Да будут они для всех теплыми. А я уйду туда, где нет сновидений”.

Раздумья-разговоры о близких “живых душах” продолжались, перемежались с работой над стихами. Об этом Прасолов скажет в письме другу — прозаику Василию Белокрылову:

“Два письма — от тебя и от знакомой из Россоши. Это молодая женщина, мать двоих детей, умная жена, имеющая доброго, но ничего общего с ней не имеющего и не тоскующего об этом мужа, — ему ведь просто не доходит, каким миром она полна, чем дышит... очень чистая, непосредственная.

Вот послушай, она пишет:

“Недавно по радио передавали поэтический сборник “От января до января”. Я так ясно представила пробуждение природы весной, что вдруг почувствовала, как... весна приветливо глядит на меня глазами ягод, а ветер лас-

кает мои руки и ноги — и комната наполнилась запахами весны — мяты, ромашки, земляники. О боже! Противный запах гари... Шипя и пенясь, молоко негодовало на нерадивую хозяйку, изо всех сил старалось напомнить мне обязанности жены и матери. Так прошел мой поэтический час...”.

Апофеоз русской женщины (да и только ли русской) — ее украденный у судьбы на миг праздник, который принадлежит ей, женщине, но отнят “благополучием жизни”, и ее, женщины, тихий и страшный вот этой безгласностью реквием. И вряд ли это относится только к женщине — мы с ней на равных условиях в наше время. Я с нею знаком давно, встречи определяются моим пребыванием в Россоши — эпизодическими, но дай мне Бог немного, но побольше таких эпизодов.

Они — целая жизнь для сердца, которое с такими душами ищет отдыха — в действии. Я прихожу в ее всегда людный, но бестолково суетный мир, смотрю с нею с балкона фильм о зверях и птицах, слушаю запись их языка или вижу на сцене, внизу, танцовщицу (выступающую и за рубежом в ансамбле), вожусь с детьми, развешивая для них на ниточках то, что они должны срезать с завязанными глазами, — и с нею чувствую, как никогда — с женой, что такое для меня дети — эти самые мудрые природной мудростью существа, еще не обогатенные, а заодно и не испорченные нашей мудростью, и вдруг после всего этого встряхиваюсь и смотрю этой женщине в глаза, ожидая ответа на вопрос: кончилась игра? Нет, игры и не было — была та жизнь, которая дается нам малыми дозами, — как спасительное средство, ибо данная большей дозой, она теряет воздействие на нас — целительное воздействие, дальше следует заждавшаяся выхода человеческая пошлость. Вот оно, брат, как в человеке, при всем его желании быть не таким.

Извини, что начал не с твоего письма, но, собственно говоря, это желание — “поделиться” с тобой хорошим человеком, тем более женщиной (а мы этим, ох, как не богаты!), и есть ответ на твое чувство, свойственное всем нам, — чувство тоски по незаурядным, обжигающим душам, которых мы не нашли, чтобы иметь их всегда рядом. Может быть, находя их — пожизненно состоящих при других, — мы как раз и обжигаемся их огнем, а они — нашим. Ты верно заметил, что их огонь невыносим для нас, если он постоянен, равно как и наш для них при том же условии. Чувство “приобретенное” убивает любовь и чутье искателя. Одни принимают это как нормальное, конечное — и живут равно, другие, пронизанные ужасом этой нормальности, рвутся, рвут все, что тепло и уютно обняло их и сделало крылья ненужными, как у домашней птицы, и летят, чтобы сбить с себя даже запах той жизни. Им больно — они ведь оставили там часть себя — и часто невозвратимую, — но зато они обрели отношения очень многих людей — части человечества. И хотя судьбы таких драматичны, а порою трагичны — это результат горения. Совершенно бесплодным горение не бывает — при любом трагическом исходе.

Спасибо, что “Огнище” ты естественно воспринял — не как стихи, читиво, произведение и проч., а как что-то свое. Когда я писал, я только чутьем нащупывал тропу, по которой Она меня не вела, а притягательно манила. Среди слов я мог ее потерять, но она оказалась сильнее литературных наших дебрей — образов, техники, ритмики, — всего хозяйства, которое у нас в активе при писании. И когда я брал разгон — только отлетали на бумаге лишние слова, причем без тупиковых поисков нужных, угадываемых тобой на ходу средств выражения. И теперь я, остыв, думаю, что недаром дал слово ей, а не себе. Ведь я ее чувствовал, как сам себя в ее шкуре. А кто из нас сам не был в ней!”

И в письмах в Россошь продолжались беседы со столь дорогим Прасолову человеком — Лилией Ивановной.

“...перебирал книги — сколько непрочитанного! Мне к тому же трудно быть исправным читателем: то есть тем, кто в темпе поглощает уйму книг, да и не всегда требуется много — хороших, приятных тебе авторов по пальцам перечтешь. Современных берешь, чтобы знать как информацию.

Прав Солоухин в своих письмах из Русского музея, приводя слова Экзюпери о том, что возьми песню XV века и поймешь, насколько мы одичали”.

“...Послушал несколько пластинок: “Хор охотников”, 1-ю и 14-ю сонату Бетховена, и захотелось написать письмо”.

— Музыку классическую он очень любил, — это вспоминает Лилия Ивановна. — Поставит пластинку, присядет в кресло, смотришь — тут он и нет его, весь захвачен музыкой, дети могут только так слушать.

Для меня он и был большим ребенком. Не забуду: оставила его в парке с детьми, сама пока управлялась в клубе. Возвращаюсь и что вижу: из красивых осенних листьев смастерили по кораблику, самозабвенно дуют в паруса да еще спорят – чья шхуна быстроходней.

Была в Волгограде. Удалось купить ему в записи “Сильву” Кальмана и томик стихов Александра Твардовского. Книгу сразу выслала, а пластинкой хотела при встрече порадовать.

Я с сыном и дочкой собрала целый сундук репродукций картин. Журнал “Огонек” раньше радовал классикой. Алексей Тимофеевич разложит картины прямо на полу. Спросит с улыбкой: “Сегодня в Эрмитаж на экскурсию? С кем желаете встретиться?” О картинах мог говорить часами, разглядит такие подробности на знакомом тебе полотне, что просто диву даешься, как сам раньше этого не видел. Алексей Тимофеевич пристрастен был к русским передвижникам. Крамской – земляк. Репродукции картин Николая Александровича Ярошенко подолгу любил смотреть, рассказывал о нем много и интересно.

Тянуло его глянуть на море. Мечтал шутливо: уладится жизнь, построю избушку на пустынном морском берегу и буду отшельником.

Из цветов – полевая ромашка ему больше была по душе. Радостно встречал пору, когда зацветала сосна. Доказывал: неправду о дереве говорят, что сосна зимой и летом одним цветом. Зеленая, но разная. Светлая в пору цветения – на грани весны и лета. Запах хвои уже вовсе не новогодний.

Лилии Ивановне в одном из последних писем Алексей Тимофеевич рассказывал:

...”Перед окном отцветшие подснежники, которые мы посадили в холоде, в самом начале весны. Зато сирень зазеленела дружно и скоро затенит палисадник”.

5

Зимним днем, хмурым от зависших туч и бесснежья, пришла черная весть: Прасолова не стало.

6

Конечно, судили случившееся. Те, кто больше его знал, припоминали свои пророческие предположения: этим должно было окончиться, к этому шло...

Месяцы спустя в “Юности” печатались его последние стихи. В редакции журнала, видимо, не знали о кончине поэта или не хотели омрачать читателей – фамилия стояла без траурной рамки. Будто живой к живым пришел. А стихи были пронзительно прощальными.

Падает на землю осенний лист, “рожденный там, на высоте”.

*Но все произойдет не вдруг:
Еще — от трепета до тленья —
Он совершит прощальный круг
Замедленно, как в удивленье.*

*А дождик с четырех сторон
Уже облег и лес, и поле
Так мягко, словно хочет он,
Чтоб неизбежное — без боли.*

7

От понимающего собеседника Прасолов ведь никогда не скрывал, как пишутся стихи.

“Закон творчества – шутя-всерьез... напиши бездарно, поправь талантливо, отбери гениально!”

“...учусь естественности поэтической речи, которая не терпит долгую задержку под пером, ибо остывает, пока холодный ум правит чувством... Слово должно выбирать чувство, а не рассудок”.

“Поэзия обходится без уймы исписанных страниц, позволяет записывать где угодно, а проще всего – запоминать. Порою сам себе кажешься ходячей лабораторией”.

Поэт он не “вселенский”, а русский. Его напряженная мысль неразрывна с “землей и зенитом” – местом, где родился-вырос, где жил и работал. Как в картине большого художника присутствует узнаваемый, привязанный к месту “кусочек” лика земного, так и запредельная даль у Прасолова открывается в родимой стороне.

*Станция зеленая
с названьем русским —
Россошь!*

*Крутые щеки яблоч,
смеющихся с лотка.
Далекая, ты молодо
под облака выносишь
упругую певучесть
тепловозного гудка.*

*Мы так давно знакомы!
Я память лишь затрону —
завоют завитые спиралью
провода,
И с грохотом подкатят
к щербатому перрону
нагруженные горем
гневные года.*

Отмеряем путь, каким странствовал-путешествовал Алексей Тимофеевич всю сознательную жизнь, нередко было – дважды на дню, – от порога маминной хатки к железнодорожной станции и обратно. Дорожка в малость, километров шесть-семь. Если не припозднишься, то скоротаешь ее на пригородном поезде, первая остановка у поста-сторожки твоя. Пешком же – час с небольшим небыстрой ходьбы.

“В осколочной оспе вокзал” – именно таким увидел его в Россоши тревожным военным летом деревенский хлопчик. А домой отсюда – прямо и прямо, обочь “чугунки”, считай шпалы, пока не надоест. Споткнешься, забудешься у речного затона.

“Скелет моста ползучий поезд пронзает, загнанно дыша”. По мосту переходишь и ты на другой берег. “Река – широкая как дума”. Так кажется только здесь, где устроители земли не смогли “по знаку неразумной воли всеосушающе пройти”. А где поработали слепые и грубые руки, там “пятерни корней обвисли у вербы на краю беды, и как извилина без мысли – речное русло без воды”.

Тропа ведет через лес, какой вдруг “расступится и дрогнет, поезд – тенью на откосах, – длинно вытянутый грохот на сверкающих колесах”. Вроде к тебе “корни выползли ужами”, “звериными ушами листья все насторожились. В заколдованную небыль птица канула немая, и ногой примятый стебель страх тихонько поднимает”.

Не пугайся, переведи дух. Вот уже луг с травяным бездорожьем сенокосного долгого дня. Дымка древняя “среди скромно убранных равнин”. Обочь поле, на каком “легла за плугом борозда”. А вдаль снова речка, “налево – сосны над водой, направо – белый и в безлунности – высокий берег меловой, нахмурясь, накрепко задумался”. Туда поспешишь с удочкой, то будет в предрасветный час, там увидишь и, обрадованный, утвердишься в мысли, что “суетная сила еще звезду не погасила в воде, горящую стоймя”.

Впереди выбежала на шлях окраинная улочка...

В Морозовке я бывал не раз. Село со времени появления железной дороги – заречный, залужный пригород станции Россошь. Не в одном поколении здешние жители ремеслом связаны с “чугункой”, по которой уже вторую сотню лет гудят поезда, сближая серединную Россию с ее южными окраинами и северной Москвой. Не в одном поколении жители села наполовину рабочий, мастеровой люд, наполовину – в крестьянских заботах.

О Морозовке сейчас речь потому, что здесь родина поэта Алексея Прасолова. Правда, в автобиографии он всегда писал: родился в 1930 году в селе Ивановке Михайловского (позже – Кантемировского) района Воронежской области. Тот тоже недалёкий от Россоши суходольный степной теперь уже хуторок так и остался лишь паспортной строкой в его судьбе. В 1937 году семья перебралась в слободу, да и прижилась в ней.

Крайняя сельская улочка, дворы в один ряд, огородными полосами – к речной луговине, а глазастыми окнами домов – на просторный выгон, вытопанный телятами, гусями и ребятней: друг перед другом две сколоченные из жердин буквы “П”, означающие футбольные ворота. Дома нередко, как и обычные пристанционные постройки, снаружи обшиты вагонной досочкой. Стоят вроде одетые в одинаковые темно-коричневого немаркого цвета рубахи, выдают профессиональную принадлежность хозяев.

То лето выдалось небедным на дожди, даже в августе по-весеннему густо зазеленела чистым спорышом-муравой не выбитая колесами улица.

Бывая в селе, вот так постучаться в низкое окошко уже знакомого домика не решался, не осмеливался тревожить материнскую душу расспросами.

В палисаде шелестел листьями корявый клен. Учув чужого человека, загремела цепью, залаяла собака. “На место!” – прикрикнул голос. Калитку открыла пожилая женщина. Невысокая, как и сын, круглолицая, сразу заметно сходство и в лице. Приложила козырьком к надбровью ладонь, прикрыв ею глаза от солнечного света, смотрела на незнакомых пришельцев.

– С Алешей вместе работали? – переспросив, заторопилась. – Так чего ж тут стоять? Проходите, проходите... – певуче произнося слова вперемешку на русско-украинский лад (так разговаривают здесь все сельские жители и называют себя “хохлами” по национальности, вкладывая в это понятие свой смысл, считаясь “русско-украинцами”), зазвала нас в хату. – Там холодок держится, чего на жаре париться. – Улыбалась и подшучивала: – Головы, хлопцы, пригинайте, а то о притолоку шишак набьете. Мы от роду невысоки, по себе и строились.

Внутри хатенка казалась не такой уж и низкой, как землянка, поглубже полами сидела. Разделена на две половины печкой и перегородкой. Убранством комнаты немудрые. Бросалась в глаза цветастая клеенка, которой был накрыт стол. Из комнаты в комнату простланы половики в широкую полосу, домашнего тканья. Притулилась книжная этажерка, без книг сиротливая. Цел гвоздик, на каком висела скрипка, в юности Алексей любил на ней играть и сам пел песни, чаще украинские, хранимые мамой. Прикрытые вышитыми рушниками в простенках между окошками и над ними висели в рамках из деревянных планочек успевшие пожелтеть и еще свежие с виду фотокарточки.

– Алешу молоденького узнаете? – позвала мать смотреть фотографии. – Рамки на бечевочках, легко снимаются, – объясняла и снимала застекленные листы настенного семейного фотоальбома. – В руках виднее. Я сама часто так на них гляжу.

Вере Ивановне за семьдесят, но по виду этого не скажешь, старушкой еще постесняешься назвать. Как и всякая деревенская женщина ее лет, голову повязывает белым платочком, узелок под подбородком, в немаркой одежде. Разговаривает охотно и неторопливо.

– Первый муж, Алешин отец, бросил нас и село покинул...

“Жить розно и в разлуке умереть” – горчайшую строку Лермонтова предпослет Прасолов одному из пронзительных своих стихотворений.

*Ветер выел следы твои на обожженном песке.
Я слезы не нашел, чтобы горечь крутую разбавить.
Ты оставил наследие мне —
Отчество, пряник, зажатый в руке,
И еще — неизбывную едкую память.
Так мы помним лишь мертвых...*

– А Гринева я стала по второму мужу, – рассказывает Вера Ивановна. – Был Сергей тоже наш, ивановский. Сошлись и сразу сюда, в Морозовку. Работали – он каменщиком на железной дороге, я в колхозе. В тридцать седьмом еще сына родила, Ваней назвали. Ладком все было, кабы не война. Осиротила Ваню, а Алешу – дважды, погибли отец и отчим.

*И когда окровавились пажити,
Росчерки резких ракет
Зачеркнули сыновнюю выношенную обиду.
.....
Память!
Будто с холста, где портрет незабвенный,
Любя,
Стерли едкую пыль долгожданные руки.
Это было, отец, потерял я когда-то тебя,
А теперь вот нашел — и не будет разлуки...*

Мать не стала, что вполне объяснимо, выносить нам, заезжим по случаю, пусть даже давний тот сор из избы — далекую семейную драму. Годы спустя, когда ее, уже совсем старенькую, заберет из села к себе в Краснодар меньший сын, сводный брат поэта Иван Сергеевич Гринев, родственница Ирина Сергеевна Белогорцева обскажет подробнее, как “Алешу судьба с детства скалечила”.

— Литвиновы, это семья Веры, народ мудрый, себе на уме, хотя любили и пошутить. Дошутковались, как у них вышло — дочери не дали выйти замуж за любимого парня. А когда посватался Тимофей Прасолов, уже не отказали, проводили дочь в чужую хату.

Родился там у них Алеша. И вот Тимофея забирают на срочную службу в армию. Все бы ничего, почти дождался его возвращения. А Вера поскандалила с сестрой мужа. Та в отместку написала напраслину брату на солдатку. Тимофей поверил и как отрезал: в Ивановку не вернусь, с Верой жить не буду!

Так Веру с сыном выставили с прасоловского подворья. Она долго не тужила, вспомнилась первая любовь, сошлась с Гриневым, хорошим человеком. От лишних разговоров переселились подальше, в Морозовку...

В романе из писем Алексея Прасолова “Я встретил ночь твою”, составленном Инной Ростовцевой, есть скупые сведения поэта о своей родословной. Дед Григорий Прасолов “дал мне имя в память о своем любимце — сыне, погибшем в японскую войну”. Отец Тимофей Григорьевич “был военным с 1931 до 1941 год. В 41-м погиб. Видел его в последний раз в 1937 году. Брал меня с собой — мать не отдала. Больше он не женился. Есть человек, служивший с ним, — он мне много рассказывал об отце. От неграмотного парня — до командира, в первые дни — фронт и через месяц гибель. Дома — одно фото: отец с товарищем по службе. Я похож на него лицом. А нравом — в деда, так мать говорит”.

Порылся в краеведческих книжках. Оказывается, Ивановке в тридцатые годы кукушка откуковала лишь первый век. Жил-поживал на степном хуторе крестьянин с сыновьями, сохранял помещичий инвентарь от осени до весны, пока не наезжали на полевые работы наемные люди. Известна дата: в 1828 году на ковыльный косогор переселилось больше полустотни семей из-под Острогожска — из села Таволжно-Воскресенки. Были ли среди них Прасоловы? Кто знает. Фамилия ведет происхождение от прасола — разьежего скупщика скота и других товаров для перепродажи. В городах Приднепровья слово приобрело значение “скупой”, так что с профессиональным занятием фамилия уже могла не связываться. Предки Алексея Тимофеевича по отцовской, равно и по материнской линиям могли, конечно, оказаться на острогожских холмах со стороны Московской Руси, а вероятнее всего — как и большинство тогдашних поселенцев, пришли из Малороссии. Русское переначертание фамилий с окончанием на -ов встречается даже в наши дни. Литвиновых, кстати, в здешней местности поныне встречается немало, Прасоловы и Прасолы попадают реже. В семидесятые годы коренное население Россоши неожиданно-негаданно разбавили переселенцы. Потребовались строители и специалисты. Сельский городок среди полей становился промышленным. На его окраинах поставили корпуса электроаппаратного и химического заводов. Индустриальным ветром занесло сюда Прасоловых из Орловщины. От них услышал, что там, в Колпнянском районе, есть даже село Прасолово. А фамилия встречается “сплошь и рядом”, но произносится иначе, с ударением на первом “о”.

Сам же Алексей Прасолов, как и большинство его сверстников на юге области — Воронежской Слободжанщине, графу “национальность” в паспорте и личных листках по учету кадров заполнял так — “украинец”. А в своих письмах

не однажды отмечал: “Принесли еще новых книг. Кобзарь — на украинском языке. (Я — Шевченко принимаю только в подлиннике, это был первый поэт в моей жизни, влиявший в раннем возрасте так, как не влиял даже Пушкин)”.

У Веры Ивановны допытывался тогда: как часто сын бывал на своей малой родине? Там прожито в детстве шесть главных лет, это ведь возраст, в каком открывался мир.

Мать пожалала плечами.

— Все не с руки туда дорога — жизнь так складывалась. — Добавила, что гости из Ивановки навещают ее нередко. — Село большое было, три колхоза. А теперь, говорят, и школу закрыли...

Сейчас Ивановки, считай, нет. Дикоросль опалила кинутые подворья. Лишь в летнюю пору сюда перегоняют на полевой баз скот, да тракторы-комбайны рушат тишину.

*...близ пруда, где ныне омут,
Где, говорят, бывал Толстой,
Родился я —*

скажет Прасолов в поэме “Владыка”. Все верно, за холмом-яром стоял некогда хуторок Ржевск, куда и приезжал в гости к другу Владимиру Чертову великий русский писатель. Ивановку Алексей Тимофеевич не забывал.

— Война, остались одни. Сколько ему, Алеше, лет тогда? — вспоминала Вера Ивановна. — Одиннадцатый год пошел. За хозяина в семье стал. Рос смиренным, послушным. Ваня — тот оторвиголова. Помощником мне Алеша. Брата вынаничил. Учился хорошо. Таисия Ивановна, по русскому языку учительница, в пример его всегда ставила. Меня встретит, обязательно скажет:

— Толковый у тебя сын, Ивановна. Постарайся, чтобы после школы не бросил учебу. Знаю — трудно. Да парень же смысленый...

Много лет спустя школьную учительницу Таисию Ивановну Акимову разыщет ее ученик. Она уже выйдет на пенсию, жить будет в другом селе. Алеша Прасолов привезет ей в подарок свою книгу стихов.

На колхозном поле как-то я разговорился с женщиной-сеяльщицей. Она оказалась не только ровесницей Алексея Тимофеевича, но и в детстве жила с ним по соседству.

— Фронт когда проходил здесь, самолеты часто бомбили дорогу железную, то мост на ней через речку, то аэродром, и на село падали бомбы. Матери нас прятали в погребе. Алеша всегда с собой кота забирал. Игались с ним, нестрашно становилось. Про кота-то Алеша стишок выдумал. Складно вышло. Хлопцам он отчего-то не признавался, что стихи сочиняет. Стеснялся, наверно, вдруг засмеют.

Милого зверя детства не забывал и сам Алексей Тимофеевич. Спустя десятилетия он писал близкому человеку: “Вспомнился далекий год: мне пять лет. Мама на работе весь день, дома — под замком — я и кошка. Дружили здорово. А потом я стал пяти лет ходить в школу. Рядом жила учительница Феоктиста Ивановна (вот запомнилось). Она дала мне букварь и тетрадь. Учеником, конечно, не числился, но со всеми вместе научился читать и писать. Кошка прибежала к школе, делили хлеб”.

“Складные стишки” позже тоже припомнились поэту и легли “лыком в строку”:

*...Первый стих, сливая в голосе
Дерзость, боль и смех,
Покатился эхом — по лесу,
А слезами — в снег.*

— Оккупацию, фронт переживали тяжело. Хатку нашу развалило, — припомнила мать. — Собрались с духом и затеяли строиться. Стены из глиняного самана выложили, крышу камышовую напнули. Получилась не хуже, чем у людей, нас перестоит точно.

С Алешей вдвоем хату ставили. Нароботаемся, думаешь, как к постели бы добраться. А сын за удочку. Попрошу: отдохни лучше. Куда там. Любил рыбу ловить. С пустыми руками с речки не возвращался.

Из-за стройки год учебы пропустил. Семилетку закончил в сорок шестом, а в сорок седьмом в педучилище в Россоши поступил учиться. Читал много, потому и друзей было мало. Стихами начал заниматься, из Москвы книги ему пачками присылали. Вся этажерка была заставлена. Это сейчас – какие раздала, что растащили.

Когда ни глянешь – уже с книжкой сидит. Я ему не перечила, свою дорожку выбрал. – Мать рассказывала, рукой безостановочно и бережно гладила лежавшую на коленях фотографию.

*Ладоней темные морщины –
Как трещины земной коры.
Вот руки, что меня учили
Труду и жизни до поры.
Когда ж ударил час разлуки,
Они – по долгу матерей –
Меня отдали на поруки
Тревожной совести моей.
Вот и – ударил час разлуки.*

– Светился насквозь, – таким Алешу в юношеском возрасте запомнила тетя Ирина.

Дальше – жизнь Прасолова предстает в рассказах близко знавших его людей.

– Послевоенные годы – засухи и голод, голимая нищета. Но время то остается дорогим потому, что молоды мы были, – говорил Леонид Семенович Яковенко. С Прасоловым он сидел на одной учебной скамье. Подружились и оставались верны юношескому братству. Семья Яковенко жила на железнодорожной станции. В хатенке друга Алексея встречали всегда по-родственному тепло. В непогоду тут оставался ночевать. За стол сажали вечерять. Угощали обычной в ту пору едой – спасительницей картошкой да разбавленными хлебной мукой супчиками. Удавалось ребятам порыбачить – лакомством уха, а то и поджаренные караси, окуни, красноперка.

– Науки в педагогическом училище давались, учился хорошо, – вспоминает близкий друг Алексея Леонид Яковенко.

В архивах хранится журнал, на страницах которого выставлены дипломные оценки выпускника: пятнадцать “пятерок” – по русскому языку, литературе, истории, физике и так далее, пять “четверок” и лишь три “тройки” – по алгебре, геометрии, химии.

Очень чтима Алексеем Тимофеевичем преподавательница педагогики Александра Ивановна Просфорнина запомнила первую встречу с учеником. “Гляжу, в библиотеке берет много книг. Когда ушел, я упрекнула библиотекаря: почему выдаете сразу столько книг, другим не хватает. Объясняет: самый аккуратный книголюб. Больше всех читает. Все новинки его. В другой раз вижу его в методкабинете. Листочки в руках. Конспект по практике? Нет. Признался: стихи. Дал прочесть. Содержательные. Я ухватилась за них. А он – вы никому не говорите, засмеют. Убедила его прийти в наш литературный кружок. Там познакомила с Мишей Шевченко, тот тоже писал интересно. Он похвалил Алексея. Так его первые стихи появились в “печати” – в нашем рукописном журнале. Стал Алеша как поэт выступать на вечерах. Читал хорошо – под Маяковского”.

О пристальном интересе Прасолова к творчеству Александра Сергеевича Пушкина в те годы поведал соученик Алексея по педучилищу Михаил Егорович Остапенко:

– Из села на рабочий поезд – к железной дороге – пешком вместе случалось ходить. Одет Алексей был в обычный для той поры наряд – заносенный пиджак на нем. Ростом мал, но не казался замухрышкой. Все знали, что он пишет стихи, этим выделялся. Пушкина, наверное, всего наизусть знал, что ни попроси, прочтет. На выпускном курсе дипломную или курсовую по сказкам Пушкина на “отлично” написал. Преподаватели очень хвалили, говорили – стоит печатать как научный труд.

Нечаянно подтвердил эти воспоминания мой земляк, учившийся у Алексея Тимофеевича в классе Первомайской школы Владимир Иванович Велич-

ко. Встретились у книжного прилавка, в стихах копается, перелистывает сборники, стопку уже отобрал.

— Это меня еще Прасолов к поэзии прирастил, — говорит. — Вечер школьный проводил однажды и поразил — едва не всего “Евгения Онегина” наизусть выдал. Сидели, не шелохнувшись, слушали. Удивило: человек книгу целиком держит в голове!

На квартиру к Прасолову был вхож. Соклассница жила одно время у своей тети Мотри. Нет учителя дома, пересмотрим его книги. Хранил он их в большущем фанерном ящике из-под спичек. Запомнились сочинения Пушкина в красивых обложках, напечатанные еще до революции. Алексей Тимофеевич догадался о незваных гостях в его библиотеке. Не ругался, стал давать книги почитать. Правда, к пушкинским сборникам с “ятями” не допускал.

... Не из тех ли лет у самого Прасолова на лице “свет задумчивости зрелой с порывом юным наравне”, не с той ли поры и ему “море теплое шумит, но сквозь Михайловские вьюги”.

В годы педагогического училищного студенчества Алексей Прасолов принес стихи в редакцию россосанской районной газеты. Редактировал ее Борис Иванович Стукалин, будущий известный государственный деятель — министр печати “всего Советского Союза”. Он-то приободрил и поддержал начинающего автора.

С того времени, видимо, Прасолов всерьез начинает думать о газетной работе. Учителем он пробыл лишь полтора учебных года. В 1953-м возглавлявший уже воронежскую газету “Молодой коммунар” Стукалин подписал приказ о зачислении на должность корректора А. Т. Прасолова.

Так Алексей Тимофеевич приобщился к журналистике.

Каким он приехал в областной город, пришел в молодежную газету, хорошо запомнил писатель Владимир Александрович Корабинов.

— Тогда я работал в “Коммунаре” художником-ретушером. Приходил в редакцию пораньше, готовил снимки, рисунки в очередной номер — пока колгота заполюшная не началась. Собеседником моим в столь ранний час всегда был Алеша Прасолов, являлся он на работу тоже спозаранку. (Корабинову не жаловался, как трудно привывкал к городу. Изливал душу в письме другу: “Помнишь, шли мы с речки, а у дороги девочки-подростки пели — ладно, голо-систо... Здесь этого не услышишь. Тут и птиц почти нет. Вместо них звенят деньги, свистки на перекрестках... В городе отдохнуть, а жить устанешь. Погляжу — даль, синяя-синяя... Пойти бы по нашей земле, а потом сложить песню, чтобы жизни была под стать”.

— Тихий Алеша, незлобивый, держался от шумных компаний на отдалении. Сельский пастушок — и только.

В утренних беседах сошлись поближе. Стал он откровеннее, стал не таким скрытным. Почувствовалось — начитанный, знающий паренек, уже имеет свой твердый взгляд на литературу, на жизнь.

Так повелось частенько: я рисую, он читает стихи.

Потянуло их друг к другу с Васей Песковым, тот фотокорреспондентом был.

Поступил учиться в вечерний университет на исторический факультет. Хорошо началась учеба, отмечали его способности. Вдруг оставил науки. Объяснил так: то, что на лекциях читают, — чаще знакомо, то, что необходимо — сам постигну.

Мне его слова не показались хвастливыми, нисколько не сомневался в способностях Алексея к самостоятельной, серьезной работе.

Неплохо все вроде складывалось в его жизни.

Да, помню, прибежали раз ребята в комнату с известием: Алеша пьян. Не поверил. Все мы не святыми были, грешили. Но Алеша же всегда был в стороне от таких дел. Тихий, повторяю, что пастушонок.

Ребята не обманули. Случаться такое с Алексеем стало все чаще и чаще. И он как человек изменился...

В те годы за пишущей машинкой редакции служила Анна Слюсарева. Под крышей коммунальной квартиры ее соседями были тоже сотрудники “Молодого коммунара” Прасолов и Касаткин. Павел Ефимович — постарше возрастом, фронтовик, писал стихи. Одна беда: уже маститый литератор любил “застольно-хмельной поэтический обычай”. В этой богемной обстановке Алексея по настоящему искусил “зеленый змий”, утверждала Анна Ивановна, тут он болезненно прирастился к вину. “На моих глазах это было”.

Владимир Александрович Кораблинов не припомнил, но, очевидно, эта беда вынудила Прасолова уйти из молодежной газеты, покинуть Воронеж. Было это в конце августа 1955 года.

В душу недавнего сельского парня уже тогда вселялась тоска-кручина.

*В вагоне ночью ехал я
И равнодушно усмехался:
Вагон был пуст, как жизнь моя,
И — к остановке приближался.*

Переехал он на жительство к родному дому поближе. Работать начал корректором, а затем литературным сотрудником, заведующим сельскохозяйственным отделом районной газеты в Россоши. Опять-таки неплохо все складывалось. “За участие в выпуске городской сатирической газеты награжден Почетной грамотой обкома комсомола”, — не без приятного чувства писал он эти строки в послужном списке. Приглашали его на областное совещание молодых литераторов. Столичные известные поэты, а среди них были Владимир Солоухин, Николай Старшинов и Юлия Друнина, устно и печатно отметили серьезные творческие искания Алексея Прасолова, как и его поэтических сверстников. Стихи росошанского газетчика публиковались тогда не только в своей районной, но и в областных, даже центральных газетах, в коллективных поэтических сборниках. Начал он печатать и первые рассказы. Писал он и “нечто вроде повести”.

Давать отлеживаться готовой рукописи не стремился. “Еще: представь себе, — беседовал он в письме по этому поводу с другом Михаилом Шевченко, — что ты идешь против морозного ветра; чем глубже ты прячешься в воротник, тем сильнее жжет лицо; а стоит тебе поднять голову и обветриться, как ты уже не чувствуешь прежнего холода. Так и печатание стихов: чем дольше прячешь их, тем страшнее за них, тем ты неувереннее. Печатайся и не своди глаз с той вершины, к которой стремишься”.

В тогдашней литературной среде не чувствовал себя робким провинциалом. “На областное совещание творческой молодежи я опоздал. Зашел в зал, там в разгаре “вечер одного стихотворения”, — припомнилось Михаилу Федоровичу Тимошечкину. — Прочитал и я свое. Подходит ко мне парень, как к старому знакомому. Подает руку: “Прасолов”. Явились с ним на обсуждение стихов, а здесь свободных мест нет. Поделили стул на двоих. Сосед мой за словом в карман не лезет, сразу выкладывает свое мнение об услышанном. Я тоже не стал отмалчиваться. Как соревнуемся: кто из нас поострее оценит выступление критика. Вольно кидаем реплики — удачные, одна хлеще другой. Смеемся и подталкиваем друг друга. Потом Алексея попросил прочесть стихи Солоухин”.

В семейной жизни намечалось житейское спокойствие. Кончились одиночные скитания по углам. Правда, невесту встретил скоропалительно: ехал в поезде, глянулась попутчица — Нина Илларионовна Лукьянова. Моложе жениха на четыре года. Выпускница финансового техникума, по распределению была направлена на работу из Астраханской области в Воронежскую. Предложил ей руку и сердце. Во время регистрации брака “бросили даже жребий, на чью фамилию нам писаться”. Выпало — Прасоловы. Крутые перемены позже объяснит так: “когда устают искать — женятся”. Получили квартиру. Жена работала бухгалтером, старшим экономистом в Россошанском райфинотделе. Вскоре, 21 октября 1957 года, родился сын — Сережа. “Мы с женой в начале нашей жизни. Еще не до конца стерта живая, молодая непосредственность в отношениях. Нам очень некогда: пришли с работы, бежим к реке сажать огород. Делаем это при свете луны. Кругом никого, только речка журчит. Смотришь, как девчонка (совсем недавняя) бросает в лунки картофелины, отводит от лица спадающие волосы. Мне она очень близка. Я ей тоже. Идем в полночь усталые, но чем-то очень сближенные”.

... В годы газетной работы Прасолов не отказывается вести литературные кружки, наставляя начинающих авторов. Одним из них был сельский учитель из Новопостояловки Виктор Васильевич Беликов.

— Познакомился я с Прасоловым в 1959 году. После техникума и первой осечки с университетом в ту пору слонялся по родным лесам, много читал и кое-что писал, слабо, но осмысленно. Где-то в декабре накропал нечто пат-

риотическое и новогоднее и, зажмурив глаза, отослал в районную газету... Прошло какое-то время, директор нашей семилетки передает: "Тобой заинтересовался Алеша Прасолов. Говорит, что хотел бы познакомиться. Что-то в твоих стихах ему понравилось". Можно себе представить, как я взволновался, как долго оттягивал встречу. Будучи в Россоши, набрался храбрости и зашел в редакцию, спросил Прасолова у невысокого лысеющего парня с колючим, пронзительным взглядом.

"Я Прасолов. Что ты хотел?"

Представился ему. Думаю, что мы оба друг друга разочаровали. "Ну же-ли этот неказистый заморыш и есть Прасолов? А я-то думал..." Полагаю, примерно так же мог подумать и он обо мне, если вообще я его интересовал. Во всяком случае, разбирая мои стихи, он задал мне такую трепку, не оставил от них и строчки путной. Возражать не стал, лишь слабо и раздраженно защищался.

"Впрочем, у тебя что-то есть, греет лирическая интонация, есть неплохие образы. Но все пока сыро, много словесного мусора. Кое-что отберу в печать".

Вылетел я из редакции злой и разочарованный. Приласкал. Подумаешь, классик! Хотя в глубине души и понимал, что он прав, что стихи слабые, стихотворец из меня пока что никакой. И захотелось вдруг доказать, что я что-то могу. Эта злость пошла на пользу. Как и последующие неллицеприятные разборки. Именно они дали понять, что поэзия — не игра в бирюльки, а тяжкий, хотя и радостный труд.

Так совпало, что в тот же день по совету Прасолова купил тоненькую книжицу стихов "Никитины камня" Владимира Гордейчева и по дороге домой, в санях закутавшись в тулуп, глотал строку за строкой. Стихи меня потрясли. Пока я доехал домой, досада на Прасолова, на его разнос совсем растаяла. "Вот как надо писать, а ты принес детский лепет и еще на что-то рассчитываешь", — примерно так думал я. И окончательно решил: учиться пойду на филологический факультет, ибо знаний имею маловато, чтобы всерьез заниматься литературой.

Уже в шестидесятых по рекомендации Прасолова меня пригласили на литературные встречи в Россоши — в педучилище, на железной дороге. Встречи прошли хорошо, стихи наши публика принимала доброжелательно. И в первую очередь тепло аплодировали Прасолову. А вот, так сказать, под занавес в клубе маслозавода контакта со слушателями Алексей Тимофеевич не нашел. Нам, начинающим, внимали благосклонно, а прасоловские стихи "не пошли". Всем бросилось в глаза, что автор "на взводе", это просто обидело людей. Алексей Тимофеевич нашел выход, как исправиться, заявил: "Слушайте Маяковского!" И выдал "Во весь голос". Да как выдал! Читать со сцены он умел.

— Что поражало меня в Прасолове, — говорил директор библиотеки техникума мясной и молочной промышленности Георгий Степанович Тарасенко, долгое время близкий к поэту, — что просто удивляло — так это воловья сила в работе над стихами при любых жизненных обстоятельствах.

Как-то после очередных передыжек пришлось ему из газеты временно уйти на кирпичный завод грузчиком. Представляете, что это за дело: работать не в горячей — в горящей печи. Он так об этом рассказывал: "Заскакиваешь в печное нутро — лицо закрываешь; назад толкаешь вагонетку — телогрейка на спине горит!" Да другой сто раз бросил бы стихи и забыл бы о них думать. Только не Прасолов. Измотанный тяжелым трудом, по вечерам заходил ко мне в гости и с порога читал на пробу новые варианты стиха. Читал строки, какие вынашивал день и ночь. В подтверждение напомним:

*Ведь кирпич,
Обжигаемый в адском огне, —
Это очень нелегкое, древнее дело.
И не этим ли пламенем прокалены
На Руси —
Ради прочности зодческой славы —
И зубчатая вечность
Кремлевской стены,
И Василия Блаженного
Храм многоглавый?*

А еще поддержка Твардовского очень многое значила. Александр Трифонович как благословил его в поэзию. Патриарх в литературе. Прасолов прямо окрыленным вернулся из Москвы. Не ходил, а летал...

Думая о человеческих способностях, Лев Николаевич Толстой записал: “Все дело в мыслях. Мысль – начало всего. И мыслями можно управлять. И потому главное дело совершенствования – работать над мыслями”.

Поэт Алексей Прасолов над творческой мыслью работал всю жизнь. Убедительные свидетельства тому не только стихи, но и его письма, напечатанные ныне в различных изданиях. По ним можно проследить и попытаться понять, как шло становление поэта.

“Стану сливать воедино мысль, чувство, дыхание, цвет и запахи мира”.

“Чувствую тягу к чему-то не отрешенному от людей (а эта “отрешенность мыслителя” заметна во многих написанных стихах)”.

Мучительно он размышлял о времени, в каком выпало жить. “...Заря у человека и у эпохи бывает однажды. Зажженная великим разумом, она со смертью зажегшего утеряла внутреннее движущее начало; массовое же движение велико только при централизованном внутреннем источнике движения, – этим источником был Ленин, потом – без оговорок – Сталин: своеобразнейший комплекс силы духа, мысли, воли, жестокости – все вместе на почве разумной беспощадной идейности.

А теперь – свобода от сознания долга (разве что кроме формального) и животная движущая жажда: настрадались – так теперь пожить! И – кто во что горазд!

Ты – во что горазд? Ах, ищешь истину в творчестве и творческую силу в истине? благородно, молодой человек, но – не материально. Духовное же – не для сегодняшнего рынка”.

Схоже обостренно думал он о предназначении творческого труда. “Слово звучит как-то свято, когда ты его шепчешь, придаешь произношению, значению его живую интонацию, когда оно не литературное произведение, а твоя внутренняя речь. И, легшее на бумагу, оно сначала греет душу, а потом, словно положенное на снег, остывает и не греет тебя. Что с нами делается – мы убываем, стынем час от часу, и наше – так же умирает на глазах!”

*Еще мой день под веками горит,
Еще дневное солнце говорит,
Бессонное ворочается слово —
И не дано на свете мне иного.*

Внутреннее, глубинное, сокровенное в душе человека, твоего современника, – оно и твое. Наше. Этим была сильна изначально и поныне отечественная словесность, в которой есть и Алексей Прасолов.

11

Его планида в чем-то схожа с судьбой широко известного теперь его современника – поэта Николая Рубцова. Я чувствовал: не могли они ревностно не следить друг за другом пусть по редким, но весомым стихотворным публикациям в столичных изданиях. Сыскалось-таки этому подтверждение. О примечательном разговоре с Николаем Рубцовым рассказал учившийся с ним в Литературном институте сокурсник.

– У вас в Воронеже живет Алексей Прасолов. Знаком с ним? – спросил Рубцов.

Собеседник ответил утвердительно, но с явным безразличием – мол, мало ли кто проживает в большом городе, пускай даже из пишущей братии... Рубцов почувствовал это, вспылил:

– Дурак! Алексей Прасолов – поэт! А вы этого не видите...

12

Человек жив, пока жива память о нем. А потому – случись вам быть в Воронеже на главной его улице, на проспекте Революции, против почтамта, остановитесь у старого особняка, в каком сейчас размещается казначейство. На боковой стене дома бросится в глаза небольшой серокаменный свиток.

На нем высечено, что здесь в пятидесятые годы в редакции газеты “Молодой коммунары” работал поэт Алексей Тимофеевич Прасолов.

Доска, конечно, скромная, куда как уступает близкой к ней (на улице Энгельса) мраморной глыбе в память об Осипе Мандельштаме. Но и мал золотник – дорог, он подтверждает, что земля Воронежа не только приняла в себя прах поэта, город взял Прасолова в духовные спутники.

Еще раньше мемориальная доска открыта на здании Россошанского педагогического училища. В музейной комнате есть уголок Прасолова. Все по справедливости: годы его учебы здесь, многотрудные, послевоенные, были, наверное, самыми светлыми в его жизни.

На открытии звучали добрые слова о поэте. Будь так, что вдруг Алексей Тимофеевич услышал эти речи, обязательно иронично съязвил бы о себе: побронзовел...

Впрочем, иначе и не должно: уходит прочь суетное, остается нетленное.

13

Незадолго до кончины Прасолов как бы подытожил свой трудовой путь в письме к Василию Белокрылову: “Я с 1951 года не сидел долго в одном месте. Двадцать три рабочих места (или больше, черт знает), два захода в обстановку, где вывернуто в жизни и в человеке, и полная, порой тягостная одиночеством свобода, то есть прежде всего – в личном порядке – надежда на самого себя и даже ненужность твоя кому-то – тоже в личном порядке”.

Алексей Тимофеевич мог сказать о себе строкой популярной в те годы песни: “И носило меня, как осенний листок...” За два, без малого, десятка лет – двадцать три записи в трудовой книжке. Перекашивало и семейную жизнь. О таких срывах в народе обычно говорят так:

– Пока трезвый – душа-человек, а как выпьет – не приведи Господи...

Да, принимался лечиться – не помогало. Шел даже на самые крайние меры по отношению к себе, на какие смог бы решиться не всякий человек. Его горькая исповедь об этом сохранилась в письме давнему и близкому приятелю Ивану Ильичу Моргунову. Личность тоже одаренная от природы. Тем памятным мне летом шестьдесят седьмого в редакционную комнату к Прасолову залетал скорый на ногу, быстрый в разговоре человек, внешне схожий с Алексеем Тимофеевичем: невысок, сухотел. Постарше возрастом – участник войны. Называл он себя “секретаршей-машинисткой киносети”. Ведущий актер в народном театре. Был способнейшим радиокорреспондентом, но однажды лишился микрофона – пьяным напросился брать интервью у первого секретаря обкома. Моргунов в ту пору стал абсолютным трезвенником. С Прасоловым их особенно связывала рыбацкая страсть. Подолгу говорили о рыбалке.

После искренне печалился, горевал Иван Ильич, узнав, что его друг наложил на себя руки. К тому времени мы с ним работали вместе в районке. Однажды Моргунов принес письмо, дал прочесть. “Оно вроде очень личное, но знать его не грех. Виднее станет Прасолов”.

Писал Алексей Тимофеевич в Россошь из-под Воронежа, но – из-за колючей проволоки “п/я ОЖ” в Кривоборье.

“Добрый день, Ваня!

Хотел бы я, чтобы ты прочел мое, быть может, неожиданное и нежелательное письмо втихомолку. Не потому что я пишу о каких-то недобрых делах, а просто по той причине, что не люблю чувствовать за плечом постороннее ухо.

Девять месяцев я нахожусь в той обстановке, о которой не раз думал прежде. Думал не оттого, что она приятна, а потому что она мне в последнее время была необходима. Я уехал из Россоши с этой мыслью: ведь мне неохота было изолироваться на время от вольной жизни, которую я порядочно испортил, на глазах родных и знакомых. Это я решил сделать после того, как подуправился с некоторыми личными делами и на стороне, где меня могли знать как приезжего. Я проработал ровно столько, сколько задумал, чтобы успеть получить гонорар за поэму. Получил, купил костюм и сам себе сказал: теперь пора. Ведь рано или поздно я окончательно бы спился. Мне нужно было горькое, но необходимое лекарство – изоляция на год, на два, чтобы окончательно очиститься от заразы, которая меня все больше захватывала на воле. Другого выхода, кроме конца где-нибудь под тыном, у меня не было.

И вот я девять месяцев не знаю, что такое водка и баба. Я никогда за последние годы не чувствовал себя так облегченно и спокойно. И знаешь, у меня сейчас такое отвращение к прежней полутрезвой жизни, что я не верю порой: неужели это со мной было?

А напиться здесь просто. Я работаю завклубом, за зону выхожу, когда мне нужно, конвоя в нашем лагере нет, люди работают на стройке рядом, а часто и вместе с вольными, так что возможность богатая. Было бы желание. А желания-то у меня теперь уже абсолютно нет. Я сейчас много читаю и думаю. А думая, продолжаю писать. Есть уже пять рассказов, блокнот стихов и несколько глав повести в прозе. Я готовлюсь к новой жизни – и с трезвой головой. Здесь я на хорошем счету: являюсь секретарем совета коллектива отряда, где разбираем и выносим приговоры за нарушение режима, редактором стенгазеты, культургом. Недавно ездил делегатом в другой лагерь возле Рамони. Красота у них! У многих таких условий дома не было и не будет. Но у них режим строже. У нас – слабый, а у них общий. Встретил многих из Россоши. А. Колиух в Воронеже, в лагере, который зовут “двадцаткой”. Оттуда тоже были делегаты – люди солидные: инженеры, большие руководители. Освобожусь я в мае того года по половине срока. Как раз намеченное доделаю и выйду не с пустыми руками. Переписываюсь с Воронежем, Тамбовом и Белгородом. Недавно отослал новую поэму.

Жизнь у нас очень похожа на армейскую, но солдатам труднее – у них ученье, а у нас – работа и после свободное время. Есть кино, телевизор, который у меня в клубе, всяческие мероприятия – спортивные соревнования, шахматные турниры и т. д. У нас народ неиспорченный, блатных нет. Сроки – от шести месяцев до трех лет. Начальник по политико-воспитательной работе – майор, хорошо знающий меня по Воронежу. Он сам газетчик. Страшно похож на Грачева, только зовут Ив. Григ. Драчев!

В Россошь я не вернусь. Не знаю, как там моя бывшая половина существует. Я с ней порвал всяческую связь и написал только об одном: пусть берет развод, срок у меня дает ей право на быстрый и бесплатный развод. Но она почему-то не берет. Надеется? Так это пустая надежда. Отрезанный ломот не приставишь. Серезу, Ваня, мне очень больно терять. Какой он там теперь?.. Ты его не видел в последнее время? Не от той я родил его, от какой надо бы.

Ваня, напиши мне о жизни, работе, рыбной ловле. О, я часто вижу себя на рыбалке! Но – во сне. Здесь рядом Дон, но рыбы мало, кругом мель, я пешком переходил весь Дон, на середине – по горло. Ну да это впереди все. Я, наверное, как выйду, так рыбалить уж буду на реке Воронеж, где и был до приезда в Россошь.

Итак, до свиданья. Жму писучую руку и желаю добра. Пиши подробно обо всем. Не то обижусь. А зеки (заключенные) страшны в обиде! То-то! Будь здоров, Ваня.

Пиши сразу, ладно?”

“Я готовлюсь к новой жизни – и с трезвой головой...” – вначале так и вышло. Все-таки возвратился Алексей Тимофеевич в Россошь, в свою семью. “Троепольский меня попросил похлопотать о трудоустройстве Прасолова, – припомнил Михаил Тимошечкин, работавший тогда собственным корреспондентом областной газеты “Коммуна”. – Я занес книжечку стихов Алексея первому секретарю райкома партии Крымову. Рассказал о судьбе автора. Михаил Иванович согласился: помочь человеку надо.

Однажды ходили с Прасоловым в заречное село, разговорами коротали дорогу. На обратном пути зашли к Алексею домой. Уток загоняли в стайку. Жена приветливо встречала. Сын рядом. Семейная идиллия”.

Задуманное – с трезвой головой – в очередной раз не исполнилось. Не сумел, не смог...

АЛЕКСАНДРА БАЖЕНОВА

ПОИСК ЕДИНСТВА СЛАВЯН, ЕДИНСТВА РУССКИХ КОРНЕЙ

К 80-летию со дня рождения О. Н. Трубачева

Лингвистическая наука нам, писателям, гораздо ближе, чем кажется. Это постоянно доказывал своими трудами выдающийся русский ученый академик-славист Олег Николаевич Трубачев (1930–2002), которому в 2010-м исполнилось бы 80 лет. Такого ученого – филолога, лингвиста, языковеда, специалиста по этимологии, этногенезу, ономастике, лингвистической географии славянских языков не знала еще русская земля. Если он вел международную конференцию в Праге – то на чешском, в Варшаве – на польском, в Белграде – на сербском, в Киеве – на украинском и т. д. Все 15 славянских языков, которые для нас, будучи весьма привлекательными, являются все же во многом загадкой, – для него оказывались интереснейшим материалом, с ним он работал с наслаждением и большой профессиональной ответственностью. Кроме того, он знал немецкий, английский, эстонский, финский, древнегреческий, латынь и проч. В результате получилось около 30 прижизненных томов “Этимологического словаря славянских языков. Праславянский лексический фонд” (издание продолжается) под его редакцией, за что он был удостоен золотой медали им. В. И. Даля (Россия) и золотой медали им. П. И. Шафарика (Словакия).

О. Н. Трубачев был выдающимся русским филологом-славистом мирового уровня, непререкаемым авторитетом, специалистом в области славянской этимологии, этнической истории (этногенеза) славян. И здесь некого поставить рядом с ним. Он был председателем Национального комитета славистов России, заведовал отделом этимологии и ономастики в Институте русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук, был главным редактором журнала “Вопросы языкознания”, членом-корреспондентом нескольких европейских академий наук, автором более 400 публикаций на разных языках, в том числе восьми монографий.

Самая заветная мысль владела О. Н. Трубачевым, когда он создавал разнообразные свои труды, и, особенно, книгу “В поисках единства”, – поиск доказательств **единства** славян (“О единстве всех славян, дорогом нашему сердцу, мы еще скажем...”). В этой книге он с горечью писал: “В наше время, столь характерное острыми дефицитами, **дефицит единства**, возможно,

один из самых острых”. Все три выпуска книги “В поисках единства” состоят в основном из выступлений академика на праздниках славянской письменности и культуры в Новгороде, Киеве, Минске, Смоленске, Симферополе, Ялте, Москве, Рязани и других городах. В предисловии он специально отмечал: “... Нанизывались факты ближние и дальние, объединенные радующим меня чувством, что у меня есть что сказать нового по каждому из этих фактов языка и истории славянского племени... Было ясно — уже с первых шагов, что я буду говорить о **единстве**, важном для всех нас, единстве, угрожаемом и перевираемом и подчас задрапированном в ученую пелену, плохо проницаемую для глаза. Мне действительно очень хотелось при этом показать внутреннюю связь вещей, сложных в научном отношении и нередко отдаленных от сего дня немалым временем, и того, что может представлять и сейчас повседневный интерес... То единство, которое мы имеем в виду, разумеется, не допускает простодушного понимания... Единство в сложности, единство более высокого порядка, которое не может быть мертвым единством монолита, но только единством живого целого, состоящего из множества частей... Это единство сейчас приходится доказывать...”.

Доказательными в этом смысле являются все статьи книги, полные новизны материала и смелых идей. Например, Олег Николаевич, имея в виду споры о времени появления Руси, обращал внимание на “путаницу” в упоминаниях Руси в европейских и мировых письменных источниках. Пример: некий русский князь привел свои войска к стенам столицы Византии... когда Киев еще не образовался. Противоречие?! — Да!.. Если говорить о Киевской Руси. Олег Николаевич в своей книге впервые говорил, что фактически в I тысячелетии н. э. было **три Руси**. Русь Киевская, Русь Новгородская (словене) и Русь Таврическая. Тавро-русы, Азово-Черноморская Русь, Киммерийский Боспор скифов, “Корсуньская Русь”, амазонки южного Дона, меоты — по Трубачеву, конгломерат индоариев, “первоначально неиранская Таврика, подвергшаяся иранизации [аланизации] лишь вторично”... Точно так же, вторично, на глазах истории, было иранизировано [сарматизировано] Восточное Приазовье”, — писал Трубачев в главе “К истокам Руси”. Весь этот конгломерат племен впоследствии русифицировался и стал прозываться “Русью”. Хотя какая-то часть племен изначальной архаической Руси входила в конгломерат и тогда, но тогда этноним “Русь” был неустойчив, русских иностранцы могли называть и тавро-русами, и тавро-скифами, и скифами, и роксоланами (русскими аланами), и русией.

В доказательство существования трех частей Руси, извне воспринимавшихся как разные страны, Трубачев приводил предания средневековых арабских географов о трех племенах Руси: Куйаба (Киев), Слава (Славия), Артаня (Арта, Арсания, Арса), где явно проглядываются наши: Киев, Словенск (первоначальный город, на месте которого появился Новгород — новый город), южная индоарийская Русь (на санскрите “рта”, “рита”, а по-древнерусски “ротá”; так же и в европейских языках, откуда известно всем “ратификация” — утверждение-подтверждение договорности, договора), по-авестийски “арта” — закон, порядок, гармония; от этого корня в русском языке осталось слово “артачиться” — то есть противиться принятому справедливому порядку, поступать своевольно, по-своему. Олег Николаевич писал: “Наш острый интерес вызывает упомянутая проблема ранних датировок имени Русь. Дело в том, что его датировка имеет неуклонную тенденцию к удревнению именно на юге”. Поэтому неудивительно, что историки Киевской Руси недоумевали: откуда иностранные упоминания Руси в те времена, когда Киева еще не было? Упоминалась в начале I тысячелетия Русь Азово-Черноморская.

Третье издание (“Наука”, 2005) отличается от двух первых. В него включены две новые главы: “Из истории языка древней и новой Руси”, “Славяне и Европа”. В последней статье Олег Николаевич с выстраданной болью писал: “... Постоянно я имею дело с многочисленной тенденцией — вытолкнуть славян из Европы”. В своих трудах Трубачев подспудно вынашивал идею поиска единых корней славянских — того золотого времени, когда роды наших пращуров были вместе, жили бок о бок друг с другом. Наличие единого самоназвания лучше самых изощренных текстов говорит о существовании единого этнического самосознания. Ничего подобного нет ни у древних германцев, ни у древних балтов. В книге “Этногенез и культура древних славян” (как и в дру-

гих) главное, что волновало академика: КОГДА возникла славяно-русская или праславянская этнокультурная и языковая общность? И – ГДЕ она возникла?

В этой области за века накопилось немало работ и гипотез. О. Н. Трубачев, углубляясь в лингвистические исследования, пришел к выводу: хотя понятие “славяне” (“склавины”) употреблялось с VI века, – этническая праславянская общность возникла намного раньше. Ни археология, ни письменность, ни свидетельства древних историков не дают столько возможностей для выявления древности народа, как реконструкция праславянского языка и древних языковых связей. Реконструируя и сопоставляя языковые ареалы древних балто-днепровских и причерноморских народов, О. Н. Трубачев в предположении времени возникновения праславянского языка доходил до III тысячелетия до н. э. (и это не предел, наука движется и будет двигаться дальше). А о прародине славян писал: “Отсутствие памяти о приходе славян может служить одним из указаний на извечность обитания их и их предков в Центрально-Восточной Европе и широких пределах”. Вывод таков: **наши пращуры имели один из древнейших и богатейших языков и всегда жили на тех территориях, которые занимают ныне.**

Академик Трубачев разбил в прах не столь уж древнюю, но живучую норманнскую теорию. Оказывается, Новгородская Русь, куда были призваны русские варяги, потомки новгородского князя Гостомысла по материнской линии – Рюрик, Синеус и Трувор, – Русью стала называться примерно в VIII веке, до этого местные жители звались “словене”. Древнейшая Русь еще лежит под руинами раскопок и лишь слегка показывает из-под многих культурных слоев свои старые корни. Это Русь Азово-Причерноморская (Тамань – Тмутаракан – Киммерийский Боспор, то есть Керченский пролив), Крым. По Трубачеву, это земля “древнерусского единства”. Отсюда расселились на запад и север – в Киевскую, славянскую Русь, северную Русь, отсюда – сербы, хорваты, другие славяне. В VI веке Прокопий Кесарийский писал о бесчисленных племенах антов к северу от Меотского озера (Азовское побережье). Анты – прарусы, буквально “окраинные” европейцы. В III веке одна боспорская надпись упоминает некоего боспорянина: “Ант, сын Папия”. Это так называемая салтовская культура.

Двадцатилетние поиски О. Н. Трубачева помогли выявить индоевропейскую принадлежность языка синдо-меотов (“синды” это варианты этнонимов “инды”, “винды”, “венды”, “венеды”; а венеды – славяне. Меоты – географическая привязка: живущие на меотском, Азовском побережье) Боспорско-го царства и Восточного Приазовья, тавров Крыма, населения низовьев Днепра и Южного Буга. Но эта прародина, заселявшаяся прапредками русских, славян и арьев с V тысячелетия до н. э., в I–II тысячелетиях н. э. постоянно отчуждалась то иранскими, то греческими, то тюркскими народами, превращавшими в итоге военных разборок землю в пустыню, или в пустую степь. Уже в XII веке в “Слове о полку Игореве” она получила горькое прозвание “земля незнаема”, “поле незнаеме”.

О. Н. Трубачев выводит из неславянского (еще) ареала (русского) славянские этнонимы сербов и хорватов. Таким образом, по Трубачеву, получается: не русские, как традиционно принято считать, являются славянами (восточными), а славяне (во всяком случае, значительная часть) вышли из Приазовско-Причерноморско-Крымской Руси. Об этом сведения скудны, но пополняются языковыми реконструкциями, топонимикой, новейшими археологическими работками.

Академик Трубачев, хотя известен в Европе и за ее пределами, по достоинству еще не оценен современниками, особенно на родине своей, в России. Он один из тех людей, чьи идеи, исследования не устаревают, а, наоборот, поражают воображение своей смелостью и доказательной уверенностью: по мере доступа к ним пытливого народа их ценность будет расти – шириться и углубляться. Его труды неисчерпаемы зернами вложенных в них познаний. Вдова академика Галина Александровна Богатова говорит: “В поисках единства” – лучшее, что у нас есть из научно-популярных книг в области истории славян, этногенеза, истории русского языка”. Блестящие публицистические статьи О. Н. Трубачева дают нам новые представления о древнейшей истории славян, а значит, о нас самих. Статья академика О. Н. Трубачева “Русский – российский. История, динамика, идеология двух атрибутов нации” из книги “В поисках единства” как никогда актуальна именно сейчас.

РУССКИЙ — РОССИЙСКИЙ

ИСТОРИЯ, ДИНАМИКА, ИДЕОЛОГИЯ ДВУХ АТТРИБУТОВ НАЦИИ*

... Когда меня попросили выступить на эту тему, мне вспомнились прочитанные несколько лет назад в одном толстом журнале (помнится, это был “Новый мир”) посмертные записки одного литератора, вновь ставшего популярным после 1985 г. (помнится, это был Даниил Хармс). Там были, в частности, рассуждения, для меня, лингвиста, досужие и даже невежественные. Может быть, не стоило бы и вспоминать, но я все-таки позволю себе это. Суть рассуждений касалась популярного и сейчас вопроса о “странности” русских: “странным” тому литератору показалось то, что они именуются не существительным, как якобы нормально для других народов (*англичанин, немец, француз*), а — прилагательным: *русские*. Однако, имея он чуть больше знаний или просто внимания к небрежно затронутому им вопросу, то писатель, думаю, согласился бы, что дело обстоит иначе. Названия (самоназвания) наций, народов вообще, как правило, адъективны: все эти *Espanol, Italiano, Francais, Deutsch, American, Magyar, Suomalainen* — прилагательные, а значит, они типологически однородны с нашим самоназванием *русский, русские*, а не отличаются от него, и эту черту, кажется, тоже имеет смысл удерживать в памяти вместо того, чтобы соблазняться известным понаслышке.

Наше выступление прямо связано с национально-языковой атрибутикой, которой предстоит заняться. Специфика “русского” случая, к сожалению, не исчерпывается отмеченной простой ситуацией, но, напротив, предъявляет нам свои сложности, суть которых — употребление синонимов. Другие примеры национально-языковой атрибутики в смысле синонимии, конечно, тоже известны, достаточно назвать *hrvatski ili srpski jezik, испанский или кастильский*, с их известной неустойчивостью. Русская специфика на этом фоне сохраняет свое своеобразие, со своими, подчас неправильно толкуемыми и понимаемыми, тенденциями.

Собственно говоря, вначале все было относительно просто. От главного этнонима *Русь, русь*, более глубокой этимологией которого мы занимаемся в других местах¹, очень рано было образовано этническое определение *русский, русьский* с неограниченным полем употребления. Это прежде всего обозначение страны — весьма устойчивое название *Русьская земля*, ср.: **Похвалимъ же и мы... великааго кагана нашеѣ землѣ Володимѣра, внука старааго Игоря, сына же славьнааго Сватослава,... не в худѣ бо и невѣдомѣ земли владычествоваша, нѣ въ Русьцѣ, ꙗже вѣдома естъ вѣсьми чѣтырьми коньцы землѣ**². И так теоретически — с X века и более ранних веков, ср. **по всен земли Русьстѣи** (Церк. устав. Влад. 12. XIII—XV вв. Картотека Древнерусского словаря, далее — КДРС, из которой почерпнуты в большинстве своем наши сведения, особенно ценные для нас ввиду невключения этнонимов в существующие древнерусские словари). Примеры показывают универсальность употребления слова *русский* от св. кн. Владимира практически до Петра I: **руськіе товары, рускіе города, по орѣху рускому величиной, с верстѣ рускую, замок русский, желѣзный, в руских странах, русское двойное вино, рускіе люди, русской лес: сосна, ель, вереза, дуб, вяз, ясень, рябина, липа, ивняг; князи рустни, рускіе серебряные деньги, мит-**

* Из кн.: В поисках единства. М., Наука, 2005.

рополитѣ рꙋсьскыи, кобылка рыжа рꙋская, рꙋсская телега, Рꙋсскїи Переяславль (не уточняя датировок, отмечу лишь, что большинство данных КДРС принадлежат к XII веку и другим поздним векам). С этими данными согласны и показания других источников, например, “Памятников южновеликорусского наречия (отказные книги)”, изданных С. И. Котковым и Н. С. Котковой (М., 1977. Passim): **рꙋскихъ воровъ, съ рꙋской стороны, на рꙋской сторонѣ**. Показательна возможность употребления русский на самом высоком политическом уровне: **Слово о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, князя рꙋскаго** (90-е гг. XIV в.)³. В духе упомянутой универсальности словоупотребления русский могло обозначать и то, что мы сейчас назвали бы церковнославянским переводом грамматики начала XVI в.⁴, и явно просторечный, живой “русской природной язык” протопопа Аввакума.

Все шло к тому, чтобы и последующим нашим векам передать это широкое и незамутненное словоупотребление русский наших более ранних столетий, ср.: М. Д. Чулков “Абевега русских суерий”, В. А. Левшин “Русские сказки” – из предпушкинской эпохи, склонности языка народного бытописания Г. Р. Державина, не говоря о языковых предпочтениях самого Пушкина, к чему обратимся специально позже.

Здесь время взглянуть на языковую сторону **вхождения Руси в Европу**, ее, так сказать, **европейской интеграции**, на терминологию этого феномена, который, при обнаруженном к нему интересе, не получил окончательной характеристики. Для прототипов европейского названия нашей страны вполне подходили уже известные *Русская земля*, Русь, активно, кстати, употреблявшиеся еще в первой нашей рукописной газете “Вести-куранты” (XVII в.). Ничто не мешало, например, тем же голландцам, перенявшим у нас приблизительно тогда же название забытой Богом *Новой земли* – *Nowaja Zembla*, перенять и наше главное самоназвание *Русская земля*. Правда, тогда предпочли, по-видимому, перевод, каковым и явилось немецкое *Rußland*, собственно, *Русская земля*, и его варианты. Но другой, древнейший вариант нашего самоназвания – *Русь* – очень рано получил в Центральной Европе удобное осмысление как плюраль *Russi, Ruzzi* (так у анонимного баварского географа IX в.), совершенно в духе распространенных тогда же и там же других этнических плюралей. Перспектива у этих этнических плюралей была одна – превращение в названия стран на *-ia* книжно-письменной, преимущественно латинской традиции средневековой Европы. Оттуда ведет свое начало название нашей страны в форме *Russia*, ограниченно проникшее и в нашу письменность: **гедюрю црю I великомꙋ кнзю Мнꙋханꙋ Фѣдоровичꙋ всеа Рꙋсини...** (1626)⁶. Можно сказать, что значительная часть европейских стран сохранила такую форму названия России с того времени: сюда относятся франц. (*la Russie*), англ. *Russia*. И наши южные братья-славяне зовут нас именем той же формы: сербохорв. *Rusija*, болг. *Rusija*. Последнее особенно любопытно, потому что как раз с Юга, из Византии, объясняют обычно принятую у нас форму на *-o-*: Россия из греч. Ῥωσσία (Этимологический словарь русского языка М. Фасмера). Ссылки при этом на канцелярию константинопольского патриарха понятны, по-гречески выглядит и ударение *Росси́я*; ср. “велика часть есть *асиу* / держава в ней и *Россиѡ*” (Букварь Карiona Истомина. 1694. КДРС). Уже чтение греч. ω двусмысленно: возможно *-o-*, возможно в позднее время и в диалектах *-и-*. Дальше весомость обретает европейский контекст, участие в котором Византии – после 1453 г. – все-таки минимально. Европейский контекст достаточно сложный. Начать с того, что необходимо рассматривать совокупность из трех форм: *Россия–российский–россияне*. Кроме нас, вся эта триада представлена у поляков: *Rosja–rosyjski–Rosjanie*. Уже стандартные украинские формы *Rosija–rosijskij–rosijani* едва ли имеют большую временную глубину и, возможно, навеяны польским. “Малоруско-нѣмецкїи словар” Е. Желеховского и С. Недѣльского (Львѣв, 1886) дает только *русский, руский* (значения опускаю), но не знает ни *російський*, ни *росіяни*. Остается добавить, что для белорусов мы по-прежнему *рускія* мн., *русские*, и это тоже архаизм.

Остальное – инновации, целая группа инноваций.

Заемствованный, в основном западный, характер названия *Россия* довольно очевиден, об этом говорит удвоение *-ss-* как позднелатинский способ нейтрализации озвончения интервокального *-s-* (исходная греческая запись от Ῥωσς обладает одинарной сигмой). Ударение “греческого” вида тоже не

очень показательно ввиду реальности старопольского *Rosyja*, типа *Azyja—Azja*, как о том говорит производное от него *rosyjski*. Так что все сводить к влиянию русской формы на польскую, как делает Фасмер, вряд ли убедительно. В названии *Россия* представлено искусственное образование (ср. Этимологический словарь польского языка А. Брюкнера), следы которого ведут на Запад. Любопытно, что думал на этот счет Даль (Толковый словарь живого великорусского языка): “Только Польша прозвала нас *Россией*, *россиянами*, *российскими*, по правописанию латинскому, а мы переняли это, перенесли в кириллицу свою и пишем *русский!*”.

КДРС не знает *россиян* раньше эпохи Петра, зато потом они встречаются у Ломоносова в рассуждении о “высоком штиле”⁷ и у Карамзина в сочинении “Из записок одного молодого *Россиянина*”⁸. Печать искусственности лежит и на этом образовании, несмотря на то, что модель на *-(j)aninъ* вполне славянская.

Обращаясь к слову *российский*, отметим его нехарактерность для живого среднего стиля. Ни в одном из известных мне четырех томов “Вестей-курантов” с 1600 по 1650 год *российский* не отмечено ни разу, безгранично господствует *русский*, идет ли речь о простых людях, боярах, послах, царевнах, гонцах, рубежах, подданных. Ср. то же по данным книги С. И. Коткова “Очерки по лексике южновеликорусской письменности XVI—XVIII вв.” (М., 1970. Passim). Искусственный атрибут *российский*, напротив, зарекомендовал себя сначала претензиями на высокое, “царское” словоупотребление, ср. адресат послания Иоанна Грозного “во все *Российское* царство” (1564)⁹, “Новая повесть о преславном *Российском* царстве” (1610—1611)¹⁰, “благолепие *российское*” (Сказание Авраамия Палицына. 1620. КДРС), “Царство *Россійския* державы” (Космография. 1620. КДРС), “*Російское* государство” (Грамота Михаила Феодоровича. 1614. КДРС; Сочинение Г. К. Котошихина. 1667. КДРС). Вместо *Рускую* землю читаем “*Росискую* землю” (Волоколамский патерик 2. КДРС). Наблюдается распределение *князей росинских*, но *русских людей, в русских вестях*¹¹. Дело порой доходит, явно вторично, до смешения *грамоткү... росийским письмом и грамоткү русским же письмом* (Посольство Толочанова. Сер. XVII в. КДРС). Причем *российское* равно *русскому* и семантически, и функционально. Выученик Славяно-Греко-Латинской академии Ф. Поликарпов помещает в своем “Лексиконе” (1704) характерное: *Рускій, зри российскій*, последнее же находим у него как бы в дополнениях пропущенных слов. *Уставшася реченіа: руссійскій, ρωσσηος, rutenus*¹². Явная избыточность атрибута *российский* благоприятно сказалась на его карьере, в унисон патетическому сочинительству и сочинителям. Этой моде, удаляющейся от ровного стиля посольской канцелярии, воздали обильную дань на рубеже эпох многие, в их числе и Поликарпов, от дальнейших опытов которого разумный Петр ждал “не высоких слов славенских, но простого *русского* языка”. Известно, что И. А. Мусин-Пушкин так сформулировал Ф. Поликарпову критику царя: “Посольского приказу употреби слова”¹³. Но дело было сделано, и совершенно избыточное *российский* начало свой триумфальный ход уже не только в витиеватом высоком стиле, но буквально вытесняя атрибут *русский* в его фондовых значениях, и если Кантемир еще пишет о “сложении стихов *русских*”, а Сумароков — о “*русском* языке” и Тредиаковский — о “*простом русском* языке”, то Ломоносову этого явно недостаточно, он заявляет “о *правилах росийского* стихотворства”, пишет “*Росийскую* грамматику”, говорит о “*российском* языке”. Мода на все *российское* наступает в патетическом и героическом XVIII веке широким фронтом от комедии Ф. Жуковского “*Слава Росийская*” (еще при жизни Петра), “*Истории Росийской...*” В. Н. Татищева, “*Росийской* земли” в известной оде Ломоносова (1747) вплоть до *российских* матросов и *российских* кавалеров, героев популярных повестей. Сюда же, разумеется, относятся “*Древняя Росийская* вивлиофика” и “*Опыт исторического словаря о росийских писателях*” просветителя Н. И. Новикова, словоупотребление “*российский* гражданин” у Княжнина и такой венец искусственного словотворения, как название национальной героической поэмы М. М. Хераскова “*Россияда*”. Нельзя пройти мимо опытов трактовки также и всего древнерусского как *древнего росийского*, так что есть повод говорить не только и не столько об извитии словес и патетике, но и о своеобразной модернизации. Составители первого тома “*Истории русской литературы*” (Л., 1980) почему-то так и не заметили, что в этом вытеснении *русского* рос-

сийским, о чем в этой “Истории” вообще ни слова, обозначилась тенденция смены общественной парадигмы, как мы назвали бы это сейчас. О какой смене общественной парадигмы идет речь – это вопрос, уже выходящий за рамки моего нынешнего сообщения, но остается фактом эта тенденция, это мироощущение, пришедшее вместе с XVIII веком, когда ряду отечественных деятелей стало как бы тесно в *Русской земле*, их манил, как Карамзина, “священный союз всемирного дружества”, “всех братьев сочеловеков”¹⁴.

Опыты вытеснения *русского* *российским* того времени легли на почву, а точнее сказать, на арену обширной деятельности иллюминатов, просветителей, попросту говоря, масонов. У Екатерины II были, видимо, свои резоны увидеть в этой деятельности не одну лишь пользу. Важна ли была борьба синонимов *русский*–*российский* на общем, казалось, неизмеримо более значительном общественно-историческом фоне, и, короче, заметил ли кто-нибудь вообще ту игру синонимов, или все прошло мимо, так ничего и не заметив, как наши литературоведы, по XVIII веку? Нет, все оказалось гораздо тоньше и многозначительнее. По-настоящему великие деятели и художники доказывают это нам практикой своего творчества. Это и “народ *русский*” как субъект карамзинской “Истории государства *Российского*”, и его же “Письма *русского* путешественника”. Радищев, язык которого считают “темным”, в предельно ясной форме высказался о русском человеке как вершители Истории *Российской*¹⁵.

И, наконец, подлинное раскрытие всей искусственности эксперимента с *русским*–*российским* XVIII века смог дать нам, как мы того и ожидали, наш Пушкин. Мы смеем это утверждать, даже не имея возможности обратиться именно сейчас к картотеке Большого академического словаря в Петербурге, но располагая, к счастью, “Словарем языка Пушкина”, фиксирующим количество словоупотреблений. И вот результат: в языке Пушкина *российский* – прил. к *Россия*: *русский* – встретилось 53 раза, а *русский* как прилагательное и существительное в общей сложности – 572 раза, в десять раз больше! Пушкин, сам будучи сыном XVIII века, не обманулся поверхностной модой предшественников, кстати, им высоко чтимых, и показал, что он также и в этом разумный консерватор. *Россиянин* же у Пушкина отмечен только в десяти примерах.

Я резюмирую эту часть своих наблюдений над терминологическим феноменом вхождения нашей страны в Европу, считая долгом отметить, что, при всей искусственности терминов *Россия*, *российский*, наши далекие предшественники в общем правильно восприняли их как символ нашей европейской интеграции, иначе трудно было бы понять остальное, отмеченное выше. Но спрашивается, было ли это единственно возможным способом? То, что это не так, показывает опыт других стран, дальних и ближних. Германия, например, сохранила свое старинное и очень национальное самоназвание *Deutschland*, буквально *Народная земля*, латинское *Germania* немецкая культура применяет лишь в смысле “Германии” Тацита; Англия сама себя по-прежнему называет Английской землей, землей англов, *Eng(1)-land*, а не *Anglia* по-латински, то есть по принципу *Русская земля*, хотя названия стран и областей по латинской модели на *-ia* широко популярны в англоязычной культуре, ср. названия американских штатов *Pennsylvania*, *Georgia*, *Virginia*. Обратимся к славянским странам и с интересом отметим, что самая латинизированная из них, Польша, как раз продолжает именовать себя по принципу, оставленному нами, *Polska (scilicet ziemia)* – *Польская (земля)*! По такому же славянскому принципу называется соседняя Словакия – *Slovensko*. Нашу Россию там называют *Rusko*. Несмотря на мощное влияние западных соседей, Чехия так и не приняла латинское название *Bohaemia*. Хорватия, именуемая нами (и всей Европой) по образцу латинских названий стран на *-ia* (в частности, *Croatia*; точно так же мы “латинизируем” Чехия, Словакия, прежде – Чехословакия), упорно сохраняет славянский способ самообозначения *Hrvatska*. Аналогично, на *-ska*, оформлялось в старину и название Сербской земли и Болгарской, в новое время мы имеем там *Србија* и *България*, что напоминает нам известные центральноевропейские инновации на *-ia*, но пикантность вопроса в том, что на Югре нельзя исключать воздействия не только однотипных греческих образований на *-ia*, но и, скажем, турецкого самоназвания *Türkiye* – Турция (при всей возможной неясности отношений последнего к центральноевропейским названиям стран на *-ia*).

Чему еще может научить нас славянский и славистический опыт? Сербские образования *србијанац* – *серб из внешних, более отдаленных областей*,

сюда же *србијански, србљанин*, *lingua seruiana* – сербский язык (в письменности Дубровника XV–XVIII вв.), способны, наконец, подсказать нам правильное употребление нашего *россиянин*, история которого, разумеется, не кончилась полтора века назад. Хуже того, и *россиянин*, и *российский* сейчас, может быть, как никогда, употребляются крайне неточно. Небрежностью это можно назвать далеко не всегда и уж, конечно, не в тех случаях, когда оба слова – *россиянин* и *российский* – наделены отчетливой идеологической, политической установкой – вытеснить, заменить слово *русский*. Довольно длительное время вытеснению *русского*, как известно, служило и великолепно использовалось *советское*. Сейчас это прошло, но *русское* восстанавливается (если восстанавливается вообще!) с большими, искусственно создаваемыми трудностями, и на сей раз препоны *русскому* возрождению чинятся весьма искусно с помощью ставших модными *россиян* и всего *российского*, вплоть до отдельных ведомственных предписаний употреблять *российский* вместо *русский*. Если еще принять во внимание, что на всех углах нам твердят со всей мощью СМИ о вхождении в новую Европу, и мы имеем дело с очередной европейской интеграцией, то параллели из прошлого, рассмотренные выше, могут пригодиться. Не повторяя подробно то, что писал или говорил по этому поводу в других местах, все же укажу на концептуальность атрибута *русский*: *русский язык, русская литература, русская культура, русская языковая картина мира*, наконец, *русский языковой союз*, о котором я также писал, но здесь не могу отвлекаться. Всего этого с точностью не выразить словом *российский*, не вызвав непоправимой подмены понятий, не совершив грубой языковой ошибки. Между словами *российский* и *русский* отсутствует отношение взаимозаменяемости; *русский* этнично, а *российский*, благодаря своей прямой зависимости от *Россия*, имеет сейчас свой, только ему присущий, административно-территориальный статус. В отличие от *русского* *российский* и *россиянин* к тому же шире (может включать и *нерусского россиянина*), семантически расплывчатее (возможно, этим и привлекает мозги, работающие на европейскую интеграцию).

Какая бы то ни было интеграция, запрограммированная на дезинтеграцию (в нашем случае – России), вызывает у нас глубокие сомнения. Именно среди нынешних апологетов *российского* (за счет *русского*) приходилось встречать деятелей, способных (при обсуждении закона о языках сначала – РСФСР, потом – Российская Федерация) поступиться и государственным, и международным статусом *русского* языка во имя порой совершенно мифических суверенитетов. Наблюдаемая рецессивность словоупотребления *русский* в пользу *российского* является плодом подобного просвещения. Пример: высокий государственный деятель в стране, на протяжении нескольких лет так и не решившийся публично произнести слово *русский* (разве что за исключением одиозного упоминания про “русский бунт, бессмысленный и беспощадный”). Я готов, впрочем, допустить, что мы имеем дело в повседневной практике не с одними только проявлениями недоброй воли и тенденций растворить *русское* в “*российском*”. Не меньше случаев простого недопонимания, и именно с ними нужно работать и разъяснять. Я допускаю, например, что языковое (и прочее) различие между *русский* и *российский* часто просто не понимают на Западе, как не понимают его и наши расплодившиеся доморощенные переводчики с английского, когда переводят, например, *Российская Федерация* – *Russian Federation*, адекватно только – *Federation of Russia* (иначе получается – *Русская Федерация*).

Можно продолжить изучение оппозиции *русский–российский* (а мы здесь имеем перед собой в настоящее время оппозиционную пару терминов) и дальше в плане лингвистической теории и типологии, в плане языкового перевода, приравняв, например, более широкое *российский* к нем. *ungarländisch* (параллельного *rußländisch* как будто еще не существует), а более специальное *русский* – к нем. *ungarisch*, имея в виду то, вполне подходящее как параллель, обстоятельство, что и старое королевство Венгрию населяли не одни венгры, но и словаки, хорваты, валахи.

Позволительно взглянуть на оппозицию *русский–российский* как на оппозицию по семантической маркированности, когда один из терминов – маркированный (иначе – признаковый, интенсивный), а другой соответственно – немаркированный (неотмеченный, беспризнаковый, экстенсивный). Похоже, в нашем случае маркированным будет *русский*, более определенный, четкий

термин, а немаркированным – более расплывчатое, менее четкое *российский*. Наше наблюдение кажется нам небесполезным, тем более что один из исследователей проблемы маркированности отмечает, со своей стороны, что именно маркированность относится к числу наименее инвентаризированных формальных признаков языка. С автором (а это был датско-американский лингвист Х. Андерсен) нельзя не согласиться, потому что о нашей терминологической паре *русский–российский* он, например, даже и не думал, когда изрекал эти справедливые суждения: "...отношения маркированности присутствуют во всех случаях, где язык предоставляет своим носителям возможность выбора"¹⁶. А в нашем случае такой выбор, безусловно есть!

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Трубачев О. Н. Русь, Россия. Очерк этимологии названия// Русская словесность. 1994. № 3. С. 67–70 (с дальнейшей литературой).

² Иларион, митрополит Киевский. Слово о Законе и Благодати. (Сост. В. Я. Дерягин. Реконструкция древнерусского текста Л. П. Жуковской. М., 1994. С. 72.

³ История русской литературы. Л., 1980. Т. 1. С. 163.

⁴ Worth D. S. The origins of Russian grammar. Notes on the state of Russian philology before the advent of printed grammars. Columbus. Ohio, 1983. P. 76; Флинн Ф. П. Вехи и судьбы русского литературного языка. М., 1981. С. 109.

⁵ История русской литературы. Т. 1. С. 605, 644.

⁶ Вести-куранты. 1600–1639 гг. Изд. Н. И. Тарабасова, В. Г. Демьянов, А. И. Сумкина. Под ред. С. И. Коткова. М., 1972. С. 73–74.

⁷ История русской литературы. Т. 1. С. 536.

⁸ Там же. С. 748.

⁹ Там же. С. 282.

¹⁰ Там же. С. 300.

¹¹ Грамотки XVII – начала XVIII века. Изд. Н. И. Тарабасова, Н. П. Панкратова. Под ред. С. И. Коткова. М., 1969. Passim.

¹² Polikarpov P. Leksikon trejazychnyj. Dictionarium trilingue. Moskva. 1704. Nachdruck und Einleitung von H. Keipert, O. Sagner. Munchen. 1988 (= Specimina philologiae slavicae Hrsg. Von O. Horbatsch, G. Freidhof und P. Kosta. Bd. 79). S. 598, 798.

¹³ История русской литературы. Т. 1. С. 380.

¹⁴ Там же. С. 748.

¹⁵ Ср. цитату из "Путешествия..." Радищева: Моисеева Г. Н. Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII века. Л., 1980. С. 96.

¹⁶ Andersen H. Markedness Theory – the first 150 years – Markedness in Synchrony and Diachrony. Ed. By O. Mišeska Tomić. Mouton de Gruyter. Berlin; New York. 1989 (=Trends in Linguistics. Studies and Monographs 39. Ed. W. Winter). P. 41.

ПЁТР РАДЕЧКО

НЕ ПОСТИГНЕТ ЛИ ЕСЕНИНА УЧАСТЬ БЕРАНЖЕ?

Вот уже 17-й раз прошла в феврале в Минске Международная книжная выставка-ярмарка. Нынче в ней принимали участие 26 стран. Как всегда, наиболее широко была представлена продукция издательств из разных городов Российской Федерации.

Для меня такие выставки всегда являются многодневным праздником. Это прекрасная возможность познакомиться с новыми изданиями, встретиться с друзьями, посмотреть на ловцов удачи, которых всегда окружает молодежь со стремлением получить автограф на глянцевого макулатуре, а также поискать что-нибудь для души.

К большому сожалению, на этот раз я, давнишний поклонник творчества Сергея Есенина, не нашел не только абсолютно ничего о моем любимом авторе, но даже не увидел ни одного сборника его стихотворений.

Почетными гостями нынешней выставки-ярмарки были французы. По такому случаю им была предоставлена значительная площадь выставочного центра непосредственно у входа. Обилие разнообразной красочной литературы не только на французском, но и на русском языке, элегантно и раскованно гости всевозможными мероприятиями, вплоть до компьютерных розыгрышей, постоянно привлекали посетителей.

Больше, чем ко всем другим, внимание молодежи было приковано к непосредственному, обходительному молодому писателю Кристиану Гарсену. Посетители и особенно посетительницы выставки дружно приобретали его книги, изданные на русском языке, и создавали очередь к нему за автографом. Можно сказать, что внимание к нему было несколько не меньшим, чем к приехавшему из Москвы Михаилу Веллеру.

Среди множества встреч, проведенных за пять дней французами, быть может, самым интересным был заключительный “круглый стол” на тему: “Писать – это профессия?” Ведущим был книготорговец Жан-Поль Колле, а в беседе принимали участие писатели Анн-Мари Поль, уже упомянутый Кристиан Гарсен, Пьер Корнюэль и Тьерри Ленц.

Были подняты вопросы не только творческие, но и меркантильные. Поскольку при наличии телевидения и интернета спрос на книги стал совсем не таким, как в два предшествующих столетия, речь шла и об актуальности написанного, и о внешней привлекательности издания, и о разворотливости книжной торговли. Ведущий даже посетовал, что ему, владельцу книжного магазина, иногда нечем “платить по счетам”.

Заканчивая эту интересную встречу, Жан-Поль Колле обратился к присутствующим с просьбой задавать вопросы, если таковые у кого есть. Но в зале неожиданно повисла пауза.

И тогда я задал участникам “круглого стола” вроде бы абсолютно простой вопрос: “Входит ли в программу вашей средней школы изучение творчества Беранже?”

И тут произошло неожиданное. Наши почетные гости стали переговариваться между собой, пожимать плечами и недоуменно с настороженностью поглядывать в мою сторону.

Решив, что будто бы бойкая переводчица неясно изложила мой вопрос, я повторил его. Но реакция на него оказалась такой же. По всему было видно, что фамилия “Беранже” абсолютно ни о чем им не говорит, а они принимают мой вопрос, по меньшей мере, как розыгрыш.

После некоторого замешательства находчивая Анн-Мари Поль, еще раз внимательно взглянув на меня, вышла из создавшегося положения таким образом: мол, у них во второй половине двадцатого столетия появилось очень много бардов. Все они сочиняли песни разного достоинства, и некоторые из них имели большую популярность. Возможно, что в числе таковых был и человек с фамилией “Беранже?”. Но она такового не помнит. Ее точку зрения поддержали коллеги.

И тогда я сказал, что Пьер-Жан Беранже жил не во второй половине двадцатого века, а в первой половине девятнадцатого, что это был очень популярный поэт-песенник, которого великолепно перевел на русский язык Василий Курочкин, что мы изучали в университете его поэзию и она стала для меня любимой.

— Беранже писал и о Наполеоне, — поддержала меня стоявшая поближе к французам женщина.

И тогда Пьер Корнюэль сказал нам буквально следующее: “Это нам надо было приехать из Парижа сюда, в Беларусь, чтобы узнать о том, что у нас, во Франции, был очень известный поэт, которого хорошо знают и любят в других странах, а мы его, к сожалению, не знаем. Говорю это вам, как комплимент”. И начал аплодировать, закрывая встречу.

Вернувшись домой, я раскрыл 69-й том “Библиотеки всемирной литературы” (изданной в 200 томах), в котором наряду со стихами и песнями Огюста Барбье и Пьера Дюпона 294 страницы занимает творчество этого французского поэта, и в который раз перечитал о нем следующее:

“Беранже один из самых великих умов, какими должна гордиться Франция”, — писала после смерти поэта Жорж Санд. “Гениальным” и “величайшим современным поэтом” называл его Стендаль. Его почитателями были Гюго и Бальзак, Дюма и Мериме, поэты Ламартин и Сент-Бев, писатель Шатобриан, историк Мишле. Анатоль Франс считал его “лучшим писателем XIX века”. Его высоко ценили венгр Петефи и англичанин Теккерей. Гете говорил, что песни Беранже “полны такой грации, такого остроумия и тончайшей иронии, они так художественно совершенны и написаны таким мастерским языком, что возбуждают восхищение не только во Франции, но и во всей образованной Европе”. Гейне определил его “прославленным старшиной демократических поэтов”. Белинский называл “царем французской поэзии, самым торжественным и свободным ее проявлением”, “великим поэтом не одной Франции и национальнейшим поэтом самой Франции”. Давая определение народности в искусстве, Белинский писал: “Народный поэт — тот, которого весь народ знает, как знает Франция своего Беранже”. Как бы в подтверждение этой мысли, недоброжелательный французский критик нехотя признавался, что “около 1830 года ни один романтик, даже Гюго, не мог соперничать со славою Беранже”, а в январе 1833 года французская республиканская газета “Трибюн” писала: “Во Франции насчитывается больше людей, знающих его песни, чем людей, умеющих читать, и любой мальчишка из церковного хора споет эти песни лучше, чем ритуальные псалмы”.

Кроме того, есть у меня сборник избранных песен этого поэта в переводе на белорусский язык Эди Огнецвет, изданный в Минске в 1960 году. Перевод тоже великолепный. Но...

Грустные мысли навеяла на меня эта встреча с французами... Очень надеюсь, что они по возвращении в Париж смогли найти книги Пьера-Жана Беранже и, хотя с большим опозданием, познакомились с его прекрасным творчеством. Грусть по другому поводу...

Есенина тоже с полным правом можно назвать *народным* и *национальнейшим* русским поэтом. И самым популярным при жизни. Но один раз он уже был забыт, как во Франции Беранже. Мы, родившиеся в 30-е годы, узнавали этого замечательного поэта совсем не за школьной партой. И зачастую – не по лучшим его стихотворениям. А с приходом демократии уже успели вдоволь насытиться пошлыми измышлениями как его бывшего друга-врага Анатолия Мариенгофа, так и некоторых “продвинутых” авторов, “продукцией” которых и сейчас наполнены книжные магазины. Серьезные же исследования нам удается издавать тиражами в 50–200 экземпляров. Но что это такое в сравнении с “Бессмертными трилогиями” А. Мариенгофа в глянцевых обложках и в суперобложках с многотысячными тиражами, а также с пошлейшими многосерийными фильмами?!

Еще в 1993 году в независимую Беларусь приехал бывший москвич, преподавший в одном из колледжей в штате Коннектикут (США) Борис Большун и издал в г. Гродно книгу “Есенин и Мариенгоф. “Романы без вранья” или “Вранье без романов” В ней он изобразил Есенина отпетым алкоголиком с путаными литературно-философскими взглядами, мечущимся в поисках обязательно знаменитой женщины, коварным, мелочным и неблагодарным по отношению к лучшему и надежному другу Анатолию Мариенгофу, которому нужно поставить памятник за его большой вклад в русскую литературу.

И эта клевета на гения, изданная тиражом в 5 000 экземпляров, раздавалась бесплатно участникам проходившей в Гродно научной конференции славистов, преподавателям, студентам и всем желающим.

В предисловии к этой книге, написанной доцентом кафедры русской и зарубежной литературы Гродненского университета Тamarой Григорьевной Симоновой, говорится что книга “окажется полезной для исследователей русской литературы, преподавателей и студентов, обратит на себя внимание широкого круга читателей”!

И действительно, автору этих строк приходилось слышать от преподавателей некоторых вузов поражающий отзыв о книге: “Это – наш хлеб!”

Негоже ученым забывать древнее крылатое выражение: “Бойтесь данайцев, дары приносящих!”

Думается, что подобным “хлебом” потчуют своих студентов преподаватели не только белорусских вузов. И, как результат – за прошедшие со времени выхода этой книги здесь не была защищена ни одна кандидатская диссертация по творчеству Сергея Есенина. А, быть может, и не написана ни одна дипломная работа.

Изучение творчества Сергея Есенина постепенно подменяется изучением имажинизма. Этому способствуют книги и публикации популяризаторов названного литературного течения не только вышеупомянутого американского профессора Бориса Большуна, а также ученых-славистов Гордона Маквея (Англия), Томи Хуттунена (Финляндия), Владимира Дроздова (Москва), Валерия Сухова (Пенза), а также представителей разных профессий – Михаила Козакова, Бориса Грибанова, Александра Лукьянова, Бориса Соколова (В. Пахарина), Бориса Аверина (все – Москва), Владислава Божко (Харьков) и других.

Такой накат сомнительной и откровенно ложной информации негативно сказывается на восприятии нынешним молодым поколением образа и творчества великого поэта. Узнавшие о Есенине по насквозь лживым сентенциям Мариенгофа, молодые люди никогда не станут читать его стихи, предполагая, что они такие же, как у “второго” имажиниста. Не свидетельствует ли это о стремлении названных авторов опустить творчество Есенина до уровня его бывших “собратьев по образу”, чтобы вольготнее чувствовали себя среди классиков иные, не столь популярные поэты?

Наглядным примером подмены основной задачи, наряду с другими, является публикация в научно-методическом журнале “Современное есениноведение” (г. Рязань. №9, 2008 г.) биографического очерка Гордона Маквея об Анатолии Мариенгофе на 34 страницах вместе с 62 фотографиями, на которых этот “классик” запечатлен в возрасте 10 месяцев, 10,5 месяца, 1 год 10 месяцев и т. д. Вряд ли кто-нибудь припомнит подобную публикацию в каком-нибудь журнале о Есенине или о Пушкине!

И это о человеке, стараниями которого в 1923 году Сергея Есенина два раза забирали милиция из принадлежащего им кафе “Стойло Пегаса”! Кого в по-

следние два года жизни поэт не хотел видеть, а в письмах друзьям и подругам называл “вором”, “мерзавцем на пуговицах” и “мариенгофской тварью”.

В то же время в журнале никогда ни одной строкой не упоминалось имя лучшего питерского друга Есенина Леонида Канегиссера, которого поэт первым, еще в 1915 году, возил к себе на родину, в село Константиново.

Однако вернемся вновь на книжную выставку-ярмарку. Участники “круглого стола” постоянно ссылались на творчество французских классиков. Пожалуй, чаще иных маститых называли Гийома Аполлинера, Поля Верлена, Поля Элюара, Артюра Рембо.

Мне трудно судить – я не владею французским. Но переводы этих поэтов не тронули мои душевные струны так, как это удалось переводам песен Беранже, отражающим самобытность, грациозность, остроумие, тончайшую иронию и другие особенности французского народа. А утрата национальной ориентированности журналов ведет в интернациональную пустоту, к забвению истинно народных поэтов, выхолащиванию души, патриотизма, чувства любви к Родине, к “отеческим гробам”, к “родному пепелищу”.

ВИКТОР ГУМИНСКИЙ

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ЖИЗНИ ДУХА

(ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ)

*Этот плод моих трудов
Являет к вам мою любовь.*

Как это было?

Прежде всего был величественный казаковско-жилярдиевский дворец на Моховой, точнее, два здания через Никитскую, сиречь Герцена. Но второе – не наше, хотя, конечно, и наше тоже – там нередко проходили лекции и семинары. Но наше родное – вот оно, здесь, через калитку, обрамленную классической аркой (их всего четыре, по две с каждой стороны) в чугунной ограде с каменными же столбиками. Миновав калитку, ты должен проследовать сразу же в подъезд налево. И все время наверх, по просторным ажурным лестничным пролетам, по бесконечным коридорам, мимо бесчисленных высоченных дверей, из-за которых слышались то сдержанный гул, то взрывы хохота, то леденящее душу безмолвие – тихо, идут экзамены. Пролетев коридором насквозь, попадаешь на “заднюю” лестницу, крутыми виражами уходящую вниз, куда-то в неведомые глубины. На каждом этаже необъятные подоконники, устремляющиеся сквозь мощные стены, подобно бойницам, к далекому свету: на них при желании вполне можно расположиться вчетвером, а то и шестером, только сидеть придется на корточках, друг за другом. Здесь постоянно, особенно в холодное время года, толпятся студенты, и над их группами, как над камчатскими вулканами, висят дымные облачка – курить на “задней” лестнице не возбранялось. Это наш храм науки, филфак МГУ, самое необыкновенное учебное заведение на белом свете, где учились, учатся и будут учиться лучшие из лучших, соль земли и надежда русской литературы и науки.

Как и полагается, в нашем храме были и свои жрецы, открывавшие вчерашним школьникам бездны филологической премудрости.

На филфаке читали в те уже далекие годы многие замечательные преподаватели: древник Николай Иванович Либан, пушкинист Сергей Михайлович Бонди, зарубежник Альберт Викторович Карельский, языковед Юрий Владимирович Рождественский, славист Никита Ильич Толстой и т. д. Не говоря уже о семинарах: “железном” семинаре Владимира Николаевича Турбина, где занималась моя будущая жена, или Петра Васильевича Палиевского, где время от времени появлялся я.

Но слушание лекций не ограничивалось факультетскими стенами. Время от времени мы срывались с места и мчались в другие учебные заведения или учреждения, чтобы услышать того или иного исполина гуманитарной науки.

Легенды об Алексее Федоровиче Лосеве настигли нас еще на первом курсе. Редчайшие “Очерки античного символизма и мифологии” (1930), другие его работы читались в “круглой” читалке только под залог студенческого билета. К тому же к ним выстраивалась (в записи) огромная очередь. Но ведь его же можно и услышать? Ведь читает он совсем недалеко, на Пироговке, в Ленинском пединституте. Впечатление от лекций было огромное и совершенно необычное. Казалось, что профессор пришел на лекцию прямо после напряженного и не всегда, как сказали бы сегодня, толерантного выяснения отношений с Сократом, Платоном, Аристотелем и прочими. Похоже, они были давно и хорошо знакомы, может быть, даже прожили какое-то время в одной коммунальной квартире. Это ничуть не умаляло величия отцов европейской философии. Но становилось ясно, что за многовековыми наслоениями, интерпретациями и комментариями продолжает биться живая и по-прежнему актуальная древнегреческая мысль, что с ней можно соглашаться или нет, можно даже “в сердцах” как-нибудь “обозвать” античного мыслителя, и от этого он не станет лучше или хуже. Временная дистанция упразднилась, и перед нами предстал обыкновенный человек, почти наш современник, с ошибками и заблуждениями, но и с гениальными прозрениями и открытиями.

Лекцию “О филологии” Сергея Сергеевича Аверинцева мы слушали, кажется, в актовом зале издательства “Художественная литература”, где мне пришлось потом работать. Аверинцев читал феерически, крылато, его тонкий голос забирался порой на непостижимую высоту, особенно когда он цитировал что-либо по-гречески или по-латыни, длинные, выразительные руки то вскидывались в молитвенном обращении, то опускались, и он словно вибрировал в такт с царственными гекзаметрами Гомера, филиппиками Ювенала, мерными периодами Плутарха. И вообще, ученый как будто только что появился из своего любимого “серебряного века”: декадент, эстет, демиург. Аверинцев, судя по всему, недавно вернулся из первой поездки по Греции и был поражен размерами страны, столь много давшей человечеству. Ведь она заключала в себе огромный мир, который на века стал мерой и образцом для будущего. “Вы должны представить себе, — обращался он к аудитории, — что там все находится буквально рядом. Мы ехали на автобусе, а за окном так и мелькали: Афины, Фивы, руины древней Спарты и т. д.”.

Главным во всех этих лекциях было, наверное, одно. Каждый из нас начинал ощущать себя реально причастным могучему движению слов и смыслов, идей и образов, которое зовется историей мировой культуры. Прямо через нас проходили токи времени, каждый в себе чувствовал связь с самыми отдаленными эпохами и поколениями, произведениями и памятниками.

Такое “лекционное” вступление понадобилось мне, чтобы подчеркнуть: лекции Валерия Николаевича Сергеева в Музее древнерусского искусства им. Андрея Рублева находились в одном ряду с самыми замечательными явлениями русской научно-культурной жизни Москвы конца 1960-1970-х гг. А для меня они были едва ли не главным событием жизни, во многом определившим дальнейший научный и творческий путь. Впрочем, я не был исключением.

* * *

Спасо-Андроников монастырь стоит на высоком и крутом московском холме, почти отвесно ниспадающем одной стороной к Яузе. С других сторон он окружен транспортно-человеческой сумятицей современной городской жизни. Ревущие автомобили, трезвонящие трамваи, перебегающие через площадь пешеходы; асфальт, бетон. А здесь, за монастырскими стенами — тишина, покой, зеленая травка, подбирающаяся к небольшому белокаменному Спасскому собору, сосредоточенно устремленному ввысь в своей соразмерной стройности и сдержанной нарядности. Он — в центре монастырского двора и всего архитектурного ансамбля. Он как бы одинок, сам по себе, но ясно, что он главный, хотя совсем неподалеку, намного выше вышагивает в небо уступами четверика и восьмерика церковь Михаила Архангела.

Спасский собор самый древний (из сохранившихся в Москве) и самый гармоничный, он прекрасен. Крупнейший специалист по древнерусской архитектуре и искусству Г. К. Вагнер полагал, что Андрей Рублев был непосредственно причастен к строительству Спасского собора и не только как живописец (сохранился только малый фрагмент его росписи собора – деталь растительного орнамента). Ведь именно этот собор “мог отвечать архитектурно-идеалу Андрея Рублева – великого мастера гармонической композиции”. Но как бы то ни было, в Спасо-Андрониковом монастыре “Андрей Рублев был иноком, работал, умер и погребен”, как лаконично напишет в одной из статей В. Н. Сергеев.

Но чтобы попасть на лекцию, нужно идти к противоположной от Святых ворот монастырской стене, в так называемый “новый” корпус, иначе говоря, “гараж”. Там, прямо в одном из экспозиционных залов расставлены стулья, музейные банкетки, звучат приглушенные голоса: гости рассаживаются. Большинство знают друг друга, да и висящие на стенах великолепные копии фресок Дионисия и преподобного Андрея Рублева, принадлежащие кисти художника-исследователя (так называют этого мастера) Николая Гусева, всем хорошо знакомы.

Фрески Дионисия из собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря мне довелось увидеть воочию. В самом начале 1970-х гг. мы с женой решили провести отложенный “медовый месяц” (кажется, через год после свадьбы) поближе к знаменитому монастырю. Поезд доставил нас в Вологду, а оттуда на стареньком пароходе “Клубов”, названном в честь героя-летчика А. Ф. Клубова, уроженца Вологодчины, мы совершили незабываемый переход по Северо-Двинской водной системе (потом я узнал, что мы плыли по каналу, называвшемуся до 1917 г. в честь своего строителя каналом герцога Виртембергского) до Кириллова. Особенно сильное впечатление на меня произвел процесс шлюзования. Пароходик входил в небольшую шлюзовую камеру почти впритык к ее стенам. Как закрывались задние ворота, я не помню, но действие на передних воротах, по-моему, достойно описания. Верх ворот был утыкан, подобно зубьям редкой гребенки, почти вертикально, метра на полтора торчащими вверх железными рычагами. По гудку пароходика на массивных воротах появилась группа женщин в замасленных спецовках, они рассредоточились, и каждая из них по общей команде навалилась всем телом на свой рычаг: вместе, чуть ли не в обнимку, они наклонились, осели, началось движение вод, и пароходик медленно всплыл вверх. Все происходило рядом, почти на палубе, можно было рукой достать. При этом женщины весело перебрашивались с капитаном “Клубова”, называя его по имени-отчеству, и вообще казалось, что разыгрывается какой-то общий домашний спектакль-ритуал. Ворота раскрылись, и неспешное, эпически спокойное плавание продолжилось. Уже из Кириллова – на автобусе – мы добрались до Ферапонтова.

Почти месяц в совершенно африканскую жару (в тот год горела, по-моему, вся Россия) жили в маленькой деревушке на берегу Бородавского озера и чуть ли не каждый день ходили по этому берегу в монастырь за несколько километров. Что вызвано было не только стремлением очередной раз постоять, задрав голову вверх, час-полтора, пытаюсь разобраться в сложнейшей многоярусной композиции храмовых росписей, но и причинами сугубо житейскими. Дело в том, что в единственной продовольственной лавочке на всю округу, располагавшейся рядом с монастырем, хлеб продавался строго раз в день по одной буханке в руки, а нам без хлеба для себя и для нашей хозяйки – бабки Елены – возвращаться было нельзя. Так хлеб насущный соединялся с пищей духовной. Но если с хлебом насущным все, так или иначе, решалось – каждое утро я садился в лодку и отправлялся удить рыбу, а по-вологодски “цокавшая” бабка Елена, ласково называя меня кормильцем, варила из выловленной рыбы уху, или ее жарила, или делала пироги-рыбники, – то с духовной пищей оказалось много сложнее. Уж очень глубока была бездна нашего невежества.

И только потом, уже по возвращении в Москву, с помощью того же Валерия Николаевича я научился отличать праотцев от евангелистов, а тех – от воинов-мучеников, не говоря уже о композициях на текст Акафиста Богоматери. Но многоцветно мерцающий голубовато-розовый мир фресок Дионисия, открывшийся в Рождественском соборе Ферапонтова монастыря, навсегда заморозил меня. Прямо по слову летописца и вместе с посланцами князя

Владимира я могу повторить: “И не свемы, на небе ли есмы были, ли на земли: несть бо на земли такого вида ли красоты такоя, и не доумеємъ бо сказати; токмо то веемы, яко онъде Бог с человеки пребывает...” Остается добавить, что “Дионисиев сюжет” занял в жизни В. Н. Сергеева особое место.

Моя однокурсница, а потом жена, Людмила Барбашова, и познакомила меня с Валерием Николаевичем. Сама же она впервые встретила с ним в гостях у жены своего любимого школьного учителя, в свою очередь учившейся вместе с Сергеевым на филфаке. К этому времени Людочка работала в Рублевском музее в только что организованном культурно-массовом отделе и ведала там экскурсиями, лекциями и прочими мероприятиями. А заведующей отделом была искусствовед Марина Викторовна Егорова. Она же, кстати сказать, и дала нам адрес бабки Елены на Вологодчине.

...Но вернемся в “гараж”. Лекция вот-вот начнется. Я волнуюсь, кажется, гораздо больше сосредоточенного В. Н. Сергеева. Сегодня мне оказано высокое доверие: лекцию сопровождает показ слайдов, и за диапроектор, с помощью которого они проецируются на экран, а также за смену изображений отвечаю я. Поэтому я не свожу глаз с Валерия Николаевича, ловлю буквально любой его жест, чтобы не упустить нужный момент.

Валерий Николаевич, как мне кажется, и по внешности, и во многом по повадке принадлежит к среднерусскому, даже старомосковскому характерному типу. Небольшой рост, полноватая фигура в мешковатом костюме, над высоким лбом с залысинами зачесанные назад слегка волнистые волосы, голубые глаза за стеклами очков. Так мог выглядеть московский батюшка, а то и архиерей (впрочем, в те годы Валерий Николаевич был без бороды). Но не обязательно: похоже москвичи пели в церковных хорах, после того как отторгвали в лавках Гостиного двора, или прочитали с университетской кафедры лекцию о философии Шеллинга, или со стетоскопом на груди навестили немощного и скорбящего. Главное в этом типе – его естественная и глубокая укорененность в толще народной, повседневной жизни, но тут же следует подчеркнуть – православной жизни. Такими или почти такими были, по-моему, Михаил Погодин, Иван Забелин, Иван Снегирев, Алексей Ремизов, Иван Шмелев, Алексей Бахрушин и многие другие. Иереи, монахи, профессора, врачи, купцы, писатели и т. д. и т. п. Они были книжниками, но не фарисеями. Они были практиками, прежде всего, в том смысле, что до обиходных мелочей знали дело, которым занимались и которое любили. Они не придумывали себе православия и не придумывали себя в православии, но органично жили в нем, как веками жили их предки. И никакие войны и революции не могли отклонить их с этого – главного – пути. На такой основе и возростал дух, интеллект, многообразные дарования этих людей.

И, конечно, на ней же расцвел и один из главных талантов Валерия Николаевича Сергеева – дар слова. Хочется думать, что учеба на филологическом факультете МГУ отточила, огранила это дарование. Пусть старославянский язык преподавался нам узко лингвистически, даже формалистически, во многом в отрыве от насков православной древнерусской литературы (она читалась особо) и, уж тем более, от богослужебных текстов. Но это был церковнославянский язык, о котором Пушкин писал, что “как материал словесности” он “имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими”. Блестящую историческую характеристику, данную поэтом родному языку, нельзя не продолжить. “В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему своей лексикой, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты; величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя, таким образом, от медленных усовершенствований времени”. Далее Пушкин делает уже вполне практический вывод: “Сам по себе уже звучный и выразительный, отседа заемлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо должно было отделяться от книжного; но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей”. Этой стихией русского языка В. Н. Сергеев владеет в совершенстве.

Не случайно одной из главных тем его научных штудий стало “изображенное слово”. Следует ли напоминать, что вся христианская культура логоцентрична, словоцентрична. Слово на иконе – канонически необходимо. В. Н. Сергеев посвятил надписям на иконах ряд исследований, в частности, академически выверенную статью “Духовный стих “Плач Адама” на иконе”, напечатанную в 1971 г. в авторитетных Трудах отдела древнерусской литера-

туры Института русской литературы (Пушкинского дома). Очевидной данностью для автора было неразрывное единство древнерусского искусства, культуры: архитектуры, иконописи, литературы, музыки, богословия. Этим он отличался от коллег-искусствоведов, во главу угла ставивших рассмотрение стилистических, колористических и пр. живописных особенностей иконы. Ведь “Плач Адама” не только изображался на двери в жертвенник конца XVI – начала XVII в. из церкви с. Семеновского Пушкинского района Московской области, но и пелся во время чина прощения монахов в неделю сыропустную после вечерни в Троице-Сергиевом монастыре. Исследователь тщательно проанализировал даже мелодию этого покаянного стиха. По близкой проблематике ученый спустя некоторое время читал и спецкурс на филологическом факультете МГУ.

Для В. Н. Сергеева икона – это, в первую очередь, “окно к первообразу”, согласно известному святоотеческому определению. И уже отсюда, из “чистой духовности”, проистекло ее материальное, определяемое высшей сутью воплощение: композиционные особенности, цвет, колорит, стиль и т. п. Раскрытие смысла церковного искусства через православное предание – вот, на мой взгляд, в чем состояло существо научной деятельности В. Н. Сергеева.

Это проявилось в “Путеводителе” по Рублевскому музею, написанному В. Н. Сергеевым в соавторстве с Л. М. Евсеевой (М., 1971). Еще в большей степени такой принципиально новый подход должен был лечь в основу каталога иконописи музейного собрания, проект которого, по инициативе Валерия Николаевича, начал разрабатываться и обсуждаться в те же годы, но так и остался не осуществленным, как принято говорить, по не зависящим от автора причинам.

Но, пожалуй, в самой полной мере (при всех ограничениях, налагаемых эпохой) автор продемонстрировал подобное понимание древнерусского искусства в своей главной книге – “Рублеве”, вышедшей в 1981 г. в серии “ЖЗЛ”. Рецензию на эту книгу, напечатанную в одном из московских “толстых” журналов, я назвал “Время собирать камни”. И, действительно, буквально по камушкам В. Н. Сергеев собрал в книге все, что было известно о великом иконописце. Исследователь обобщил материалы и наблюдения, содержащиеся к тому времени в уже достаточно многочисленных научных трудах; подробно рассмотрел духовную и государственную жизнь “светлой, героической эпохи, времени национального подъема Руси, ее воли к единству”. Но главным было стремление увидеть за цепочкой исторических событий, за немногими данными, на основании которых можно было гипотетически, художественно реконструировать жизнь преподобного Андрея, их непреходящий смысл, раскрывающийся в творчестве.

Вот безупречно точный анализ композиционных и прочих художественных особенностей “Троицы”, содержащийся в главе, специально ей посвященной. Этот анализ необходимо включает толкование символического смысла каждой детали иконы, раскрывая вечную суть “умозрения в красках”, созданного “в память и похвалу” основателю первого на Руси Троицкого монастыря – преподобного Сергия Радонежского: “Да воззрением на святую Троицу побеждается страх ненавистной розни мира сего...” Вполне закономерен итог: в своем шедевре святой инок “с гениальным совершенством воплотил мысль о том, что любовь и единство святых, они – основа всего бытия, не искаженная злом идея жизни. Всегда, везде и во всем. И сейчас и во веки веков...” Не случайно книгу В. Н. Сергеева об Андрее Рублеве называли одним из веских аргументов при решении вопроса о канонизации великого православного художника Древней Руси (1988).

Подобный подход во многом близок к методологии знаменитой работы Л. А. Успенского “Богословие иконы православной церкви”. Но труд Успенского впервые вышел по-французски в Париже в 1980 г., русский оригинал был опубликован еще позже. Курс иконоведения, который ученый читал при Экзархате Московской Патриархии в Париже с 1954 по 1960 г. и который лег в основу книги, В. Н. Сергеев, понятно, слышать не мог. Хотя, конечно, отдельные статьи Л. А. Успенского издавались Западно-Европейским Экзархатом, печатались в “Журнале Московской Патриархии”. Л. А. Успенский даже прочитал несколько лекций по истории и богословию иконы в Московской Духовной Академии. В. Н. Сергеев был хорошо знаком с Л. А. Успенским, тот бывал и

в Рублевском музее, и дома у Валерия Николаевича. Дружил Сергеев с близким учеником и сотрудником Л. А. Успенского, известным специалистом по истории христианского искусства и богословию иконы профессором-протоиереем Николаем Мартыновичем Озолиным. Приезжая в Москву, о. Николай обязательно посещал Рублевский музей. Словом, связи В. Н. Сергеева с православными учеными, занимавшимися проблемами древнерусского искусства за рубежом, уже тогда были достаточно прочными и устойчивыми. Но говорить о том, что их идеи прямо повлияли на него, не приходится: такова была общая тенденция осмысления великого наследия прошлых веков.

Сергеев был одним из немногих специалистов, которые следили за развитием иконописания за рубежом. Он серьезно занимался творчеством о. Григория Круга, Д. С. Стеллецкого, Е. Е. Климова и др. Через много лет исследователь опубликовал о зарубежных иконописцах ряд статей и даже посвятил Парижской школе иконописи (1920–1980) особую работу. Она была частично напечатана в № 3 Вестника Российского гуманитарного научного фонда за 2000 г. Для Валерия Николаевича никогда не существовало разделения православного мира и православного искусства. В Рублевском музее бывали многие выдающиеся православные церковные деятели и ученые как из-за рубежа, так и из России: митрополит Сурожский Антоний (Блум), о. Иоанн Мейендорф, о. Всеволод Шпиллер и др.

Лекции и экскурсии В. Н. Сергеева собирали в Рублевском музее публику самую разнообразную и порой неожиданную. Я познакомился здесь с академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачевым (автором предисловия к “Рублеву”), с профессором ВГИКа и МГАХИ им. В. И. Сурикова Николаем Николаевичем Третьяковым, с физиком Борисом Викторовичем Раушенбахом, одним из создателей отечественной космонавтики, тогда членом-корреспондентом АН СССР, а впоследствии академиком. Интересно, что его привела на лекции В. Н. Сергеева актуальная, связанная именно с космическими полетами, техническая проблема: “Насколько достоверно изображение на плоском экране отражает реальное пространство в космосе?” Дело в том, что космонавт из-за устройства своего корабля не мог визуально наблюдать стыковочный узел и был вынужден следить за его положением только по монитору. И тут выяснилось, что изображение и реальность как раз и не “стыкуются”. Изучение пространства иконы, ее так называемой “обратной перспективы” (В. Н. Сергеев предпочитал говорить о многоцентричности) помогли ученому в решении этой проблемы. Впрочем, он на этом не успокоился и посвятил средневековому искусству несколько трудов, в частности, книгу “Системы перспективы в изобразительном искусстве. Общая теория перспективы” (М., 1986).

Лекции В. Н. Сергеева посещали художники, искусствоведы, философы, филологи, кинорежиссеры, студенты, на них нередко бывали представители самых различных литературных кругов, например, уже тогда известные критики либерально-философского направления Рената Гальцева и Инна Роднянская, Лев Аннинский с супругой, а с другой стороны – писатель и друг Валерия Николаевича со студенческих времен Юрий Лощиц.

Самые близкие и почетные гости приглашались в фонды, на чаепитие, а то и на трапезу. Со времен этих чаепитий у меня в памяти осталась простая, но забавная присказка: “Кто пьет чай, тот отчаянный”. Возможно, она каким-то образом связывалась с самим качеством музейного чая. В те годы хороший чай необходимо было “доставать”: кому-то его привозили или присылали из-за границы, кто-то умудрялся раздобыть его и в Москве. Но подобное случалось редко. Так что ту жидкость, которую чаще всего пили за столом в фондах, очень трудно было назвать чаем. Но травяной настой, заменявший нам чай, никак не уступал индийскому или цейлонскому напитку ни по своему насыщенному вкусу, ни по благоуханному запаху. Правда, иногда он действовал на неподготовленный организм совершенно непредсказуемым образом.

Главным “чаеваром”, собирателем целебных трав в лесу по дороге на работу и, вообще, главным кулинаром в музее был, как и полагалось по его высокому статусу, главный хранитель фондов Вадим Васильевич Кириченко. Особенно он отличался в постные дни, которые неукоснительно соблюдались в музее. Разнообразные ячневые, пшениные, с тыквой, с пшеничными отрубями и т. п. каши, густой кулеш, чечевичная похлебка единодушно признавались вершинами его искусства. Но Вадим Васильевич, конечно, разбирался не только в кашах.

О его способности точно атрибутировать икону, то есть установить время и место ее создания порой по совсем неуловимым признакам, по крохотной “пробе” на ее поверхности, ходили легенды. Казалось, он мог проникать взглядом сквозь потемневшую олифу, слои живописных записей до самого древнего их основания — это было похоже на чудо и напоминало прозорливость древних анахоретов. Да и сам Вадим Васильевич с его аскетической внешностью, светлым лицом, длинной бородой, ровным и тихим голосом казался мне человеком Древней Руси, неведомо как попавшим в наше время. Мэтры искусствоведения во время открытия выставок икон подсылали к нему учеников, аспирантов, чтобы те, держась поблизости от Вадима Васильевича, подслушивали его суждения, а затем использовали в своих работах. Я и сам был свидетелем удивительной проницательности В. В. Кириченко, когда служил в музее-заповеднике “Коломенское”, куда его пригласила для консультации главная хранительница этого музея, известный реставратор Маргарита Армановна Гра. В. В. Кириченко без всякого видимого усилия чуть ли не по годам датировал целый ряд произведений древнерусского искусства.

Рядом с Вадимом Васильевичем, как на троне, восседал искусствовед и сын искусствоведа, выдающегося специалиста по “самому близкому” декоративно-прикладному искусству, отпрыск старинного русского дворянского рода, художавый, узколицый, порой надменно недоступный Александр Александрович Салтыков. Я его нередко встречал в Ленинке, где эта высокая, сухая фигура в белом чесучовом костюме неизменно вызывала благоговейное уважение у библиотечных служительниц: гардеробщиц т. д., особенно когда он сдавал им на сохранение свои черные калоши. Ныне он — настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах, декан факультета церковных художеств Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей о. Александр.

Но, конечно, главным лицом за столом была Милена Душановна Семиз. В музее она заведовала библиотекой, однако не эта скромная должность определяла ее первенствующее положение в музейном обществе. Я всегда именно такой представлял себе французскую королеву Екатерину Медичи, когда читал романы Александра Дюма. Ее гордо посаженная голова, царственная осанка, нерусская красота выразительного лица с глубоко посаженными глазами, тонким носом с аристократической горбинкой; пышная копна густых, с сильной проседью волос, упорно сопротивляющихся любым попыткам собрать их хотя бы в некоторое подобие прически, — все это складывалось в образ женщины властной и незаурядной, привыкшей повелевать, а не подчиняться. Сама себя Милена Душановна иронически называла “старушкой” (да и другие ее так за глаза называли), и было в этом прозвище что-то неуловимо щемящее, но уважительное — все-таки королева находилась в изгнании, в монастырском заточении.

Дочь эмигранта из Сербии, репрессированного в конце 1920-х гг., ставшая искусствоведом, сотрудницей ленинградского Эрмитажа, в конце 1930-х гг. в очереди в пересыльную тюрьму, где содержался ее отец, познакомилась с Анной Андреевной Ахматовой, принесшей туда же передачу для сына. Несмотря на существенную, в двадцать лет, разницу в возрасте, женщины подружились. Точнее, подружилась с Анной Андреевной мать Милены Душановны, а дочь естественно вошла в этот женский дружеский круг. Много лет спустя известный литературовед Виктор Дмитриевич Дувакин, одно время преподававший на филфаке МГУ, записал воспоминания Семиз. В 1999 г. они были напечатаны в составе книги “Анна Ахматова в записях В. Д. Дувакина”. К слову сказать, дочь Дувакина Катя тоже тогда работала в Рублевском музее.

Как же я удивился, когда узнал, что Милена Душановна сохранила куклы, в которые играла в детстве. Да к тому же и сама мастерила по их подобию новые — для своих знакомых. Составилась целая коллекция, и нетрудно догадаться, как она называлась — “принцессы Милены Душановны”. Недавно эта коллекция экспонировалась не где-нибудь, а, судя по названию, в сказочном месте — в Опочининской библиотеке г. Мышкина Ярославской губернии — там был в ссылке ее отец.

Милена Душановна была способна на совершенно неожиданные поступки. Так, в 1973 г. на свой страх и риск она предложила Сергею Сергеевичу Аверинцеву креститься, причем не где-нибудь, а прямо здесь, в помещении музейной библиотеки (креститься в церкви было нельзя, так как там требовали паспорт, после чего неизбежно следовали серьезные неприятности на ра-

боте). Тот, не задумываясь, согласился. К тому времени С. С. Аверинцев был уже кандидатом филологии, автором монографии “Плутарх и античная биография” (за нее он, кстати, получил премию Ленинского комсомола) и целого ряда статей (“Новый Завет”, “Христианство” и т. д.) в “Философской энциклопедии”. Таинство крещения совершил приглашенный Миленой Душановой о. Владимир Тимаков, служивший тогда в Николе на Кузнецях. В этом рассказе я в основном опираюсь на воспоминания батюшки. Правда, согласно другой версии, С. С. Аверинцева крестили на квартире Милены Душановой. Все прошло благополучно: крестной была сама Милена Душановна, крестным отцом – муж известного искусствоведа Ольги Сигизмундовны Поповой, друживший с Аверинцевым. А затем, по традиции, последовало торжественное чаепитие.

Разговоры за чайным столом всегда старались вести степенные, душеполезные. Правда, учитывая молодость большинства присутствующих, и они иногда прерывались неудержимым смехом. В умении вести застольную беседу Валерию Николаевичу, конечно, не было равных. Его остроумные замечания, постоянные колкости могли расшевелить любого из присутствующих, включая обычно невозмутимого Вадима Васильевича.

Особое место среди застольных бесед занимали рассказы об экспедициях, о необыкновенных находках, обретенных во время их проведения, тем более что на некоторые из них можно было взглянуть тут же, по соседству – у реставраторов. Довелось и мне принять участие в одной из таких экспедиций. Это было, кажется, на склоне лета в 1974 г.

Мы отправились в Тверскую губернию (тогда Калининскую область) втроем: руководитель – Валерий Николаевич Сергеев, Марина Викторовна, оставившая к тому времени административную должность и ставшая полноправным музейным реставратором, и я – экспедиционный рабочий.

Впечатлений во время экспедиции было великое множество, но в памяти остались преимущественно эпизоды. Я, потомственный горожанин, столичный житель, продолжал открывать для себя провинциальную и сельскую Россию. Увидев впервые колокольню Калязинского монастыря, окруженную голубой водной гладью, я просто ахнул: град Китеж, таинственный символ погнанной и разрушенной красоты, ушедшей под воду. Но сохранившаяся свеча-колокольня с крестом, устремленным в небо, словно свидетельствовала, что до скончания века не одолеют врата ада церкви Его. Именно судьба этого монастыря, точнее, того, что от него осталось, и привела нас в Калязин.

Мы звоним в калитку, прорезанную в глухом деревянном заборе, и нам открывают. После представления – приглашают в дом. Идем по двору, и тут нас окружает, нет, не сад, а настоящий “вертоград многоцветный”. Мощные гладиолусы стоят, как солдаты на плацу, сомкнутыми рядами; изысканные тюльпаны всех цветов радуги клонят свои головки долу; пышные, но низкорослые гиацинты расстилаются голубыми коврами; розы, пионы и т. д. и т. п. Большой темный деревянный дом вполне достоин такого окружения. Он на высоком подклете, с галереями, ажурной резьбой – дворец во дворец, терем не терем. В комнатах нас встречает, поднявшись из кресла-качалки, строгая дама. Я успеваю заметить на ампирном бюро книжную новинку – роман американца Джона Чивера “Ангел на мосту” (в Москве я так и не сумел достать его, но до сих пор помню название), горку конвертов с иностранными марками и адресами. И это провинциальный Калязин?

Но настоящее потрясение ожидало меня позже, – Валерий Николаевич был невозмутим. Дама провела нас в закрытое помещение, примыкающее к дому и напоминающее то ли небольшой ангар, то ли большой коридор. На одной из его стен в огромных деревянных рамах висели фрески XVII в., составленные из разнообразных по форме и размерам фрагментов – “сколов”. Они принадлежали взорванному и затопленному при строительстве в конце 1930-х гг. Угличского гидроузла Троицкому собору Макарьевского Калязинского монастыря: кажется, апостолы в полный рост, “Страшный суд” и т. д. Такого я еще никогда не видел: иконы – да, но храмовые фрески в доме?

При возвращении в гостиницу Валерий Николаевич рассказал, что встретившая нас дама – известный, с европейским именем цветовод (так вот откуда “вертоград” и заграничная корреспонденция!), родственница (может быть, дочь, может быть, племянница – я уже не помню) замечательного человека – Ивана Федоровича Никольского. Он был выходцем из “колокольню-

го дворянства”, то есть духовенства, создателем Калязинского историко-краеведческого музея и участником работ по снятию монастырских фресок, которое проводила группа художников-реставраторов под руководством П. И. Юкина. Из примерно тысячи квадратных метров росписей было снято всего около 150 метров. Сам Юкин даже разработал какую-то особую технологию снятия фресок в разрушаемых храмах и опубликовал об этом брошюру. Дочь (?) Никольского и написала в Рублевский музей о хранящихся у нее в доме сокровищах.

Помню уютный, утопающий в зелени, какой-то совсем купеческий городок Кашин. Направляясь с Валерием Николаевичем и Мариной Викторовной по одной из его улиц, мы случайно обратили внимание на жестяной трафарет с ее названием – “Ул. С. Щедрина”. Постепенно отвыкавший чему-либо удивляться, я лишь подумал, что по возвращении в Москву надо будет обязательно просмотреть биографию художника первой трети XIX в. Сильвестра Щедрина – автора чудесных итальянских пейзажей. Неужели он родом из Кашина? Но, завернув за угол и взглянув на очередной трафарет, мы поняли, что в этом нет необходимости. На трафарете стояло: “Ул. М. Сибиряка”. Местное начальство просто решило сэкономить материал: так писатель М. Е. Салтыков-Щедрин превратился в художника, а его коллега Д. Н. Мамин-Сибиряк, как это выразиться поаккуратнее, – лишился “мамы”, т. е. есть своей настоящей фамилии – Мамин (Сибиряк – псевдоним), но зато получил инициал чужого имени.

Что уж тут говорить про меню, которое нам подали в каком-то привокзальном ресторанчике и в котором в графе “Холодные закуски” стояло выведенное каллиграфическим почерком: “Бутерброд с освинымом”. Как тут не вспомнить гоголевского “Иностранца Василия Федорова”.

Местные жители время от времени устраивали нам проверки. Надо было видеть, с каким лукавством средних лет мужчина, покопавшись в закромах своей избы, достал старопечатную книгу и попросил сказать, в каком году она издана – дата была обозначена церковнославянскими буквами. Ситуация стала напоминать сюжет знаменитого шукшинского рассказа “Срезал”. Валерий Николаевич, естественно, без малейших затруднений назвал время издания. Хозяин, сверившись со “шпаргалкой”, использовавшейся в качестве закладки в книге, остался вполне удовлетворенным. А однажды руководитель нашей экспедиции даже занялся математическими вычислениями в ответ на просьбу назвать день, на какой придется Пасха чуть ли не через двадцать лет. День был назван. Ветхая денми бабулька, которая явно должна была встретить Светлое Христово Воскресенье в том “запрашиваемом” году на небесах, торжественно выложила на стол книжку Церковного календаря. Замечу – большая редкость по тем временам, особенно в деревне. Дело в том, что в Православном Церковном календаре, изданном Московской Патриархией, в его конце обязательно помещается Пасхалия как раз на двадцать лет вперед. Даты сверили. Экзамен мы выдержали.

Или другая картинка. Жарким днем, усталые, мы бредем по тропинке, вьющейся по бесконечному полю, и замечаем фигурку, следующую тем же маршрутом. Нас нагоняет пожилая женщина, здороваается (как всегда принято здороваться в русских деревнях даже с незнакомыми людьми), мы отвечаем. Она уже готова продолжать свой путь, но, всмотревшись в наши лица, разворачивается и, засаживая ногами, вдруг подходит ко мне, сложив руки перед собой: “Отец Александр! Благослови!” Я замираю в недоумении, потом объясняю, что не имею права благословлять, ибо не священник и т. п. Она с таким же недоумением выслушивает мои объяснения и, укоризненно покачав головой, удаляется. Но дальше – больше. То и дело ко мне начинают подходить “под благословение”: в кузове грузовика, везшего доярок и рабочих на ферму и решившего подвезти и нас – “пешеходцев”; на сельской улочке и т. д.

Тут необходим комментарий. Дело в том, что, женившись в 1971 г., я отпустил бороду – можно сказать, что и по “идеологическим” причинам. Одна из моих первых публикаций как раз и была посвящена проблеме “идеология – внешность”. Сколько мне пришлось претерпеть из-за этого, лучше не вспоминать: различные начальники разве что с ножницами ко мне не подступали, пафос петровских преобразований никак не мог в них иссякнуть. Но в Москве все, так или иначе, образовывалось: ну, причуда человека творческой

профессии и т. п. Бородачи в столице не то чтобы часто, но встречались, и уж никак не реже, чем священники.

Как выяснилось, в провинции было иначе. Мне не раз приходилось растолковывать, что и Пушкин на отдыхе, в деревне, любил отпускать бороду. При этом поэт приговаривал: “Борода да усы – молодца краса! Выйду на улицу, – дядюшкой зовут!”. И т. п.

Этой странной ситуацией мы были заинтригованы, особенно я: незримое присутствие “двойника” будоражило воображение. Валерий Николаевич высказывал предположения, что о. Александр может оказаться каким-нибудь неизвестным моим родственником, ведь мало ли как бывает на свете и т. п. О. Александр был настоятелем единственного действующего на огромной территории деревенского храма и, естественно, являлся в округе личностью почти легендарной. Нужно ли напоминать, что все хорошо помнили времена хрущевских гонений на церковь, когда и немногие уцелевшие храмы закрывались один за другим, “двадцатки” разгонялись и т. п. Но встреча с батюшкой, к которому у нас были к тому же какие-то поручения, все откладывалась и откладывалась. Мешали неотложные экспедиционные дела, все время уводившие в сторону от села, где он служил.

Наконец долгожданный день наступил. Вот вслед за прихожанами из храма выходит и священник. Увидев ожидающих людей, он нерешительно приближается к нам. Нерешительность вызвана не только тем, что от незнакомцев городской внешности вполне можно ожидать какой-нибудь очередной неприятности. Эти же горожане ведут себя, по меньшей мере, невежливо: еле сдерживают смех и т. п. Батюшка все-таки подходит к нам, и мы начинаем оправдываться. Трудно было бы найти двух более непохожих людей, чем я и он. По сравнению с о. Александром я казался великаном, он был светловолос, немного рыжеват, я – брюнет и т. п. Мы оба смущены, но возникшее было напряжение вскоре спадает. У Валерия Николаевича и у о. Александра находится немало общих знакомых, оказывается, он слышал про В. Н. Сергеева и рад с ним познакомиться. Нас приглашают в дом, где сегодня – особый праздник. Матушка – консерваторка и на днях, с огромными трудностями, в сельский дом священника был наконец-то доставлен инструмент – фортепьяно. Нас ждет удивительный, в духе русских классических романов вечер: скромный праздничный стол под оранжевым абажуром, слегка колышущиеся под теплым летним ветерком занавески на открытых окнах, неторопливая дружеская беседа, блистательный Валерий Николаевич и, конечно, музыка: Моцарт, Шопен, Рахманинов...

По контрасту – другой эпизод. В центре большого села стоит заброшенный величественный храм XVIII в. Внутри мусор, мрак и запустение, ободранные стены, следы разгрома. Да обветшавший деревянный иконостас со следами былой позолоты и с пустыми глазницами на месте прежних икон. И только на самом его верху, в праотеческом ряду, несколько потемневших изображений. Снизу невозможно разобрат, достойны ли они нашего музейного внимания или нет. Никакие лестницы и веревки помочь не могут, да и где добыть альпинистское снаряжение. Я, большей частью по молодечеству, вызываюсь взобраться наверх и на месте разрешить все вопросы. Валерий Николаевич долго колеблется: уж очень хлипко выглядит грандиозная конструкция, – того и гляди рухнет. Но под моим давлением руководитель экспедиции определяется, – сказывается экспедиционный азарт, желание спасти очередной памятник православного искусства, как и то, что я уже не раз доказывал свою спортивную сноровку. Подъем разрешен. Он проходит более или менее благополучно, хотя все подо мной колеблется и потрескивает. Я уже крикнул сверху: “Новоделы!” – и приготовился спускаться.

Как вдруг в храм вваливается группа явно подвыпивших молодых людей с гитарой. На них форменная одежда – это “ремеслуха”, учащиеся районного ПТУ, отмечающие окончание производственной практики на местной МТС. Или, как говорил потом Валерий Николаевич, “нагрязнул гегемон”, то есть пролетариат – передовой отряд трудящихся, что прописано в любом учебнике марксистско-ленинской философии. Как нам впоследствии рассказали, чуть ли не при их участии некоторое время назад этот храм доводился до нынешнего состояния, так сказать, “заканчивался как отсталое явление”.

Передовой отряд ведет себя вполне соответствующим образом, с революционной решимостью. Увидев меня на верхотуре, с воплем: “Да они нашу

церковь грабят!” – будущие механизаторы начинают раскачивать иконостас, без всякого сомнения, желая, чтобы я, как гнилой плод, рухнул к их ногам на каменный пол. Ситуация становится критической: я, вцепившись мертвой хваткой в деревянные перекладины, могу только творить Иисусову молитву, но сверху вижу, как побледневшие Марина Викторовна и Валерий Николаевич пытаются помешать ребятам, хватают за руки, умоляют остановиться.

Столь же внезапно, как началось, все заканчивается: молодежь с пением под гитару оставляет поле битвы. Как я спустился, – не помню, как и то, что мы друг другу говорили, когда, наконец, встретились на твердой земле. Помню только, что уже по выходе из храма Марина Викторовна безропотно выдала нам по порции реставрационного спирта из неприкосновенного запаса, да и сама, кажется, выпила с нами: “За спасение!”.

Это потом, читая книжку очерков Валерия Николаевича “Дорогами старых мастеров” (М., 1982), повествующую об экспедициях Рублевского музея, в которых он на протяжении многих лет участвовал, я остановился на следующих словах. “Однажды, – рассказывает Валерий Николаевич, – работая с древними рукописями, в старинном фолианте наткнулся я на небольшое литературное произведение древнего русского книжника, в котором говорилось о свойствах разных народов и вер. И немцы, и англичане, и поляки, и “фряжи” – итальянцы – упомянуты были в этом сочинении. А заключалось оно суждением о русском народе. Вера-де наша самая правильная, издревле не искаженная, а “русский народ – переменчив”.

Что и говорить, согласился и я с древним книжником, вспоминая эпизод с “восхождением” на иконостас. Куда как переменчив наш народ-Богоносец! Деды истово молились, благоговейно ходили с хоругвями во время крестных ходов. Отцы и внуки громили храмы, поносили священников и монахов. И опять в “коловращении” истории все на глазах меняется. Уже дети этих “ремесленников”-богоборцев посещают церковь, может быть, даже ту самую, где все это с нами приключилось, только, понятно, после ее восстановления и обновления. Зажигают свечи, единодушно отвечают священнику: “Воистину воскрес!”.

Однако давно уже пора возвращаться в Москву, в Рублевский музей, в “гараж”, где лекция об одной из школ древнерусской иконописи Валерия Николаевича Сергеева, кажется, уже подходит к концу.

В. Н. Сергеева нередко называли московским Златоустом. Как никто другой, он мог держать в напряженном внимании часами любую аудиторию. Духоподъемность его лекций также не подлежала сомнению, временами даже казалось, что ангелы на фресках тоже внимают красноречивому ученому-проповеднику. Это был фейерверк ума и интеллекта, путешествие по высотам духа, миру небесной красоты и совершенства. Оно возвращало каждого из нас к истокам, к дедовской лампадке в красном углу, к соседу священнику, как-то окрестившему малолетнего мальчишку с неясного согласия родителей, не желавших только, чтоб об этом знали все вокруг. Другие крестились уже во взрослом возрасте, некоторые принимали монашеский постриг.

Так стала инокиней Ксенией литературовед из Ленинграда, специалист по творчеству Достоевского, Наталья Соломина-Минихен, дружившая с Сергеевым. В ее судьбе принял непосредственное участие и владыка Антоний Сурожский, с которым она встречалась в Рублевском музее.

Рассказывают и такую историю. Валерий Николаевич во время лекций нередко предлагал собравшимся пройти в один из экспозиционных залов музея, чтобы, так сказать, наглядно убедиться в достоинствах древнерусского искусства. В числе слушателей на этот раз был экстравагантно одетый молодой человек, который после “особенно вдохновенного” пассажа экскурсовода о тонкостях колорита иконы заметил: “Вот у Фра Анжелико колорит! А тут?!” Реакция последовала незамедлительно. Валерий Николаевич подошел к скептику и со словами: “Да Вы просто не видите – слишком далеко стоите!” приподнявшись на цыпочках, ибо скептик был высокого роста, взял его за плечи и чуть ли не носом ткнул в висевшую на стене икону. Все последовали дальше, а тот так и остался стоять перед шедевром. Впоследствии этот молодой человек (Сергей Киперман) монашествовал в Псково-Печерской лавре, стал о. Иосифом...

Тем временем лекция Валерия Николаевича закончилась: негромко переговариваясь, гости покидают Спасо-Андроников монастырь и разъезжаются кто куда.

С тех пор многое переменялось. В. Н. Сергеев давно уже не работает в Рублевском музее. В 1992 г. мы вместе издавали первый (после 1917 г.) светский православный духовно-просветительский журнал с неслучайным названием “Златоуст” (он был главным редактором, я – его заместителем), рекомендованный к печати Отделом по образованию и катехизации Московского Патриархата. Правда, журнал прекратил свое существование уже на втором номере, – прекратилось финансирование Товарищества русских художников. Последнее время мы стали встречаться гораздо реже. Оно и понятно: я по-прежнему живу в Москве, Валерий Николаевич – в Ростове Великом.

Завершить же свои воспоминания я хочу поздравлением в жанре юбилейного спича.

Дорогой Валерий Николаевич, друг и кум!

Поздравляю тебя с семидесятилетием... etc. Желаю тебе... etc.

Я всегда смотрел на тебя снизу вверх, завидовал знаниям, умению ярко и образно говорить, подхватывал на лету твои любимые словечки и выражения. Но “зависть – сестра соревнования, – любил повторять Пушкин, – следовательно из хорошего роду”. Поэтому, хотя я занимаюсь несколько иной областью филологии, вполне отдаю себе отчет, что, если я в ней что-то и сделал, то во многом благодаря тебе.

Главное – в эпиграфе к этому очерку. Он – переадресованная тебе твоя же дарственная надпись на путеводителе по Рублевскому музею, который в далеком 1971 г. ты подарил мне и моей жене Людочке. Я так и не установил источника этой цитаты, а спросить как-то постеснялся. Но сохранил ее в первоизданном виде. И хотя я не собираюсь переходить с тобой на “вы” после столько лет дружеского общения, в данном случае это знак особого уважения.

НАШИ ЮБИЛАРЫ

От души поздравляем выдающегося русского лирика, постоянного автора «Нашего современника» Владимира Андреевича КОСТРОВА со славным 75-летием. Читаем, ценим, любим. Здоровья и новых стихотворений!

.....

Дорогой Абдулла ДАГАНОВ!

Твоя Родина, Дагестан, переживает трудное время. Но ты всегда был достойным сыном и своей кавказской земли и великой России.

Мы верим в силу твоего поэтического слова и поздравляем тебя с твоим славным юбилеем!

.....

Поздравляем давнего друга нашего журнала Ярослава Ивановича ВАСИЛЬЕВА с шестидесятилетием. Поэт и геолог, радатель за родные недра, леса и реки — пусть у тебя хватит силы честно служить России, как ты служил ей до сих пор. Твои друзья из «Нашего современника»

.....

Дорогой Юрий Иванович ХРОМОВ!

Поздравляем нижегородского поэта и общественного деятеля Международного литературного фонда с 75-летием. Здоровья и творческих удач!

Информируем читателей, что в номерах 1–10 за 2010 год редакцией реализован разработанный ею социально значимый проект «Россия, Русь, храни себя, храни!» (проза, поэзия, публицистика, литературная критика).

Выпуск проекта осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Не забудьте подписаться
на "Наш современник" —
на 2011 год!



Почта России		ф. СП-1									
АБОНЕМЕНТ на		газету журнал	<input type="text"/> (индекс издания)								
НАШ СОВРЕМЕНИК		<input type="text"/> количество комплектов									
На 2011 год по месяцам:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Куда <input type="text"/>				<input type="text"/>				<input type="text"/>			
				(почтовый индекс)				(адрес)			
Кому _____				Линия отреза _____							
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ДОСТАВОЧНАЯ		<input type="text"/>					
ПВ	место	литер	КАРТОЧКА								
На газету журнал		НАШ СОВРЕМЕНИК									
				(наименование издания)							
Стои- мость	подписки		руб.	Количество							
	переадрес.		руб.	комплектов							
На 2011 год по месяцам:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	город		село					
(почтовый индекс)				область		район					
				улица							
дом	корпус	квартира					(фамилия и о.)				

Подписные индексы журнала
"Наш современник"

По каталогу "Роспечать" на 6 месяцев – 73274

По каталогу "Роспечать" на 12 месяцев – 72336

По каталогу "Почта России" МАП – 12625